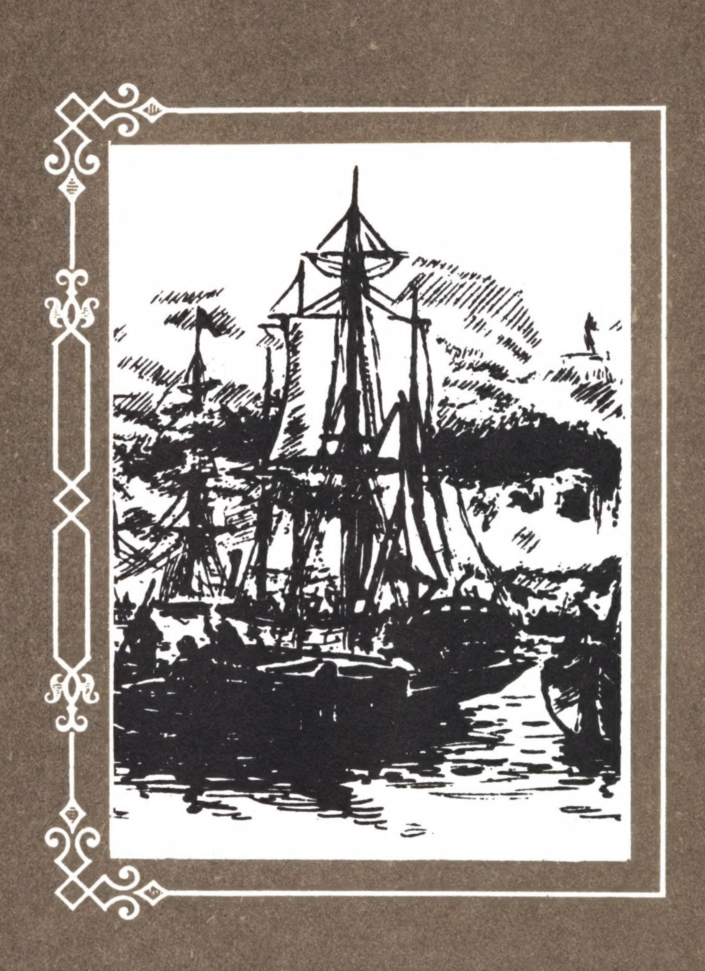
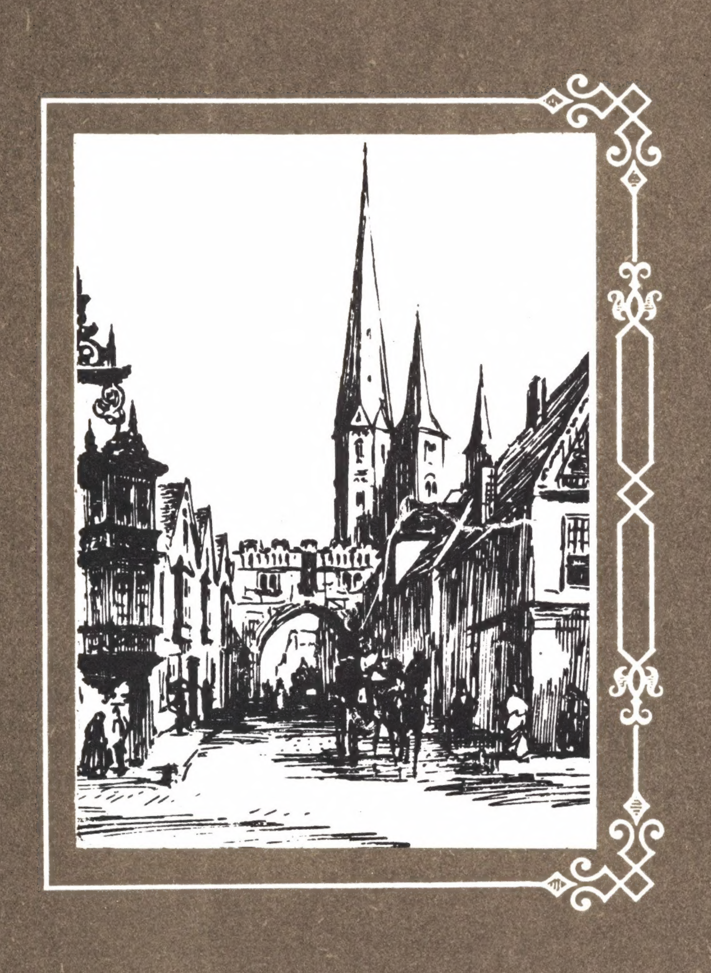
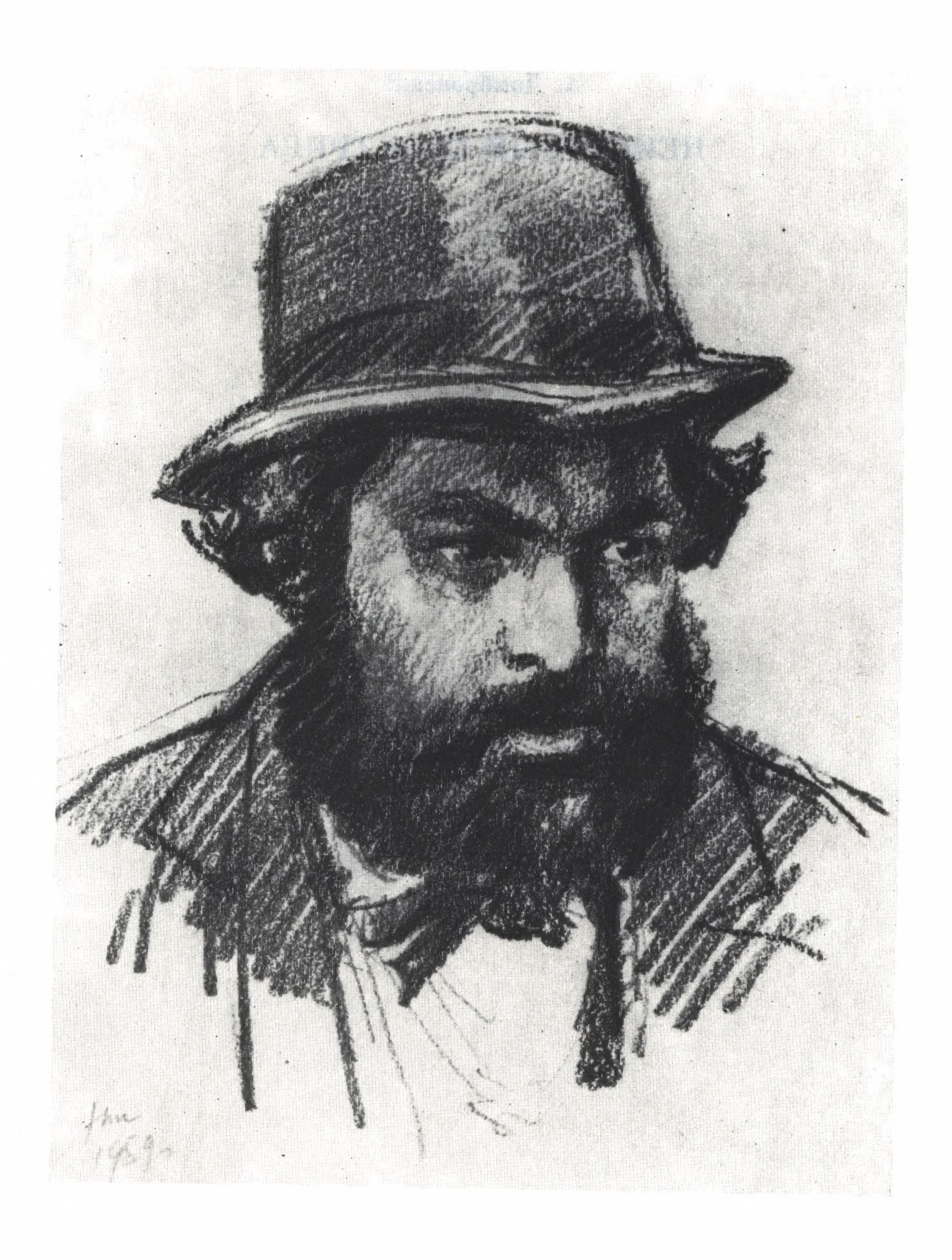

А. Домбровский
НЕИСТОВЫЙ
СЫН ТРИРА





А. Домбровский

НЕИСТОВЫЙ СЫН ТРИРА



А. Домбровский

НЕИСТОВЫЙ СЫН ТРИРА

Роман

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

Р1
Д66

Послесловие
Т. П. Андрущенко
Рисунки
Н. Жукова
Оформление
Б. Лаврова

Д $\frac{4803010201-407}{М101(03)-88}$ 201—88

ISBN 5—08—000737—0

КНИГА ПЕРВАЯ



Неистовый сын Трира



Глава первая

Тому, кто никогда не бывал в Париже, кто приехал сюда впервые, трудно бывает сразу же заняться делами, даже если они не терпят отлагательства. Париж зовет на улицу, очаровывает. А если к тому же в Париже осень, погожая осень, когда парижане по-особому нежно любят свой город, да и город, кажется, любит парижан, деловое настроение улетучивается, как утренний сумрак с восходом солнца, и тебе постоянно хочется видеть и слушать Париж, прекрасный город, раскинувшийся на зеленых берегах и островах живописной Сены. Город великих исторических потрясений и еще более великих надежд.

Ночи стоят светлые и звездные. Тихи и солнечны все еще длинные дни. Над булыжными отсыревшими за ночь мостовыми поднимаются по утрам легкие молочные туманы, пронизанные лучами и синими тенями. Туманы пахнут опавшей листвой и молодой травой, взошедшей из семян и от корней летних, уже пожухлых трав. И еще пахнет лавандой, особенно на прибрежных тропках, вьющихся между садами и огородами.

Липы и каштаны уже в багрянце. И только черные, похожие на

кипарисы тополя стоят совсем не тронутые осенью, и по утрам, когда начинают звонить церковные колокола, с их плотных и чутких листьев, содрогающихся от этого утреннего звона, каплет роса. Колокола начинают звонить в девять, а город просыпается гораздо раньше. Чуть свет стучат по мостовой колесами и скрипят телеги, груженные углем и дровами: такое время — пора запасаться топливом на зиму.

Фонарщик гасит и чистит фонари. Гремят посудой молочницы. Мальчишка-зеленщик негромко, но настойчиво предлагает хозяйкам свой нехитрый товар. Методично шаркают метлами дворники. Забредший на улицу скупщик старья весело переговаривается с женщинами, шумно вытряхивающими на балконах одеяла и простыни,— началась утренняя уборка квартир. Идет, звонко постукивая тростью, старик почтальон...

Карл и Женни тоже просыпаются рано. Вот уже несколько дней они в Париже, а им кажется, что они продолжают свое свадебное путешествие, что Сена — это Рейн, что Париж — это один из городов на их счастливом пути. Они все еще не ведут счет деньгам, с легкостью транжир нанимают фиакры, обедают в ресторанах и кафе, благо и ресторанов и кафе в Париже не счесть. Конечно, они побывали в кофейне «Каскад», что в Булонском лесу. Она действительно стоит у живописного каскада, по которому стекает вода из верхнего озера. Кофейня — давний приют парижских новобрачных, театр молодых и счастливых лиц. Карл и Женни почувствовали себя еще более счастливыми, еще раз с новой силой ощутили, что сбылась их мечта, что они наконец-то вместе, и теперь — навсегда... И конечно же, они катались на лодке, потому что, если ты парижанин — а они теперь тоже парижане,— ты просто обязан объехать на лодке озеро в Булонском лесу. И еще они обедали в Сен-Клу. Столик стоял на открытой площадке. Солнце уже клонилось к закату. Искрилась и пламенела Сена. Словно огромная глыба яшмы, играл разноцветьем холм Бельвю — это разукрасили его осенние деревья. И играл шарманщик. Простая и грустная мелодия переполняла их нежностью друг к другу.

Улица Вано — на левом берегу Сены. Там, в доме 38, они поселились. И первая экскурсия, которую они совершили по Парижу, началась оттуда, с улицы Вано, к Люксембургскому дворцу. Дальше на их пути была Сорбонна, пристанище духа. Сорбонна — Парижский университет, которому пятьсот лет. Там же, в Латинском квартале, они любовались Пантеоном, созданием великого Суфло, и говорили о быстротечности

жизни. Мимо памятника святой Женевьеве, спасшей некогда Париж от Аттилы, по набережной Сены они дошли до старинного моста, который привел их в самое сердце Парижа — да что Парижа — всей Франции! — на остров Сите, к собору Нотр-Дам... На другой день Женни и Карл посетили Дом инвалидов, принявший три года тому назад прах Наполеона Первого в двухсоттонном саркофаге из красного мрамора, подаренного Россией. В военном музее Дома инвалидов 14 июля 1789 года парижане захватили пушки и много тысяч ружей. Из этих пушек была разрушена Бастилия, крепость-тюрьма, простоявшая более трех веков. Так началась Великая французская революция.

— Давай постоим здесь,— предложил Карл, когда он и Женни оказались на площади Бастилии у подножия Июльской колонны, увенчанной Гением Свободы.

Площадь Бастилии — это священное место, истинная красота Парижа. Тут начало подлинной истории Франции.

Они смотрели вверх, где на пятидесятиметровой высоте парил под облаками Гений Свободы, держа в одной руке разорванную цепь, в другой — факел.

— Здесь хорошо,— сказал Карл.

— Есть еще Гревская площадь,— напомнила мужу Женни.— Ты сам мне рассказывал, что произошло на Гревской площади десятого термидора.

— Да, Женни, да,— вздохнул Карл.— Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их друзья — двадцать два человека — были гильотинированы на Гревской площади. Были убиты вожди великой революции. Но революция продолжается! — Эти слова Карл произнес с той убежденностью, с той решительностью, какая всегда звучала в его словах, когда он говорил о революции.— Как река ныряет в скалы, а потом вырывается на свободу, так и революция. Ведь Июльскую колонну поставили не так давно, три года назад. А начали ее сооружать в тридцать первом. И как верно, что ее поставили здесь, на площади Бастилии. Революция тридцатого года продолжила дело, начатое в восемьдесят девятом году прошлого века. Продолжила, но не окончила.

Дантон, Марат, Робеспьер, Сен-Жюст — вожди Великой французской революции — с некоторых пор стали для Женни людьми, о которых она не только знала, но и много думала. Разумеется, потому, что о них говорил и думал Карл. Он решил заняться историей Конвента, возглавив-

шего первую французскую республику в 1793 году. И потому они так долго стояли у здания, где заседал Конвент — Национальное собрание восставшего против монархии народа. Карлу не терпелось увидеть документы, относящиеся к деятельности якобинского Конвента.

Женни старалась смотреть на Париж глазами Карла.

Но был еще и другой Париж. Они гуляли по Елисейским полям и Большим бульварам, отдыхали у фонтана в саду Пале-Рояль, бродили по Центральному рынку, который вот уже семь веков кормит Париж, стояли на холме Шайон у Триумфальной арки Шальгрена и просто бродили по улицам, то шумным и многолюдным, то по-деревенски тихим, где пахнет конским навозом, а по тротуарам разгуливают куры и козы. А однажды натолкнулись на больницу Бурб — родильный дом для нищих.

— Боже! — сказала Женни, прижимаясь к Карлу.— Уйдем отсюда поскорей.

Карл взял ее под руку, и они быстро пошли прочь. Он видел, как Женни побледнела, и почувствовал, как ее пальцы впились в его руку. Они долго шли молча, а потом Женни сказала:

— Я просто испугалась.— Она оглянулась и, убедившись в том, что больница уже не видна, облегченно вздохнула.

— Чего же ты испугалась? Будто ты не знала раньше, что существуют заведения такого рода?

— Я знала. Я, конечно, знала. Но мне вдруг вспомнилось, как братец мой неласковый прочил мне когда-то нищенскую жизнь с тобой... И ведь что-то сбывается, правда, Карл? Думаешь, Руге нас не обманывает? Шестьсот талеров в год, которые он обещает тебе, это, конечно, совсем неплохо. Я присмотрелась к здешним ценам. Можно жить вполне безбедно. Но если он обманет, если ваш «Ежегодник» не пойдет, если случится еще что-нибудь...

— Что может случиться, Женни? — улыбнулся Карл.— Ничего не может случиться. Мы все хорошо обдумали. Руге вложил в дело солидную сумму. И ты знаешь, что через два дня я приступаю к работе. Работать же я хочу и, как мне кажется, умею. Словом, все будет хорошо, Женни. Ну? — Он прижался щекой к ее щеке.— Tout sera bien?[1] — добавил он на французском.

---

[1] Все хорошо? *(франц.)*

— Tout sera bien,— также по-французски ответила ему Женни.

Они оба знали французский.

Карл понимал причину внезапного беспокойства Женни. Еще в Крейцнахе, откуда они приехали в Париж, Женни показалась врачу, и тот сказал, что весной она станет матерью. Они оба тихо порадовались этой вести. Женни в тот день всплакнула. Это были слезы о пережитом, о долгом ожидании этого дня, о столь долгом, что порой казалось, что он никогда не наступит.

Семь лет со дня помолвки она ждала Карла, семь лет и всю жизнь.

Счастье то приближалось, то ускользало: сначала Карлу надо было окончить университет — и она ждала. Потом ему предстояло найти работу, которая могла бы обеспечить их жизнь,— и она опять ждала. Но вот уже была найдена работа — Карл стал редактором «Рейнской газеты» в Кёльне,— и пришла, казалось, пора подумать о свадьбе. Увы, беда пришла раньше счастья: умер отец Женни, барон фон Вестфален, который любил Карла. У Женни не стало защитника против родственников, делавших все, чтобы помешать ее браку с Карлом, потому что он ей «не пара», потому что он «бог весть кто», потому что с ним она «пропадет в нищете».

Как только у нее хватило сил устоять против них! Потом пришла еще одна беда: в начале нынешнего года совет министров Пруссии под председательством самого короля Фридриха-Вильгельма IV постановил закрыть «Рейнскую газету». Карл остался не у дел.

Он давно был неугоден правительству. А теперь оно свело с ним счеты, впрочем не без коварства, втайне полагая, что доктор Маркс, оказавшись в безвыходном положении, либо станет писать, сообразуясь с требованиями цензуры, «испоганится», как назвал такой ход сам Карл, либо открыто перейдет на службу к прусскому правительству.

О том, что Берлин ждал от Карла такого решения, стало окончательно ясно уже в июне этого, 1843 года, когда тайный высший ревизионный советник Эссер, друг покойного отца Карла, привез из Берлина приглашение Карлу на государственную службу. Карл наотрез отказался. Несколькими днями раньше он женился на Женни...

Исполниться надежде
Настал желанный срок,
Обрел я то, что прежде
В мечтах лишь видеть мог.

Все то, чего мой разум
Не одолел с трудом,
Открылось сердцу разом
Во взоре дорогом...

Эти стихи он прислал Женни из Берлина в 37-м году. Тогда Женни было двадцать три года. А в тот день, когда она напомнила их ему, в день их свадьбы, ей было уже двадцать девять лет, четыре месяца и семь дней. В феврале ей будет тридцать. На тридцать первом году жизни она станет матерью. По бытующим в Германии — да и во Франции — представлениям, это поздно. Впрочем, так это и есть. Выйди она замуж в возрасте, когда обычно выходят замуж немки и француженки, ее сыну или дочери могло бы быть уже около десяти лет.

Георг Гервег, который считает себя знатоком женской души,— поэты лучше понимают женщин, чем простые смертные,— недавно сказал Карлу, когда тот признался ему, что его Женни ждет ребенка:

— Обрати внимание на бесспорную истину, мой друг (Георг лишь на год старше Маркса, но его покровительственный тон Карл принял без возражений): беременные женщины очень капризны и своенравны. Порою их слова и поступки ничем нельзя объяснить, кроме как их положением. Зная это, мужчины обязаны все терпеть и все прощать.

Карл подумал, что сейчас как раз именно тот случай, когда он обязан помнить о положении Женни и не придавать особого значения ее страхам и сомнениям.

Арнольд Руге, несомненно, не тот человек, который бросает деньги на ветер. И его, кажется, можно понять: у него большая семья. И это обстоятельство обязывает Руге быть практичным и бережливым. Разумеется, возможно, не в той мере, в какой практичен и бережлив Руге. И все же надо отдать ему должное: он вложил в «Ежегодник» шесть тысяч талеров — сумму, которая составляет десятилетнее жалованье Карла, определенное ему Руге за редактирование будущего журнала. И опасаться Руге надо не с этой стороны.

Есть другая сторона их взаимоотношений, куда более существенная: они по-разному смотрят на задачу «Ежегодника». Карл видит эту задачу в том, чтобы журнал служил объединению революционной теории и действия, немецкой философии с французским социализмом и коммунизмом. Именно поэтому он предложил назвать журнал «Немецко-французским ежегодником» в отличие от «Немецкого ежегодника», ко-

торый издавал в Дрездене Арнольд Руге и в котором он главным образом лишь нападал на прусское правительство.

И все же Карл надеется на перемены к лучшему. У Арнольда Руге есть опыт, который, возможно, поможет ему занять позицию, более близкую ему, Карлу.

Руге испытал в своей жизни то, чего не испытал Карл. И слава богу, конечно, что не испытал. Шесть лет Руге провел в прусских тюрьмах за участие в прогрессивных студенческих организациях. И вот уже шесть лет занимается издательской деятельностью, все время преследуемый прусским королевским правительством. В сорок первом году король вынудил Руге покинуть Лейпциг и переехать в Дрезден. Но уже в нынешнем году, теперь саксонским правительством, журнал Руге был закрыт, а союзный сейм — все это не без участия прусского правительства — запретил распространение «Немецкого ежегодника» на всей территории Германии. И вот они вместе, Маркс и Руге. Избрали один путь, избрали Париж. И еще поэт Георг Гервег. Маркс и Гервег уже здесь. Приезд Руге с семьей ожидается в начале декабря. Об этом он сообщил в письме.

В том же письме Руге высказал пожелание, чтобы его семья, а также Гервеги и Марксы устроились в Париже таким образом, что у них был бы один повар, одна общая кухня и общая столовая,— словом, предлагал жить коммуной. Карл полагал, что из этой затеи Руге вряд ли что получится, но своего мнения не высказывал, считая, что вопрос о коммуне должны решить женщины — его Женни, Эмма Гервег и фрау Руге,— поскольку именно им придется поделить между собою главную часть забот.

С фрау Руге, добродушной маленькой саксонкой, хлопотуньей, матерью пятерых детей, Карл познакомился в Дрездене, куда ездил летом, чтобы обсудить с Арнольдом Руге условия их сотрудничества. Теперь, зная немного ее характер, Карл подумал, что мысль о коммуне принадлежит ей. Фрау Руге, вероятно, надеялась, что в коммуне расходы ее большой семьи заметно сократились бы: содержать общую кухню, общего повара несравненно дешевле — это всякому ясно.

Но что скажет на это Эмма Гервег? Что думает об этом Женни? Эмма Гервег, как, впрочем, и Женни, замужем лишь недавно. Но она моложе Женни, к тому же дочь очень богатого купца и принесла Гервегу солидное приданое. Свадебное путешествие, по словам самого Гервега,

они совершили почти королевское: останавливались в самых дорогих отелях, Эмма меняла наряды по нескольку раз на день, покупали все, что хоть сколько-нибудь привлекало их внимание, ни в чем себе не отказывали. Да и теперь, в Париже, они продолжают вести почти тот же образ жизни. Театры, балы, самые модные салоны, богатые приемы... Разумеется, Карл ни в чем их не осуждает. Но вряд ли их жизнь совместима с общей кухней, с общей скромной столовой, с трудовым и размеренным распорядком дня.

Ну а что скажет Женни, мадам Маркс? Что скажет самая красивая женщина Германии, самая умная, его любимая Женнихен? Она готовится стать матерью. И сейчас это самая главная ее забота.

Его же забота — Женни и наука о революции. Именно наука. Не болтовня, не критиканство, не скоморошничество, чем заняты в последнее время его бывшие друзья из кружка «свободных» в Берлине, не пустые лозунги, призывающие народ к немедленному отказу от религии, не пророческие бредни, не проповедничество.

Только там, где дело берет в свои руки неподкупная и точная революционная теория, только там делу сопутствует успех.

Маркс уже поставил перед собой задачу изучить труды французских социалистов и коммунистов, труды буржуазных историков, буржуазную политическую экономию. Задача, разумеется, не из простых, но без ее решения не представляется решение других задач. Когда Карл изложил ее Женни, он даже сам почувствовал, насколько она сложна, и на какое-то мгновение заколебался от мысли: справится? Ему показалось, что подобную же мысль он прочел в глазах Женни. Тогда он улыбнулся и сказал:

— Да, Женнихен, да. У входа в науку, как и у входа в ад, должно быть выставлено требование: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета».

— Данте принадлежат и другие слова,— ответила ему Женни.— «Следуй своей дорогой,— сказал он,— и пусть люди говорят что угодно». Ты справишься, Карл. Я слышала, что во дворце кардинала Мазарини собрано четыреста тысяч томов и рукописей. Вот если бы ты захотел все их прочесть, я сказала бы себе: «Женни, у тебя нет больше мужа». А так, кажется, всего лишь несколько сотен томов. Ты одолеешь их за год...

Женни понимала, что свадебное путешествие окончено. Ей было



грустно: работа Карла, несомненно, станет разлучать их на целые дни, а то и на недели, но она привыкла уже к разлукам и была готова к новым.

И вот они, сами того не ожидая, оказались на улице Ришелье, перед мрачным дворцом Мазарини, превращенным парижанами в крупнейшую библиотеку мира. Они уже были здесь однажды и сразу узнали дворец.

Остановились по просьбе Женни. Заглянув Карлу в глаза, Женни сказала:

— Это надежное, очень прочное здание. Я буду спокойна, зная, что ты занимаешься здесь. Я думаю, что уже завтра ты можешь начать, Карл. Уверена, что и погода испортится завтра, так что гулять нам не придется. К тому же по твоим глазам я вижу, как тебе не терпится пойти туда... Или я ошибаюсь?

— Не ошибаешься,— ответил Карл.— Все так и есть. Признаюсь тебе в большем: я чувствую себя неспокойно, предаваясь развлечениям, то есть безделью. И меня терзает непонятное чувство вины. Разумеется, мне хотелось бы подавить в себе это чувство, но мешает Эпикур.

— Почему Эпикур?

— Потому, что это он сказал: «Пусть никто, пока он молод, не откладывает занятий философией».

— Но ведь он сказал «философией»,— заметила Женни.— А ты чем собираешься заняться? Политической экономией, историей, социалистами... К тому же другой твой учитель, Гегель, сказал, что сова Минервы вылетает в сумерках. Как все это примирить?

— Ага! — засмеялся Карл.— Вот я тебя и поймал, Женнихен! Сначала ты разрешила мне заниматься, а теперь говоришь, что не видишь в этом надобности, потому что и Эпикур говорил только о философии, и Гегель утверждал, что мудрые мысли приходят лишь в пору седин, когда завершены суетные дела.

— Как не стыдно! — в шутку возмутилась Женни.— Не ты меня поймал, а я тебя поймала! Сейчас же отвечай, как примирить Эпикура и Гегеля?!

— Сдаюсь, сдаюсь! — еще громче рассмеялся Маркс.— Сдаюсь и повинуюсь, моя госпожа! — Он поднял руки.— А примирить Эпикура и Гегеля можно так: Эпикур прав в том смысле, что философия — лучшая тренировка для интеллекта, а молодость — лучшая пора для такой

тренировки. Гегель же прав в том смысле, что суетность — враг истины. Принимаешь?

— Принимаю,— сказала Женни.— Однако нам пора домой, Карл. Вечером мы приглашены к Гервегам, и нам следовало бы отдохнуть.— Женни провела ладонью по лицу и тем выдала свою тайную мысль: красавица Женни боится выглядеть вечером усталой.

— Ах, Женни, Женни! — сказал Маркс, обнимая ее за плечи.— Никто не может быть красивее тебя. А потому я предлагаю: пообедаем сегодня не дома, а там,— он махнул рукой,— в проезде Оперы. Я еще вчера заприметил одно уютное кафе. Там подают жареные колбаски и пиво. Черт знает почему, но я соскучился по колбаскам и пиву. Хотя мне Гервег говорил, что лучшее пиво подают в ресторане «Большой балкон» на бульварах.

Они выбрали столик у самого окна, за которым под опавшим каштаном лежала целая копна листьев — бордовых, желтых, коричневых и еще совсем зеленых. Хозяин кафе, видимо, умышленно не убирал их, чтобы посетители могли любоваться этим пышным нерукотворным ковром осени. Разумеется, им руководила отнюдь не любовь к прекрасному, подумалось Карлу, а какая-то корысть: должно быть, он заметил, что люди, любующиеся из окна опавшими листьями, сидят в кафе дольше и больше заказывают. К тому же у них размягчается душа, и они становятся щедрее. А щедрый посетитель — это, несомненно, находка для владельца кафе. Так что и корысть порою служит красоте, и красота — корысти. Таков уж этот извращенный век... Впрочем, только ли этот век?

— Эпикур все человеческие потребности делил на естественные и неестественные,— заговорил Карл, глядя в окно.— Естественные потребности вытекают из природы человека, неестественные придуманы развращенным обществом. В свою очередь естественные потребности он также делил на две группы: на те, которые являются необходимыми, и на те, которые необходимыми не являются. Все потребности, кроме естественных и необходимых, он отвергал и считал их недостойными истинного мудреца... Тебе это известно, Женни?

— Известно. Я прочла все об Эпикуре и Демокрите, когда ты писал докторскую диссертацию об этих философах. Да и диссертацию твою я тоже читала. Ведь ты посвятил ее моему отцу...

— Как жаль, что в этом мире его больше нет,— вздохнул Карл.— Но знаешь, Женни, его голос до сих пор живет во мне, я его слышу, когда вспоминаю о твоем отце. И лицо его вижу, и его руки, которые держат либо томик Сен-Симона, которого он так любил, либо томик Шекспира, которого он любил еще больше.

— Да,— сказала Женни, опустив голову.— Он и тебя любил, Карл...

Барон Людвиг фон Вестфален был удивительный человек. В Трире он приобрел известность не тем, что был правительственным советником и бароном, хотя и это очень много значило для его земляков, но главным же образом всех поражала его исключительная образованность. Барон говорил по-английски, свободно читал греческих и латинских авторов, Гомера и Цицерона. Французский язык был для него почти таким же родным, как и немецкий, и Сен-Симона он читал в подлиннике. Кумирами его, однако, были поэты Шекспир и Гомер. Барону фон Вестфалену Карл был обязан тем, что в юности страстно мечтал о славе поэта.

Увы, поэтом он не стал, но страсть эта не была напрасной: только искусство и ничто другое развивает в человеке способность к творчеству...

Впрочем, не только любовью к поэзии и философии был обязан Карл Людвигу фон Вестфалену. Нечто неизмеримо большее принес в этот мир и подарил Карлу барон. И этот подарок — перед ним. Это его очаровательная Женни, его самое драгоценное сокровище.

Своим разговором Карл невольно разбудил в Женни грустные воспоминания об отце, о Трире, об их юности. Прекрасное, если оно минуло, окрашивается печалью. Но и самая сильная печаль разбивается о маленькое счастье. А их счастье велико. Оно уже хотя бы в том, что они рядом. Карл помнит об этом почти постоянно. Да и Женни, наверное, тоже. Вот она поднимает голову. Короткий взгляд на Карла, и ее темные глаза начинают лучиться, улыбка касается ее чутких губ, мягких и добрых. Она трогает кружевную ленточку на шее — подарок Карла, перебирает ее пальцами, находит золотое кольцо-застежку, вздыхает, как бы расставаясь с только что одолевшими ее грустными мыслями, вздыхает легко и спрашивает:

— Почему ты заговорил о потребностях, Карл? И что ты хотел сказать? Мне показалось, что ты не закончил мысль.

— Да,— ответил Карл, любуясь Женни, тем, как расцвело ее прекрасное лицо, и не без гордости думал о том, что она любит его. Иначе

чем можно объяснить столь внезапную перемену в ее настроении? Только одним: она взглянула на него — вот и объяснение всему. Видеть это и думать об этом — сладко. И ему совсем не хочется говорить о потребностях, будь они неладны. Хотя, кажется, была одна мысль. О чем же?

— Так о чем же ты хотел сказать? — настойчиво спрашивает Женни.

Они уже давно договорились, что Карл будет постоянно посвящать ее в свои дела, даже в том случае, если ему почему-либо станет казаться, что Женни не поймет его. Это было требование Женни. Но это было также и желание Карла. Желание вполне трезвое, результат его серьезных размышлений о своей семейной жизни.

Карл не представлял себе, как будет складываться их жизнь, если Женни не станет жить его интересами. Не нарядами же ей жить, не балами, не прочими пустыми светскими развлечениями, которые с такой щедростью предлагает современное общество бездельницам. Это было бы крахом для него. И для нее, разумеется. И поэтому как ни эгоистически выглядело его намерение подчинить духовные интересы Женни своим, оно было все же разумным. Единственно разумным. Во всяком случае, до той поры, пока у них не появятся дети. Но и тогда, надо думать, у Женни останется потребность в интеллектуальной жизни. Пожалуй, Эпикур тоже считал интеллектуальные потребности естественными и необходимыми, как потребности в пище, дыхании, сне, движении. Как потребность в дружбе, которая ставит человека выше судьбы. Сама же дружба предполагает общий интерес, общие задачи, общую цель, общие идеалы. И стало быть, дружбу освящают не только чувства, но и разум.

— Так о чем же ты хотел сказать, Карл? — повторила свой вопрос Женни.

— Уже несут нам обед,— ответил Карл.— И не лучше ли нам заняться удовлетворением наших естественных и необходимых потребностей, чем рассуждать о них? Мне кажется, что лучше. Впрочем, вот моя мысль: наше общество всячески стремится развивать в людях потребности, которые являются продолжением их слабостей, их пороков. Эти потребности унижают и губят человека. Именно это характеризует наше общество как общество бесчеловечное. Тут есть какая-то тайна. Ведь дело не в моральном падении людей. Последнее — только следствие. Но следствие чего? Впрочем, это все,— улыбнулся Карл.— Больше в моей голове никаких мыслей нет, а желудок кричит от голода...

— И твой мозг тоже,— сказала Женни.— Я это вижу. А потому завтра же приступай к делу.

— Да, да,— ответил Карл.— Спасибо.— Он придвинул к себе дымящиеся колбаски, взял пивную кружку и сделал несколько жадных глотков.— Чудесно,— проговорил он, переводя дыхание.— Очень рекомендую.

Женни давно знала его отличительную страсть — страсть к работе. Даже в Крейцнахе, накануне свадьбы, он не смог обойтись без книг и просидел над ними всю ночь. Он прихватил с собой книги в свадебное путешествие, и, если Женни отдыхала, он непременно читал. Она слегка посмеивалась над этой его страстью, но он сказал, вспомнив слова Дидро, что тот не мыслит, кто не читает книг.

Она знала, как он работает: по нескольку дней и ночей кряду, без отдыха, утопая в табачном дыму, окунаясь с головой в груды бумаг и книг, до полного изнеможения. А потом, совсем выбившись из сил, валяется на кровати, ни к чему не прикасаясь — ни к книгам, ни к перу, и тоже по нескольку дней.

Женни опасалась за его легкие: из-за слабости легких Карла в свое время освободили от воинской службы; опасалась за его глаза: на одной из студенческих дуэлей в Бонне, семь или восемь лет назад, Карл повредил правый глаз. А теперь — беспрерывное курение, беспрерывное чтение, бодрствование по ночам над бумагами при свете лампы. Как тут не беспокоиться? Однажды она уже высказала Карлу свои опасения за его здоровье. Но Карл лишь посмотрел на нее невинными глазами и промолчал. Женни не знала, можно ли тут что-либо изменить, склоняясь между тем к мысли о том, что изменить уже в привычках Карла нельзя ничего.

Карл никогда не употреблял таких слов, как «я решил посвятить себя» или «я решил пожертвовать собой ради» и т. п. Он морщился, когда слышал нечто подобное от других, от Гервега например. Хотя, вероятно, трезво осознавал, чему он действительно посвятил себя, ради чего жертвовал собой, своим здоровьем, своим благополучием. Женни однажды слышала, как в разговоре с матерью, упрекавшей Карла в том, что он неудачник, ведет бесцельную жизнь, в то время как мог бы, когда б послушался отца, стать юристом, обеспеченным человеком, он раздраженно ответил ей: «Если бы я хотел быть скотом, я мог бы, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться лишь о собственной шкуре...»

Муки человечества. Почему мимо них молча проходят тысячи людей? — задавала себе не раз вопрос Женни. Людей не бесчувственных, не бессердечных и не глупых. Но вдруг один останавливается и поднимает свой голос в защиту обездоленных. Избранник народного страдания? Мессия? И пришел этот человек не из низов, не из смрадных бараков, не из жалких лачуг одичавших от нищеты и невежества работников, а из чистой публики — сын советника юстиции, доктор философии, красивый и сильный человек. Пожелай он себе другой жизни, он тотчас получил бы ее из рук буржуазной Фортуны. Но он уже давно заклеймил ее любимцев позорным клеймом со словами: «напыщенные мерзавцы», «мирские божки».

Так что же привело Карла в стан защитников народа? Он говорит: «Человек». И добавляет: «Человек как человек». Женни знает, что означают эти слова: Карл хочет видеть общество, в котором человек оценивался бы только по его человеческим достоинствам. Ведь это разумно, когда любовь обменивается только на любовь, доверие — только на доверие, мудрость — только на мудрость, прекрасное — только на прекрасное. Когда ничто человеческое не продается и не покупается за деньги. Это разумно. Карл ищет путь, как превратить это разумное в действительное.

Конечно, Женни не доктор философии, и она не все понимает из того, что говорит Карл. Ей не всегда понятно, чем Карл мучается, что он ищет. Когда он говорит, Женни кажется, что он знает все, но когда он глотает одну книгу за другой, не спит, что-то сосредоточенно пишет, а потом вдруг с ожесточением рвет исписанные листы, курит и шагает по комнате — она понимает: Карлу что-то не дается, он что-то ищет и не может найти...

Он быстро справился с колбасками и пивом и с разрешения Женни закурил сигару.

— Ты опять все проглотил, словно ты рыба-кит и будто ты торопишься на пожар,— сказала ему Женни.

— Рыба-кит никогда не торопится на пожар,— ответил Карл.— Вот так, Женни. Моя победа.

— Твоя, твоя,— согласилась Женни.— Но не кажется ли тебе, что стремление быть во всем и всегда победителем опасно для здоровья?

— Чем же?

— Привыкнув к победам, можно погибнуть от маленького поражения.

— Да? Не понимаю. Умелый стратег и поражение превращает в победу.

— А ты умелый стратег?

— Конечно. Теперь ты видишь.

— Что я вижу?

— Что защищаться приходится не мне, а тебе, хотя, конечно же, виноват я. Верно?

Женни махнула рукой.

Все, что не относилось к его главному занятию, Карл делал быстро, вернее, торопливо и порою невнимательно. Он быстро ел, быстро одевался и при этом мог застегнуть петли пальто не на те пуговицы, он быстро ходил и порою не замечал идущих ему навстречу знакомых, он даже быстро курил, раз за разом попыхивая сигарой и утопая в дыму.

Он торопился в мелочах, которые мешали его занятиям, и тогда, когда никаких занятий не предполагалось, как, например, теперь, торопился по укоренившейся привычке. Женни считала своим долгом время от времени делать ему замечания на этот счет, хотя это никак на него не влияло. Ее замечания лишь веселили его и служили поводом для шутливых перебранок.

Женни знает Карла с детских лет. Дом Вестфаленов на Ремерштрассе стоял лишь в нескольких минутах ходьбы от дома Марксов на Симеонштрассе. И дети Марксов дружили с детьми Вестфаленов. Когда они все собирались вместе, их трудно было сосчитать. Но всегда среди них легко можно было найти Карла — он был самым подвижным и самым шумным.

Карл, как правило, выдумывал всякие игры и предводительствовал во всех детских затеях. И был очень своенравным.

Детское своенравие Карла с годами превратилось в решительность, с какой он отстаивал свои интересы.

Иные упрекают Карла в упрямстве. Но так выглядит лишь внешняя сторона некоторых его поступков. В основе же их лежит принципиальность. Женни знает это лучше других. Ведь не к богатству же он пробивается, не к показной славе, не к первенству ради первенства.

— На тебя смотрят,— шепотом сказал жене Карл.— Смотрят не отрывая глаз. Вся мужская часть посетителей. Ты всех очаровала. Они не едят. Хозяин кафе нервничает: застопорилось его дело. Нам пора удирать.

Женни повела глазами вправо, влево и убедилась в том, что Карл все

придумал. Ну, не совсем все — кое-кто из мужчин действительно поглядывал в ее сторону, остальные же были увлечены своими напитками и разговорами. В парижских кафе много разговаривают. Женни погрозила Карлу пальцем и сказала:

— Накажу.

Карл остался доволен своей шуткой, а еще более, должно быть, тем, что ему еще раз удалось сказать Женни, как она красива, как ему, ее мужу, завидуют мужчины и какое это счастье.

То, что Женни красива, для нее не новость. Еще в Трире ее называли не иначе как царицей балов и многие молодые люди заказывали художникам ее портреты и присылали цветы. Конечно, это большая удача, что она красива и что это так нравится Карлу. Но она надеется, что была и будет для него больше, чем только красивая женщина. Как и Карл для нее больше, чем только красивый и любимый муж. Красивый? Она взглянула на Карла и сказала себе: «Конечно, красивый». Однажды она сказала об этом и ему. И поняла, что ему не понравился ее комплимент, что он не считает себя красивым и даже не хотел бы быть таковым.

— Красивыми должны быть женщины и поэты,— сказал он.— Все остальные должны быть только мужественны.

Женни же считала его не только мужественным, но и красивым. К тому же он собирался когда-то стать поэтом, следовало бы напомнить ему об этом. Он хорошо сложен, у него прекрасный лоб, иссиня-черные густые волосы, темные с блеском глаза, красиво очерченные губы, сильные руки. Он может быть элегантным, он остроумен, весел и очень-очень мил, ее Карл, ее единственный, ее любимый черный лохматик...

Их соседом по дому был Герман Мёйрер, немец, эмигрант, давний знакомый Руге. Мёйрер считал себя коммунистом. В Париже занимался учительством, писал стихи, но главным образом вел пропаганду своих идей среди парижских рабочих и ремесленников, немцев и французов. Руге рекомендовал Марксу Мёйрера как возможного члена их семейной коммуны. Через Мёйрера Арнольд Руге позаботился о том, чтобы квартиры для него и Маркса были сняты в одном доме. Мёйрер добросовестно выполнил просьбу Руге и таким образом оказался соседом Карла и Женни.

С первого же дня знакомства Карл стал посмеиваться над господином Мёйрером, правда, не открыто и совершенно беззлобно. Господин Мёй-

рер был по-немецки педантичен, лицом и в разговорах строг, не допускал никакой вольности, никакой шутки, одевался, как одеваются французские рабочие, в синюю блузу, поверх которой носил теперь, с наступлением осени, куртку из грубого сукна, хотя мог бы, наверное, одеваться получше, ведь фрау Мёйрер, например, щеголяла в модных шляпках и бархатной мантилье. Рабочую одежду господин Мёйрер надевал из принципа, чтобы не выделяться среди настоящих рабочих на их сходках, где он постоянно бывал.

Свое кредо Карлу Мёйрер изложил на новоселье, куда был приглашен Женни и Карлом вместе с женой и на котором присутствовали также Гервеги — Георг и Эмма. Суть его взглядов заключалась в том, что необходима отмена всякой собственности, все должно стать достоянием всех, а что таковым стать не может, должно быть отменено, ликвидировано и уничтожено.

— Что же именно должно быть отменено, ликвидировано и уничтожено? — спросил Мёйрера Гервег.

— Предметы роскоши, например,— ответил Мёйрер,— и всякие ненужные вещи.

— Стало быть, произведения искусства в том числе,— сказал Маркс,— сам талант, ибо он не может быть достоянием всех, сама культура и т. д. Верно?

— Да,— ответил суровый господин Мёйрер.— Именно так. Все люди станут рабочими и будут производить только необходимые вещи. Ни капли человеческой энергии на безделушки не будет растрачено, никто не сможет стать лучше или хуже другого.

— Ах, это сложный разговор, господин Мёйрер,— вздохнул Карл,— разговор не для молодых дам. Отложим его до другого раза. Вы согласны?

Мёйрер согласился.

— Что ты скажешь о нашем соседе? — спросила Женни Карла, когда гости разошлись по домам.— Просто страшно слушать его.

— Он сам себя боится,— ответил Карл.— Но правда не там, где она ему видится. Совсем не там. Я попросил его, чтобы он меня взял на одно из рабочих собраний. Хочу посмотреть и послушать, кто и о чем там говорит.

— Меня не возьмешь?

— Тебя не возьму,— ответил Карл, обнимая Женни за плечи.

Женни не обиделась.

Господин Мёйрер встретил их у подъезда дома и, отведя Карла в сторону, сказал ему, что рабочее собрание, на которое он сможет повести Карла, состоится завтра.

— Вы готовы пойти со мной? — спросил Мёйрер торжественно.

— Да, готов,— ответил Карл, улыбаясь.

Карл и Женни еще не успели приобрести мебель, и поэтому в квартире было пусто, неуютно. Хотя самое необходимое у них уже было: стол и кресло в рабочей комнате Карла, кровать в спальной, четыре кресла и стол в комнате с камином. Все это было собственностью владельца дома, кроме стола в кабинете Карла: ему одолжил его на время Герман Мёйрер. И все-таки в квартире было неуютно, не хватало обжитости, мелочей, без которых можно обойтись, ведя аскетический образ жизни, но которые так необходимы, чтобы, войдя в квартиру, почувствовать себя дома, в своем гнезде или, как говорят англичане, в своей крепости. Ни Женни, ни Карл не собирались становиться аскетами, это не входило в их планы и желания. Напротив, отправляясь в Париж, они не раз говорили о том, что их дом будет полон друзей, что в нем они станут чувствовать себя уютно, полюбят его и, наконец, не смогут без него обходиться ни дня. Кто эти друзья, Женни и Карл еще не знали тогда, да и теперь не знают: обзавестись друзьями в чужом городе — дело не скорое. К тому же если речь идет не просто о друзьях, с которыми приятно проводить время, а о друзьях-единомышленниках.

Впрочем, уже можно, пожалуй, говорить как о друге-единомышленнике о Георге Гервеге. Возможно, что удастся ближе сойтись с Арнольдом Руге. Кто еще? Покажет время. Но друзья у них непременно будут, много друзей.

И квартира их со временем станет уютной. Как только приедет Руге. Карл получит часть денег, полагающихся ему по контракту, и тогда Женни по своему вкусу приобретет для дома все, что нужно: удобные, с красивой обивкой кресла, коврики, платяной шкаф, книжные полки, портьеры и обязательно круглый стол для комнаты с камином. За этим столом они станут угощать своих друзей. И еще нужны дрова, и еще нужны продукты, которые можно хранить в доме, и хорошо бы купить кое-что из зимней одежды для Карла и для себя... А вот что совершенно

необходимо, так это кушетку в комнату Карла, на которой он мог бы лежа обдумывать свои статьи и отдыхать с сигарой. Женни уже успела присмотреть такую кушетку в мебельном магазине Петерса на Больших бульварах — прочную, обитую толстой кожей, которая не прогорит, даже если на ней разжечь костер, во всяком случае, от горящей сигары ей вреда не будет.

— Ты наденешь к Гервегам свое голубое платье, не правда ли? — спросил Карл.— Ты мне нравишься во всех платьях, Женни, но когда ты в голубом, я просто таю.

— Хорошо,— ответила Женни, смеясь.— Я надену голубое... Хотя Эмма, как мне думается, будет в рединготе, жилете и панталонах — а ля мадам Санд. Она мне говорила, что непременно сошьет себе редингот из серого сукна, точно такой, какой она видела на Жорж Санд.

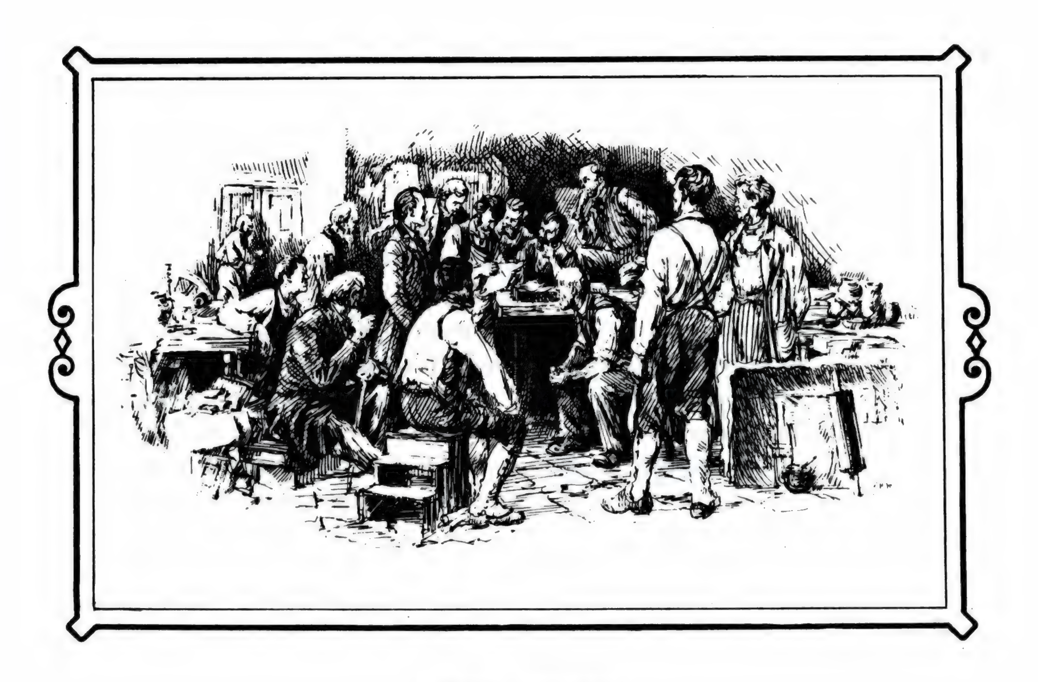
— Вот и прекрасно,— сказал Карл.— На ее фоне ты будешь выглядеть еще более женщиной, а это что-нибудь да значит. А о Жорж Санд я тебе скажу так: надеть мужской костюм — еще не значит присвоить себе мужские права. Попроси Георга, чтоб он рассказал тебе о некоторых молодых дамах из берлинского кружка «свободных», которые любят наряжаться в мужские костюмы.

— Что-нибудь неприличное?

— Разумеется, неприличное. Черт знает что они там творят,— вдруг зло заговорил Карл.— Распустились, болтуны, порочат святое дело.

— Карл,— остановила его Женни,— забудь пока о «свободных». Ведь мы идем в гости. Смотри, я уже надела твое любимое платье.— Женни вышла из спальни и кокетливо повернулась перед Карлом на одной ноге.

Он поймал ее за плечи, прижал к груди и поцеловал.



Глава вторая

Почти год прошел со времени их первой встречи в Кёльне. За этот год в жизни Георга Гервега произошло немало событий и перемен: в Берлине он встретился и разругался с кружком «свободных», с Бауэром и его компанией, и приобрел себе новых врагов в лице некоторых младогегельянцев. Там же, в Берлине, он получил аудиенцию у короля Пруссии Фридриха-Вильгельма IV и потерял своих бывших друзей, которые не могли ему простить эту встречу с королем, где он оставался безгласным — их поэт, их кумир, их революционное знамя.

Дальше — хуже. Сразу же после аудиенции король запретил распространение в Пруссии журнала, который предполагал издавать Гервег. Гервег был так огорчен этим — рухнули его литературные и издательские планы,— что ему пришла в голову несчастная мысль сочинить обращение к королю. Правда, он не предполагал предавать это обращение широкой гласности и разослал его только своим друзьям. Но, увы, среди многих друзей нашелся один, который передал его обращение в «Лейпцигскую всеобщую газету». Оно было напечатано, и Фридрих-Вильгельм,

едва ознакомившись с ним, приказал немедленно выслать Гервега из Пруссии.

Вслед за этим была запрещена в Пруссии «Лейпцигская всеобщая газета», запрещен в Пруссии, Саксонии, а затем и во всей Германии «Немецкий ежегодник» Арнольда Руге, в котором сотрудничал Гервег, поставлена на грань закрытия «Рейнская газета», выступившая в защиту Гервега. Карл, среди немногих, не изменил к Гервегу своего отношения, остался его другом, хотя не был в восторге от его поступков.

Было в жизни Георга Гервега и одно светлое событие: он женился на Эмме Зигмунд. Это произошло весной нынешнего года. Георг и Эмма много и приятно путешествовали, приехали в Париж и окунулись в жизнь большого света.

Но печальные события прошлого, кажется, подкосили Георга. Это особенно заметно по его новым стихам: разочарование, досада и даже затаенная враждебность к миру вытесняют из них прежнего Гервега — рыцарственного певца свободы, как сказал о нем Людвиг Фейербах.

Да и внешне Гервег стал другим. Карл хорошо помнит, каким он появился в редакции «Рейнской газеты», когда приехал в Кёльн в поисках сотрудников для задуманного им журнала. Не человек, а лучащийся дух. Дух славы, всеобщего братства. Знамя крестового похода против тирании. Незадолго до этой кёльнской встречи в Цюрихе, в Швейцарии, вышла его книга «Стихи живого человека». Книга против мертвящего рабства и всеобщей покорности. Она была запрещена прусской цензурой, но от этого стала более знаменитой — символом свободы. Ею зачитывались все, кто мечтал посвятить себя делу революции.

«Среди немногих поэтов он поистине первый и наиболее решительный представитель идеи прогресса и свободы» — так о нем написала тогда «Рейнская газета», гостем которой он был в Кёльне. В редакцию Георга привел Карл Гуцков, автор прославленного романа «Валли сомневающаяся». Но уже через несколько минут все забыли о Гуцкове. Взгляды всех были обращены на Гервега, все с жадностью ловили его слова. И он был дьявольски красив, этот Гервег, избранник славы, гений революционной поэзии.

Разумеется, не многое изменилось с тех пор в чертах лица Гервега — прошел всего лишь год. Но одно можно сказать о его лице совершенно определенно: оно угасло. Прежде влажные большие глаза Гервега горели восторгом, вдохновением, теперь в них поблескивает предательски слеза

обиды, горечи, они словно говорят: «Ах, вы не поняли меня, вы меня отвергли, но я вам еще докажу!..» Изменилось очертание его губ — они стали более капризными. Густые брови все чаще сходятся на переносице и нависают тяжело над глазами. Кончики его мягких усов то и дело свисают вниз, безвольно опадают.

Карл хвалил его терцины — гневные стихи против прусского короля, его эпиграммы на злобу дня, но с сожалением должен был отметить — про себя, разумеется,— что в них больше желчи, чем вдохновения. Гервег принимал похвалы Карла как должное — иной оценки своим стихам он, вероятно, и предположить не мог,— читал вяло, жеманно, а потом вдруг отодвинул листы со стихами, прижал их книгой и сказал:

— Я хочу тебе что-то показать, Карл. Пройдем в мою комнату. Надеюсь, что дамы простят нас и не очень будут скучать.

— Давай спросим у дам,— ответил Карл.

— Идите,— Женни кивнула головой.

— Ради бога,— махнула рукой Эмма.— Признаться, вы нам только мешали.

— Мои стихи мешали? — спросил Гервег.

— Ой, что ты! — смутилась Эмма.— Прости мне мою глупость. Так получилось... А между тем я хотела сказать, что мне и Женни надо посекретничать...

— Прости свою женушку, Георг,— сказал Карл.— Я признаю за женщинами право с некоторым легкомыслием относиться к тому, чем занимаются серьезные мужчины.

— Я тоже,— ответил Гервег, не принимая, однако, шутливого тона Карла.— Пойдем.

Они оставили женщин в гостиной и прошли в кабинет. Кабинет Георга, как, впрочем, и весь его дом, совсем не походил на кабинет Карла. Здесь были мягкие кресла, обитые дорогой материей, толстый ковер на полу, камин, отделанный мрамором, книжные шкафы, разукрашенные резьбой и позолотой, тяжелые и живописные портьеры на окнах, столик со шкатулкой для сигар и масса всяких красивых и дорогих безделушек — часы с человеческими фигурками, зеркало в бронзовой раме, серебряный подсвечник на письменном столе, где лежали аккуратные стопки чистой бумаги и листы, уже исписанные стихами, и стояли затейливые чернильницы, вырезанные из яшмы.

Рядом со столом, у стены, на которой красовался портрет Гервега,

стоял диван с подушками, расшитыми шелковыми узорами, справа от него — застекленный шкаф с напитками и бокалами.

Конечно, это не был кабинет ученого или даже журналиста. Это был кабинет поэта. Но ведь какого поэта? Разве не Гервег восхищался добровольным аскетизмом Беранже, называя его «Аполлоном хижин»? Разве он не был сыном штутгартского трактирщика? Разве он не окончил семинарию в Маульбронском монастыре? Разве он не собирался стать пастором, когда поступил на богословский факультет в Тюбингене? И наконец, разве в своих стихах он не бичует роскошь? Разумеется, Карл не ханжа, и он всем сердцем за то, чтобы поэты жили обеспеченно и удобно. В том числе и революционные поэты. Но сибаритство еще никого не украшало.

Георг, словно уловив мысли Карла, сказал:

— Это все Эмма, это она постаралась, это все в ее вкусе. Мне же, ты знаешь, ничего не надо. Поэты создают стихи не там, где они сидят, а там, где они витают...

Карл улыбнулся: когда говорят поэты, они даже о себе говорят красиво.

— Теперь ты понимаешь, как Эмма любит меня,— продолжал Гервег, угощая Карла сигарой.— Все это приобретено как подарок мне, в дополнение к приданому.

— Счастливый ты человек, Георг.

— Счастливый? — Гервег задумался, потом вздохнул и сказал, садясь рядом с Карлом на диван: — Конечно, счастливый. Но я был куда более счастливым, Карл, когда ее единственным подарком для меня были только слова. Только слова, Карл, одни слова. Ты все поймешь, когда я тебе прочту кое-что.— Он протянул руку к книжной полке, взял книгу и вынул из нее листок бумаги. Это было письмо Эммы.— Я иногда перечитываю его.— Гервег развернул письмо и показал его Карлу, словно хотел убедить его в том, что оно действительно написано Эммой.— Оно меня вдохновляет. В нем много искренности... И в нем запечатлено мое прошлое, моя былая слава. Вот послушай...— Гервег стал читать: — «Привет тебе, благородный немецкий певец! Своими ранними песнями ты, словно торжественными звуками органа, напел мне воскресное настроение, хотя я не была в церкви. Как велик, о боже, тот, кто способен так постигать тебя! Какими бесконечными дарами наделен человек, который умеет выносить на свет божий сокровища, подобно золотому самородку скрытые

в глубине сердца, выносить так свободно и цельно, что его внутреннее сияние превращается в величественное солнце жизни, а мужество становится в его руке пламенным мечом, направленным в любого деспота...» — Георг прижал письмо к губам и замолчал. Потом спросил, не глядя на Карла: — Это о ком написано? Неужели это обо мне написано?

— Я и сам готов написать о тебе нечто подобное,— сказал Карл, тяготясь этой сценой.— Только у меня не хватит таланта, чтобы написать так красиво, как Эмма.

— Теперь и она не сможет повторить то, что написала тогда.— Георг сложил письмо и спрятал его в книгу.— Да, не сможет.— Он поставил книгу на полку, поднялся с дивана и подошел к шкафчику, где стояли бутылки с напитками.— Тебе налить мозельского вина? — спросил он.— Я специально купил бутылку у Мозеса Шмидта на улице Мулен, чтобы угостить тебя, Карл. Ведь это вино твоей родины.

— Не откажусь,— сказал Карл, довольный тем, что разговор о письме Эммы окончен.— Сейчас на берегах Мозеля бродит молодое вино. Когда-то я там гулял и видел, как это делается...

Гервег принес Карлу бокал вина. Потом налил себе, и они выпили. Карл задымил сигарой. Гервег прошелся по комнате, сказал, что следовало бы, наверное, затопить камин, а потом остановился перед Карлом и спросил, не глядя на него:

— Ты, верно, уже слыхал, что я обидел Эмму?.. Она, должно быть, уже пожаловалась Женни. Во всяком случае, собиралась. Грозилась. Рассчитывала на то, что ты сделаешь мне выговор. Я, конечно, заслужил...— Он посмотрел на Карла, ожидая, что тот заговорит, но Карл промолчал.— Понимаешь, мое положение,— продолжал он,— несколько особое.— Гервег искал слова и поэтому говорил с большими паузами.— Меня всюду ждут, всем я интересен, и я, конечно, вынужден что-то делать, даже быть порою легкомысленным... К тому же чисто интеллектуальный интерес к некоторым особам иногда воспринимается как интерес иного рода, и отсюда всякие ненужные разговоры, даже сплетни...

— Георг,— остановил Гервега Карл.— Я, конечно, догадываюсь, о чем ты говоришь. Но ей-же-богу, Эмма на тебя не жаловалась. И я ничего подобного о тебе не слышал.

— Даже так? — удивился Гервег.

— Да, Георг. Я лишь догадываюсь. А ты, вероятно, догадываешься,

как я к этому отношусь. И если б ты не начал этот разговор, ты от меня ничего бы не услышал.

Гервег вдруг расхохотался, плюхнулся на диван рядом с Карлом, обнял его за плечи, потом вытер веселые глаза надушенным платком и сказал:

— А я думал, что ты уже приготовил для меня суровую отповедь. Разве ты не заметил, что я поглядывал на тебя с опаской? Мне казалось, что в твоих глазах уже сверкают молнии, а брови, как черные грозовые тучи, сошлись на переносице... Разве не так?

Карл пожал плечами.

— С чего ты взял? — спросил он.— Неужели у меня был такой мрачный вид? Правда, я вспомнил о Бруно Бауэре. Я хотел попросить, чтобы ты рассказал Женни, каким ты его нашел прошлой осенью в Берлине. Может быть, поэтому я показался тебе мрачным?

— Может быть.— Гервег встал и снова направился к шкафчику с напитками.— Это твое признание для меня как подарок, Карл. Я испытываю теперь необыкновенное облегчение. Значит, и Эмма не жаловалась, и ты меня не осуждаешь. И это есть праздник, Карл. Выпьем за этот праздник. Ты сделал мне подарок, и я сделаю тебе подарок,— сказал он, поднося Карлу бокал с мозельским.— Но не вино, нет. Я наконец расскажу тебе, как я беседовал, если так можно выразиться, с Фридрихом-Вильгельмом Четвертым. Хочешь?

— Хочу. Я тебя и прежде просил об этом.

— Но у меня не было тогда настроения. А сегодня я могу. Сегодня меня этот рассказ не заденет за живое. Рана уже хорошо затянулась.

— Значит, все-таки рана?

— Конечно,— ответил с грустью Гервег.— Как говорится, черт меня дернул. Я, конечно, чувствовал, что последствия моей встречи с королем могут быть дурными. Но тщеславие, Карл, оказалось сильнее моих дурных предчувствий. Ты только вдумайся: сын трактирщика говорит с королем как с равным, потому что этот сын трактирщика — поэт.

— Как с равным, Георг? Так ли?

— За Фридрихом-Вильгельмом — старый мир, за мной — новый! Я не только равен ему, я сильнее его!.. Вот я стою перед королем, его враг, и не боюсь его, и смотрю ему в глаза, и говорю ему: «Встретились деспот и поэт, власть силы и сила свободного духа, прошлое и будущее, увядание и расцвет!» Ты понимаешь?

— Разумеется, Георг.

— Ах, Карл, ты, конечно, понимаешь меня. Так хотелось бросить ему в лицо слова истины, правды, свободы! Не знаю зачем. Но я чувствовал, что надо! Надо объявить ему войну открыто, смутить его дух, его величие горячим словом правды! А тут еще этот лейб-медик короля, этот Шенлейн, взялся устроить встречу быстро, без проволочек. Он уверял меня в том, что король выслушает меня. И я пошел, Карл. Я пошел как будто с высоко поднятым знаменем впереди отряда бойцов. Так я себя чувствовал. Но вышло...

Гервег поднялся и нервно заходил по комнате: должно быть, все-таки рана, нанесенная ему королем, еще не затянулась.

— Но вышло все иначе. Вот как все вышло: тайный советник Шенлейн ввел меня к королю, и он, этот пьяница, этот гнусный человек, некогда любивший разглагольствовать о свободе и прогрессе, обманувший всех, он сказал мне, гнусавя: «Рад встрече с вами больше, чем той, какую имел некоторое время тому назад с одним чужестранцем. Я имею в виду господина Тьера»,— пояснил он мне. Потом он начал хвалить мой поэтический талант. Он восхищался моим поэтическим мастерством, он говорил, что я превзошел самого Уланда[1], и в то же время сожалел (при этом он даже вздохнул, подлый притворщик), что я придерживаюсь радикальных взглядов.

— Неужели вздохнул, Георг? — усмехнулся Карл.— Ты точно это помнишь?

— Точно! Он, конечно, очень хотел бы, чтобы я воспевал его, мерзавца, и его гнусную феодальную бюрократию. Он фарисействовал, он лицемерил, он нагло лгал мне в глаза. «Я люблю благомыслящую оппозицию,— говорил он мне.— Вы приобретаете необычайное влияние... Мы останемся честными врагами...»

— Это все подлинные его слова? — спросил Карл.

— Ты не веришь? А в заключение сказал дословно следующее: «Вы направляетесь в Кенигсберг. Там вы найдете многих, разделяющих ваши убеждения, решительную оппозицию некоторым моим правительственным принципам. Я знаю это, но люблю мужественный, независимый образ мыслей, и восточные пруссаки принадлежат к моим лучшим

[1] Уланд Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик.

друзьям». С этими словами он отвернулся и вышел, не дав мне сказать в ответ ни единого слова...

— Ни единого, Георг?

— Ни единого! Можешь представить себе, Карл, в каком состоянии я вышел из дворца. Я послал ко всем чертям Шенлейна!.. Я проклинал себя!.. Я проклинал весь мир... И, признаюсь тебе, как близкому другу, я готов был покончить с собой. И только мысль об отмщении, о страшном отмщении удерживала мою руку.— Гервег наконец остановился и в полном бессилии опустился на диван рядом с Карлом.— Что было дальше, ты знаешь,— добавил он ослабевшим голосом.— Изгнание, запреты, проклятия, позор, предательства... О филистеры! Безотрадный, покинутый богом народ! Те самые люди, которые еще вчера с восторгом бросались мне на шею, стали бросаться на меня, как бешеные собаки. Но я устоял. Верно, Карл? Я устоял...

— Да,— сказал Карл.— Ты устоял.

Гервег обнял его и поцеловал в щеку.

— Спасибо тебе, Карл. Ты знаешь, за что я тебя благодарю. Ты хорошо знаешь. Мы еще покажем этой своре лакеев, как дерутся истинные революционеры! Верно?

— Верно.

— И вот мое начало этой борьбы: я написал стихотворение «Ненависть». Я надеюсь, что оно будет опубликовано в первом номере нашего журнала. Пусть Фридрих-Вильгельм захлебнется от ярости и страха, прочитав его. Пусть он вспомнит, как был упущен великий и неповторимый момент в его жизни, как он проиграл свою жизнь, свою судьбу.

Карл не стал расспрашивать Гервега, что он имеет в виду, говоря о судьбе, о великом и неповторимом моменте. Он догадывался, что Гервег, идя на аудиенцию к прусскому королю, втайне лелеял еще одну, совершенно фантастическую надежду, на какую способен только поэт. Ему, должно быть, грезилось, что король, выслушав его страстную речь в защиту правды и свободы, обнимет его, как не раз обнимали его восторженные юноши и девушки Германии, и скажет со слезами на глазах: «Отныне я с тобой, о великий поэт! Я — король Пруссии, а ты — мой король. Руководи мной, апостол революции!» Такая невероятная мысль могла родиться только в голове поэта... Король, конечно, проиграл свою великую и славную судьбу. Но сделал он это гораздо раньше. Хуже другое: свою великую и славную судьбу едва не проиграл сам Гервег,

встретившись с королем. Эта встреча обернулась для него потерей тысяч поклонников и многих друзей.

— Пойдем к нашим дамам,— предложил Карл.— Боюсь, что они уже ропщут.— И, не дожидаясь согласия Георга, направился к двери.

— Одну минуту,— остановил его Георг.— Я не прочел тебе мою «Ненависть». Ведь ради этого стихотворения я и позвал тебя сюда. Мне не хотелось читать его при Эмме: в последнее время она стала пугаться моих выпадов против королей. Она боится, что кто-нибудь из них мне отомстит — и таким образом будет разрушено наше семейное счастье, о котором она печется с чрезмерным усердием.

— Тебя это раздражает, Георг? А по мне, семейное счастье — высокий предмет. Гретхен Гёте — мой идеал.

— Ну, Карл! — развел в удивлении руками Георг.— Ты меня разочаровываешь! Ведь искренняя жизнь и революция исключают семейное счастье, семейный покой. Искренняя жизнь — это первое условие бытия подлинных поэтов, а революция — их мечта. Семейное же счастье, если о нем постоянно печься, делает нас всего лишь робкими филистерами. Разве не так, дорогой Карл?

— Разумеется, не так,— ответил Карл.— Ради твоей блестящей теории я даже на словах не предам мою Женни, Георг.

— О! — дурашливо воскликнул Георг.— Я повержен! Твой аргумент сразил меня наповал!

— То-то же,— улыбнулся Карл.— Даже самые строгие теории не могут устоять перед женским очарованием. Бруно Бауэр уверял меня, что эти слова однажды произнес Гегель.

— Когда я слышу имя Гегеля, я умолкаю,— сказал Гервег.— Оно на меня действует, как взгляд удава на кролика. Оно парализует все мои интеллектуальные способности. Мне хочется упасть на пол и накрыть голову подушкой. Согласись, Карл, что имя Гегель звучит, как удар грома, как внезапный удар грома, когда ты не увидел молнии и не подготовился к громовому удару, а он вдруг — Гегель!

— Уж если чье имя и звучит подобно грому, так это имя Фейербах,— возразил Карл.— Впрочем, я думаю, что оба эти имени будут долго греметь подобно весеннему грому над обновляющейся землей.

— Вот! — обрадовался Георг.— Теперь и ты заговорил как поэт. И теперь я прочту тебе, наконец, мои стихи о великом короле Фридрихе-Вильгельме Четвертом, который предал дело своего народа.— Георг

взял со стола листок со стихами и собрался было уже читать, но тут в кабинет заглянула Эмма.

— Чем занимаются здесь наши мужчины? — заговорила она певучим голосом.— Не пьют ли они здесь вино, спрятавшись от дам? — И, увидев стоящие на столе бокалы, сокрушенно закачала головой: — Конечно, пьют. Ах, какие нехорошие, какие бяки наши мужчины! Женни! — позвала она.— Иди сюда, Женни! Полюбуйся на наших мужчин!

Эмма была златокудрая, как сирена Лорелея. И голос у нее был звучный — тоже как у рейнской сирены, заманивавшей корабли на скалистый риф. Медовый месяц Эмма и Гервег провели в Южной Франции, у моря, под горячим солнцем. И следы этого солнца еще остались на обнаженных руках и плечах Эммы — золотистый загар, который был ей очень к лицу.

Появилась Женни. Женщины взяли своих мужей под руки и насильно увели из кабинета в гостиную.

— Придется тебе, Георг, читать стихи здесь,— сказал Карл.

— Придется,— вздохнул Гервег.

Он прочел стихи. Женни и Эмма похлопали ему в ладоши. Карл сказал:

— Мы обязательно поместим эти стихи в нашем «Ежегоднике».

— А Руге? — усомнился Гервег.— Думаешь, они понравятся Руге?

— Если и не понравятся, я его уломаю,— пообещал Карл.

— В таком случае, я спокоен,— сказал Гервег.— Твою способность уламывать, как ты выразился, я знаю, ведь ты за такие дела берешься не один, а целой компанией.

— О чем ты? — спросил Карл.— Я не понял.

— А что тут понимать? Я говорю, что ты уламываешь своих друзей и своих врагов не один, а целой компанией: вместе с Гегелем, с Фейербахом и всеми философами, какие жили до них. Непобедимая компания! Совершенно непобедимая! А поэты выходят сражаться всегда в одиночку. Поэт является поэтом ровно настолько, насколько он сам поэт. За плечами же философа — все философы, от Фалеса[1] до нашего Мозеса Гесса,— неисчислимая рать.

— Но зато прекрасные дамы аплодируют тебе, а не мне, Георг, а это чего-нибудь да стоит,— сказал Карл.— Слава поэта и слава филосо-

[1] Фалес — древнегреческий философ.

фа — несравнимы. Поэтов носят на руках, забрасывают цветами, а философов редко кто знает в лицо. Во всяком случае, так было до сих пор.

— Да, так. Но я не закончил свою мысль о том, что ты, Карл, уламываешь несогласных компанией,— продолжал Гервег.— Сказав это, я подумал, что ты, вероятно, смог бы уломать «свободных», а вот Арнольд Руге не смог. Они его едва не поколотили. Драка была уже рядом с ним, до первой шишки на лбу оставалась, думаю, минута-другая, но тут наш Арнольд выскочил из кабачка Гиппеля, как выскакивает пробка из бутылки шампанского. А ты бы, Карл, устоял. Ты повел бы «свободных» за собой, когда бы жил там, в Берлине. Я в этом уверен. Мне жаль «свободных»: они погрязли в болоте. Ведь прекрасная голова — Бруно Бауэр. А Каспар Шмидт, а Людвиг Буль, а Кеппен, а Рутенберг?! Имена! А поэты и художники, которые вращаются вокруг них, как пчелы вокруг медоносного луга. А приват-доценты, а офицеры и студенты! А дамы! Дамы! — воскликнул Гервег.— Боже, какие там дамы! При них можно рассказывать анекдоты — они и ухом не поведут, носик не поморщат от соленейшего словца. А как все они пьют мозельвейн! А как курят! Из окон кабачка Гиппеля валит дым, будто из печи. А какие там произносятся речи! Страшно слушать — не то что произносить.

— Похлеще твоих стихов? — спросила Эмма.

— Мои стихи в сравнении с их речами — детский лепет,— ответил Гервег.— Будь я на месте Фридриха-Вильгельма, я немедленно отправил бы их всех на рудники, заточил бы всех в тюрьмы, а кое-кого и повесил бы...

— Георг, ну что ты говоришь! — возмутилась Эмма.— Как можно? Если твои слова станут когда-нибудь известны «свободным», они раструбят о них по всему свету, чтобы опозорить тебя.

— Думаешь, нас кто-нибудь подслушивает, Эмма? Или ты сомневаешься в Карле и Женни? — в свою очередь возмутился Георг.

Видя, что назревает ссора, Карл громко сказал:

— Ты, Георг, ошибаешься, Фридрих-Вильгельм никогда этого не сделает, да и ты не обошелся бы так жестоко со «свободными» на его месте. Напротив, Фридрих-Вильгельм должен их тайно поощрять и лелеять, потому что они его лучшие помощники: они превращают революционное дело в клоунаду и тем самым дискредитируют это дело. Вот в чем их заслуга перед королем. Даже наш терпеливый Арнольд это понял, не правда ли? Что он там им сказал, перед тем как выскочить из

кабачка, подобно пробке из бутылки шампанского? Помнишь, Георг?

— Естественно, помню. Он крикнул им буквально следующее: «Свинством не освобождают людей и народы!»

— По-моему, прекрасно сказано.

— За что же такое резкое осуждение? — спросила Женни.— Чем именно они так провинились перед Руге?

— Когда тебя хотят побить за то, что ты не желаешь слушать глупости, и ревут, как тысяча ослов, напирая на тебя стеной, можно сказать и не такие слова. Но надо знать еще кое-что: они пируют в кабаках, разыгрывая там грязные фарсы, а когда у них кончаются деньги, бегут, сняв шляпы, на улицу и выпрашивают деньги у прохожих на продолжение попойки. Да только ли это? Все их суемудрие — оскорбление святого дела свободы и прогресса. Одним словом — свинство, как сказал наш Арнольд.

Было воскресное утро, ясное и тихое.

Едва проснувшись, Карл вспомнил о том, что сегодня ему предстоит побывать на собрании рабочих у Тронной заставы, куда пообещал проводить его Герман Мёйрер, сосед. И подумал, что именно с этого посещения собрания начнется его настоящая работа здесь, в Париже. Что это, если говорить образно, доброе предзнаменование. Ведь в Париж он приехал не для того, чтобы заниматься поиском абстрактных истин — этому безобидному занятию он мог бы отдаваться и в Пруссии,— а для того, чтобы найти истины для живого дела. Из всех живых дел самое живое — революция. Революция неимущих. Ему хотелось поскорее увидеть тех, чьими руками она будет совершаться, увидеть их лица, послушать их речи и, если удастся, проникнуться их ощущением времени. Это так важно — чувствовать время, знать, кто пробивает его скорлупу: курица или орел?

Герман Мёйрер сослужит ему неплохую службу. Правда, идея всеобщего равенства, хоть и отражает чувства рабочих, все же является наивной, лишь первым и грубым приближением к подлинной идее равенства и братства, которая вызревает в рабочем движении и которой нужно помочь родиться во всем величии и блеске. Карл готов быть ее повитухой. Он просто обязан стать ее повитухой, потому что мир уже стонет в родовых муках.

Две революционные волны прокатились по Франции. Казнен народом король Людовик XVI, сбежал за границу король Карл X, пролилась кровь народа и кровь вождей Великой французской революции.

Иногда кажется, что жертвы были напрасны: ведь на французском троне снова король — король биржевиков Луи-Филипп.

Но надвигается новая революционная волна, уже отчетливо слышен отдаленный шум прибоя.

Четыре года назад вывел на улицы Парижа с оружием в руках свое «Общество времен года» Огюст Бланки; с камнями и дубинками в руках встретили королевских солдат восставшие рабочие Тулузы в сорок первом году; заговорил с рабочими школьный учитель Теодор Дезами, увлекая их идеей коммунизма, призывая к обобществлению собственности, труда и воспитания, а вслед за ним — лишенный сана священник Жан-Жак Пийон, зовущий к обществу без дворцов и хижин. Этьен Кабе написал роман «Путешествие в Икарию», роман о стране, где все живут счастливо, где хозяевами страны являются рабочие. Луи Блан ратует за всеобщее избирательное право и за создание кооперативных товариществ. Сын крестьянина, парижский наборщик Пьер Прудон выпустил книгу, в которой заявил: «Собственность — это кража».

Заговорщики, трибуны, проповедники, пророки — все зовут к новому будущему. Но где среди них ученые? Где та наука, которая с математической точностью докажет, что это новое будущее не пустая мечта, а неизбежность, что в мире с необходимостью восторжествуют равенство и братство?

Должны быть такие ученые, должна быть такая наука, такая философия.

И конечно же, это не та философия, которую исповедует в Берлине Бруно Бауэр и которую, надо признаться, исповедовал еще не так давно сам Карл. В ней было много заманчивого для юноши, поверившего в силу духа, в силу разума и просвещения, в несокрушимую мощь атеизма. Казалось, что стоит лишь уничтожить религию, как будет уничтожен существующий порядок вещей и на развалинах старого мира возникнет новый, разумный, новое разумное государство. Ведь это она, христианская религия, погубила античный мир, античную красоту и гармонию. А значит, общество, свободное от христианства, также будет прекрасным.

Бруно предполагал, что первым таким разумным государством станет

Прусское государство и что именно это предопределит участь всего мира. А потому — в бой за разумное Прусское государство! Да здравствует всесильная критика!

Весной сорокового года умер старый прусский король Фридрих-Вильгельм III. Его место на троне занял Фридрих-Вильгельм IV. Все жили ожиданием перемен, потому что молодой король, казалось, объявит о наступлении новой эры — эры свободы.

По словам самого Бруно Бауэра, в те дни утреннее сияние надежды лежало на всех лицах. Король любил искусство, любил философию, любил то, любил это — так говорили о нем все, кто хотел верить в приближение счастливого мига свободы.

Но, увы, король оказался заурядным королем, еще более реакционным, чем его отец Фридрих-Вильгельм III. Оказалось, что под личиной любви к свободе он скрывал другую любовь — любовь к мрачному средневековью. Он ужесточил цензуру, он уволил из университетов всех свободомыслящих преподавателей: все чистое и честное устремилось прочь из Пруссии, чтобы не погибнуть. И тогда умолкли обыкновенные арфы и зазвучали Эоловы — по их струнам ударила буря негодования. В диссонанс с их торжественным гулом зазвучали, однако, голоса «свободных»: чем громче они кричали, тем расплывчатее становились их мысли и тем заметнее их любовь к самим себе, к своему шутовству, к бездумному фразерству, тем понятнее главное их занятие — бессовестная самореклама.

Затем они вдруг накинулись на социалистов и коммунистов, так как их учения, видите ли, ограничивают свободу развития критического «я». Обвинили их в трусости и прочих смертных грехах, себя же объявили единственными носителями и выразителями истинного самосознания.

Карл, бывший в ту пору редактором «Рейнской газеты», назвал «свободных» берлинскими вертопрахами, а их сочинения, которые они присылали в его газету, пачкотней.

Бруно Бауэр потребовал от него объяснений. Карл ему не ответил. На том и закончились их дружеские отношения. Хотя, конечно, жаль: в младогегельянской трясине пропало несколько славных умов, которые могли бы стать нужными истинному революционному делу.

Чем больше философов станет на сторону будущей революции, тем больше разума будет привнесено в ее результат. Философы же — редкость. К сожалению, они не вырастают, как грибы из земли. Они — про-

дукт своего времени, своего народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в их философских умах, в философских идеях...

Карл хотел встать тихо, чтобы не разбудить Женни. После возвращения от Гервегов Женни пожаловалась ему на усталость и головную боль. Ей следовало бы побольше поспать. Но она проснулась, едва он опустил ноги на пол, и спросила, улыбаясь:

— Уже утро?

— Ты поспи еще,— сказал Карл.— Я хотел пойти предупредить Мёйрера, чтобы он не стучал к нам. Но теперь ты проснулась, Женни, и, значит, доброе утро, дорогая, доброе утро. А утро и на самом деле обещает быть хорошим: небо голубое, как весной, и ветки на деревьях как нарисованные — не колыхнутся... Как твоя голова, Женни?

— Кажется, хорошо,— ответила Женни.— Прошла. А как чувствуешь себя ты?

— Почему ты об этом спрашиваешь? Разве я на что-нибудь жаловался?

— Не жаловался. Но вечер, проведенный с Гервегом, стоит, помоему, многих тяжелых вечеров.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что я видела, как у тебя в глазах загорались злые синие огни, когда начинал говорить Гервег: ведь тебе трудно слушать такие речи, Карл.

— Какие речи?

— Речи мужчин, похожих на женщин.

— Ты считаешь, что Гервег похож на женщину, Женни?

— Конечно: он склонен к истерике и к экзальтации. Эмма мне жаловалась на него.

— Разумеется. Но тут вся беда в том, что Георг все более становится для нее только мужем и все менее — поэтом. Это трагедия многих поэтов, которые женятся... Однако потороплюсь,— сказал он,— ибо, как утверждал один мудрец, наша жизнь погибает из-за медлительности.

— И все же я видела синий огонь в твоих глазах,— сказала Женни.— Ведь Гервег говорил нелепости: «Я ненавижу абсолютное и в шапке, и в шляпе...» — это о коммунизме и монархии. И еще: «Я ненавижу королей и чернь: и в тех и в других по-разному скрывает себя человек».

— Как ты все это запомнила? И зачем? Георг много выпил и, конечно, говорил глупости. А любит он не себя, а свой талант. Я думаю, что без этой любви поэт не может творить. Но ты права, Женни, я злился. Но теперь уже не злюсь. Я все ему простил. Он, в сущности, дитя... Женни! — позвал он уже из гостиной.— Посмотри в окошко! Всходит солнце. А кто-то сказал, что при восходе солнца забываются грехи ночи...

У Тронной заставы Маркс и Мёйрер отпустили фиакр и дальше пошли пешком. Шли недолго — помещение, в котором собирались рабочие, оказалось в нескольких десятках метров от городских ворот. Это было небольшое приземистое здание, скорее, похожее на склад, чем на лавку, с низкими окнами, взятыми в железную решетку, с плоской черепичной крышей без дымоходов и, стало быть, неотапливаемое. Оно стояло чуть поодаль от шоссе, за деревьями. К нему вела дорога, разбитая колесами тяжелых телег, и несколько тропок. Между строем тополей, которые ограждали здание от шоссе, и самим зданием на просторной поляне паслись козы и гуляли пестрые куры.

Маркс и Мёйрер прошли к зданию по тропке. У входа в помещение их остановили двое парней, спросили по-немецки, кто их приглашал. Мёйрер назвал какую-то фамилию, которая, вероятно, служила пропуском, и парни пропустили их в дверь.

Помещение оказалось довольно просторным. Около двухсот человек свободно разместились на скамьях, слушая оратора. Оратор говорил по-немецки: это было собрание немецких рабочих, которых в Париже, по словам Мёйрера, насчитывалось около семидесяти тысяч.

Маркс услышал то, что ожидал услышать. Когда собираются бесправные, неимущие, уставшие от тяжелой работы люди, они говорят о равенстве, о расправе с богатыми, с королями, о человеческой жизни в обществе братства свободы. Именно об этом говорил оратор. Люди внимательно слушали его и наградили аплодисментами, когда он закончил речь. Должно быть, это был уже не первый оратор. Во всяком случае, не последний. Как только стихли аплодисменты, к трибуне вышел совсем молодой человек, бледный от волнения, одетый не по-рабочему. Да и сама его речь сразу же выдала в нем человека образованного, умеющего говорить.

— Кто это? — спросил Мёйрера Карл.

— Здесь не называют имен,— ответил Мёйрер.— Важно не то, кто говорит, важно то, что он говорит.

— ...Великий француз Вольтер,— говорил между тем новый оратор,— отвечая тем, кто утверждал, что разделение людей на неимущих и имущих вечно, что таковыми люди уже рождаются, спрашивал: значит, первые родились на свет с седлами на спинах, а вторые — со шпорами на ногах? И отвечал: люди рождаются равными. Рабами и рабовладельцами их делает общество. Стало быть, общество, где люди подразделяются на рабов и рабовладельцев, должно быть уничтожено во имя изначальной природы человека...

Карлу хотелось курить, но здесь никто не курил. Он обратил внимание также на то, что полки, предназначенные для винных бочонков и бутылок, пусты. И это взволновало его больше, чем речь юного оратора: если люди собираются не для общего питья, еды, курения, значит, их объединяет нечто другое, более достойное человека. Значит, они сознательно отказываются от грубых развлечений, сознательно выкорчевывают в себе социальную болезнь — пьянство и распущенность и возводят в главный принцип общения классовое братство, классовый союз. Высокая цель, суровая миссия — все это, разумеется, требует высокой дисциплины и высокого благородства. И вот оно, это благородство, сияет на их загрубелых от труда лицах. Широкие плечи, сильные руки, трезвые головы. Таким людям покорится любое дело.

После ораторов перед собравшимися выступал хор. Исполнялись песни, которых Карл прежде не слышал, а вернее, гимны: о тяжелой доле рабочего, о том, что не по доброй воле его сердце наполняется ненавистью к хозяевам и богачам, что месть его за унижения, за голод, за болезни, за преждевременную гибель близких будет великой и справедливой.

Когда начались танцы, Карл и Мёйрер вышли на улицу — так они условились: покинуть собрание, когда начнутся танцы.

— Что вы скажете, доктор Маркс? — спросил Мёйрер.

— Да,— ответил Карл.— Я убежден, что человеческому братству можно в наше время научиться только у рабочих.

— У немецких рабочих,— уточнил Мёйрер.

— И у французских рабочих,— возразил Маркс.— И у английских... Всюду, где они организуются для общей борьбы. Жаль, однако, что эти организации ограждены конспирацией от широкого движения. Вы словно

заранее соглашаетесь с тем, что ваша деятельность незаконна, и предоставляете в руки полиции повод к преследованиям и репрессиям.

— А как же иначе? — удивился Мёйрер.— Неужели мы можем открыто заявить, что хотим прогнать королей, уничтожить частную собственность?

— Вот,— сказал Карл.— В этом-то и беда. Рабочий класс с неизбежностью осуществит то, о чем вы сказали. Просто потому, что он существует. И об этом должны знать все рабочие. Все, господин Мёйрер.

Они увидели свободный фиакр и заторопились к нему, боясь, как бы кто-нибудь их не опередил.

На следующее собрание Маркс отправился с Мозесом Гессом, своим товарищем по «Рейнской газете», и доктором Эвербеком, с которым Маркса познакомил Гесс.

Собрание состоялось там же, у Тронной заставы. Оно было еще более многолюдным, чем предыдущее.

Эвербек и Гесс выступили на собрании с короткими речами. Оба говорили о Германии, о растущем сознании германских рабочих и ремесленников, для которых все очевиднее становится тот факт, что их главная сила — в братстве.

— Придет час,— сказал в заключение своей речи Гесс,— и все мы вернемся на родину, к своим братьям и сестрам, в их новый прекрасный дом, который они возведут своими руками.

— Поддерживать прекрасные мечты нужно,— сказал Гессу после собрания Карл.— Но нужно идти дальше. Пора идти дальше. Я говорю о беспощадной критике всего существующего. Ты прав, Мозес, наступит час, и так далее. Я тоже верю в это. Но наступит ли он сам? Призывать к наступлению — мало. Надо работать для того, чтобы он наступил. Не только произносить слова, но и действовать. Мы знаем, каким нам хочется видеть будущий мир. Но кто и как осуществит наши надежды, наши планы? Они осуществят.— Карл указал рукой на здание, из которого они вышли.— Рабочие. Как? Ответ на этот вопрос может быть найден только в действительной борьбе. Нужно готовить немецких рабочих не к возвращению в Германию, а к борьбе здесь, во Франции, вместе с французскими рабочими. Наша задача — определить истинный лозунг этой борьбы.

Ни Гесс, ни Эвербек не возразили Марксу. Оба понимали, что прав он. Вслушивались в его слова, радовались, что они дают им пищу для новых мыслей.

Дома Карла ждал пакет от издателя Фребеля из Швейцарии, с которым Руге договорился об издании «Ежегодника». В пакете были статьи, предназначенные для журнала. Страницы статей были перепутаны, многих вообще не оказалось.

— Поработала полиция,— сказал жене Карл.— Какая — швейцарская или французская?



Глава третья

Вторую неделю шел дождь, мелкий, надоедливый, холодный. В Люксембургском саду опавшие листья на тропинках превратились в скользкую кашицу, бассейн с рыбами покрывала серая рябь, лебеди топтались на мокрых настилах у своих кормушек, неохотно спускались в черную холодную воду. Поздно светало. Дни стояли тусклые. Дома, деревья, мосты над Сеной — все обволакивала густая сетка дождя. На рынке, который стал в эти дни малолюдным, лежали мокрые горы капусты. Мокрыми были лошади. Размокал на улицах конский навоз и растекался темными лужицами. Вода лилась с крыш, размывая тротуары. Люди прятались под зонтиками, потускнели их лица. Скучным и тусклым представлялся в эти последние дни ноября Париж.

Еще более мрачным казалось и без того мрачное здание дворца Мазарини. Огромной, грубой и темной глыбой оно высилось посреди площади, как древняя скала посреди озера, и трудно было вообразить, что внутри этого камня, этой глыбы, этой скалы — книги, свет жизни человеческой.

Всю вторую половину ноября Карл работал в библиотеке и лишь дважды, по просьбе Женни, оставался дома. Тогда-то они и гуляли под дождем в Люксембургском саду и побывали на Центральном рынке. Карл, окунувшись в привычную для него жизнь, скоро стал забывать о том, что он в Париже. Париж перестал занимать его мысли, вторгаться непрошено в душу — он стал для него привычным, как вообще становится привычным для человека место его работы.

Теперь и в Трире идут дожди, и в Берлине, и в Бонне, и в Кёльне. Шумят дожди над Рейном, над Мозелем, над Эльбой — точно так же, как и над Сеной. Но запах у них другой, и травы под ними мокнут другие. И на другом языке говорят об этих дождях и об этих травах люди...

Но об этом лучше не думать. Пусть это ощущение горечи присовокупится к иным ощущениям, какими награждает человека трудная работа. Истинная же работа всегда трудна. Или, как говорил Демокрит, все значительное создается лишь чрезмерным трудом...

Создаст ли Карл что-либо значительное — покажет время. Но то, что труд его чрезмерен, он ощутил в полной мере вчера: стали вдруг болеть руки, ноги, спина, словно он не в библиотеке работал, а в поле, будто он не книги читал, а снопы вязал. Впрочем, руки, ноги, спина не так тревожат его, как глаза, особенно правый глаз, поврежденный некогда на дуэли в Бонне студентом из прусского землячества, с которым враждовало трирское землячество. Карл был тогда как раз председателем трирского землячества. С той поры уже прошло более семи лет...

Интересно, какие опасения вызвало бы у отца его нынешнее положение? Тогда отец беспокоился, что Карл станет «заурядным стихоплетом». Спустя год он уже беспокоился, что Карла ждет «одичание в халате ученого с нечесаными волосами». И вот он действительно в халате, больной, лежит на топчане в чужом доме, в чужом городе и слушает, как стучит по стеклам дождь. И у него болят глаза, потому что он перетрудился, сидя две недели безвылазно в темном зале библиотеки. И если бы только это. По ночам он писал в своем кабинете. И вот результат: ни читать, ни писать он теперь не может...

Женни очень обеспокоена его состоянием. Бегала к Гервегам, к Мёйрерам — справлялась, где можно найти врача. Помог Эвербек, которому Карл отправил по просьбе Женни записку с Мёйрером. Эвербек привел врача. Врач, осмотрев Карла, сказал, что его болезнь — результат переутомления. Выписал глазные капли и с тем удалился.

Герман Эвербек был на два года старше Маркса, хотя выглядел сейчас моложе его, потому что, во-первых, был здоров, а Маркс болен, а во-вторых, как все блондины, Эвербек вообще казался моложе своих лет. Он был хорошо одет, вполне по-парижски. Его бакенбарды, усы и бородка были аккуратно подстрижены и, кажется, слегка напомажены. От него пахло немного духами, немного табаком, немного вином — Мёйрер нашел Эвербека в кафе Гейлера на Рю де Ларб, где обычно собирались руководители «Союза справедливых» для обсуждения своих текущих дел.

Карл встретил Эвербека и врача сидя, а теперь, когда врач ушел, Эвербек приказал ему лечь, придвинул к топчану кресло и сел в него. Покивал укоризненно головой и сказал:

— Все ясно, доктор Маркс. Ваша очаровательная жена рассказала мне, как вы вели себя все эти дни перед тем, как заболеть, и вот диагноз: вы перестарались, доктор Маркс, в своем рвении. Через два-три дня, если будете лежать,— добавил он по возможности строго,— все пройдет и без капель.

— Я так и думал,— сказал Карл.— И не моими хлопотами вы доставлены сюда, но хлопотами моей жены...

— Надо говорить: «Моей очаровательной жены»,— поправил его улыбчивый Эвербек.— Да, да! — поднял он кверху палец.— Весьма очаровательной.— И вздохнул. Бог весть о чем вздохнул. Может быть, о том, что невозможно продолжать этот разговор, поскольку он исчерпан.

Герман Эвербек любил разговоры о красивых женщинах. Впрочем, только безобидные разговоры и абсолютно бескорыстные. Он поклонялся женской красоте. Герман Мёйрер считал это его слабостью, быть может, даже непростительной слабостью, поскольку поклонение женской красоте вынуждало Эвербека носить вполне щегольскую одежду, а это, по мнению Мёйрера, так не вязалось с его положением в «Союзе справедливых».

Но было более важное обстоятельство, которое объединяло Мёйрера и Эвербека: Эвербек, как и Мёйрер, поклонялся старику Кабе, предпочитал всем книгам его книгу «Путешествие в Икарию», всем газетам — его газету. А все это означало, что Эвербек видел в каждом члене «Союза справедливых» будущего проповедника сладких мечтаний Этьенна Кабе, в то время как иные настаивали на том, что каждый член «Союза справедливых» — будущий боец. Когда вспыхнет революция в Германии, говорили они, «справедливые» отправятся туда с оружием в руках. Эвер-

бек же считал, что «справедливые» вернутся в Германию как учителя новой жизни, когда в Германии победит демократия.

Таковы были расхождения в самом «Союзе справедливых». Сторонники Эвербека осуждали тех членов «Союза справедливых», которые 12 мая 1839 года хотели выйти на улицы Парижа вместе с «Обществом времен года» Огюста Бланки с оружием в руках.

— Мы очень надеемся на ваш журнал, доктор Маркс,— сказал Эвербек.— Мы считаем, что одним из сотрудников вашего журнала должен стать Этьенн Кабе.

— Да,— ответил Карл.— Доктор Руге полагает, что Этьенн Кабе согласится сотрудничать с нами. Кстати, не только Этьенн Кабе, но и другие коммунисты. И социалисты.

— Социалисты? — удивился Эвербек.— А эти господа зачем вам? Их благими пожеланиями, как говорится, выстлана дорога в ад для рабочего человека. Реформы, реформы, реформы... И все лишь для того, чтобы не вспыхнула революция, которой они боятся, чтобы сберечь такую милую для них частную собственность...

— Но и они бичуют пороки нынешнего общества,— возразил Карл,— им также хорошо видны причины, которые могут привести к революции.

— Разумеется.— Эвербек перестал улыбаться.— Только слепые могут не замечать язв, которые разъедают наше общество: бездуховность, пьянство, вырождение, нищету, разврат... Кабаки по воскресным дням забиты рабочим людом, который пьет без меры, до одичания, до свинства. А когда этот люд вываливается из кабаков, начинаются новые беды: драки, поножовщина. Избитые и бесчувственные люди валяются в грязи, замерзают и умирают в сточных канавах.

Однообразная и тяжелая работа уродует людей. Женщин! — воскликнул Эвербек.— Женщин, доктор Маркс. Они становятся грубыми, сутулыми. Они рождают уродов. Они продают за грош свое тело и называют это дополнительным рабочим часом. Дети гибнут от голода, от грязи, от холода в лачугах...

Кто же этого не видит, доктор Маркс? Коммунисты видят, однако, лучше, чем все другие, и потому предлагают не жалкие реформы, а радикальную меру: отмену частной собственности. Полную отмену! Всякой собственности!

Эвербек встал, подошел к рабочему столу Карла, взглянул на бумаги, лежавшие там в беспорядке, спросил:

— Это будущие статьи?

— Да,— ответил Карл.

— И о чем же они, если не секрет?

— Разумеется, не секрет,— ответил Карл.— Речь идет о критике...

— Ах, о критике! О том, какой она должна быть, против кого она должна быть направлена, кого она должна разить, а кого щадить... Я угадал?

— Не совсем,— ответил Карл, поднимаясь и садясь.— Речь идет о более существенном: о том, что оружие критики должно соединиться с критикой оружия. О том, как философия находит в пролетариате свое материальное оружие и как пролетариат находит в философии свое духовное оружие.

Эвербек подумал и сказал, поглаживая пальцами бородку:

— Что ж, мысль ясна. Даже очень ясна. Только как соединить философию и пролетария? Ведь философия — это нечто такое, что доступно лишь избранным. Нравственные принципы, принципы организации нового общества — это понятно, это может быть доступным для всех. Все могут понять цель: создать общество без собственности... Но философия, высокие материи... Нет, это утопия, доктор Маркс.

— Боюсь, что утопия — это как раз то, о чем говорите вы. Надо знать, почему общество без собственности возможно и необходимо, есть ли у него почва и что она собой представляет, эта почва. Вавилоняне, как известно, хотели построить башню до небес, чтобы увидеть бога: цель была ясна. И как строить башню, вавилоняне тоже знали. Они не знали только, устоит ли такая башня на земле... И она, как известно, рухнула...

— Не сама, доктор Маркс, не сама,— засмеялся Эвербек.— Ее разрушил бог.

— Ну вот видите, еще и бог тут вмешался. А ведь и это нужно было знать.

— Вы, однако, ложитесь,— спохватился Эвербек.— Я, кажется, совсем забыл, что вы больны. Ложитесь и лежите. И прекратим спор. Отложим его до другой встречи. Не скрою, что буду ждать ее с нетерпением. Поправляйтесь. Отдыхайте и поправляйтесь.

Эвербек ушел. Проводив его, Женни вошла в кабинет, укрыла Карла клетчатой шалью и сказала:

— Три дня и три ночи ты будешь бездельничать, Карл. Обещай мне.

— Обещаю,— ответил Карл, приподнялся и поцеловал Женни.— Как тебе понравился Эвербек? — спросил он.

— Очень милый,— сказала Женни.— Не представляю, как он руководит рабочими. Он совсем не похож на Робеспьера, Карл.

— Не похож. Потому что у самих рабочих нет четких, осознанных целей. Они все еще тянутся к проповедям о равенстве, не выходящем за пределы мечты бедного человека. Я же думаю, что рабочему классу нужны не проповеди, а научная теория революции. А еще я думаю, что истинный долг интеллигенции — создать такую теорию.

Они помолчали.

— Карл,— сказала Женни.— Я могла бы тебе, наверное, помогать. Я могла бы, например, переписывать то, что ты написал. За многие годы нашей переписки я так хорошо изучила твой почерк, что могу прочитать все, даже если там вместо букв одни загогулины. Ты позволишь мне?

— Позволю ли я? Родная ты моя, единственная, друг мой сердечный! Я буду тебе только благодарен за помощь. Она мне очень-очень нужна.— Карл погладил ее руки.— Очень-очень...

— Ты преувеличиваешь, конечно...— начала было Женни, но Карл не дал ей договорить.

— Нисколько,— заговорил он горячо.— Все именно так: мне очень нужна твоя помощь. Я тороплюсь. Я проглатываю книги десятками, я перевариваю в своей голове сотни идей. Мне просто необходимо торопиться: близка новая революция. Женни! И новая катастрофа, если рабочие не осознают свои задачи и свои возможности. Как это уже не раз случалось, их опутают своими идеями всякого рода доктринеры и политиканы и пожнут плоды на их поле. Этого больше нельзя допустить. Поэтому я так тороплюсь, милая Женни...

Женни положила ему руку на лоб, сказала ласково:

— Конечно, Карл, конечно, мой милый лохматик. Ты просто не можешь не торопиться, если революция действительно близка. Но при этом ты хотя бы самую малость должен помнить о нас. Правда, Карл?

— Правда. Я помню, Женни. Я всегда об этом помню. И очень надеюсь, что мы проживем долго, что нашей жизни хватит на все: на философию, на революцию и на наших будущих детей.

Женни наклонилась и прижалась лицом к лицу Карла.

— Я тоже очень на это надеюсь,— сказала она.— Пусть все так и будет: философия, революция и дети.

...К ночи похолодало. Прекратился дождь. А вскоре в разрывах бегущих туч показались по-зимнему яркие звезды.

Карл уговорил Женни, чтобы она разрешила ему спать в кабинете.

— У меня бессонница,— сказал он,— и я буду ворочаться и мешать тебе. К тому же лежать с открытыми глазами в темноте мучительно. Я останусь в кабинете, зажгу лампу и стану о чем-нибудь думать, раз уж мне не суждено уснуть.

Женни хоть и не сразу, но согласилась, потребовав от него обещания не читать и не писать. Карл такое обещание дал. И вот теперь он лежал в кабинете при слабом свете лампы — Женни сама опустила в ней фитиль так, что огонек едва теплился,— и смотрел в окно.

За окном, постукивая голыми ветками, качался на ветру каштан. Звезды то возникали из черноты, то вновь исчезали. Шум ветра у стекол и в ветвях дерева, чернота, холод, бесприютные звезды — все это было там, за прочными стенами, в мире неприкаянных судеб.

А здесь, в доме, было тепло, слабо потрескивали и светились сквозь щели дверцы угли в печи, огонек в лампе, как светящаяся капля стекла, стоял неподвижно, не зная о том, что такое ветер, что такое беспредельная тьма.

Старые книги, которые Карл и Женни привезли с собой из Крейцнаха, прочно стояли на полках, будто они постарели здесь, в этих стенах, будто они стояли здесь всегда.

За приоткрытой дверью в соседней комнате спала Женни, его любимая жена. С нею рядом он не смог бы почувствовать себя неуютно даже в пустоте Вселенной... И все же это не вся жизнь, не все, чем она согревается... Кто развил в себе жажду борьбы и познания, тот поймет его. Эта жажда особенно сильна в нем теперь, когда он так явственно ощутил близость решения самых жгучих проблем, когда в его руках новые средства борьбы.

Прав Фейербах: истинный философ должен быть галло-германской породы, соединить в себе немецкую мудрость и французскую способность действовать. Увы, старый философ мало сделал для практического осуществления этой идеи. И вот он, Карл Маркс, принялся за эту работу, за создание нового революционного оружия. Оружия невиданной мощи. «Немецко-французский ежегодник» станет настоящей иерихонской трубой, от звуков которой рухнут стены дряхлого мира... Скорее бы приехал



Руге! Пора уже, наконец, приступить непосредственно к изданию журнала.

Единство мысли и действия, теории и практики, философии и революционного движения. Принцип единства ясен, и он велик. Служение ему — долг философа и революционера. Вопрос в другом: что должно быть соединено, какая теория и какая практика, какая философия и какая революция?

Фейербах утверждает, что смысл всякой философской деятельности должен заключаться в том, чтобы сделать философа человеком, а человека — философом. Каким философом? Каким человеком? Он мудр, этот Фейербах. Все тайны религии и философии, утверждает он, скрыты в человеке. Религия — это извращенное отражение в сознании отношений между людьми. Бог создан страдающим человеком по своему образу и подобию. Потустороннее божество — это лишь вынесенная за пределы человека сущность самого человека.

Точно так же гегелевская философия вынесла за пределы человека его мышление и превратила в абсолютный дух.

Человек разорван, опустошен. Религия и философия похитили у него самое главное: свободу действий и свободу мысли. Стало быть, принцип объединения мысли и действия должен включать в себя также и принцип свободы.

Религия и философия натворили в этом мире массу бед. Из всех этих бед — главная та, что государство, как творение бога и духа, почитается священным и нерушимым. А между тем народ вправе создавать такое государство, которое соответствует его интересам, его сущности.

Каковы же эти интересы и какова эта сущность? Фейербах полагает, что они скрыты в природе человека. А какова эта природа?

Человек — существо не столько природное, как думает Фейербах, сколько социальное: сущность его составляет не то, какая у него борода, рост, цвет глаз, кого он любит или не любит, что он ест или пьет, а то, каково его положение в обществе.

Правы те, кто задачу изменения государственного строя видит прежде всего в том, чтобы уничтожить частную собственность. Но это лишь начало революционной работы. Дальше ее — непочатый край. Будущее не возникнет само собой, едва лишь исчезнет частная собственность. И каково оно, это будущее?

Принципы построения будущего надо вывести из прошлого. Надо по-

казать, как новый мир рождается из старого мира, как из рабства возникает свобода, из унижения — достоинство, из животного — человек. И тут нужен не фантазер, а ученый, не проповедник, не пророк, а исследователь.

Необходима теория, в центре которой будет поставлен человек. И главным выводом этой теории должно стать требование: все отношения, в которых человек является униженным, порабощенным, беспомощным, презренным существом, должны быть низвергнуты! Ибо таково требование самого этого существа, каковым является пролетарий.

Именно к пролетариату должна быть обращена новая теория, новая философия. Она призвана разорвать его духовные цепи, а он разорвет всякие цепи угнетения. И нет никакого сомнения, что сделает это именно пролетариат, потому что нынешний пролетарий лишен всяких человеческих прав и достоинств. Возродить себя он может лишь путем уничтожения старого социального и политического строя. Общество, лишенное частной собственности, может создать лишь пролетариат. Лишь униженный до конца может потребовать, чтобы было уничтожено всякое унижение...

Карл поднялся и осторожно прикрыл дверь в соседнюю комнату, где спала Женни. Затем поднял фитиль в лампе, сел к столу, взял перо и торопливо записал мысль, которая созрела в его мозгу.

«Подобно тому как философия находит в пролетариате свое *материальное* оружие, так и пролетариат находит в философии свое *духовное* оружие, и как только молния мысли основательно ударит в эту нетронутую народную почву, свершится эмансипация *немца* и *человека*... *Голова* этой эмансипации — *философия*, ее *сердце* — *пролетариат*. *Философия* не может быть воплощена в действительность без упразднения пролетариата, а пролетариат не может упразднять себя, не воплотив философию в действительность».

Он ученый. А как ученый он знает: трудно определить цель, но еще труднее — достичь ее. И еще он знает: великие цели не достигаются в одиночку. Его же — тем более. Значит, и здесь — работа, которой сейчас еще не видно конца. Работать, создавать, бороться. В сущности, таково вообще призвание человека на этой земле, его судьба. Однако судьба судьбе рознь. И эта рознь — в тяжести работы, в значительности создаваемого, в остроте борьбы. Кто впереди, тому труднее всех.

Карл погасил лампу и лег. Какое-то время он еще смотрел в окно

и слушал, как постукивают о стену дома ветки каштана. Дважды появлялись и исчезали звезды — по небу мчались облака, гонимые северным ветром. Потом он услышал, как где-то далеко запели петухи. Это были первые петухи, которые поют в два часа ночи.

Заглянув в кабинет и увидев Карла спящим, Женни удивилась и встревожилась. Обычно Карл просыпался рано, раньше, чем она, хотя и Женни давно привыкла вставать с рассветом. И то, что Карл еще спит, могло означать, что он в болезненном забытьи. Это и встревожило Женни.

Она подошла к Карлу и склонилась над ним, вглядываясь в его лицо. И по мере того как она убеждалась, что лицо его полно покоя, тревога покидала ее и наконец сменилась радостью: ее Карл просто спал, спал здоровым и крепким сном.

Она хотела было потрогать на всякий случай его лоб, но тут же передумала: это прикосновение могло бы разбудить Карла, а будить его совсем не хотелось. Женни так редко видела его спящим, таким безмятежным и тихим. Ей просто редко удавалось полюбоваться им. Карл мгновенно улавливал, когда ее взгляд останавливался на нем, и приходил в движение: начинал говорить, смеяться и если сидел, то поднимался ей навстречу, а если стоял рядом, то принимался обнимать ее, целовать. И вообще, стоило ей лишь появиться в поле его зрения, он уже сам не отводил от нее глаз. А теперь вот он, рядом. И не видит ее. И наверное, не помнит о ней, забыл, находится в мире, где ее нет. Что это за мир такой, в котором есть он и нет ее? Впрочем, и о себе, наверное, не помнит.

Карл пошевелил губами, застонал и открыл глаза.

— Ты? — спросил он и вздохнул с облегчением.

— Я,— ответила Женни.

— Как хорошо,— сказал Карл.— Как хорошо, что это ты. И вообще, как хорошо, что я проснулся.

— Я тоже так считаю,— сказала Женни.— Влюбленные должны и спать и бодрствовать одновременно, чтобы ни на минуту не ощущать разлуки друг с другом.

— Да, Женни. Да.— Карл потянулся к ней, обнял.— И во сне они должны видеть друг друга. Я же видел Арнольда Руге. Ох! — Карл потер ладонью лицо.— Мне снилось, что я просил у него деньги, а он не давал... Нет, каков, а? Даже в моем сне он остается самим собой. Вот человек, вот сила характера! Говорят, что у злой собаки даже тень ку-

сается. Это про Арнольда. Я обязательно ему это скажу, когда увижу его.

— А как ты себя чувствуешь? — спросила Женни.

— Чувствую? — Карл повращал глазами, подвигал руками и ногами, потянулся и с радостью сообщил: — Знаешь, я совсем здоров, Женни! Ничего у меня не болит! Совсем ничего!

— Это же прекрасно, Карл!

— Конечно! Врач ошибся. Он обещал мне вчера, что я буду болеть три дня, а я проболел всего один. Что же мне делать в оставшиеся два дня, на которые я еще вчера махнул рукой, как на пропащие?

— Карл,— сказала Женни,— давай мы разыщем Генриха Гейне. Ведь ты же хотел познакомиться с ним и сказать ему, как ты любишь его стихи.

— Генриха Гейне! Это прекрасная мысль. Я никогда тебе не говорил, чтоб ты не подумала, будто я хвастаюсь, но Генрих Гейне доводится мне дальним родственником. Таким образом, по двум причинам мне следовало бы разыскать его: во-первых, потому, что я люблю его стихи, а во-вторых, потому, что он мой родственник...

— А в-третьих, потому, что я так хочу,— добавила Женни.— А в-четвертых, потому, что тебе судьба подарила два свободных дня...

— Да. Есть и пятая причина: Генрих Гейне непременно должен сотрудничать в нашем журнале.

— Значит, отправимся к нему?

— Нет, Женни. Все это значит, что к нему мы не поедем...

— Почему? — удивилась и огорчилась Женни.— Я не понимаю...

— А потому, моя любимая, что Генрих Гейне должен прийти к нам сам.

— Он уже приглашен?

— Руге виделся с ним летом, ты это знаешь. Он рассказал ему о наших планах, о нашем журнале. И вот, если Гейне решит, что наш журнал — подходящая для него трибуна, он придет к нам. Придет как друг, как единомышленник, как соратник. А если он решит, что мы для него неподходящая компания, он, естественно, не придет! Поэты должны быть ограждены от всякого насилия, Женни. Их выбор должен быть свободен. Даже наша любовь не должна влиять на их выбор. И потому мы умолчим о нашей любви к Гейне, и потому мы не пойдем к нему.

Правда, Руге утверждал, что Гейне сам разыскал его, сам назначил ему встречу у фонтана в саду Пале-Рояль и даже сам предлагал ему

свои услуги... Но я не верю Руге: он всегда не прочь прихвастнуть тем, что касается его известности, влиятельности, значительности, наконец. Впрочем, ты это знаешь.

— Как жаль,— вздохнула Женни.— Чем же мы займемся?

— Женни,— Карл подошел к ней и обнял за плечи,— Женни, я, наверное, тебя огорчу, но раз уж я здоров, раз уж судьба подарила мне два свободных дня, то я их... Словом, мне надо поработать, Женни. Знаешь, родная, время не ждет. И к тому же в библиотеке мною заказаны книги. Они не будут лежать еще два дня. Библиотекарь мой — очень суровый старик, он обидится: он разыскал книги, которые не так легко ему разыскать, а меня нет. Представь себя на его месте. Ты тоже обиделась бы.

Женни не нужно было представлять себя на месте библиотекаря, чтобы обидеться на Карла. Ей достаточно было того, что она на своем месте. Так хотелось побыть с Карлом эти два дня, все равно, как и где, и Карл, разумеется, мог бы пожертвовать ради этого библиотекой. У Женни от обиды предательски дрогнул подбородок, но Карл, к счастью, не заметил этого, а уже в следующий миг она сумела взять себя в руки и, кажется, даже успела убедить себя в том, что прав Карл, а не она, и сказала:

— Конечно, милый. Иди в библиотеку. Только прошу тебя: пообедай где-нибудь и возвращайся домой пораньше.

— Хорошо,— обрадовался Карл.— Все так и будет.

И все же день этот сложился не так, как намечал Карл.

Едва позавтракав, Карл и Женни услышали на улице оживленные голоса. Выглянув в окно, они увидели карету, вокруг которой бегали и шумели дети. А потом из кареты вышел Арнольд Руге и помог сойти своей жене.

Увидев Карла и Женни в окне, Руге помахал им рукой и указал на них фрау Руге. Та улыбнулась и неожиданно, совсем по-парижски, послала им воздушный поцелуй.

— Пойду помогать,— сказал Карл.— Небось притащили целую гору вещей.

Они спустились на улицу вместе.

Руге пожал Карлу руку и артистично поклонился Женни.

— Рекомендую,— сказал он ей о фрау Руге,— моя жена.

Подойдя к Женни, фрау Руге по привычке маленькой женщины приподнялась на носках и поцеловала в щеку склонившуюся к ней Женни.

— Я так рада, моя душечка, моя баронесса,— заговорила она по-немецки,— я так рада, что вижу вас, что мы наконец здесь, что передать вам не могу. Арнольд говорил мне о вас, описывал вас,— фрау Руге отступила на шаг, чтобы лучше видеть Женни,— но вы прекраснее всех его описаний. Вы просто душечка, баронесса.

— Фрау Руге,— сказала Женни,— не называйте меня баронессой. Какая я баронесса? Называйте меня фрау Маркс, мадам Маркс — как вам удобно. А еще лучше — Женни. Вы старше меня, фрау Руге.

— Да, фрау Маркс. Разумеется, фрау Маркс. Но ведь вы все-таки баронесса,— погрозила коротким, толстым пальцем фрау Руге, добродушно улыбаясь.— Но я буду вас называть Женни. Буду, буду. Я надеюсь, что мы очень-очень подружимся.

— А это все ваши дети? — спросила Женни.

— Да. Все мои.

— Сколько же их?

— Я и сама сбиваюсь со счета,— засмеялась фрау Руге.— Когда они бегают и шумят, мне кажется, что их целый полк...

Вещей в карете оказалось не так уж много: четыре или пять чемоданов, два из которых отнес в дом Карл. Но пока он это делал, к дому подкатил омнибус. И вот он-то оказался набитым вещами доверху, главным образом тяжелыми ящиками с мясом — соленым и копченым, как объяснила фрау Руге.

— В Дрездене,— сказала она,— мясо значительно дешевле, чем в Париже. Об этом мне сказал Арнольд. И вот мы решили запастись. Теперь осень, прохладно, мы ничем не рисковали, мясо прекрасно сохранилось. Скоро сами убедитесь, я вас угощу.

Руге не принимал участия в перетаскивании вещей.

Мёйрер, видевший вчера Карла больным, очень удивился, встретив его на лестнице с грузом на плечах. Хотел было сказать ему что-то, но лишь махнул рукой и тоже принялся за работу.

Руге сидел в широком, обитом кожей кресле — он привез его в Париж вместе с другими вещами («Я привык работать, сидя именно в этом кресле»,— объяснил он всем) — и отдавал распоряжения, что и куда ставить, да еще покрикивал на детей, которые носились шумной ватагой

по квартире, по лестнице, вокруг дома. Они были всюду, где только можно было бегать и шуметь. Фрау Руге, однако, заступалась за них перед мужем и не переставала повторять всем, что дети, проведшие столько дней в карете, в тесноте и неподвижности, просто не могут не бегать и не шуметь. Она просила всех извинить их, на что Карл весело сказал:

— Когда шумят дети, это не шум, это музыка, фрау Руге.

Фрау Руге посмотрела на Карла с такой благодарностью, будто он совершил бог знает что — спас ее детей от неминуемой беды. А поскольку после слов Карла Руге перестал покрикивать на своих детей — он слышал, что сказал о них Карл,— фрау Руге готова была, кажется, расцеловать Карла. Во всяком случае, она сказала о нем Женни:

— У вашего мужа добрейшее сердце! — при этом с искренним восторгом прижала руки к груди.

Обедали все вместе в гостиной Марксов: Карл, Женни, Руге, дети, Мёйрер с женой. Едва уместились за двумя сдвинутыми друг к другу столами. А когда пришли Эмма и Георг Гервеги, пришлось принести из квартиры Мёйреров еще один стол.

Угощение выставил Руге — из привезенных запасов: шпик, копченые колбасы, окорок. Фрау Руге и Женни успели приготовить к обеду салаты, поджарить мясо, сварить кофе. Стол был хоть и не очень изысканный — по парижским, разумеется, не саксонским представлениям,— но зато всего, что на нем было, было вдоволь. Все это видели, но никто об этом не говорил: праздничный стол есть праздничный стол, праздники не каждый день и, значит, не каждый день будет на столах такое изобилие. Всем это давным-давно ясно.

Однако Руге не утерпел и сказал:

— Если мы в нашем фаланстере[1] каждый день будем так есть, мы вылетим в трубу.

— Ошибаешься, дорогой Руге,— сказал Маркс, чтобы свести его слова к шутке.— Мы не сможем вылететь в трубу, если даже очень захотим.

— Это почему же? — спросил Руге.

— Потому, что, если мы каждый день будем так есть, мы станем тяжелыми и толстыми. Так что никакой сквозняк не поднимет нас, тяжелых, и никакая сила не протолкнет нас, толстых, через трубу.

Все засмеялись.

---

[1] Фаланстер — здесь в переносном смысле: большая семья, коммуна.

— Есть еще одна причина, по которой мы не вылетим в трубу,— с неуместной, казалось, решительностью заявила Эмма Гервег. Этот ее решительный тон подействовал даже на детей, которые вдруг перестали есть и насторожились.

— Ну, ну,— сказал Руге, кладя вилку на стол.— Мы ждем, фрау Гервег. Продолжайте.

Карл уже догадался, о чем хочет сказать Эмма. Взглянув на Женни, он понял, что и она догадалась: Эмма решила отказаться от участия в фаланстере.

— Мы не вылетим в трубу,— продолжила между тем Эмма,— потому что идея жизни коммуной меня и Георга не устраивает. Мы хотим жить отдельно,— сказала Эмма, очаровательно улыбаясь.— И вы, надеюсь, нас поймете: нам хочется жить так, как нравится Георгу и мне, не связывая себя... обязательствами перед вами, ну и так далее.

— Это и твое решение, Георг? — спросил Руге у Гервега.

— Разумеется,— ответил Гервег, пряча глаза.

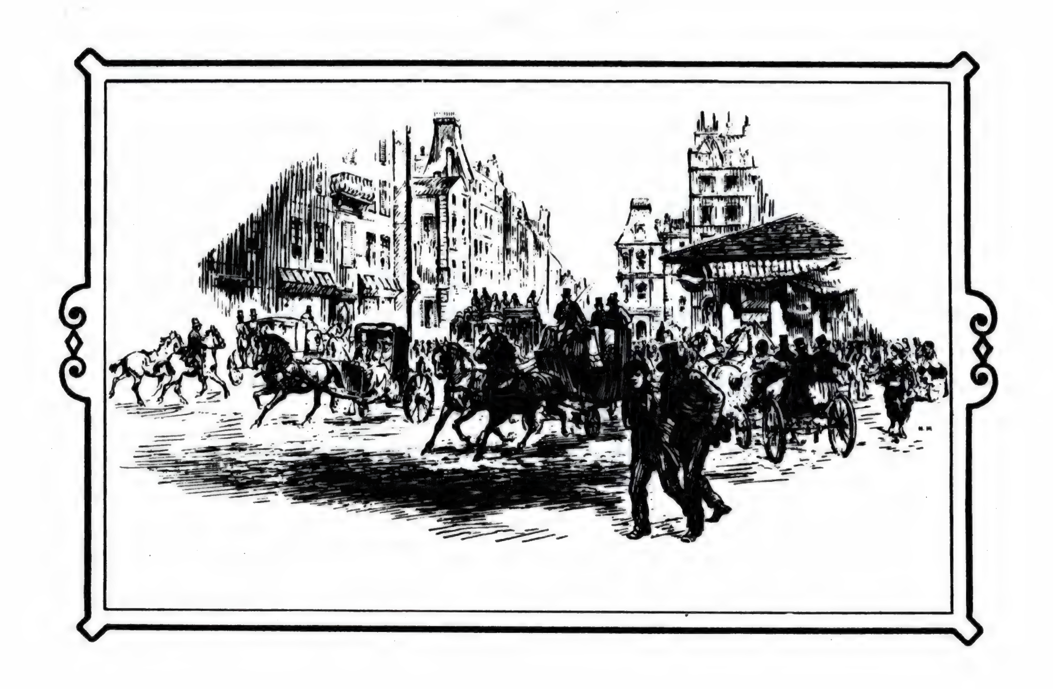
— Что ж, коммуна — дело добровольное,— сказал Руге.— Надеюсь, фрау Маркс и фрау Мёйрер также обсудили мою идею.

— Да,— первой сказала Женни.— Я также хочу, следуя примеру Эммы, отказаться.

— А вы, фрау Мёйрер? Впрочем, если вы и согласны на коммуну,— сказал Руге,— коммуны уже не получится. Очень жаль, господа. Жаль, что наша жизнь в Париже начинается именно так — с крушения пусть маленьких, но все же планов. Надеюсь, что это не предзнаменование? — Руге взглянул на Карла.

— Не верю ни в какие предзнаменования,— ответил Карл.

Руге на протяжении всего обеда дулся и молчал.



Глава четвертая

Они еще раз обсудили программу будущего журнала. На этом настоял Руге. И Карл догадывался почему: Руге подозревал, что намерения Карла могли измениться, что жизнь в Париже могла повлиять на Карла в нежелательном для Руге направлении.

Карл, однако, не стал раскрывать перед Руге свои карты. Он снова подтвердил, что разделяет точку зрения Руге, что главным принципом их журнала должен остаться принцип гуманизма, как его сформулировал Руге: «Действительное соединение немецкого и французского духа есть соединение в принципе гуманизма». Карл знал, что это означало конкретно, как понимал этот принцип Руге: философское и политическое решение различных проблем, которые волнуют сегодня Европу, главным образом Германию и Францию. Предполагалось, что по своему философскому характеру журнал будет ориентирован на Германию, а по своим практическим устремлениям — на Францию. Что он будет являть собой наглядный пример истинно свободного журнала, в котором смогут со-

трудничать философы и политические писатели многих прогрессивных школ и направлений.

Руге заботился о долгой жизнеспособности своего детища, о его будущей широкой популярности среди интеллигенции, живущей по обе стороны Рейна, и, разумеется,— и это не в последнюю очередь — о доходах, которые будет приносить журнал лично ему, Руге, и издателю Фребелю.

В доходах был заинтересован и Карл, поскольку материальное положение его и Женни полностью зависело теперь от Руге. Это удручало Карла. Впрочем, тогда, в мае, когда Карл и Руге договорились об издании журнала в Париже, это обстоятельство его не так мучило, как теперь, потому что ему самому его собственные принципы не представлялись тогда так четко, как теперь.

— И вот наша ближайшая задача,— сказал Руге, вполне удовлетворенный тем, что взгляды Карла на программу журнала не изменились.— Мы должны будем в ближайшие дни познакомиться и побеседовать с целым рядом наших французских коллег.

— Я готов,— ответил Карл.— С некоторыми из них я уже познакомился заочно, по их книгам.

— И каково твое впечатление? — спросил Руге.

— Думаю, что галло-романский принцип будет стоить нам многих разочарований, дорогой Арнольд.

— Например?

— Например, аббат Ламенне, которого ты включил в список наших возможных сотрудников. Он критикует, но что он предлагает взамен? Он полагает, что новое общество может быть построено на принципах христианства. Как совместить христианские принципы с принципами гуманизма?

— Трудно, конечно,— ответил Руге.— Но при известном старании можно.

— При известном старании, как известно, можно превратить муху в слона. Фейербах позеленел бы от твоих слов, Арнольд.

— Не думаю,— возразил Руге.— Ведь что говорит Фейербах? Он говорит, что христианские принципы есть извращенные принципы действительных человеческих отношений.

— «Извращенные... Извращенные»! И тут ничего нельзя сделать, ничего нельзя совместить, как нельзя совместить ложь и правду, Ар-

нольд. Ведь даже полправды — всего лишь ложь. Правда может быть только полной. Всякое совмещение ей смертельно противопоказано.

— Допустим,— сказал Руге.— Но остается другой Ламенне — критик современного общества, и таковой он для нас вполне приемлем.

— Пожалуй,— согласился Карл.— Но приемлемы ли мы для него?

Ламенне от сотрудничества отказался. Он был крайне удивлен, услышав о гуманизме, который якобы разбивает все прежние заблуждения и освобождает людей от религиозности.

— Вы полагаете, что вера вредна? — спросил он.— Вы думаете, что будущее общество выбросит религию на свалку? И что только это принесет людям свободу?

— Мы не утверждаем,— сказал Карл,— что люди должны будут покончить со своей религиозной ограниченностью, чтобы уничтожить свои мирские путы. Мы утверждаем лишь то, что они с неизбежностью покончат со своей религиозной ограниченностью, как только уничтожат свои мирские путы. И потому мы, господин Ламенне, не станем превращать мирские вопросы в теологические. Мы хотим превратить теологические вопросы в мирские. После того как историю достаточно долго объясняли суевериями, мы суеверия объясняем историей.

— Я вас понял,— сказал, мрачнея, Ламенне.— В вашем лексиконе нет даже места для слова «вера». Вы заменили его словами «религиозная ограниченность» и «суеверие». Что ж, вы далеко пойдете.— Ламенне поклонился, давая понять, что разговор окончен.— Но когда вам, молодой человек, захочется вернуться, боюсь, вы не найдете обратной дороги: она зарастет чертополохом неверия и цинизма.

— Проклятый аббатишка! — ругался Арнольд Руге, возвращаясь вместе с Марксом домой.— Мы обойдемся без него, Карл. Уцепился за своего Христа, как горный путешественник за хвост коня: и зрелище неприятное, и отцепиться страшно. Найдем других, Карл. Ты не огорчайся.

Огорчался сам Руге. Карл же предвидел, чем кончится встреча с Ламенне. Он даже желал, чтобы она окончилась именно так. Редакторский опыт, который он приобрел в Кёльне, в «Рейнской газете», подсказывал ему, что расхождения на религиозной почве кончаются в конце концов скандальным разрывом. Так не лучше ли, думалось ему, не

вступать в отношения с людьми, разрыв с которыми заведомо неизбежен.

— Но как ты ему хорошо сказал! — похвалил Карла Руге.— Мы хотим превратить теологические вопросы в мирские... Как это верно, Карл! Я верю: у нас будет журнал, от которого все эти аббатишки запляшут, как каштаны на раскаленной сковородке.

— Хорошо бы,— сказал Карл.— Я очень хочу в это верить.

— У нас будут французские сотрудники, будут! — продолжал Руге, не слушая Карла.— Еще есть Луи Блан, Ламартин, Прудон, Лерю, Кабе, Консидеран. Поверь мне, эти люди на голову выше, чем Ламенне. Ты увидишь!

— О Луи Блане я бы этого не сказал,— заметил Карл.— Я видел его в библиотеке. Он на все три головы меньше Ламенне, уверяю тебя.

— Да?! — Руге остановился и удивленно уставился на Карла.— На три головы?..

— Ах, Арнольд,— рассмеялся Карл,— ты не понял, что я шучу. Я говорю не об уме Луи Блана, а об его росте. Он вот такой маленький, словно мальчишка, если не видеть лицо. Да и лицо у него совсем мальчишечье, хотя ему тридцать два или тридцать три года...

— Все бы тебе шутить,— упрекнул Карла Руге.— А ведь речь идет о самом, быть может, главном деле нашей жизни, Карл. Журнал, как мы его задумали, станет историческим событием. Да, да, не улыбайся! Мы сблизим два народа, две культуры, две философии, если можно так выразиться, и тем самым создадим нечто значительное, Карл. Веришь ли ты в это?

В этом был весь Руге: он воодушевлял себя патетическими речами, перед тем как впасть в уныние. В уныние же он впадал теперь чаще, чем следовало бы. Причина этого была для Карла ясна: свои личные поражения Руге воспринимал как исторические поражения всего освободительного движения.

А между тем его личные поражения становились все более неизбежными: время требовало суровых истин, а не благих мечтаний. Руге был просто более или менее простодушным, хотя и не лишенным хитрости человеком. А время нуждалось в глубоких теоретиках и борцах.

Ему мечталось о том дне, когда все умные, все добрые люди возьмутся за руки и торжественно пойдут навстречу счастью, просвещению и прогрессу.

Но этот день не только не приближался, а становился все более отдаленным, все более невозможным. В недрах общества вызревала новая сила — рабочий класс. И ему предстояло изменить мир. Он был грозен, суров, груб в своей простоте и непреклонности. Он готовился к штурму, а не к торжественной процессии с песнопениями. И он, рабочий, пролетарий, отвергал проповеди, благие пожелания прекраснодушных мечтателей... И потому не удивительно, что уделом последних стало уныние, разочарование.

Но зато какое высокое уныние, какое божественное разочарование! Бруно Бауэр, например, договорился до того, что призывает ненавидеть народ, считает его причиной всех прошлых и будущих поражений, отказывает ему в праве творить историю.

Карл думал об этом, пока они обедали в кафе перед тем, как им отправиться к Луи Блану, Маленькому Луи, которого называли так в противоположность Большому Луи — Луи-Филиппу, королю Франции.

— Ну а как встретит нас Луи Блан? — спросил Руге, расплачиваясь за обед.— У тебя есть, Карл, какое-нибудь предчувствие на этот счет?

— Арнольд,— сказал Карл,— я, конечно, мог бы отшутиться. И ты, видимо, именно этого ждешь от меня. Да и мне совсем не хочется тебя огорчать. Но по-моему, Луи Блан поведет себя точно так же, как Ламенне. Его рабочие ассоциации, о которых он говорит, совсем не предполагают, что нынешний строй должен быть отменен или как-то серьезно преобразован. Общественные мастерские или рабочие ассоциации спасут рабочих от нищеты — так думает Луи Блан, а общее избирательное право, за которое он ратует, даст им равные с другими сословиями права. И все это в рамках нынешнего общества, в рамках нынешних политических, религиозных, научных и прочих представлений. Вот и все. В одной из его статей я даже прочел о том, что религия поможет рабочим забыть об их старой вражде с другими сословиями...

— Опять религия? — вздохнул Руге.— Опять эта гадина!

— Опять, дорогой Арнольд. Атеистическая пропаганда, по мнению Маленького Луи, опасна. Как тебе это нравится?

— Ты советуешь не встречаться с Луи?

— Нет, Арнольд, давай встретимся. Любопытно все-таки узнать, насколько я прав в своих предположениях.

— А его критический задор? Может быть, он возьмет верх в его намерениях? Мы откроем ему в журнале широкую дорогу для критики.

— У Луи есть одна существенная особенность, Арнольд. Он критикует нынешний государственный строй за то, что он может вынудить народ к новой революции своей глупостью и жестокостями. Он предлагает реформы, которые сделают этот строй разумным и добрым и, таким образом, избавят общество от будущей революции.

— Ты все это точно знаешь? Не выдумываешь, Карл?

— Увы,— ответил Карл.

— О чем же мы станем в таком случае с ним толковать?

— О высоких каблуках,— засмеялся Карл.— Маленький Луи носит башмаки на высоких каблуках.

Опасения Карла оказались обоснованными. Луи Блан похвалил Руге за важное начинание, каковым, по его мнению, может стать «Немецко-французский ежегодник» («Для распространения великих идей братства»,— сказал он), и, сославшись на свою большую занятость («На моем рабочем столе — серьезное, очень серьезное сочинение»), от сотрудничества в журнале в данный момент отказался.

Руге и Маркс уже уходили, когда он сказал:

— Хочу дать дружеский совет: не злоупотребляйте атеистической пропагандой. В области высокой теории атеизм допустим, поскольку возможен как логическая альтернатива христианству. В практических же делах он вряд ли полезен.

— И этот туда же! — раздраженно проговорил Руге, когда они вышли на улицу.— Кто следующий?

Следующим был Пьер Леру, старик Леру, как сказал о нем Мозес Гесс, который присоединился к Руге и Марксу на следующий день. Леру не был стариком — ему к тому времени исполнилось только сорок восемь,— но Мозесу Гессу, который был на пятнадцать лет моложе его, он, несомненно, представлялся уже стариком.

Руге обиделся на Гесса:

— В таком случае я для тебя тоже старик? — спросил он.— А для Карла я и вовсе дряхлый старец?

— Арнольд...— Мозес Гесс попытался обнять Руге.— Честное слово, я не хотел...

Руге отвел его руку и долго молчал, стараясь идти так, чтобы не оказаться рядом с Гессом, чтобы между ним и Гессом все время находился Карл. Карл вскоре заметил это и несколько раз отставал, задерживаясь у витрин магазинов, а потом, догнав Мозеса и Арнольда, при-

страивался либо со стороны Мозеса, либо со стороны Арнольда — так, чтобы Мозес и Арнольд вновь оказались плечом к плечу. Обнаруживая это, Руге менял место, а потом сказал Карлу:

— Ты можешь не отставать? Мы из-за тебя опаздываем!

Карл расхохотался, обнял Арнольда и Мозеса за плечи и весело объявил им:

— Если вы не перестанете дуться друг на друга, уподобляясь дамочкам, я с вами не пойду. Миритесь! — потребовал он и столкнул их плечами.

— Силен ты, однако,— заметил высокий и худой Гесс.

— Кто силен физически, тот и в теории все время лезет в драку,— сказал Руге.— Я это давно заметил.

— А как же тогда быть с Гессом? — спросил Маркс.— Согласись, что он тощ и слаб.

— Соглашаюсь,— ответил Руге, испытав при этом явное удовольствие: устами Карла он как бы отомстил Мозесу за «старика».— И что же?

— А между тем это наш Мозес заявил: философия духа должна стать философией действия. Вполне мощное заявление!

Мозес улыбнулся, польщенный словами Карла, хотя, кажется, собирался обидеться, когда тот назвал его тощим и слабым. Мир между Руге и Гессом был, таким образом, восстановлен. Но Руге отнесся к похвале, которую Карл высказал Мозесу, с ревностью. Спросил:

— Среди моих высказываний ты, конечно, не находишь ни одного, которое можно было бы назвать мощным?

— Ах, Арнольд,— вздохнул Карл,— ты просто невыносим. Давай прекратим эту игру в обиды. Или ты плохо себя чувствуешь?

— Плохо,— признался Руге.— Если заупрямится и Леру, я не знаю, что я с ним сделаю... Я его растерзаю!

— Арнольд! — сказал Гесс.— Уверяю тебя, мы справимся и без Леру. Честное слово, это не очень глубокий ум. А его проповедь морального исправления общества не много стоит.

— А чего стоят в таком случае наши проповеди? Чего? И что вы вообще без проповедей?

Мозес, не желая продолжения распри, промолчал.

Пьер Леру считал себя прежде всего механиком и лишь потом — социалистом. Именно так он и сказал:

— Я родился и умру механиком. А социалистом я становлюсь, когда вижу несовершенства нашего общества, когда отрываюсь от своей главной работы.

Он принял Маркса, Руге и Гесса в своей мастерской, загроможденной всякими механизмами, слесарными инструментами, железным хламом. На нем был кожаный фартук, какие обычно носят кузнецы, руки его были черны от въевшихся в кожу смазочных масел и ржавчины. Он был весел, показал им свое будущее изобретение, которое он называл нагнетательной машиной, плохо слушал Руге, объяснявшего ему программу журнала, больше говорил сам, главным образом о машине, которую Руге мысленно называл проклятой, не забыл напомнить, что именно он изобрел слово «социализм», а когда Руге прямо спросил его, готов ли он сотрудничать в его журнале, ответил:

— Пока моя машина не заработает, я не возьмусь за перо.

— А если она не заработает никогда? — спросил Карл.

— Что ж,— ответил Леру, сердито взглянув на него,— значит, я никогда не возьмусь за перо. Что, впрочем, не должно вас пугать: щелкоперов достаточно!

— Но мало изобретений,— дополнил его мысль Гесс.

— Верно. Одно техническое изобретение, которое облегчает труд человека и способствует прогрессу общества, стоит многих томов некоторых сочинений.

Руге, не попрощавшись с Леру, направился к выходу. Всю обратную дорогу он был бледен и молчал. Утром фрау Руге сказала, что Арнольд заболел, что ночью у него был сердечный приступ.

— Вот так,— сказал он Карлу, когда тот вскоре навестил его.— Вот до чего могут довести нас всякие аббатики и механики.— Он слабо улыбнулся, слабо пожал Карлу руку, пригласил сесть рядом. Сам он сидел в кресле, укрытый пледом, лицом к камину, в котором жарко горели дрова.

— Знобит? — участливо спросил Карл, садясь на стул.— Ну можно ли так расстраиваться, Арнольд? Уверяю тебя, что мы выпустим журнал, даже если все философы вдруг исчезнут. Ты, я, Гесс, Энгельс... Кстати, я получил письмо от Энгельса из Англии, он пишет, что собирается писать для нашего журнала новую статью...

— Мне он также написал об этом,— сказал Руге.

— Надо помнить, что с нами еще Гервег, Бернайс, Бакунин. Гервег

говорил мне, что этот русский Бакунин вскоре присоединится к нам. А еще мне помнится, ты говорил о Генрихе Гейне...

— Да, Гейне,— сделал недовольную мину Руге.— Признаться, я не очень высоко ценю его поэзию.

— И все же мы пригласим Гейне,— настоял Карл.— Другого такого немецкого поэта сейчас нет.

— Да,— сказал Руге.— Только не надо позволять ему говорить глупости.

Несколько дней Руге не выходил из дому, хотя уже через два дня почувствовал себя здоровым. Поправившись, Руге принялся готовить для будущего журнала свои материалы: «План Немецко-французского ежегодника» и «Переписку 1843 года», в которую предполагал включить свои письма, а также письма Маркса, Бакунина и Фейербаха, относящиеся к вопросу о том, каким будет их журнал и какие задачи он станет решать.

Эта работа отняла у него пять или шесть дней, после чего он предложил Карлу отправиться вместе с ним на переговоры к Ламартину, Консидерану и Кабе.

Поэт и историк Альфонс Ламартин спросил Руге, у кого из французов они уже были. Руге назвал Ламенне и Луи Блана.

— Ламенне? — переспросил Ламартин.— Еретик Ламенне? Никогда мое имя не будет стоять рядом с именем Ламенне! — вдруг заявил он со всей решительностью.— Запомните: никогда!

Руге пытался объяснить ему, что Ламенне отказался от сотрудничества, но Ламартин его не слушал, твердил свое «никогда», на том они и расстались.

— Я что-то не понял,— сказал Руге, когда они вышли.— Почему Ламенне — еретик?

— Для Ламартина и аббат Ламенне еретик,— ответил Карл.

— Боже мой, боже! — схватился за голову Руге.— Мы погибнем. Издатель Фребель уже торопит меня, а что мы можем ему предложить?

Сцены отчаяния у Руге получались великолепно. Вот и теперь он изобразил отчаяние с такой живостью, что прохожие стали оборачиваться, а один даже остановился и спросил, обращаясь к Карлу:

— У господина несчастье? Он потерял деньги? Или от него убежала молодая жена?

— Убежала жена,— ответил Карл.

— О, это подлинное несчастье,— сказал прохожий.

Дальше было еще хуже: Виктор Консидеран понял Руге таким образом, будто тот хочет немедленно поднять революцию и осуществить его, Консидерана, вполне мирные идеи насильственным путем. Этьенн Кабе, которому было уже пятьдесят семь лет, вдруг заговорил о душе, о религии, о проповедях любви и братства, о суетности, в которую ввергает людей нынешняя жизнь и нынешняя философия.

— Все! — сказал Руге.— Больше я ни к кому не пойду. Поторопи Энгельса и Гесса. Проклятые французы! Проклятые болтуны!..

Разговор этот состоялся уже дома. Руге упал в кресло, закрыл лицо руками. Маркс вышел и послал к Руге его жену.

Ночью с ним снова приключился припадок. А к утру у него появился сильный жар. Пришлось позвать врача. Врач, осмотрев больного, сказал, что положение его очень серьезно и что ему должен быть обеспечен абсолютный покой.

Через три дня Руге передал Карлу свои материалы для журнала и сказал:

— Теперь все в твоих руках, Карл. Я ничем не могу быть полезен тебе.

Руге действительно был плох. Фрау Руге сказала о нем Карлу:

— Арнольд не может читать. Говорит, что расплываются буквы... Он очень страдает,— вздыхала она сокрушенно,— он очень страдает.

Прочитав материалы, врученные ему Арнольдом Руге, Карл несколько раз порывался пойти к нему, чтобы продолжить с ним обсуждение программы журнала. В нем все сильнее вызревал протест против расплывчатых и, в сущности, беззубых положений, которые Руге в предназначенной для журнала «Переписке 1843 года» выдвигал в качестве его главных направлений.

Кроме того, используя письма Карла, Фейербаха и Бакунина, Руге внес в них исправления и дополнения («Внес много чепухи»,— как сказал об этом Карл Женни), не испросив на то разрешения у авторов этих писем.

Была еще одна деталь, которая касалась не столько существа дела, сколько характеризовала самого Руге как честолюбца: в центр переписки Руге поставил себя. Все писали только ему, он отвечал всем, переписка

завершилась его письмом, все главные мысли были сосредоточены в его письмах. Казалось, что Руге вот-вот напишет: «Журнал — это я». Слов этих он не написал, но, несомненно, думал именно так.

То обстоятельство, что французы отказались сотрудничать в журнале, также меняло дело: галло-немецкий принцип, о котором много говорилось в «Переписке» Руге, повис, как говорится, в воздухе. И стало быть, журнал очень нуждался в новой программе.

Фрау Руге так ревностно охраняла покой своего мужа, что никто, кроме врача, пройти к нему не мог. Она должна была бы сделать исключение для Карла, и, вероятно, сделала бы, так как хорошо понимала, что Карл и Арнольд связаны одним общим делом, но это дело показалось ей однажды менее важным, чем деньги Арнольда, на которые, как ей думалось, стал покушаться Карл.

Из недавних разговоров Арнольда и Карла она поняла, вероятно, что журнал у них не ладится. А раз не ладится, значит, это плохо скажется на кошельке Арнольда. А коль скоро дела могут обернуться таким образом, то Арнольду не следует торопиться с выплатой денег Карлу. Карл же, как казалось ей, только тем и озабочен, чтобы пройти к Арнольду и потребовать у него денег.

О том, что деньги Марксам нужны, она знала. Видела, какие продукты — самые дешевые! — покупает Женни, слышала, как Эмма Гервег, у которой Женни брала деньги в долг, бранилась, называя Арнольда — фрау Руге стояла в это время за дверью — словами, от которых у нее, у фрау Руге, зашлось сердце. Желая хоть как-то отомстить за это, фрау Руге сказала Женни, когда они встретились:

— Теперь-то вы, конечно, жалеете, что отвергли предложение моего мужа жить коммуной. Вам было бы намного легче, мадам Маркс. Намного легче...

Женни, не подозревая, чем вызваны эти слова фрау Руге, ответила, радуясь предоставившейся ей возможности поговорить с фрау Руге о деньгах.

— Фрау Руге,— сказала она,— Карл не хочет беспокоить вашего мужа, но, может быть, вы сами, когда ваш муж почувствует себя лучше, напомните ему, что по договору с Карлом он должен ему некоторую сумму. Признаюсь, Карл не может говорить о деньгах, стыдится таких

разговоров, поэтому я взяла на себя смелость заговорить об этом с вами, фрау Руге.

— В денежные дела мужа я не вмешиваюсь,— ответила фрау Руге с вызовом, чем немало удивила Женни.— К тому же деловые разговоры с Арнольдом полностью исключаются.

Женни пожаловалась Карлу.

— Эта саксонская толстушка,— сказала она о фрау Руге,— повела себя вдруг самым странным образом: она заговорила со мной в таком вызывающем тоне, что я растерялась и не нашла что ответить ей, Карл. Хотя я очень вежливо попросила ее напомнить мужу о деньгах, которые он обещал тебе... Ты ведь знаешь,— продолжала Женни, видя, что Карл молчит,— я задолжала Эмме Гервег, а теперь зима, продукты дорожают, и у тебя уже нет ни одной пары целых носков...

Карл молча обнял Женни, прижал ее голову к груди, погладил, потом сказал, вздохнув:

— Я что-нибудь придумаю. Я попрошу Мозеса Гесса... Или еще кого-нибудь...

Женни знала, что ничего такого Карл не придумает, что никого он не станет просить о деньгах — не решится, постесняется, забудет. Решительный и настойчивый во всем, что касалось его работы, его убеждений, Карл проявлял, по словам самого же Руге, аристократическое пренебрежение к тому, что касалось материальной стороны его жизни. Тут он давно привык довольствоваться самым малым, самым необходимым, полагая, должно быть, что в этих делах надо следовать Эпикуру: удовлетворять лишь те потребности, которые являются естественными и необходимыми, только естественными и только необходимыми.

Женни решила, что продаст кое-что из приданого.

Карл между тем вдруг решительно заявил:

— Нет, я сейчас же пойду к Арнольду. И саксонская толстушка, как ты назвала фрау Руге, меня не остановит. В конце концов, у меня к Арнольду дело чрезвычайной важности.

Карл собрал со стола бумаги и направился к двери, весело подмигнув изумленной его решительностью Женни.

Фрау Руге не успела ничего сказать, лишь испуганно охнула. Карл толкнул плечом дверь и оказался в комнате Арнольда. Он ожидал увидеть его в постели. Но Арнольд сидел в кресле перед камином и читал книгу.

— Арнольд! — сказал Карл.— Ты чувствуешь себя лучше! Я рад! Я искренне рад, Арнольд!

Вбежала фрау Руге, но Арнольд взмахом руки велел ей выйти.

— Ты не представляешь, Арнольд, как я рад тебя видеть здоровым...

— Ты торопишься, Карл,— сказал Арнольд, болезненно морщась.— Ты торопишься причислить меня к здоровым. Я болен, Карл, я очень болен. А в кресле я потому, что устал лежать. Понимаешь, мне больно лежать. Да что лежать! Мне больно смотреть, больно думать, больно говорить. Поверь мне.

— Не хотелось бы верить, Арнольд. Но ты говоришь...

— Да, да, Карл! Это так. А зачем ты пришел? Есть какие-нибудь новости? Кстати, я получил записку от Гейне, он собирается на днях навестить меня. Я напишу ему, чтобы он встретился с тобой. А я вряд ли смогу его принять. Вряд ли... Так что нового? — спросил Руге, помолчав.— Что у тебя за бумаги?

— Письмо от Энгельса. Принес свою статью Гесс.

— Хорошо. Еще что?

— Стихи Гервега. Ты прочтешь?

— Нет, нет, Карл. Я ничего не стану читать. Я полагаюсь на тебя. Главное теперь — спасти журнал. После того как эти проклятые французы...— Руге не договорил, махнул рукой и замолчал, закрыв глаза.

— Арнольд, я хотел обсудить с тобой твою «Переписку»... Следовало бы кое-что уточнить и добавить.

— Карл,— сказал Руге, не открывая глаз.— Делай, что надо. Я не могу обсуждать. Не могу. Признаюсь, я уже похоронил наш журнал. Спасешь его — честь тебе и хвала. Иди, Карл... Не теряй времени. Фребель каждый день шлет мне требования. Иди.

— Ладно, Арнольд,— сказал Карл.— Я все сделаю. А ты поправляйся.

— Жить — вот что главное,— сказал Руге.— Вот что главное. А все прочее — суета... Сейчас я переберусь в постель, нет никаких сил. Скажи моей жене, пусть войдет...

Карл, передав просьбу Арнольда фрау Руге, которая взглянула на него с осуждением, только тогда вспомнил, что не поговорил с Руге о деньгах.

Женни поняла это сразу же по его лицу. У Карла было лицо ребенка, которого послали в булочную за хлебом, а он вернулся с игрушкой.

Женни улыбнулась и сказала:

— Ничего, в другой раз, Карл. Он очень плох?

— Да, Женни,— ответил Карл, радуясь тому, что Женни его уже простила.

— Пришел Мозес. Он в кабинете. Говорит, что тебя приглашают выступить на собрании рабочих. Ты пойдешь?

— Непременно! — ответил Карл.— Где этот Мозес? Почему он не появлялся целую неделю? — зашумел он.— Должно быть, боялся, что я стану критиковать его статью... Ты слышишь, Мозес? Но я не стану тебя критиковать. У тебя там есть одна совершенно блестящая мысль, где ты говоришь о деньгах, где ты утверждаешь, что деньги — это продукт взаимно отчужденных людей...

Женни украдкой вздохнула: вот такие деньги Карла интересовали! О таких деньгах Карл мог говорить часами, думать о них, писать. Но может быть, именно поэтому Мозес и считал Карла величайшим, единственным из ныне живущих и подлинным философом. Эти слова о Карле он сказал Женни несколько минут назад, когда Карл был у Руге. И кажется, сказал не только затем, чтобы доставить приятное Женни.

Женни хотела покормить Карла и Мозеса, перед тем как они отправятся на собрание рабочих, но они, проведя добрый час в кабинете, откуда постоянно были слышны их возбужденные голоса, вдруг заторопились, отказались от обеда и едва ли не бегом, одеваясь на ходу, ринулись вниз по лестнице, напугав фрау Мёйрер, которая поднималась навстречу им с корзиной белья.

Карл вернулся только к вечеру. Был усталый и молчаливый. Молча ел, потом молча сидел у камина, курил сигару, смотрел на огонь. Женни устроилась на диванчике у стены, по другую сторону камина, занялась вязанием. Потрескивали дрова, тикали на камине часы — подарок Женни от матери. За окном кружились снежинки, вспыхивая в лучах лампы. Было тепло, было тихо и уютно. Женни вязала носочки для своего будущего ребенка, крохотные носочки из мягкой белой шерсти.

— Карл,— позвала она тихо.— Можно тебя спросить кое о чем?

— Да, Женни,— ответил Карл и ласково посмотрел на нее.

— Карл, если у нас будет девочка, как мы ее назовем?

— Мы дадим ей самое прекрасное имя, какое только существует на земле,— ответил Карл.

— Что же это за имя?

— Это имя — Женни. Другого такого имени нет...

У Женни сладко замерло сердце. Захотелось вдруг расплакаться бог весть почему, может быть, от счастья, может быть, от печали, которая всегда рядом со счастьем и которая тем сильнее, чем больше счастье. А в чем же печаль? А в том, что не было счастья так долго, что всегда оно коротко, что обходит оно сторонкой людей, которым так необходимо и которые достойны его больше других. Да просто в том, что приходит и уходит, пожалеет и забудет, раздразнит да и канет...

Женни сдержала слезы, выправила дыхание, которое вдруг было сорвалось, сбилось от спазма в груди, спросила:

— А если будет мальчик?

Карл не ответил. Но потом вдруг спохватился, поняв, что не расслышал вопроса Женни, так как думал в это время о другом, впрочем, о ней же, о Женни. Голос ее прозвучал где-то далеко-далеко и лишь звуком, но не смыслом коснулся его сознания.

— Ты что-то сказала, Женни? — спросил он.

— Ничего особенного,— ответила она и поняла, что начатый ею разговор продолжать не надо.— Ты уронил пепел на колено.

— Ах, ах! — засмеялся он.— Хорошо, что не прожег! — Он стряхнул пепел с брюк.

— Почувствовал бы,— сказала Женни.

— Да, конечно. Задумался. А думал я о том, что хорошо бы нам с тобой сходить в театр, в оперу, послушать музыку, пение. Ты совсем заскучала здесь, верно?

— Я не скучаю,— сказала Женни.— Совсем не скучаю. У меня много забот. И мне это нравится, Карл. Мне нравится быть хозяйкой, хозяйкой в доме. Хотя я знаю, что в Париже такие склонности у молодых женщин не поощряются. Иногда мне кажется, что мне следовало бы, наверное, вести себя как Жорж Санд: курить сигару, скакать верхом на лошади и бороться за эмансипацию женщин. Мне помнится, что ты однажды хвалил мадам Санд за ее смелость, за ее идеи. Это было у Гервегов. Помнишь?

— Помню,— ответил Карл.— Но мне хочется, чтобы пример с мадам Санд брали некоторые мужчины, а не женщины. Ведь мадам Санд — всего лишь хороший мужчина.

— А кто, по-твоему, хорошая женщина?

— Ты, Женни,— сказал Карл.— Ты, моя любимая.

Он придвинулся вместе с креслом к диванчику, на котором си-

дела Женни, и положил ей голову на колени, рядом с клубком шерсти.

— Из твоих кудрей можно было бы связать шубу,— смеясь, сказала Женни, запустив пальцы в его жесткие волосы.— И шубе этой сноса не было бы.

— И я подарил бы ее тебе,— сказал Карл.— Это тем более стоило бы сделать, что скоро Новый год.

В дверь постучали.

— Открыто! — крикнул Карл, поднимаясь с кресла.— Входите! Не дали нам с тобой помечтать,— сказал он Женни.— Не дали.

Открылась дверь. Человек в пальто с меховым воротником и в меховой дорогой шапке перешагнул порог и сказал, улыбаясь:

— Я к господину Руге. Меня зовут Генрих Гейне.— Он снял шапку, на которой еще не успел растаять снег, поправил рукой волосы, с нескрываемым восхищением взглянул на Женни, потом снова перевел взгляд на Карла и спросил: — Я ошибся дверью? Доктор Руге живет не здесь?

— Да,— ответил Карл,— вы ошиблись дверью. Но к доктору Руге можно пройти и отсюда, вон через ту дверь,— показал рукой Карл.— Я могу вас проводить.

— А вы кто? — спросил Гейне.— Не доктор ли Маркс?

— Да, доктор Маркс. А это моя жена Женни,— сказал Карл, видя, что Гейне снова смотрит на нее.

— Я сразу это понял,— сказал Гейне, расплываясь в счастливой улыбке.— Доктор Руге мне говорил о вашей красоте, мадам Маркс. О красоте вашей жены, доктор Маркс. И я счастлив видеть вас обоих.



Глава пятая

Они были почти одинакового роста — Генрих и Карл, но во многом другом являли собой очевидную противоположность. Суждения Карла были чеканны и жестки, лишены, как правило, эмоциональной окраски — Женни знала, каким огромным трудом он достиг этой чеканности, этой жесткости, этой сдержанности. Генрих был цветист в выражениях, остроумен. Карл говорил умно, Генрих — мило. Карл в разговорах преследовал истину, Генрих — красоту. Впрочем, случалось, что Генрих начинал говорить как философ, а Карл — как поэт. И тогда они начинали подтрунивать друг над другом колкостями, от которых другие люди, наверное, рассорились бы, а Карл и Генрих лишь принимались хохотать.

Но вот что все-таки разнило их. О колкостях Генриха Карл легко забывал, а Генрих еще долго носил в себе сказанное Карлом и порою жаловался Женни на его жесткость. Правда, жаловался как бы шутя, но Женни догадывалась, что за шутливым тоном Генриха кроются подлинные обиды.

Генрих был старше Карла на двадцать лет. И это тоже накладывало

свой отпечаток на его характер: он больше видел, чем Карл, он больше испытал. Он видел Гегеля, встречался с ним в Берлине, чему Карл искренне завидовал.

В его жизни было много сладких и горьких минут. Больше горьких, чем сладких. Во всяком случае, о первых он вспоминал чаще, чем о последних, а среди них свою неразделенную любовь к кузине Амалии. Красивая, но расчетливая Амалия предпочла поэту богатого прусского юнкера и вышла за него замуж. Слезами, которые пролил Гейне в те несчастные дни, были пропитаны все его стихи, увидевшие свет в двадцать первом году в Берлине. В тот год Карлу исполнилось лишь три года.

Генриху казалось, что его лучше и глубже понимает Женни. Но она лишь больше жалела его, чем Карл. Хотя и Карл, конечно, жалел его. Даже тогда, когда однажды сказал ему:

— Генрих! Вам пора оставить любовное нытье. Покажите, наконец, поэтам-лирикам, как делаются настоящие стихи. Плетью! Как вы это сделали в песнях о Людвиге Баварском. Я обязательно помещу эти стихи в «Ежегоднике». То-то завопят поклонники ваших любовных стихов!

— Думаете завопят? — с тревогой спросил Гейне.

— Завопят! — сказал Карл.— Но я вижу, что такая перспектива вас не радует?

— Радует,— со вздохом ответил Генрих.— Стихи о Людвиге Баварском — самое кровожадное из всего, что я написал... Впрочем, признаюсь вам откровенно: с годами всякого рода вопли ранят меня все больнее. Но тем сильнее я призываю на их головы дробящий молот пролетариев. И на свою голову, разумеется, ведь моя голова не лучше всяких других голов, напичканных всякой цивилизованной чепухой...

А вот в этом крылась их наиболее существенная разница: будущее виделось Генриху как грозное возмездие миру за его грехи, Карлу — как избавление мира от пороков.

В первый вечер их знакомства они говорили мало. Гейне навестил Руге и, возвратившись, не более получаса провел у Марксов, употребив все это время главным образом на то, чтобы очаровать Карла и Женни.

Он обладал многими чарами: у него был очень приятный голос, мягкий, глубокий, послушный любому чувству, полные жизни глаза, то большие и невинные, как у ребенка, то прищуренные, лукавые. Волосы у него были светло-русые, едва заметно тронутые сединой на висках, легкие, взлетающие даже от слабого взмаха головы. Он был просто кра-

сив, наконец, как может быть красив еще не старый мужчина, у которого слегка удлиненное, тонкое лицо, резко очерченный, чуть изогнутый нос, не слишком высокий, но заметный лоб, умные глаза и аккуратная, вполне французская бородка. Но прекраснее всего были его руки. Они могли быть нежные, добрые, злые, сильные, слабые. Это были настоящие руки поэта...

Генрих блестяще справился со своей задачей: Женни и Карла он вполне очаровал.

— Чем вы сейчас занимаетесь в Париже? — спросила его Женни.

— Я? Тем же, чем и раньше,— ответил Гейне.— Говорят, что один англичанин разъезжает повсюду за циркачом ван Амбургом, присутствует на всех его представлениях. Убежденный, что лев все же в конце концов растерзает укротителя, он желает во что бы то ни стало созерцать это зрелище. Так и я жду в Париже момента, когда французский народ растерзает монархию, и изо дня в день наблюдаю за этим львом. Не без страха...

— Вы часто встречаетесь в Париже с немцами? — спросил Карл.

— О, нет,— засмеялся Гейне.— Немцы опасны! Они внезапно извлекают из кармана стихи или же заводят разговор о философии.

— А немки, господин Гейне? Немки в Париже тоже опасны? Скажите, ведь я немка. Или французские женщины затмевают немок?

— На это я отвечу так: немецкие печи согревают лучше, чем французские камины. И в последних приятнее то, что видишь пылающий огонь. Это радостное зрелище. Но,— Гейне поднял руку,— за спиною мороз, хотя перед тобою огонь. Немецкая печь греет преданно и скромно...

— И вы все же женились на француженке,— заметила Женни.— Как зовут вашу жену?

— Матильда. Она очаровательна. Но у нее есть два недостатка: она не говорит по-немецки и не умеет считать деньги.

— Недостатка всего лишь два, а сколько достоинств?

— Достоинств? — задумался Гейне.— Трудно сосчитать. Но вот что точно: всякий, кто женится, подобен дожу, сочетающемуся браком с Адриатическим морем. Он не знает, что скрывается в той, кого он берет в жены,— сокровища, чудовища, бури?

— Это не мешает вам писать стихи? — продолжала свой шутливый допрос Женни.

Генрих отвечал ей тоже в шутливом тоне:

— Достойно удивления, что Сократ, супруг Ксантиппы, мог стать великим философом! Среди эдаких дрязг — да еще думать! Но писать он не мог — это точно! Ведь после него не осталось ни одной книги! У меня же, слава богу, книги выходят... У Матильды,— торопливо добавил он, словно испугавшись, что сказал о ней нечто дурное,— у моей Матильды улыбка — точно лучезарная сеть. Она раскинула эту сеть, и моя душа запуталась в ней и уже годы бьется в нежных силках, точно рыба.

— Француженки — опасные женщины?

— Да,— сказал Гейне.— Но немки опаснее.

— Чем же?

— Один мой друг сказал так: они опаснее своими дневниками, которые может найти муж. Все! — сказал Гейне и встал.— Все! Я наговорил столько чепухи, что вы побоитесь пригласить меня в следующий раз. Спешу раскланяться, потому что просто спешу: моя Матильда тащит меня сегодня к своим родственникам.

— Заходите, Генрих,— сказал Карл, пожимая ему руку.— Вы всегда будете для нас желанным гостем.

— Для вас — возможно, для Руге — нет. Он терпеть меня не может, хотя я и нужен ему. Впрочем, и я не питаю к нему большой любви. Но и он нужен мне, для моих стихов. Эгоизм сильнее нелюбви? Нет, эгоизм — это дело. А всякое настоящее дело должно быть вне чувств, не правда ли, доктор Маркс? Платон мне друг, но истина дороже. Будем следовать Аристотелю, если не можем следовать чувствам...

Когда Гейне ушел, Карл с завистью сказал о нем:

— С такой легкостью и непринужденностью о серьезных вещах может говорить только поэт. И с такой же легкостью решать не менее серьезные задачи... «Платон мне друг, но истина дороже»... Вот тебе и конец всем терзаниям. Ставим на место истины дело, на место Платона Руге и получаем искомый ответ: Руге мне друг, но дело дороже. Или в его варианте: Руге мне не друг, но дело дороже...

— Ты чем-то обеспокоен, Карл? — спросила Женни.— Ты не можешь принять какое-то важное решение?

— Ты угадала, Женни. Но теперь я его уже, кажется, принял. Речь идет о программе журнала. То, что предлагает Руге,— вполне приемлемо. Но недостаточно. Теперь уже недостаточно. Если мы хотим быть впереди,

а не плестись в хвосте, нам следует открыто заявить, что мы связываем нашу критику не только с критикой религии, искусства, с критикой философии, но — и это крайне существенно, Женни! — с критикой политики, с определенной партийной позицией в политике. Мы должны связать и отождествить нашу критику с действительной борьбой. Мы не можем, не имеем права выступать перед миром как доктринеры с готовым принципом: тут истина, на колени перед ней! Мы должны показать людям, за что они борются, и дать истинный лозунг борьбы...

— Что же вас останавливает, Карл?

— Что останавливает? — Карл расшевелил угли в камине, взял один уголек щипцами, прикурил от него, бросил его обратно и лишь после этого ответил: — Теперь — ничто. Но еще утром мне казалось, что на пути такого решения стоит почти непреодолимая преграда. Руге, ссылаясь на болезнь, не хочет обсуждать со мной никаких дел. Но я знаю, что не только болезнь здесь причиной. Будь он теперь здоровым, он вел бы себя точно так же: избегал бы встреч со мной, избегал бы серьезных разговоров. Он чует, что в нынешней ситуации надо бы сделать решительный шаг вперед, но сделать этот шаг не может и боится. И надеется, что я не сделаю этот шаг без него. А я его сделаю. Вернее, я его уже сделал.

— Тебя вдохновил Гейне?

— И Гейне тоже,— ответил Карл.— Но главным образом рабочие, на собрании которых я был вместе с Гессом. Когда смотришь на них, Женни, чувствуешь, какая это сила, какая это готовая вот-вот сорваться лавина. Крепкие руки, суровые лица, широкие плечи... Но не это главное. Главное, что поражает, что волнует и вдохновляет,— их единство, их братство, их верность этому братству. Даже тогда, когда они сидят или стоят порознь друг от друга, я вижу, что их плечи упруго соприкасаются, что их мускулы напряжены для общего движения... Видеть это и чувствовать это — прекрасно.— Карл задумался о чем-то, затем улыбнулся и продолжал: — Да, да, Женни, прекрасно. Невольно думаешь: вот — люди, вот лучшая часть человечества. Разумеется, им не хватает знаний, но их решимость добыть эти необходимые им знания абсолютна. В конце концов они обойдутся и без нас. Ведь поручили же они портному Вейтлингу разработать принципы устройства нового общества... Умные головы найдутся и среди них. Но не так скоро, как нужно. И не так скоро перед ними откроются глубины науки. И потому мы крайне нужны.

И если мы это уже понимаем, мы обязаны приниматься за дело немедленно. Не делать этого — значит отступать, не начав наступления.— Карл принялся развивать свою любимую мысль: — Критика неба, критика религии, критика теологии уже завершена. И нам незачем топтаться на одном месте. Нужна критика земли, права, политики, критика теоретическая и практическая. Необходимо вооружить пролетариат новой философией и с помощью пролетариата воплотить эту философию в жизнь. Я уже написал об этом. Это смысл моей статьи «К критике гегелевской философии права», которую я намерен включить в журнал. Впрочем, прости, Женни, я совсем заговорил тебя. Но ведь это важно, правда? Сердце философии — пролетариат. Мне самому нравится эта мысль...

Вскоре Карл убедился, что Женни — не единственный его сторонник. И хотя поддержка Женни была для него очень важна, еще более важной поддержкой оказалось то, что он нашел в статьях Энгельса, присланных из Англии для «Немецко-французского ежегодника». Он прочел их с жадностью, испытывая при этом наслаждение, какое способен испытывать лишь человек, обнаруживший вдруг, что он не один пробирается сквозь темные дебри, что рядом с ним идет кто-то еще, готовый поддержать его в любую минуту.

Да, Энгельс, да!

Человеку надо вернуть его собственную сущность. Для этого нужны не только политические перемены, а перемены социальные. Нужны человеческие отношения между людьми, чтобы человек стал человеком. Эти человеческие отношения может обеспечить только социализм. И он будет, этот социализм! Он будет, потому что у рабочего есть только один выбор — между голодной смертью и социализмом! Браво, Энгельс! Браво!

Частная собственность будет уничтожена не потому, что она безнравственна. Она погибнет в силу своих собственных законов. Общество частной собственности движется с неизбежностью к той черте, за которой — революция. Рабочий становится все более бедным, капиталист — все более богатым. В итоге мир окажется разделенным на миллионеров и на пауперов[1]. Конкуренция между капиталистами порождает кризисы.

---

[1] Паупер — нищий, бедный *(лат.)*.

Кризисы разоряют мелких капиталистов, увеличивают число рабочих и безработных. Масса рабочего класса становится неисчислимой, а его победа — близкой и неизбежной.

Карл показал статьи Энгельса Женни. Потом Мозесу Гессу. Потом Гервегу. И наконец, Гейне. И при этом всякий раз с нетерпением ждал, что они скажут.

Женни сказала:

— Мне показалось, что эти статьи написал ты, Карл. Правда, они отличаются от твоих по стилю. Энгельс пишет проще, чем ты.

Мозес Гесс, возвращая Карлу статьи Энгельса после прочтения, сказал:

— Я плакал, читая о страданиях английских рабочих и ирландцев, которые едят одну гнилую картошку и живут в грязных лачугах. Это производит сильное впечатление. Все это надо было видеть собственными глазами, чтобы так написать. Энгельс молодец.

— А его мысли о естественном законе капитализма, о конкуренции, о кризисах? Ты обратил внимание, Мозес?

— Конечно.

— И что же? Они тебя не удивили своей новизной? Своей потрясающей новизной...

— Разумеется, удивили! И порадовали чрезвычайно! Но я и Энгельс толковали обо всем этом еще в Кёльне, в редакции «Рейнской газеты». Могу сказать даже более,— не без хвастовства заявил Гесс,— он пришел тогда ко мне республиканцем, а ушел коммунистом.

Гервег говорил много, но суть его мыслей сводилась к тому, что рабочим нужны не теории, в которых способны разобраться только ученые, да и то не все, а конкретные лозунги и оружие.

— Не только это, Гервег,— возразил ему Карл.— Не только это. Кто не осознал своей миссии полностью, тот никогда не выполнит ее до конца, потому что всегда найдутся люди, которые его одурачат.

— Я снова думал о коммунистах,— сказал Гейне,— о единственной партии, которая заслуживает серьезного внимания. В конце концов все поймут, что революция не есть смена лиц или форм правления, что она должна главным образом касаться материального благосостояния народа. Будьте уверены, люди не ослы.

Осенью минувшего года Гейне провел четыре недели в Булонь-сюр-Мер, вынес оттуда самые дурные впечатления об англичанах как о людях

эгоистичных, грубых, болтающих лишь о политике и наживе. Можно питать уважение к их материальному могуществу, но нельзя простить им волчьей жадности. Однажды, это было в Италии, он наблюдал такую картину: самодовольный турист-англичанин подошел к монаху и спросил: «Сколько тебе платят за то, что ты ходишь босой и подпоясываешься веревкой?» Англичане полагают, что из всего следует выжимать деньги, даже из голодных криков своих нищих рабочих. Но вот уже слышатся голоса, что труд — право народа и что богатство, создаваемое трудом, должно полностью и безусловно принадлежать народу. Последствием этих требований может быть социальный переворот, в сравнении с которым французская революция покажется весьма кроткой и скромной.

— Ваш Энгельс — молодец,— сказал он Карлу.— Тем более молодец, что он еще совсем молодой человек. Кто начинает свою жизнь со столь серьезных открытий, тот непременно совершит нечто значительное.

— Я тоже так думаю,— согласился Карл.— Мысли Энгельса разбередили мой ум. Уверен, что на пути, который указывает в своей статье Энгельс, экономиста и революционера ожидают большие победы. Очень большие победы.

Беседы с Гейне были приятны и Карлу и Женни. К радости Карла, оказалось, что Гейне может говорить не только о вещах веселых, блистая остроумием, но и о вещах серьезных, где остроумие без глубокомыслия мало чего стоит. Правда, остроумие иногда вредило его глубокомыслию. Ради красного словца он порою поступался истиной, вернее, дорожил ею меньше, чем каламбуром, удачно сказанной фразой. И тогда Карл давал ему понять, что в такие игры он не играет.

Впервые это произошло, кажется, в тот вечер, когда они говорили о Луи Блане. Разговор этот начал Гейне по просьбе Женни. Ей захотелось услышать от него о Луи Блане.

— Господин Луи Блан — еще молодой человек,— рассказывал Генрих Женни,— лет тридцати трех, не более! Внешне он, однако, напоминает тринадцатилетнего мальчика. Верно, Карл?

Карл был здесь же, сидел у камина, дымил своей неизменной сигарой. На вопрос Гейне он ответил кивком.

— Вот,— улыбнулся Гейне.— Действительно, у Луи Блана на редкость малый рост. Его румяное безбородое личико и нежный, мягкий, еще не сформированный голос — все это придает ему вид прелестного мальчугана, только что выскочившего из школы и в первый раз надев-

шего черный фрак. И все же он — знаменитость республиканской партии. Физиономия его, особенно резвые глазки, указывает на южнофранцузское происхождение. Он родился в Мадриде, от французских родителей. Его мать — корсиканка. Она и теперь живет на Корсике.

— Ему бы побольше южной крови,— вставил свое замечание Карл.— Побольше страсти!

— Да,— согласился Гейне,— по духу он далеко не корсиканец. Сам он ведет умеренную жизнь и хочет ввести в государстве кухонное равенство, при котором для всех нас должна вариться одна и та же черная спартанская похлебка, и, что еще ужаснее,— Гейне скосил хитрые глаза на Карла,— великан будет получать такую же порцию, какая полагается его братцу карлику. Нет, покорно благодарю. Правда, все мы — братья, но я — большой брат, а вы — братья поменьше, и мне подобает большая порция.

— Послушайте, Гейне,— прервал его Карл.— Вы ведь знаете, что Луи Блан — реформатор и отнюдь не уравнитель! В ваших рассуждениях о братстве и равенстве мне почудилось пренебрежительное высокомерие аристократа. Рассейте мои подозрения, если я ошибаюсь.

— Не ошибаетесь,— ответил Гейне.— Равенство и братство, о котором теперь так много толкуют, действительно пугает меня. Мне кажется, что это то самое равенство и братство, в котором не останется места ничему выдающемуся. В тупом упоении равенством будет разрушено на этой земле все прекрасное и возвышенное, искусство и наука. Разве не так, Карл?

— Продолжайте. Ведь вы еще не все сказали, не так ли?

— Я боюсь, что вы поссоритесь,— сказала Женни, желая остановить этот разговор.

Ей не хотелось, чтобы Гейне обиделся на Карла, а обидевшись, перестал бы приходить к ним. В долгие часы одиночества, когда Карл занимался журнальными делами и просиживал целые дни в библиотеке, ее утешала мысль, что вечером придет Гейне, что вместе с Карлом они затеют веселый разговор, от которого на душе растает наледь одиночества, так часто сковывающая ее здесь, в Париже, вдали от родины, от матери.

— Не поссоримся,— успокоил ее Карл.— Продолжайте, Гейне.

— И все же я слышу в твоем тоне угрозу, Карл. Может быть, нам все-таки поступить так, как советует Женни?

— Всякий разговор должен быть доведен до конца — это мой прин-



цип,— сказал Карл.— Мне очень интересно услышать, как поэту представляется общество всеобщего равенства.

— Ну что ж, я продолжу. Женни позволит?

— Если вы обещаете не ссориться.

— Обещаем. Итак, общество всеобщего равенства. Я признаю, я даже убежден в том, что будущее принадлежит рабочим. Но признаю со страхом и тоской, Карл. Потому что своими грубыми руками они беспощадно разрушат все мраморные статуи красоты, разобьют все те фантастические игрушки, которые я так люблю. Они уничтожат лавровые рощи и будут сажать там картофель. Лилии, которые не трудились и не пряли, а все же одевались так, как не одевался и царь Соломон во славе своей, будут вырваны из почвы общества, если только не захотят взять в руки веретено. Розы, эти праздные невесты соловьев, подвергнутся такой же участи. Соловьи, эти бесполезные певцы, будут изгнаны. А из моей «Книги песен» бакалейный торговец будет делать фунтики, в которые станет сыпать кофе или нюхательный табак для старух будущего. Увы, Женни, все это я предвижу, и несказанная печаль овладевает мной при мысли, что победоносный пролетариат угрожает гибелью моим стихам, которые исчезнут вместе с романтическим старым миром. И все же честно сознаюсь, Карл, что этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти своих чар, которым я не в силах противиться.

— Это вы говорите специально для меня, боясь, что я стану осуждать ваши преждевременные слезы? — спросил Карл.

— Нет, Карл, нет! Каждый встречный в Париже вам скажет, что рано или поздно буржуазной комедии во Франции, вместе с ее парламентскими героями и статистами, придет страшный конец, она будет освистана, а за нею последует эпилог, который называется — коммунистический строй. Я признаю право обворованного и униженного народа на равенство. Но что будет со мной?

— Ах, ах,— сказал Карл,— какие страхи! Погибнут цветы, погибнут соловьи... А тот факт, что от голода и болезней гибнут люди? Этот факт вас тревожит меньше, чем гипотетические картины уничтожения произведений искусств? И почему вы решили, что пролетарии — разрушители? До сих пор они только созидали. На их мозолях, на их горбах, на их поте и крови произрастает все, о чем вы здесь вздыхали. Человек, чей вечный удел — труд, умеет ценить все, что создано трудом, трудом ли

своего товарища или трудом художника, поэта, скульптора. Стало модой распространять ложь о рабочем человеке, пугать всех его грубостью и агрессивностью. Иные политики надеются, что таким образом перед ними все станут трепетать от страха, что их приход это и есть второе пришествие Христа для Страшного суда. Но это вздор, дорогой Гейне! И как только вы могли поверить во все это?

— А во что же прикажете верить?

— В революцию, Гейне!

— Вот и славно,— сказала Женни.— А теперь давайте ужинать. Сегодня у меня ветчина и кофе.

— Хочу ветчины и кофе! — потребовал Карл, потрясая кулаками и смеясь.— Хочу немедленно!

За ужином Гейне принялся уговаривать Карла побывать вместе с Женни в Лувре. Когда к уговорам Гейне присоединилась Женни, Карл тотчас же сдался.

В Лувр они отправились втроем. Сначала хотели взять фиакр, а потом передумали и решили идти пешком. В Париже была зима, стоял морозный денек. Снег, выпавший три дня тому назад, поскрипывал под ногами. Парижане радовались снегу и морозу. То и дело можно было слышать, как они нахваливали мороз, называя его русским с легкой руки тех, кто в двенадцатом году испытал настоящий русский мороз вместе с Наполеоном. И может быть, как раз потому, что стоял прекрасный зимний денек, в Лувре было малолюдно. Да и те из посетителей, которые встречались в залах, были по преимуществу иностранцы.

Гейне радовался тому, что Женни и Карл в Лувре впервые: это давало ему возможность блистать своими познаниями в живописи. Говорил он порою сумбурно, тащил их от одной картины к другой, торопя. Картины мелькали перед глазами Женни и Карла так, словно они видели их из окна кареты. Карл какое-то время сопротивлялся натиску Гейне, но, когда Женни, выбрав удобный момент, шепнула ему: «В следующий раз мы придем сюда сами», успокоился и отдался во власть Гейне. Впрочем, был какой-то смысл в том, что Гейне торопил их: картин было много, рассмотреть каждую из них все равно не удалось бы, а кто поставил бы перед собой такую цель, должен был бы бродить по Лувру, может быть, месяц, а может быть, и два. Яркие краски, золото рам хоть и сливались в пестрый поток, все же это был праздничный поток радости.

Перед Карлом и Женни проплывали грациозные пасторали Ватто и Буше — пастухи и пастушки, увитые лентами посохи, суровые герои Давида, хмурые воины времен Империи, кавалерия и пехота Ораса Верне[1], лица богов и святых, женские, женские, женские лица, лица маркизов, банкиров и буржуа.

— А вот здесь мы задержимся на минуту,— сказал Гейне, когда они подошли к картине, возле которой стояло еще несколько посетителей.

Не дожидаясь, когда другие уйдут, Гейне объяснил Карлу и Женни по-французски причину, по которой он заставил их задержаться у этой картины, изображавшей бичевание Христа.

— Я хотел обратить ваше внимание,— сказал он,— до какой степени дух буржуазии, которым проникнута теперь вся социальная жизнь Франции, овладел теперь и искусством. Все новые картины проникнуты печатью этого нового господина. Особенно эта. Обратите внимание на Иисуса Христа. Разве его страждущая физиономия не напоминает директора обанкротившейся акционерной компании? Ведь это именно он стоит перед своими акционерами. Акционеры даны в образе палачей и фарисеев. Они страшно злы на директора компании за то, что потеряли на своих акциях очень много денег. Вот в каких образах предстает перед нами ныне священная история...

На другой картине был изображен Вильгельм Завоеватель. Гейне сказал о нем:

— Ему стоит только надеть медвежью шапку, и он тут же обратится в национального гвардейца, который с образцовым усердием несет караульную службу, добросовестно платит по своим векселям, чтит свою супругу и, несомненно, заслуживает креста Почетного легиона!

Но более всего он издевался над портретами. Он уверял Карла и Женни, что у большей части лиц, изображенных на этих портретах, денежное, корыстное, сердитое выражение. И объяснял это тем, что живой оригинал во время сеанса не переставал думать о деньгах, которые ему придется уплатить художнику за портрет.

— На всем лежит печать денег,— с грустью размышлял вслух Гейне,— на всем лежит страх, который они сеют. В Париже, как в Спарте, есть свой храм страха. И этот храм — биржа, в залах которой все трепе-

[1] Ватто, Буше, Давид, Верне — известные французские художники XVIII—XIX вв.

щут. Каких-то пятьдесят лет тому назад французы поклонялись в соборе Нотр-Дам богине разума, а теперь с большим рвением поклоняются богу страха — деньгам. Неужели это Франция, родина Просвещения, где смеялся Вольтер и плакал Руссо? Как азиаты почитали Магомета пророком Аллаха, так мы, европейцы, почитаем барона Ротшильда пророком нового бога. Я иногда бываю в его конторе, чтобы наблюдать, как народ, и не только избранный народ божий, но и все прочие народы склоняются и сгибаются перед ним. Спинные хребты так изгибаются и извиваются, что, пожалуй, самый лучший акробат не сможет соперничать с ними в этом искусстве.

Генрих попытался показать, как изгибаются и склоняются перед Ротшильдом просители, но у него это не получилось, он извинился и продолжал:

— Я видел людей, которые, приближаясь к великому барону, судорожно вздрагивали, точно от прикосновения к вольтову столбу. Уже перед дверью его кабинета многих охватывает благоговейный трепет. Несколько лет тому назад, придя как-то раз к господину фон Ротшильду, я увидел ливрейного лакея, проносившего по коридору его ночной сосуд, а биржевой спекулянт, оказавшийся здесь в эту минуту, почтительно снял шляпу перед могущественным горшком. Я заметил себе имя этого человека и убежден, что со временем он станет миллионером.— Генрих поднял руку, как это любят делать проповедники, и заговорил с пафосом: — Истинно, истинно говорю вам: деньги — бог нашего времени, а Ротшильд — пророк его! Деньги всесильны. Барон Джеймс Ротшильд покупает все. Он не знает ни одной музыкальной ноты, но Россини был у него другом дома. У него свой живописец. Это Шеффер. Ротшильд не знает ни одного слова по-гречески, но при нем всегда эллинист Летрон. Его лейб-медиком был гениальный Дюпюитрен. Кремье, этот великий юрист, защищает его интересы. Поэзия, как французская, так и немецкая, в лице своих весьма достойных представителей тоже пользуется расположением господина фон Ротшильда. Все подвластно деньгам: талант, любовь, жизнь и даже величие французского короля.

Гейне рассказал Женни и Карлу о том, как много лет тому назад, сразу же по приезде в Париж, он отправился к Пале-Роялю, чтобы посмотреть на Луи-Филиппа.

— Кстати, а вы видели Луи-Филиппа? — спросил он и понял по их лицам, что не видели.— И напрасно. Давайте сейчас же отправимся к

дворцу и дождемся, когда король выйдет погулять на террасу. Интересно смотреть при этом, однако, не на короля, а на толпу. Каких только оттенков чувств не найдешь в эти минуты на лицах! Вся эта галерея портретов здесь, в Лувре,— лишь бледная тень в сравнении с той, живой галереей.

Они вышли из Лувра.

— Французы еще недавно показывали своего короля за деньги,— сказал Гейне, щурясь от яркого солнца.— И не просто показывали, дескать, вот он, наш король. Просто увидеть короля можно было за пять франков. Но уже за десять франков можно было увидеть, как король поднимает глаза к небу и прижимает руку к сердцу. За двадцать франков король пел «Марсельезу»!..

— Ах, Гейне,— сказал Карл,— зачем вы все это выдумываете? Кто же вам поверит, будто Луи-Филипп кривлялся перед публикой за деньги, как бродячий клоун? Сознайтесь, что вы все это придумали.

— Вам дорога честь французского короля? — захохотал Гейне.— Вот уж не ожидал!..

— Мне дорога ваша честь, Генрих.

— Клянусь, что так и было.— Гейне постучал кулаком в грудь.— Конечно, король не собирал деньги, но вот как это происходило. Существовала компания маклеров, продавцов контрамарок и прочий сброд, они-то каждому иностранцу предлагали за деньги показать короля. Если вы этим молодцам давали пятифранковую монету, они поднимали восторженный крик под окнами короля, и его величество, польщенный этими криками, появлялся на террасе, кланялся и уходил. За десять франков эти молодцы начинали кричать еще громче и бесновались, когда появлялся король, которому в знак безмолвного умиления оставалось лишь поднять глаза к небу и приложить руку к сердцу, как бы принося клятву. Англичане же порою платили и двадцать франков, и уж тогда энтузиазм достигал высшего предела, и, как только на террасе показывался король, начинали петь «Марсельезу» и так отчаянно орать, что Луи-Филипп, может быть, только для того, чтобы кончилось это пение, возводил глаза к небу, прикладывал руку к сердцу и тоже запевал «Марсельезу». Уверяют, что при этом он еще отбивал такт ногою.

— У вас есть деньги, Гейне? — спросила Женни.— Докажите нам, что вы не сочинили рассказ про Луи-Филиппа, и купи́те короля.

— Пусть он споет нам «Марсельезу»,— поддержал ее Карл.— Ведь

всего двадцать франков — и убиты сразу два зайца: защищена ваша честь и получено наслаждение от королевского пения.

— Увы! — развел руками Гейне. — И еще раз увы! Когда поэт говорит, что у него денег нет, ему надо верить. Потому что, как мне кажется, первое предназначение поэта на земле — быть бедным. И в этом великий смысл, Карл. Бедность помогает поэтам не только рассудком понять муки народа, но и выстрадать их. Это придает их стихам обаяние более могущественное, чем сила таланта.

— Думаю, что это относится не только к поэтам, — поддержал его Карл. — Бедность — участь всех борцов за правое дело народа. Нищим был в последние годы жизни Сен-Симон, болел от нищеты, жил милостыней. Фурье, говорят, кормили его друзья...

— Я видел Фурье, — сказал Гейне. — Я часто видел, как он в сером поношенном сюртуке пробегал вон там. — Гейне указал на колонны Пале-Рояля, к которому они приближались. — Он всегда торопился, словно убегал от посторонних глаз. Из одного его кармана всякий раз торчало горлышко молочной бутылки, из другого — длинный хлеб. Он сам покупал и готовил пищу, когда у него бывали деньги. А когда денег не было совсем, ходил к друзьям, и те кормили его. Бедность лучших людей — их почетный титул. Богатство же — повод к подозрениям, потому что источником всякого богатства является мошенничество.

— Браво, Гейне, — сказал Карл. — Вы преподали мне сегодня наглядный урок политэкономии.

Прежде чем отправиться домой, они прогулялись по заснеженным аллеям дворцового парка. Здесь было значительно многолюднее, чем в Лувре. Разумеется, никто не жаждал увидеть короля ни за деньги, ни бесплатно — король появлялся на террасе лишь в утренние часы, да и то не каждый день. Просто сад Пале-Рояля был излюбленным местом прогулок и встреч. У фонтана Пале-Рояля назначали друг другу встречи не только парижане, но и иностранцы, потому что все знали о Пале-Рояле и о том, что перед дворцом есть фонтан. Среди гуляющих было много немцев, там и тут слышалась немецкая речь. Говорят, что русские смеются над скандинавами, которые на зиму стремятся попасть в Санкт-Петербург, чтобы наслаждаться там мягким южным климатом. Французы точно так же смеются над немцами, которые зимой едут в Париж, чтобы спастись здесь от холодов.

День был хоть и морозный, но тихий. Солнце светило сквозь легкую

дымку, тени казались совсем синими. Фонтан молчал. Из его бассейна мальчишки доставали лед и смотрели сквозь его прозрачные кристаллы на солнце. Молодые люди, должно быть русские, бросали друг в друга снежками и громко смеялись. Чопорные англичане ходили только по расчищенным дорожкам. Старые немки сидели на скамейках, подставляя лицо солнечным лучам.

Мороз, снег и солнце радовали Женни. Она разрумянилась и несколько раз упрашивала Карла погулять еще, не торопиться домой. И они гуляли долго, целый час или полтора, болтали о всяких милых пустяках. Карл и Гейне соревновались в остроумии, Женни смеялась и хвалила их обоих, а они, ободренные ее похвалами, еще больше старались развеселить ее.

— Как хорошо, что вы вытащили нас из дома! — сказала Женни Генриху, когда вместе с Карлом уже садилась в фиакр.— До свидания, милый Гейне, и приходите к нам еще, приходите почаще. Мне уже не так много осталось гулять и резвиться.

— Когда же вы ждете наследника или наследницу? — спросил Гейне.

— В апреле,— ответил Карл, улыбаясь.

— Вот и прекрасно. Половина января, февраль и март, стало быть, мы еще можем побегать-попрыгать...

— Но не очень,— предупредил Карл.

— Разумеется, не очень. И вот что я предлагаю: посвятить как можно больше времени музыке. Нынешний музыкальный сезон обещает быть неплохим. Он начнется с Берлиоза, с его новых вещей. Потом мы услышим в консерватории нашего прославленного земляка Феликса Мендельсона, симфонию покойного Моцарта, сочинения Генделя. Приедет наш любезный соотечественник Фердинанд Геллер. Будем очень надеяться, что покажется чарующий Шопен, который сейчас болен. И наконец, в Итальянской опере будет блистать наш угловатый фокусник музыки Франц Лист! В Большой опере будут показывать Доницетти и Мейербера. Говорят, что уже на пути в Париж Полина Виардо...

— Постойте, Генрих,— остановил Гейне Карл.— Вы совсем заговорили нас. И там, в Лувре, и здесь... А ведь мы не увидели в Лувре главного. И я подозреваю, что вы умышленно нас водили по другим лестницам и залам. Не пойму только, что вами руководило.

Слушая Карла, Гейне хитро улыбнулся.

— Ты о чем, Карл? — спросила Женни.

— Мы не увидели Венеру Милосскую, Женни,— сказал Карл.— Как это могло произойти, Генрих? Объясните!

— Да,— сказал Гейне.— Я умышленно провел вас по другим залам. Дело в том, что Венера — моя богиня. Моя. Я подхожу к ней только один. И плачу, стоя перед ней... Я не хотел, чтобы вы видели мои слезы. Хочу, чтобы судьба подарила мне возможность перед смертью побыть с Венерой наедине. Только с ней. И за это я был бы благодарен судьбе.

— Извините, Генрих,— сказал Карл.— Если так...

— К тому же,— не дал договорить Карлу Гейне,— к тому же это обстоятельство, что вы не увидели Венеру, заставит вас еще хотя бы раз побывать в Лувре. И посмотреть все без меня. Простите мне эту маленькую хитрость.

— Прощаем,— сказала Женни.— Все было прекрасно.

В тот вечер Женни втайне от Карла немного всплакнула, понимая, что театры, выставки, музыка, балы, роскошные наряды, чем так увлекаются богатые женщины Парижа, что все это не для нее. Но это была лишь минутная слабость.



Глава шестая

Гейне бывал у Марксов чуть ли не ежедневно. Однако Карл, занятый редактированием и выпуском «Ежегодника», все меньше уделял ему внимания, все чаще отсылал его к Женни, с которой у Генриха вскоре обнаружилось много общих тем для разговоров: литература, театр, мода и даже революция, как ее понимали в парижских салонах,— во всем этом Генрих был хорошо осведомлен и мог подолгу об этом говорить. И жаловаться на неурядицы, которые ежедневно преследовали его: то в одной, то в другой, то в третьей газетах появлялись статьи с нападками на стихи Генриха, печатались всякого рода сплетни и просто клевета. Разговоры с Женни помогали ему восстановить душевный покой. Он называл эти разговоры «бальзамом на мои раны». Жаловался он Женни и на Карла. Разумеется, втайне от него. На то, как Карл порою резко судит о его стихах, которые Генрих ему стал часто показывать. Слушая его жалобы, Женни улыбалась. А однажды сказала ему:

— Карл сам когда-то писал стихи. И теперь у этих его стихов нет более жестокого критика, чем сам Карл. Это должно утешить вас, Генрих.

В тот вечер Женни была дома одна: Карл еще утром отправился в типографию, сказав Женни, что, возможно, вернется поздно, так как намерен во что бы то ни стало именно сегодня довести печатание журнала до конца.

Настойчивость Карла была понятна: уже были подготовлены каналы для пересылки журнала в Германию; люди, взявшиеся осуществить эту операцию,ждали, а печатание журнала затягивалось. К тому же Арнольд Руге, прочитавший оттиски листов журнала, начинал проявлять беспокойство. Содержание статей журнала показалось ему слишком смелым, слишком радикальным, и это вызвало в нем всякого рода опасения о будущем затеянного им предприятия, в которое он вложил столько денег. Карлу он об этом открыто не говорил. Но от других людей, с которыми он общался, Карл уже слышал, что Руге намеревается выступить со статьей в одной из газет, где попытается либо отмежеваться от радикальных мыслей, которые высказаны в «Ежегоднике» Марксом и Энгельсом, либо истолковать их таким образом, чтобы они утратили свою остроту, свою революционность.

От сотрудников издателя Фребеля Карл знал, что Руге предпринял запоздалую попытку вмешаться в редактирование журнала — к счастью, это была именно запоздалая попытка. С Фребелем Руге вел всякого рода переговоры, в которых стремился оградить себя от финансовых потерь, в случае если с журналом произойдет непредвиденное, то есть если журнал не удастся продать в Германии. Словом, Карл понимал, что, пока не отпечатан весь тираж «Ежегодника», Руге и Фребель в любую минуту могут поставить ему подножку, и поэтому торопил печатников, целыми днями пропадал в типографии.

Женни же в результате вынуждена была проводить все эти дни одна. И очень радовалась, когда приходил Гейне — с жалобами ли, с веселыми или злыми рассказами о «проклятых газетчиках», с парижскими новостями и новыми стихами.

В тот вечер Гейне много рассказывал ей о Жорж Санд, которую называл своей кузиной, прекрасной амазонкой, величайшей писательницей, исключительно красивой женщиной, Венерой Милосской. Он старался нарисовать словами ее портрет и так говорил о ней Женни:

— Она гречанка по красоте своей, и поэтому я называю ее Венерой Милосской. Вот ее портрет, как вижу его сейчас: у нее невысокий лоб и чудные вьющиеся темно-каштановые волосы, разделенные пробором.

Волосы падают на плечи.— Генрих показал руками, как они лежат на плечах.— Глаза у нее немного тусклы, во всяком случае, не блестящи. И быть может, огонь их...— Генрих сделал паузу и вздохнул: — Быть может, он померк от слез или же перешел в ее произведения, которые по всему миру распространили пламя пожара и озарили не одну безотрадную темницу. И разумеется,— улыбнулся он,— зажгли гибельным огнем не один мирный храм добродетели...

У нее тихие, кроткие глаза,— продолжал он после паузы.— Вполне обыкновенный прямой нос. На губах ее обычно играет добродушная улыбка. Подбородок полный, но пропорциональный и красивый. Плечи тоже прекрасны, даже великолепны. Но только голова, голова ее носит печать идеала, напоминая благороднейшие памятники греческого искусства. И в этом смысле я сравниваю ее с мраморной статуей Венеры Милосской. Впрочем, у нее есть одно несомненное преимущество перед Венерой Милосской,— засмеялся Генрих.— Она значительно моложе Венеры...

— Она остроумна? — спросила Женни и улыбнулась.

— В ней нет и следа остроумия. Она, в отличие от многих своих соотечественниц, очень немногословна. И думаю, что это из эгоизма; она много слушает и мало говорит, чтобы впитать из речи собеседника все лучшее для своих книг. Она также охотно внимает советам друзей. При нецерковном направлении ума у нее, разумеется, нет духовного отца. Но так как женщины, даже столь эмансипированные, все же нуждаются в мужском руководстве — да, да, Женни, не возражайте! — то у Жорж Санд есть нечто вроде литературного духовного отца в лице философского капуцина Пьера Леру. На мой взгляд, он очень пагубно влияет на ее талант, заставляет ее пускаться в какие-то смутные рассуждения, вместо того чтобы отдаваться ясной радости созидания ярких и четких образов, служить только искусству.

— Вы осуждаете в ней пристрастие к политике, к философии, Генрих?

— Осуждаю? Нет. Эти ее пристрастия вызывают во мне не осуждение, Женни, а печаль. Мастер растрачивает себя на чепуху — вот в чем источник моей печали. Женщина растрачивает себя на мужскую работу, в которой она слаба и неумела.

— Что вы называете мужской работой, Генрих? И есть ли такая работа, которую способны выполнять только мужчины?

— Есть, Женни, есть. В бой должны бросаться только мужчины.

— Почему, Генрих? А Жанна д'Арк?

— Конечно, конечно. Жизнь вынуждает женщин порой становиться мужчинами, но это проклятая жизнь. Хранительницы жизни, нежности, домашнего очага, человеческого рода — вот что такое женщины. Искусство целиком посвящено им. Мужчинам посвящена политика... Кстати, я давно намереваюсь спросить вас, Женни, но не решаюсь. А сегодня такой разговор, что, пожалуй, решусь и спрошу. Вы позволите?

Женни молча кивнула головой.

— Как вы мыслите себя при Карле? Соратником? Другом? Женой? Что вас более всего привлекает в вашей роли? Я не застал вас своим вопросом врасплох?

— Вы не застали меня врасплох, Генрих,— ответила Женни не сразу.— Но и ответа четкого у меня пока нет. Хотя я смогла уже кое-что оценить, кое-что сравнить, взвесить. Чтобы стать соратником Карла, например, надо иметь его ум, его талант, его образование, его неистовство, работоспособность, его призвание... Увы, Генрих, этого нет не только у меня, но и у всех других, кого я знаю!

— Господи! — всплеснул руками Генрих.— Если бы меня так любили!

— И вот что мне остается,— продолжала Женни,— быть его другом и женой. Я очень внимательно слушала ваш рассказ о Жорж Санд. Я все ждала, когда вы скажете, что Жорж Санд — знамя всех женщин. Но вы не сказали этого, Генрих. И тогда я подумала, что не может быть в мире двух знамен — одно для женщин, другое для мужчин. В этом мире женщины и мужчины счастливы и несчастны одинаково. Все мы — люди. Все, и мужчины и женщины, называют зло одним именем. Если мужчина идет на бой с этим злом — а это мужское дело, Генрих, как вы сказали,— то, оглянувшись, он должен увидеть лицо любимой, которая хранит его детей и огонь в очаге. Хотя, не скрою, Генрих, мне очень хочется быть рядом с Карлом и в бою. Но меч тяжел...

— Если Карл выиграет свое главное сражение в жизни,— сказал Генрих,— он будет в равной степени обязан этим и своему гению, и вашей любви, Женни. И потому все правильно, что вы сказали. Если человеком во всех его делах неизменно движет любовь, это наилучшие дела.

Наконец пришел Карл. Лицо его было совсем черным от усталости, но он улыбался. Сняв шляпу, он тряхнул ею, и на пол полетели капли воды — на улице шел дождь. Потом расстегнул пальто, достал спрятан-

ные на груди от дождя несколько экземпляров «Ежегодника» и бросил их на стол.

— Свершилось,— сказал он охрипшим голосом и, не снимая пальто, упал в кресло.

— Поздравляю! — Генрих подошел к Марксу и пожал ему руку.

— Поздравляю и вас,— сказал Карл.— Ваши стихи впервые напечатаны в приличном журнале, Генрих. В серьезном журнале,— добавил он, поднялся и, сняв пальто, подошел к Женни.— Ты рада? — спросил он, целуя ее в щеку.

— Я очень рада,— ответила Женни.

— Отнесу экземпляр Руге,— сказал Карл.— Сейчас вернусь. Хорошо бы поесть. Голоден как волк.

— Я сейчас приготовлю.— Женни отложила в сторону вязание.

Карл вернулся через несколько минут.

— Доволен ли Руге? — спросил Гейне, когда они сели за стол, на котором уже стоял ужин.

— Доволен,— ответил Карл.— Но в голосе слеза. Внутренне он уже оплакал наше предприятие. В полный голос, однако, он зарыдает завтра, когда о «Ежегоднике» выскажется прусское правительство, которому от нас здорово досталось.

— Надо полагать, что и нам от него здорово достанется,— сказал Гейне.

— Вы боитесь?

— Я радуюсь,— ответил Гейне.

— Это радость для многих,— продолжал Карл.— Конечно, следовало бы собрать всех авторов журнала: Гервега, Энгельса, Бернайса...

— И Руге,— подсказала Женни.

— И Руге, конечно,— согласился Карл.— И вместе порадоваться нашей первой победе. Но Энгельс в Англии, Руге хандрит, Гервег на балу, Бернайс сменил меня в типографии.

За окном была ночь. Шумел дождь, первый весенний дождь, от которого набухали почки на каштанах и земля источала запах пробуждающихся корней. Карл прислушался к шуму дождя, потом посмотрел на Женни и улыбнулся.

— Что, Карл? — спросила она.

— Я почему-то вспомнил наш Трир. Какой-то далекий-далекий день, теплый дождь, под которым мы плясали в саду у вашего дома.

— Счастливое воспоминание,— сказал Гейне.— Раньше я часто снился себе ребенком, а теперь что-то не припоминаю. Виктор Гюго, которому я однажды пожаловался на это, сказал: «Кто во сне не видит себя ребенком, у того засохли корни».— Генрих помолчал, потом сказал со вздохом: — Это старость...

Карл засмеялся.

— Это не старость,— возразил он,— это меланхолия. А меланхолия, как сказал некто, преддверие поэзии.

Генрих взглянул на Карла, затем на Женни и тоже рассмеялся.

— Нет, с вами не затоскуешь,— сказал он.— Вы оба заражаете меня радостью. Мне бы не расставаться с вами, но...— Он встал.— Но уже давно ждет меня моя Матильда. Если позволите, я забегу как-нибудь снова, дней через пять-шесть...

— Мы без вас скучаем,— сказала Женни.

Генрих поклонился и поцеловал Женни руку.

Первой откликнулась на выход «Ежегодника» газета «Форвертс», принадлежащая Генриху Бёрнштейну, актеру и литературному дельцу. И заговорила она о «Ежегоднике» словами Бёрнштейна и Германа Мёйрера, скверной прозой Бёрнштейна и еще более скверными стихами Мёйрера.

Второго марта «Форвертс» предупредила своих читателей о готовящемся выходе «Ежегодника», а уже восьмого марта разразилась пошлой бранью в адрес авторов журнала.

— Нужно вызвать клеветников на дуэль,— сказал Карлу Гейне.

— Еще рано,— ответил ему Карл.— «Форвертс» еще не все сказала. Подождем следующего номера.

Карл словно в воду глядел. Уже в ближайшем номере «Форвертс» появились новые стихи — теперь целиком против Гейне. В них были зарифмованы все старые сплетни о Гейне, он снова назывался мертвецом, «захлебнувшимся в грязном корыте политического вранья».

— Вот теперь самое время вызывать Мёйрера на дуэль,— сказал Генриху Карл,— теперь он сказал все.

— Я его встретил на лестнице, когда поднимался к вам,— мрачно ответил Генрих и замолчал.

— И что же? — первой спросила Женни.

— Он посторонился и прижался спиной к стене. По-моему, у него тряслись руки и дрожали от страха губы. Я посмотрел ему в глаза, и он замер, как кролик под взглядом удава. А ведь, кажется, не такой человек, чтобы делать гадости. Думаю, что испортило его рифмоплетство. Рифмоплетство — это великое зло. Рифмоплеты пишут обо всем, что можно напечатать. А в такой газетке, как «Форвертс», можно напечатать любую гадость против любого честного немца. Ведь ее редактор Адальберт Борнштедт — бывший прусский офицер. Говорят даже, что он получает жалованье от прусского и австрийского правительств.

— Да, компания,— вздохнул с досады Карл.— А ведь клеймят нас от имени прогресса и просвещения.

— То ли мы еще увидим! Настоящее зло нашего времени искусно рядится в одежды добра. Так прогрессирует зло.

— А добро? Как прогрессирует добро? — спросила Женни.

— Оно становится более прекрасным и более мужественным,— ответил Генрих.— А на эту ничтожную газетенку нам следует просто плюнуть,— добавил он, повеселев.— В самом деле, что такое «Форвертс»? Выходит два раза в неделю, тираж двести экземпляров, издается болванами, болванами же и покупается. Подспорье для торговцев каштанами: они охотно делают из нее фунтики. Один мой друг сказал о ней так: «Форвертс» доказывает, что и без цензуры газета может быть на редкость глупой и пошлой».

Уколы «Форвертс» не могли серьезно повредить «Ежегоднику». Адальберт Борнштедт, редактор «Форвертс», ожидал, надо думать, что прусское правительство по достоинству оценит его старания. Но случилось непредвиденное: прусское правительство вынесло вдруг решение, по которому запрещалось распространение «Форвертс» в Германии. Даже те жалкие слова в защиту «прогресса и просвещения», которыми время от времени баловалась «Форвертс», вдруг показались прусскому королю опасными.

Оскорбленный в своих лучших чувствах, Адальберт Борнштедт покинул Париж и уехал в Англию. Владелец газеты Генрих Бёрнштейн оказался на мели. И тогда не долго думая он решил пригласить на пост редактора газеты Фердинанда Бернайса, сотрудника «Ежегодника», объяснив это тем, что сам он «внезапно полевел, полюбил демократов

и социалистов». На самом же деле у него была лишь одна любовь — любовь к деньгам. Но это было уже не столь важно: объективно газета действительно резко изменила свое политическое лицо, в ней стали печататься все авторы «Ежегодника».

Сам же «Ежегодник» оказался на грани катастрофы. Через месяц после выхода в свет «Ежегодника» министром иностранных дел Пруссии был разослан обер-президентам всех прусских провинций циркуляр. Вскоре текст этого циркуляра стал известен Карлу и всем, кого он непосредственно касался.

Циркуляр, в частности, гласил: «Содержание первого и второго выпусков «Немецко-французского ежегодника», издаваемого в Париже Руге и Марксом, как во всей тенденции этого журнала, так и во многих местах, является преступным, в частности, таковым является попытка государственной измены и оскорбление величества. За это ответственны издатели и сочинители отдельных преступных статей. Поэтому я покорнейше прошу Ваше превосходительство, не будете ли Вы так добры, не производя шума, дать указания надлежащим полицейским властям арестовать д-ра А. Руге, К. Маркса, Г. Гейне и Ф. Бернайса с конфискацией их бумаг, как только они окажутся по эту сторону области». То есть в Пруссии.

Первым о содержании циркуляра министра иностранных дел Пруссии узнал Фердинанд Бернайс, редактор «Форвертс», через бывших прусских корреспондентов газеты. Сначала Бернайс сообщил о циркуляре Арнольду Руге, затем — Марксу.

— Иного не следовало и ожидать,— сказал Карл.— Удивительно другое: как быстро министр обнаружил истинных врагов прусского правительства. А некоторые наши революционеры до сих пор не могут определить, кто их подлинный враг.

— Ты как будто даже обрадовался, Карл, этому циркуляру? Доктор Руге отнесся к моему сообщению совсем иначе, совсем-совсем иначе...

— У доктора Руге в Германии капиталы, а что оставил в Германии я? Что оставил в Германии ты, Фердинанд? То, что правительству неподвластно: ненависть к правительству, которая кипит в сердцах наших единомышленников. К счастью, она тем сильнее, чем свирепее правительство. Таким образом, наши капиталы только возросли. К тому же ни я, ни ты, ни Гейне не собираемся, кажется, пересекать границу прусских владений. Во всяком случае, теперь.

— Но должен пересечь границу прусских владений «Ежегодник», Карл. Что будет с ним?

— Он уже пересек эту границу. Доказательство тому — циркуляр министра. Журнал, конечно, можно арестовать. Но идеи, Фердинанд, арестовать невозможно.

— Ты поделись своим оптимизмом с Гессом и Руге,— сказал Карлу Бернайс.— Во мне же оптимизма хоть отбавляй: должно быть, от моего крепкого здоровья.

Бернайс на самом деле отличался завидным здоровьем. Он был как раз тем человеком, о каких обычно говорят: пышет здоровьем. И жизнерадостность его была неодолима. Карл даже сказал однажды, что жизнерадостность Бернайса больше привлекает к нему людей, чем его газета.

— А что с Гессом? — спросил Карл.— Что повергло его в уныние?

— Циркуляр министра лишил его права быть корреспондентом «Кёльнской газеты». А «Кёльнская газета», как известно, кормила его.

— Это так,— вздохнул Карл.— Но у меня не было и этого.

— У тебя есть еще надежда, что Руге выплатит тебе гонорар за статьи в «Ежегоднике»?

— Я уверен,— сказал Карл.

— И напрасно,— засмеялся Бернайс и тут же извинился за свой неуместный смех: — Просто я вспомнил лицо Гесса, когда он сказал мне: «А на чем я буду тогда спать?»

— Не понял тебя, Фердинанд.

— Гесс попросил у Руге гонорар за свою статью в «Ежегоднике», а Руге потребовал от него в залог мебель на тот случай, если «Ежегодник» не будет распродан,— объяснил Бернайс.— Вот тут-то я и услышал от Гесса его почти гамлетовский вопрос: «А на чем я буду тогда спать?» — Бернайс не выдержал и снова рассмеялся.— Но оказалось, что дело обстоит еще хуже,— сказал он, успокоившись.— Оказалось, что Гесс уже должен Руге сто франков. И вот Руге потребовал сначала возвращения этого долга, затем мебель, и только после этого он выдаст Гессу гонорар...

— Мерзость,— сказал Карл.— Бедный Гесс.

— Но каков Руге, а? В денежных делах он покрепче самого Ротшильда.

Карл действительно многого о Руге не знал. Не знал, например, что Арнольд Руге в письмах к своим друзьям, своей матери называет Карла

вероломцем, моральным и научным софистом, заговорщиком — это в письме к поэту Роберту Прутцу, которое он отправил через несколько дней после выхода в свет «Ежегодника». В других корреспонденциях он доказывал, что не разделяет ни целей борьбы, которую ведет Маркс, ни методов этой борьбы. Писал он и письма, в которых пользовался словами рыночных торговок.

— Карл,— сказала Женни, когда Бернайс ушел.— Следовало бы и тебе напомнить Руге о гонораре. Все наши запасы подходят к концу...

— Хорошо, Женни. Я непременно это сделаю.

— Поторопись, милый. Скоро у нас прибавится семья. Я не смогу брать продукты в долг...

— Да, милая, да. Я все сделаю. Я сделаю все, как ты говоришь. Сегодня же. Или завтра.

— Можно и завтра,— улыбнулась Женни, зная, как трудно Карлу заставить себя заговорить с Руге о деньгах.

Карл с облегчением вздохнул:

— Хорошо, завтра, непременно. Я заставлю его раскошелиться. В конце концов, он должен мне деньги, которые я честно заработал. К тому же есть договор, по которому он юридически обязан уплатить мне не только за мои статьи, но и за редакторскую работу.— Говоря это, Карл просто уговаривал себя.

Женни знала об этом и улыбалась, хотя веселого в их положении было мало. И все же она надеялась, что Карл поговорит с Руге о деньгах.

Но тут произошло событие, которое помешало Карлу выполнить обещание, данное им Женни. Уже на следующий день стало известно, что несколько партий «Ежегодника», отправленных в Германию, конфискованы на границе.

— Это катастрофа,— сказал Руге, когда Карл пришел к нему.— Это конец всему нашему делу. Я потерял огромную сумму денег. Шесть тысяч талеров, которые я вложил в журнал, выброшены на ветер.

— Можно еще поправить дело, ведь не весь тираж конфискован.

— Нет, нет и нет! — не дал Руге договорить Карлу.— Есть еще одно обстоятельство: прусское правительство из-за нашего «Ежегодника» вообще запретило ввоз книг, издаваемых Фребелем. Теперь Фребель предъявит мне иск, чтобы я компенсировал его убытки... И уж во всяком случае, он ни за что не согласится продолжить выпуск журнала, печа-

тать дополнительный тираж. Это все! — замахал руками Руге.— Это конец!

— Журнал можно отправить в Швейцарию и там продать. Если вы и я поедем в Швейцарию и организуем продажу...

— Торговать? Мне торговать журналом? — взорвался Руге.— Я что, книгопродавец? Торговец? Как может такая мысль прийти в голову, не понимаю.

— Я не нахожу...

— Вы, конечно, не находите,— снова перебил Руге Карла.— Вы, конечно же, ничего такого не находите. Но я не торговец! Не тор-го-вец!

— Я пойду,— сказал Карл, видя, что продолжать разговор с Руге бесполезно.— Надо нам спокойно обдумать создавшееся положение.

— Спокойно?! Вы говорите о спокойствии?! Это вы мне говорите о спокойствии?!

Карл не дослушал, чем Руге закончил свою тираду. Он закрыл за собой дверь и ушел.

Едва увидев Женни, он понял, что поступил опрометчиво, сказав Руге, что может поехать вместе с ним в Швейцарию. Не только в Швейцарию, но даже за порог дома ему не следовало отлучаться в эти дни... Женни была на сносях. Слава богу, что Руге не согласился с его предложением. А может быть, даже и не расслышал, что Карл предлагал ему поехать вместе. Как взвился, однако: «Я не книгопродавец! Я не торговец!» Ах, ах, какой барин! Какой все же, черт возьми, барин!

— Баденское и пфальцское правительства конфисковали несколько сот экземпляров «Ежегодника»,— сказал он Женни.— С Руге ни о чем невозможно говорить...

— Ладно,— вздохнула Женни, подошла к Карлу, обняла его и прошептала на ухо: — Карл, по-моему, у меня начинается... Надо идти за повитухой.

Ночью она родила девочку.

У Карла была большая радость: Женни счастливо разрешилась и он стал отцом. Сидя на кухне, чтобы не мешать повитухе и ее помощницам, Карл вспоминал о том, как он и Женни мечтали об этом дне, как много лет прошло с той поры, когда он сказал Женни: «У нас будет много детей, и я буду любить тебя до смерти». Он так любил Женни, что его

чувство не вмещалось в одном дне, в одном году. Ему нужна была вся жизнь — так оно было сильно и велико. Он и теперь ее любит так же, свою милую Женни. А еще в нем рождается новое, незнакомое чувство — отцовское: любовь к дочери, к маленькой Женнихен.

Женнихен ему показали только в полдень. Тогда же ему разрешили войти к Женни.

— Спасибо тебе, родная,— сказал Карл, взяв руку Женни и целуя ее.— Все хорошо?

— Все хорошо,— ответила Женни.— Ты видел ее?

— Она мне очень понравилась,— ответил Карл.— А тебе?

Женни ответила улыбкой.

— Впрочем, о чем я спрашиваю! — спохватился Карл.— Разве у матери спрашивают, нравится ли ей ее ребенок? Теперь ты — мама.— Последнюю фразу он произнес дважды — по-немецки и по-французски.— Звучит красиво, правда? Тебе нравится?

— Да,— сказала Женни.— Я очень счастлива, Карл. Очень счастлива.

Он понял, о чем сказала Женни. Она сказала о том, что счастлива не только потому, что стала матерью, но еще и потому, что она — мать его ребенка.

Несколько дней для Карла были заполнены непривычными хлопотами. Он помогал Женни на кухне, бегал в лавку за продуктами, принимал гостей, приходивших с поздравлениями и подарками для новорожденной, для Женнихен, совсем перестал читать и писать — было просто некогда, курил на ходу, на пути в лавку или на рынок. Хозяйственные заботы для мужчин — приятная игра. Именно так воспринимал их Карл. Хотя в одном он не находил ничего приятного: в постоянных размышлениях о том, где раздобыть денег для очередной покупки.

Эти мысли непременно возвращали его к Руге, раздражали, сердили и наполняли решимостью поговорить с Руге о деньгах в открытую, со всей серьезностью. Какое-то время он ждал, что Руге сам предложит ему гонорар за статьи, ведь он не мог не знать, что теперь, когда появилась маленькая Женнихен, Карл и Женни особенно нуждаются в дополнительных средствах. Но Руге молчал. Более того, проснувшись однажды утром, Карл увидел из окна комнаты, что какие-то люди выносят из дома и грузят на телегу вещи. Это были вещи Руге: он переезжал на другую квартиру.

Карл решил поговорить с Руге теперь же. Быстро оделся и напра-



вился к нему. Но Руге в квартире не оказалось. Грузчики сказали ему, что хозяин на улице. Руге действительно был там, он следил за погрузкой вещей.

— Доброе утро, доктор,— сказал ему Карл.— Переезжаете?

— Да,— ответил Руге, не глядя на Карла.— Нашел новую квартиру, более дешевую. Теперь мне не по карману... После того, что случилось с «Ежегодником»...

— Более дешевую или более удобную? — спросил Карл.

— О чем вы? — возмутился Руге.— Разве я выразился не ясно? Более дешевую! — произнес он, делая упор на последнем слове.— Кстати, у меня теперь нет возможности выплатить вам гонорар деньгами... Я все не решался сказать вам об этом, но теперь, когда мы заговорили о моем финансовом положении... Словом, у меня нет денег. Вам это должно быть ясно.

— Чем же вы намерены выплатить мне гонорар?

— Вы получите такое количество экземпляров нашего «Ежегодника», от продажи которого можно получить сумму, соответствующую сумме вашего гонорара.

Карл понял, что Руге давно заготовил эту фразу и, стало быть, давно все обдумал, в том числе и все возможные возражения. И потому Карл ничего не сказал Руге, хотя был возмущен до глубины души, кивнул головой и направился к подъезду.

— Журналы вы получите в типографии,— сказал ему вслед Руге.— Я распорядился.

Карл не оглянулся.

Женни о разговоре с Руге он ничего не сказал. Поговорили лишь о причинах переезда Руге. Ту, что назвал сам Руге, не стоило принимать всерьез. По сведениям, которыми располагал Гесс и которыми он недавно поделился с Карлом, состояние Руге исчислялось десятками тысяч. И то, что он потерял на «Ежегоднике», вряд ли могло существенно отразиться на нем. Причин для поиска более дешевой квартиры у него не было. Тут им руководило, как догадывался Маркс, нечто другое: нежелание жить под одной крышей с ним и Женни. Ведь понимал же он, конечно, что поступает непорядочно, отказывая Карлу в гонораре именно теперь, когда появилась на свет Женнихен. По этой причине ему больше не хотелось встречаться с Карлом — боялся его осуждения.

«Руге — филистер» — это сказал Гейне. И он прав.

Догадывалась обо всем этом и Женни.

— А я даже рада, что они съехали,— сказала Женни.— Заносчивость фрау Руге мне ужасно надоела.

В тот день Карл написал несколько писем в Кёльн, к своим друзьям по «Рейнской газете», с просьбой срочно помочь ему деньгами. Он очень надеялся, что они откликнутся и что ему не придется больше иметь дело с Арнольдом Руге. Друзья действительно откликнулись. Но прежде чем это случилось, он еще раз встретился с Руге — не по своему желанию. Руге прислал ему записку, в которой сообщал, что ждет встречи с ним, желая обсудить важное для них обоих дело. И назначил встречу. Но не на своей новой квартире, как было бы естественно, а в парке Пале-Рояля.

С утра Карл отправился в библиотеку. После рождения дочери Женни впервые отказалась от его услуг: Женнихен стала спокойнее, да и Женни окрепла и могла теперь одна справляться с несложным домашним хозяйством.

— Иди, иди,— сказала она ему, когда Карл остановился в дверях, показывая всем своим видом, что он может и даже готов по первому ее слову остаться.— Ты нам совсем-совсем не нужен.— Она впервые употребила это слово — «нам».— До вечера, конечно, только до вечера. Пообедай где-нибудь в кафе, чтобы не тащиться через весь город.

— Хорошо,— ответил Карл, хотя помнил, что в кармане у него нет ни франка.— Мне в самом деле пора кое-чем заняться.

То, что он назвал «кое-чем», давно уже не давало ему покоя. Особенно с той поры, как он вчитался в статьи Энгельса, напечатанные теперь в «Ежегоднике». Перед ним как бы приоткрылась завеса, за которой начинался путь ко многим истинам философии, социологии, истории, политики. Путь к новой науке, которая должна стать оружием в руках рабочего класса.

«Кое-что» означало также и то, что он намерен более основательно заняться изучением жизни рабочего класса: условий его труда и быта, возможностей его объединения, сплочения, возможностей создания подлинно революционной организации.

Редактирование «Ежегодника», а затем рождение Женнихен — все это отвлекало его от основательного изучения социальных и экономических теорий, от участия в политических собраниях рабочих. Теперь же, кажется, пришла пора именно для этой работы. Впрочем, время, отдан-

ное «Ежегоднику», тоже не ушло напрасно: он уяснил для себя некоторые принципы, среди которых важнейшим, возможно, является тот, что необходимо объединение революционных усилий не только рабочего класса Германии и Франции, но и объединение усилий рабочих всех стран и, стало быть, нужен не галло-германский принцип, а теория пролетарской революции.

Вот что уяснил себе Карл и чего совсем не понял Руге, оставшись верным своему пресловутому галло-германскому принципу, своему барскому пренебрежению к конкретной работе среди рабочих. Значит, и Руге, как и Бруно Бауэр со своей компанией, сбежал на берег с корабля, которому плыть дальше через штормы...

Была середина мая — райская пора. Париж оделся в зелень, парижанки — в разноцветные платья. Всюду солнечно, тепло, многолюдно. Даже весело, потому что майская погода располагает к беззаботному веселью. И порхание бабочек, и пение птиц, и сам воздух, напоенный ароматами буйно вспыхнувших цветов.

После многих беспокойных дней и бессонных ночей, связанных с рождением Женнихен, сегодня он, кажется, впервые ощутил, какой долгий и светлый праздник принесла ему и Женни и маленькая Женнихен. Не хватало только этого солнечного дня, одной спокойной ночи и первой, пусть еще не осмысленной улыбки Женнихен. Именно сегодня утром Карл впервые увидел, как улыбается его дочь... Как только у него появятся деньги, подумалось ему, он обязательно пригласит своих друзей, первым поднимет бокал и скажет: «За улыбку моей Женнихен!» Это будет чудесно! А деньги, конечно, появятся: кёльнские друзья не оставят его в беде, как он в свое время не оставлял их. И Руге, надо думать, все-таки опомнится, как только поправятся его финансовые дела. Он снова думал о Руге, о встрече, которую тот назначил ему в саду Пале-Рояля в три часа.

Он пришел на место встречи раньше назначенного времени. Сидел на скамье, курил, грелся на солнышке, смотрел на детей, бегающих за бабочками, на старух, кормящих голубей, закрывал глаза и думал бог весть о чем. Иногда о том, что неплохо было бы сейчас поесть и поболтать с друзьями, забыв о Руге, о деньгах, о чувстве голода и о мерзавце Мальтусе, сочинение которого он только что читал.

Мальтус — мерзавец до конца, и он не пытается это скрывать. Нищих надо уничтожать, говорит он, но гуманно, чтоб им не было больно. А ба-

рин Руге, просвещенный филистер, краснобай, печется о воспитании детей бедняков, о государственных благотворительных учреждениях. Разве же не ясно, что это утопия, благие пожелания, что так лишь прикрывают красивыми словами равнодушие к нуждам рабочих, что это пустая поза, потворство грабежу?..

Погасла сигара, и Карл раскурил ее снова. Голубь подошел к самой ноге и клюнул в носок ботинка.

— Это тебе показалось, будто там что-то есть,— сказал ему Карл.— На самом же деле на мне и во мне, дружок, нет никакой пищи! Могу предложить только сигару. Спасибо Гервегу: вместе с подарком для новорожденной он принес коробку сигар для ее отца. Это очень благородно, не правда ли? Ты не находишь?

Карл не сразу увидел Руге. И пока разговаривал с голубем, Руге подошел к нему, спросил посмеиваясь:

— С кем это вы разговариваете, Карл? Я слышал, что здесь было произнесено имя Гервега... Неужели этот подонок здесь, а я его не вижу? Где же он? Впрочем, здравствуйте, Карл.

— Здравствуйте,— ответил Карл.— Чем вам так досадил Гервег, что вы назвали его подонком?

Руге вздохнул, присел рядом с Карлом на скамью.

— Итак, о Гервеге,— сказал он после паузы.— Я обращался к нему за помощью... Речь шла о вашей идее, Карл, о том, что следует поехать в Швейцарию и там попытаться продать оставшиеся экземпляры «Ежегодника». Ведь это ваша идея?

— Моя,— ответил Карл.— Но разве это так важно?

— Важно. Потому что Гервег мог не принять мою идею, хотя я в свое время сделал для него достаточно много и вправе рассчитывать на его благодарность. Но он не принял ВАШУ идею, а между тем, как мне хорошо известно, всюду называет вас, Карл, своим лучшим другом.

— И что же из этого следует?

— Из этого как раз и следует то, что Гервег — подонок. Он единственный из нас, кто мог бы сейчас без ущерба для своих дел отправиться в Швейцарию. Но он не может, видите ли, пожертвовать своим драгоценным временем для важного дела, потому что тратит его в салонах богатых старух. Он негодяй и транжира. Он давно растерял свой талант, он обкрадывает свою жену, он опустился до лизоблюдства...

— Вы назначили мне встречу, чтобы сказать это? — остановил Руге Карл.

— Да! Я хочу, чтоб вы знали, кого вы называете другом и кто называет другом вас. Он предал нас обоих...

— С меня достаточно,— сказал Карл и встал.— Мой ответ я сообщу вам письменно. Прощайте.

В тот же день Карл отправил Руге письмо, в котором написал, что порывает с ним всякие отношения. Несколько строк в этом письме были посвящены Гервегу. Карл называл его гением и заявлял, что нельзя судить о гении с точки зрения филистера.



Глава седьмая

С маленькой Женнихен что-то случилось: она плохо спала ночью, не давала уснуть ни Женни, ни Карлу, плакала, не хотела есть. Женни и Карл решили, что обязательно покажут ее врачу или хотя бы посоветуются с кем-нибудь из женщин, так как в науке материнства Женни была плохо осведомлена. Будь она сейчас дома, в Трире, ей помогали бы мать, служанка Ленхен, пожилые родственницы, которые всегда с готовностью, как помнит Женни, устремлялись в дом, где появлялся малыш. Там есть даже знакомый врач, к которому можно было бы обратиться в любую минуту. А здесь, в Париже, она одна, без женской опеки. Да и врача пригласить непросто, особенно теперь, когда они вынуждены экономить каждый франк.

— Как только у нас появятся деньги, ты поедешь к матери,— не раз в последние дни говорил Женни Карл.— Вам обеим надо окрепнуть... Ты обязательно поедешь...

И Женни с этим согласилась. Это было разумное решение: она дейст-

вительно чувствовала себя нездоровой, очень утомленной. К тому же все это, несомненно, сказывалось на Женнихен.

К утру малышка успокоилась, немного поела и уснула.

— Ей лучше,— сказала Женни Карлу.— И все же нам следует подумать о враче.

— Конечно, конечно. Я сегодня же попробую через друзей связаться с кем-либо из хороших врачей. Ты не волнуйся, родная. Отдохни, пока Женнихен спит. Я уверен, что скоро придет ответ из Кёльна, и ты сможешь уехать на время в Трир.

Они не успели позавтракать, как Женнихен снова проснулась, дав знать о себе громким криком. Женни бросилась к ней, позвала Карла. С Женнихен творилось что-то совсем неладное: она судорожно сучила ручками и ножками, личико ее исказила гримаса боли, она продолжала кричать даже на руках у Женни.

— Боже, что делать? — испуганно причитала Женни.— Что нам делать, Карл? Смотри, смотри!

Карл растерянно смотрел на Женни и на больную дочь, не зная, что предпринять. Потом бросился к Мёйрерам, но фрау Мёйрер не оказалось дома. Даже консьержки, которая редко отлучалась, не было на месте.

Карл выбежал на улицу. Хотел поймать извозчика, чтобы помчаться к Эвербеку, хотя Эвербек жил далеко, или к Бернайсу, который наверняка помог бы найти врача, но улица, как назло, была пустынна. Тогда он решил бежать в овощную лавку, где торговала мадам Дидьен, чтобы просить ее о помощи. И тут увидел Гейне. Гейне шел к нему, улыбался, махал приветственно рукой.

— Генрих! — бросился к нему Карл.— Помоги!

— Что случилось? — Генрих только теперь увидел, что Карл одет по-домашнему, что у него встревоженное лицо.

— Заболела Женнихен! Срочно нужен врач! Или кто-нибудь... Мы не знаем, что с ней. Помоги, Генрих!

— Пойдем! — Генрих взял Карла за руку.— Я взгляну на малютку.

Карл начал было протестовать, но Гейне решительно повел его в дом.

Едва взглянув на Женнихен, Гейне сбросил с себя куртку, закатал рукава сорочки и приказал Карлу:

— Срочно ставь на огонь воду. Нужна горячая вода. И ванночка, в которой вы купаете малышку. Поторапливайся! — ободряюще улыбнулся он Карлу.— Все будет хорошо.

Карл бросился выполнять приказания Генриха.

— Теперь давайте малышку мне и помогите Карлу,— сказал Генрих Женни.— И утрите слезы. На моих руках перебывало много детей, я любил с ними возиться. И я знаю, что делают в таких случаях, уверяю вас.

Он взял из рук Женни малютку, стал ходить с нею по комнате, покачивать, прижимаясь к ее щечке, что-то говорил, щелкал языком, пробовал даже петь, но Женнихен продолжала кричать, судороги сводили ее тельце.

Когда ванночка была готова, Генрих сам опустил в нее Женнихен, растер ей ножки и ручки, затем запеленал в подогретые над огнем пеленки, напоил теплой сладкой водой. Женнихен успокоилась, личико ее порозовело, она даже улыбнулась на голос Женни и вскоре уснула.

— Ну вот,— сказал Генрих.— Поэты, как видите, кое-что смыслят и в земных делах.

— В земных, как и в небесных,— сказал Карл, обнимая Генриха.— Поверьте, Генрих, оказавшись в Париже, я счастлив лишь тем, что познакомился с вами. Спасибо.

Несколько дней Карл и Женни прожили в тревоге, опасаясь, как бы у Женнихен не повторились судороги. К счастью, все обошлось.

А тут и деньги пришли: Карл не ошибся в своих друзьях. Они собрали для него около тысячи талеров. Женни с дочерью теперь могла ехать в Трир, а Карл, не заботясь о хлебе насущном, продолжать свою работу. Конечно, охотнее он поехал бы вместе с Женни — ему очень не хотелось расставаться с нею и маленькой дочуркой,— но немецкая граница была закрыта для него.

Женни собралась быстро — Карл сам торопил ее — и в начале первой недели июня уехала к матери. Еще через неделю Карл получил от нее письмо, в котором Женни сообщала, что добралась благополучно и что Женнихен вела себя в дороге молодцом. Письмо было коротким, и Карл так много раз читал его, что вскоре запомнил все от первого до последнего слова. И нашептывал его, как верующие нашептывают молитвы. Когда он не работал — не читал, не писал,— тоска по Женни разъедала ему сердце. Вскоре от Женни пришло еще одно письмо, тоже коротенькое, а затем третье, на этот раз большое, обстоятельное.

«Ты видишь, мой дорогой, что я не сужу тебя согласно закону и не

требую око за око, зуб за зуб, письмо за письмо,— писала Женни, не успев получить от Карла его первые ответные письма.— Я щедра и великодушна, но надеюсь, что мои два письма принесут мне скоро хорошие плоды: пару строчек, которые дадут мне знать, что ты здоров и немного тоскуешь обо мне. А я очень хочу, чтобы тебе не хватало меня, хочу слышать, что я тебе желанна. Но прежде чем начнется новый день, сообщаю бюллетень о здоровье нашей малютки: ведь теперь это третье существо — главное лицо в нашем союзе, и то, что в нем одновременно и я, и ты, создает самые крепкие узы любви. Наша маленькая куколка чувствовала себя после поездки плохо, она страдала».

Женни, щадя Карла, не писала об этом в первых письмах. Уже в Трире выяснилось, что у малышки не только вздутие животика, но и перекорм. Женни обратилась за помощью к знакомому доктору Шлейхеру, и тот посоветовал ей взять кормилицу. Женни растерялась: ведь кормилице надо будет платить, а денег у нее почти не было. Просить деньги у матери, которая и без того жила очень скромно, ей было стыдно. Неожиданно помогла молодая женщина из Барбельна, дочь лодочника, услугами которого некогда часто пользовался отец Женни. Отец был щедрым человеком, часто помогал лодочнику, а мать Женни не раз посылала ему для дочери разную одежду. Теперь дочь лодочника согласилась стать кормилицей Женнихен за очень умеренную плату.

Далее Женни писала, что в Трире ее часто навещают знакомые, что в иные дни их приходится принимать с утра до вечера. При этом Женни сообщала Карлу, что со всеми она держится гордо и никому не дает повода для мыслей о том, что в Париже ей и Карлу живется трудно.

«Про себя я думаю,— писала она,— что толку в жалобах, никто ведь не поможет в нужде, а человек так счастлив, когда есть возможность пожалеть. Несмотря на то что весь мой вид выражает довольство и удовлетворенность жизнью — последние два слова Женни подчеркнула,— все они еще надеются, что ты решишься поступить на какую-либо постоянную службу. О, вы, ослы! Разве сами вы крепко стоите на своих ногах? Я знаю, что и у вас нетвердая почва под ногами». Следующие строки Карл читал с особым удовольствием: «Но где теперь найти твердую почву? Разве не чувствуются всюду колебания и взрывы под землей, на которой общество построило свои храмы и магазины? Я думаю, что время-крот скоро перестанет рыть под землей»,— заканчивала свою мысль Женни.

Она подробно написала также о том, как навестила мать и сестер Карла — Иетхен, Софи и Каролинхен, живших с матерью.

«Дверь открыли, вышла Иетхен. Она бросилась мне на шею, поцеловала меня и повела в комнату, где находилась твоя мать и Софи. Обе обняли меня, мать говорила со мной на «ты», а Софи потянула меня к себе на диван».

Прочитав эти слова Женни, Карл облегченно вздохнул: отношения между Женни и его матерью прежде были весьма холодными. Он знал, каких трудов стоило Женни переступить порог дома его матери.

«Она так ужасно выглядит,— продолжала свой рассказ о Софи Женни,— что краше в гроб кладут. И вряд ли сможет поправиться. Но и у Иетхен вид, пожалуй, еще хуже. Только твоя мать выглядит цветущей, можно сказать, веселой, радостной и возбужденной. Ах, эта веселость, от нее становится так тревожно. Все девушки были так сердечны, особенно Каролинхен. На следующее утро твоя мать была здесь в девять часов, чтобы поглядеть на Женнихен. После обеда пришла Софи, а сегодня утром нашего ангелочка навестила Каролинхен. Можешь себе представить такую перемену? Мне это очень приятно, и маме тоже».

Последние две странички письма Карл перечитывал несколько раз.

«Мой дорогой, я часто беспокоюсь о нашем будущем, как ближайшем, так и более далеком, и я думаю, что буду наказана за проявленное мной здесь высокомерие и апломб. Если ты можешь, успокой меня в этом отношении. Здесь так много говорят о постоянном доходе. Я же демонстрирую свои розовые щеки, белоснежную кожу, бархатную мантилью, шляпу с пером и модную прическу. Это лучший и убедительнейший аргумент, и, если я ошибусь, никто этого не увидит. Малышка такая ослепительно белая, нежная и изящная, что вызывает всеобщее удивление. Шлейхер очень заботлив и мил с ребенком. Сегодня он совсем не хотел уходить. Только что заходили твои. Софи была разодета. Но как она плохо выглядит!!! Передай привет Гейне, когда увидишь его. Не правда ли, я ведь получу скоро весточку?

Только не пиши так желчно и раздраженно. Ты знаешь, насколько сильнее твои другие статьи. Пиши по существу, но тонко, с юмором, легко. Пожалуйста, мой дорогой, дай перу свободно скользить по бумаге: не беда, если оно где-нибудь споткнется или даже целая фраза будет неуклюжей. Ведь мысли твои все равно сохранятся. Они стоят в строю,

как гренадеры старой гвардии, исполненные мужества и достоинства, и могут тоже сказать: «Гвардия умирает, но не сдается». А что, если мундир будет сидеть свободно, а не стеснять? Как естественно и непринужденно выглядят французские солдаты в своей мягкой униформе! И вспомни наших неуклюжих пруссаков, разве они не внушают отвращения? Пусть легче дышится, ослабь ремень, освободи ворот, сдвинь шлем — дай свободу причастным оборотам, пусть слова ложатся так, как им удобней. Армия, идущая в бой, не обязательно должна маршировать по уставу. А разве твое войско не идет в бой? Желаю счастья полководцу, моему черному господину. Прощай, дорогой, единственный, моя жизнь. Я теперь в моей маленькой Германии, вместе с малышкой и мамой, и так больно, что тебя здесь нет. Мое сердце стремится к тебе, ждет тебя и вестей от тебя. Прощай».

Карл получил письмо утром и весь день провалялся на топчане в своем кабинете, дымя сигарой. Было что-то оскорбительное в том, что он, Карл, один в Париже, а его любимая жена и дочь в Трире, в его родном городе, куда ему закрыта дорога. Он так тоскует по ним, но не может сделать и шага, чтобы приблизиться к ним, он даже примерно не знает, когда же произойдет эта встреча.

Письмо Женни разбередило в его душе старые раны. Он вспомнил о матери, о ссоре с ней из-за наследства, о своих несчастных сестрах, которых он жалел. В их доме нет мужчины — умер отец, умерли братья, Герман и Эдуард. Братья умерли от чахотки — Эдуард в тридцать седьмом году, когда Карлу было девятнадцать лет, Герман — в сорок втором. И теперь Женни пишет, что у его сестер плохой вид — должно быть, они больны, и тоже, наверное, чахоткой. Об этом не хочется думать, от этого еще глубже вгрызается в душу тоска. Впрочем, материально они обеспечены, и помощь Карла им не нужна, денежная помощь конечно. Но когда в доме одни женщины, их надо пожалеть.

Бедная Женни старается произвести на родственников и знакомых впечатление обеспеченной и здоровой дамы, у которой преуспевающий муж и прелестное дитя. Играет эту нелегкую роль, а сама боится, что будет наказана за это притворство судьбой. Конечно же, ей уже успели там заморочить голову вопросами о доходах, о постоянных доходах мужа. И она встревожена тем, что у него нет постоянного дохода. Да и откуда ему быть сейчас? И будет ли он потом? Женни можно понять. Если даже отмести разговоры родственников о доходах, остается

загадкой будущее Женни, Женнихен и его собственное. Только любовь и преданность — вот и все, что он может дать ей взамен.

Когда он пытался представить свою маленькую Женнихен, белую принцессу, тоска отступала, он закрывал глаза и улыбался. Но потом неизменно открывал их с испугом, вспомнив о том, что Женнихен могла погибнуть, если бы он не поторопился отправить ее и Женни в Трир.

Думая об этом, Карл вздыхал и всякий раз невольно вспоминал Руге, который так гнусно поступил с ним... Гнусность Руге оказалась еще большей, чем Карл думал об этом раньше, когда Женни была еще здесь, в Париже. Тогда Карлу временами казалось, что он даже в чем-то понимает Руге и может его простить: ведь Руге сам терпел убытки из-за «Ежегодника». Но вот что выяснилось теперь: Руге не только не потерял на «Ежегоднике» ни талера, но оказался даже в выигрыше. Теперь он пишет статейки для «Форвертс», статейки странного содержания. Карл высказал в «Ежегоднике» мысль о том, что будущая революция неизбежно приведет к замене буржуазного строя новым общественным строем. А Руге в открытом — напечатанном в «Форвертс» — письме к господину Бёрнштейну, владельцу газеты, принялся болтать о том, что Карл якобы печется лишь о «новой организации труда» в рамках буржуазного общества. Барин Руге не хочет социальной революции, боится ее, боится даже чужих мыслей о ней... Впрочем, что значит Руге и его статейки в «Форвертс», тираж которой составляет всего лишь двести экземпляров? С помощью этой статейки можно укусить его, Карла, но помешать революции ни Руге, ни его статейки не могут. Не могут они помешать и тому, что Карл приближается к принципам новой теории, которая объяснит необходимость и неизбежность гибели существующего порядка вещей... Он был твердо убежден, что владельцы фабрик и заводов никогда добровольно не улучшат жизнь рабочих. Не верил он и в то, что захват власти путем заговора приведет к успеху. Даже Руге, этот просвещенный филистер, считающий себя революционером, не хочет платить за свободу рабочих из собственного кошелька. Чего же можно ожидать от буржуазии?

Руководители тайных обществ обращаются к рабочим с призывами и пророчествами, не давая им ни строго научной идеи, ни положительного учения. Поднимать рабочих на борьбу таким образом и опасно и преступно. Вожди выступают в роли вдохновенных пророков, а массы, рабочие — в роли доверчивых ослов...

Утопия и то и другое: вера в буржуазию и вера в заговоры, в пророков. Нужна не вера, а наука, которая наконец объяснит, чем обусловлено возникновение классов, чем обусловлена их гибель, какие силы влияют на исход классовой борьбы и каковы цели этой борьбы. Это и будет наука, которая как воздух необходима революции.

«Ах, Карл,— написала Женни в письме,— делай скорее то, что ты задумал». Женни, конечно, знает, что он все еще занят работой над задуманной им книгой по истории французской революции 1789 года. Нет сомнения, что это была бы нужная и полезная книга. Но назревает новая революция. Это чувствует и сама Женни. Как она там пишет? Маркс снова (уже в который раз!) взял ее письмо и прочел, улыбаясь: «...под видимой плоской ровной поверхностью в недрах человечества происходит брожение и кипение». И дальше: «Разве не чувствуются всюду колебания и взрывы под землей, на которой общество построило свои храмы и магазины? Я думаю, что время-крот скоро перестанет рыть под землей».

Женни наверняка знает о событиях в Силезии, о восстании силезских ткачей, которое продолжалось три дня. Оно началось песней, которую пел один ткач, «Песней силезских ткачей»:

Есть суд в деревне нашей. Он
Судилищ всех ужасней,
И приговор его всегда
Страшнее смертной казни.

Он человека отдает
На медленные пытки,
И слезы льются здесь рекой,
И вздохи здесь — в избытке!

Здесь Цванцигеры[1] — палачи,
А челядь их — шпионы,
Об этом знаем мы давно
Вполне определенно.

Мерзавцы, слуги сатаны!
Исчадье злое ада!
За пот и слезы бедняков
Проклятье — вам награда!

[1] Цванцигеры — силезские фабриканты.

От вас все муки, беды все,
Пусть вас накажет небо!
Крадете вы у бедняков
Кусок последний хлеба.

Ткач, певший эту песню, был схвачен полицией и жестоко избит. Это стало известно его товарищам, возмущение которых вылилось в открытое восстание. Рабочие бросились разрушать станки, сжигать торговые книги и расчетные документы. Цванцигеры вызвали войска. Прусские солдаты открыли по восставшим рабочим огонь...

Женни права: время-крот перестало рыть под землей, оно вышло на поверхность. Слепыми, однако, остаются проповедники типа Руге: они не увидели ничего нового в Силезском восстании. Для них оно — лишь бунт эгоистичных и разобщенных индивидов. Так, во всяком случае, отозвался о восстании силезских ткачей Руге. Его слепота и высокомерие беспредельны. Силезские ткачи уже в своей песне, которая явилась прекрасным прологом к восстанию, заявили: есть мы, пролетарии, и есть собственники — наши заклятые враги.

И молодец Гейне, который написал стихи о силезских ткачах. Карл помнит теперь эти стихи от первой до последней строки:

СИЛЕЗСКИЕ ТКАЧИ[1]

В глазах угрюмых слезы не блещут,
Сидят за станками, зубами скрежещут;
Ткем мы, Германия, саван твой.
Тройное проклятье плетем каймой,
И ткем мы, и ткем мы!

Будь проклят идол, кому мы молились,
Когда, в нужде изнывая, бились;
Напрасно надеялся каждый и ждал:
Он нас одурачил, провел, осмеял.
И ткем мы, и ткем мы!

Будь проклят король, король всех богатых,
Смягчить не хочет он доли проклятой.
Он последний грош заберет сейчас

[1] Перевод В. Клюевой.

И, как собак, расстреляет нас.
И ткем мы, и ткем мы!

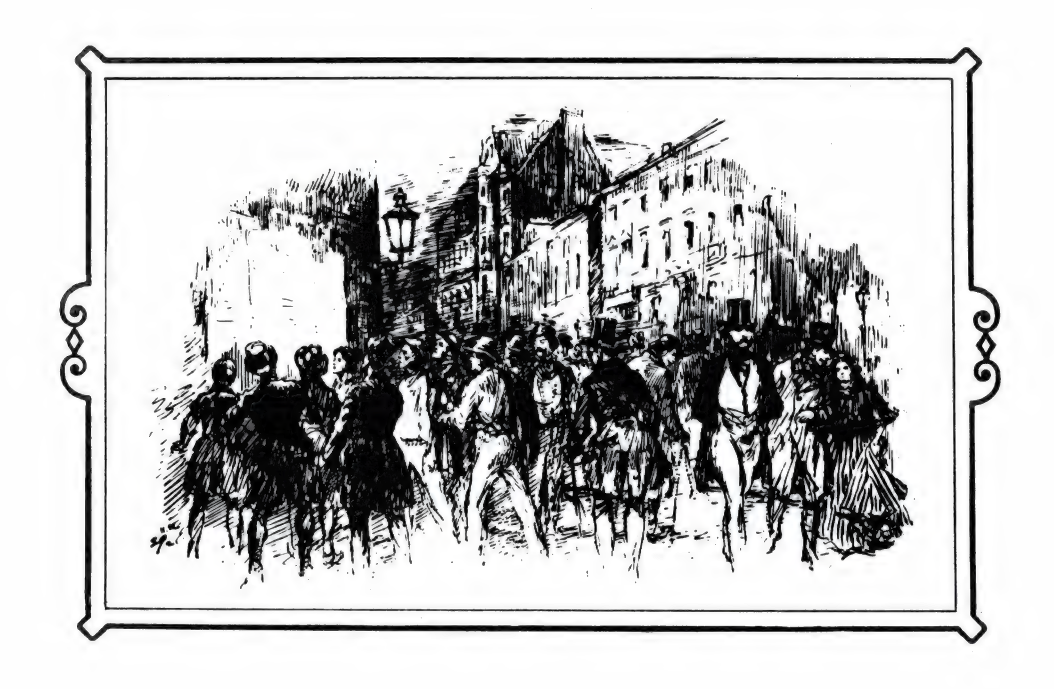
Проклятье родине лицемерной,
Где стыд с бесчестьем беспримерны,
Где рано вянет каждый цвет,
Где в гнили червям недостатка нет.
И ткем мы, и ткем мы!

Челнок летит, станку невмочь,
Мы ткем усердно день и ночь.
Германии старой саван мы ткем.
Тройное проклятье туда вплетем.
И ткем мы, и ткем мы!

И как только приедет Женни, он попросит Генриха, чтобы тот прочел ей эти стихи. Послать их Женни в письме, в Германию, нельзя — это означало бы навлечь на Женни гнев прусского правительства. По этой же причине Женни ни слова не написала о восстании силезских ткачей.

Карл несколько раз перечитывал конец письма Женни, где она советовала ему писать не желчно и раздраженно, а тонко, с юмором, легко, чтобы слова ложились так, как им удобней. И конечно же, перечитывал те ее строки, которые дышали любовью: «Прощай, дорогой, единственный, моя жизнь... Мое сердце стремится к тебе, ждет тебя и вестей от тебя...» Сердце самого Карла при этом замирало. Снова, как в студенческие годы, хотелось сочинять стихи, чтобы продлить этот сладкий недуг сердца, но разум, ожесточившийся в научных исканиях, как солдат в длительных походах, неохотно и иронично подключался к этой сердечной игре.

В конце концов Карл встал, сел к столу и принялся писать Женни письмо. Тонко, с юмором и легко, как и советовала Женни, он сообщал ей о своих занятиях, о своих газетных перепалках с Арнольдом Руге, о том, как он расходует деньги, какой теперь у него распорядок дня: когда он просыпается, когда и что ест, какие книги штудирует в библиотеке, с кем встречается в редакции «Форвертс», куда он ходит теперь часто, так как, в сущности, стал редактором этой газеты.



Глава восьмая

Было два человека, с которыми Карл говорил чаще и дольше, чем с другими, когда приходил в редакцию «Форвертс». Этими людьми были француз Пьер-Жозеф Прудон и русский Михаил Бакунин. С первым — правда, заочно, по его книге «Что такое собственность?» — Карл был знаком давно, со вторым познакомился несколько месяцев назад, точнее, в марте, когда тот ненадолго объявился в Париже вместе с Адольфом Рейхелем, немецким композитором и пианистом. Михаил Бакунин был старым знакомцем Руге. И его должником, о чем Карл узнал позже. Теперь Бакунин снова в Париже. Поселился он у Бёрнштейна, в пустой просторной комнате, которая с некоторых пор превратилась в место сбора всех сотрудников «Форвертс».

Бакунин — личность необыкновенная, русский дворянин, лишенный по решению царя звания и приговоренный к каторжным работам за революционную пропаганду. Словом, он, как и Карл, вынужден жить в чужой стране. И точно так же, как и Карл, лишен всяких средств к существова-

нию, залез в долги и живет теперь, как он сам признался Карлу, на счет Рейхеля.

В комнату, которую Бакунин занял в квартире Бёрнштейна, владельца «Форвертс», он привез с собой лишь две вещи: складную кровать и сундук с одеждой. Еще у него был вместительный цинковый бокал. Этим бокалом он гордился, показывая его всем, расхваливая его несомненное и единственное качество: бокал не разбивался и не гнулся, когда Бакунин, в подтверждение своих слов о том, что бокал не бьется и не гнется, бросал его на пол.

В комнате Бакунина собиралось порой столько людей, что они уже не могли разместиться на сундуке и кровати. Садились на подоконники, просто стояли, чаще ходили. Здесь велись нескончаемые разговоры на политические и философские темы, здесь много курили, иногда пели. Чаще других пел другой русский, казанский помещик и друг Бакунина Григорий Толстой. Он был отличным исполнителем цыганских песен. А еще ловким игроком, завзятым охотником. И врагом царской власти. Врагом царизма был и Бакунин. Это их и объединяло, сделало друзьями.

Страстное желание свободы, которое обуревало Бакунина, присутствовало во всем, что он делал и говорил, привлекало к нему и Карла. И хотя Карл видел, что Бакунин часто заблуждается, выдвигает нереальные цели, нечетко формулирует свои мысли, меняет убеждения, все же ему нравился этот темпераментный русский, которому так не терпелось «все разрушить» в этом мире и который убеждал его, Карла, в том, что страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть.

Бакунин верил, что люди разрушат старый мир, как только удастся выбить из их головы все религиозные и философские глупости. Он собирался написать труд о Фейербахе, который заронил в его душу эту, по его словам, великую и благодетельную мысль.

Карл говорил о необходимости заняться политэкономией... Их разговоры на эту тему длились порой часами, начинались вечером, а кончались утром. И если между ними возникал спор, то в него непременно втягивались и все другие: Гесс, Гервег, Бернайс, Бёрнштейн, Бюргерс, Даниельс...

Чего ждал от этих разговоров Карл? Конечно, всякое столкновение мнений полезно, ибо, как говорили древние, в спорах рождается истина. И уже по этой причине разговоры в комнате Бакунина не были напрасными. Истина в спорах рождается либо для обоих, либо для одного из

спорящих. Карл надеялся, что в его спорах с Бакуниным и Прудоном истина рождается для всех.

Увы, это было не всегда так. Истина рождалась, но уходила, случалось, с Карлом. С ним она и взрослела, и крепла. В этом, несомненно, был также свой резон, хотя Карлу очень хотелось, чтобы новые идеи, новые истины принадлежали бы всем.

Он продолжал ходить в редакцию «Форвертс», находя в этом еще и способ избавления от одиночества, которое он так остро чувствовал без Женни. И еще он надеялся, что своим участием в делах газеты спасет «Форвертс» от глупостей. Увы, глупость изворотлива и, как пыль, проникает во все щели.

Двадцать четвертого июля она появилась на страницах «Форвертс» в качестве статьи «Защита прусской политики», подписанной псевдонимом Пруссак, за которым скрывался доктор Арнольд Руге. Скрывался Руге, подставляя Карла под новый удар прусского правительства. В статье на всеобщее посмешище выставлялись прусский король и королева. Король — в качестве беспробудного пьяницы, королева — в качестве давно забытой мужем хромоножки... Цари и короли достойны презрения и ненависти, это так. Но уважающий себя революционер не должен опускаться до уровня базарной сплетницы, быть неразборчивым в средствах борьбы. Революционер — это высокий и чистый ранг борца за народное дело. Подписав свою статью псевдонимом Пруссак, Руге указал этим на то, что автором ее якобы является сам Карл. Руге — саксонец, Бернайс — из Рейн-Пфальца, Бёрнштейн — из Гамбурга... Из всех сотрудников «Форвертс» пруссаком был только Карл. Об этом, несомненно, знали в Берлине, откуда Карлу теперь следовало ожидать новых неприятностей.

Но неприятнее всего было то, что и друзья его, введенные в заблуждение Арнольдом Руге, могут подумать о нем бог знает что. Карл вынужден был ответить на статью Пруссака и отмежеваться от нее. Уязвленный Руге снова схватился за перо, но Карл не намеревался продолжать с ним разговор: он все сказал в статье. Тратить же время на мелкие препирательства он не имел права. Он работал над книгами английских экономистов. Им он посвящал теперь все свое время, зная, что в мысленных спорах с ними найдет ответы на вопросы, которые давно уже беспокоят его.

Руге же тем временем рассылал письма своим родным, друзьям и зна-

комым, в которых продолжал нападать на Маркса, клеветать на него. Маркс догадывался об этом, но более не удостаивал доктора Руге своим вниманием. Руге сошел на грязную обочину дороги. Он третировал выступления немецких рабочих и коммунистическое движение, выступал против политической борьбы, борьбы рабочего класса за власть.

Из всех вопросов, беспокоивших Карла, по меньшей мере три заставляли его ум работать с максимальным напряжением: почему коммунистическая революция необходима? Почему она необходима теперь? Какое общество будет построено на ее основе?

Был еще один вопрос, четвертый, который не поддавался решению ни путем размышлений в бессонные ночи, ни путем поглощения книг. Это был вопрос о том, когда же приедет Женни. Не было точного ответа на этот вопрос и в ее письме, которое Карл получил вскоре из Трира.

«Мой дорогой, единственный Карл! — писала Женни.— Ты не представляешь, мой любимый, как я была счастлива, получив твои письма». Далее он стал читать быстро, пропуская слова, выхватывая глазами лишь самое главное для себя: «надеюсь, что какое-нибудь внешнее обстоятельство определит время моего возвращения домой... и я вернусь до зимы... буду блаженно покоиться в твоих нежных объятиях... Как ты будешь радоваться нашей девчурке!» Глаза Карла перестали нестись по строкам, он улыбнулся и стал читать медленно: «Я убеждена, что тебе будет трудно узнать наше дитя, но глазки и черные волосики все же выдадут ее. Во всем остальном она совершенно изменилась, но все яснее становится, что она похожа на тебя. Вот уже несколько дней она ест супчик из привезенных мной овощей, который ей весьма нравится. Во время купания она так шлепает маленькими ручонками, что заливает всю комнату. Или сует свой пальчик в воду, а потом жадно сосет. Ее крошечный большой палец, который она всегда сгибает и просовывает между пальчиками, из-за этой привычки стал удивительно подвижным и ловким. Если она станет пианисткой, то сможет выделывать своим большим пальчиком поразительные вещи. Когда она плачет, мы ей сразу показываем цветы на ковре, и тогда она замирает, как мышка, и долго смотрит... Много разговаривать с ней нельзя, так как она очень возбуждается. Она откликается на каждый звук и подражает ему, и при этом ее лобик хмурится и краснеет, а это признак большого напряжения. Но впрочем, она — само веселье. Ее смешит каждая гримаса. Ты увидишь, какую чудную девчурку я тебе привезу. Как только она слышит разговор, она сейчас

же поворачивается в ту сторону, пока ее не отвлечет что-либо новое. Ты не представляешь, какой это живой ребенок. Иногда она не спит целые ночи напролет, а когда на нее смотришь, громко смеется. Больше всего она радуется, когда видит свет или огонек. Этим ее сразу же удается утихомирить». Далее Женни писала о матери и сестрах Карла: «С твоими родными давно не виделась. Сначала какие-то важные гости, а теперь приготовления к свадьбе, тут уже не до нас, нас не посещают, а мы достаточно скромны, чтобы навязываться. Свадьба состоится 28 августа. В воскресенье будет первое оглашение. Несмотря на весь блеск, Иетхен чувствует себя все хуже, кашель и хрипота увеличиваются. Она едва ходит, похожа на призрак, но должна выйти замуж».

Письмо заканчивалось словами о крошке Женнихен: «Я с трудом могу продолжать писать, ребенок меня все время отвлекает своим милым смехом и попытками говорить. Ты совершенно не представляешь, какой у нее чудесный лобик, какая у нее прозрачная кожа, какие чудесные изящные ручки. Милый мой, дорогой, напиши мне скорее. Я так счастлива, когда получаю твои письма...»

Отправляясь в библиотеку, Карл брал письма Женни с собой. Отдыхая, он перечитывал их. И ему казалось, что от этих писем он становится более человеком, более земным, что в нем всякий раз рождается живая, радостная связь с миром, где растут деревья, цветут цветы, поют птицы, светит солнце, плывут, проливаясь теплыми дождями, облака, где живут простыми заботами люди, любя и жалея друг друга.

В библиотеке Карл часто встречал Бакунина. Иногда они вместе ходили обедать в кафе на Большие бульвары. Слушая рассказы Бакунина о его юности, о его сестрах, отце, друзьях, Карл порою завидовал той живости, с какой минувшее воскресало в памяти Бакунина.

В такие минуты ему думалось, что человек, который так легко и полно возрождает любимые образы былого, в сущности, не расстался с ними, не чувствует, что корни его обрублены, что между ним и дорогими его сердцу людьми воздвигнуты стены и пролегли пространства. Предаваясь воспоминаниям, Бакунин менялся на глазах. Его вьющиеся каштановые волосы, казалось, вздыбливались и превращались, по справедливому замечанию Рейхеля, в настоящую львиную гриву, а голубые, почти синие глаза загорались: они видели родину, далекое Пермухино, родительский дом, старинный запущенный парк, одинокую сосну в чистом поле, у которой он простился с Россией...



Вспоминая, Бакунин, сам того не желая, заставлял и Карла обращать свой мысленный взор к прошлому. Но делиться своими воспоминаниями с Бакуниным Карл не хотел: это было не в его характере. Воспоминания такого рода всегда сентиментальны. Карл же считал, что сентиментальность в мужчинах — большой порок, достойный всяческого осмеяния.

— Есть ли какие-нибудь успехи? — спросил Карл, когда Бакунин, дождавшись его у выхода из библиотеки, протянул ему для пожатия руку.

— Пообедаем вместе? — спросил Бакунин.

— Да.

— Прекрасно! Говорят, что у Бишопа сегодня будет медвежатина. Хочу угостить вас медвежатиной, Карл. Ах, если б это было в России, а не в Париже!.. Здесь ведь все испортят... Но все равно. Все равно к Бишопу!

Карл не стал противиться: к Бишопу так к Бишопу, хотя с неудовольствием подумал, что этот обед может отнять у него слишком много времени. Один он обедает всегда быстро и сразу же возвращается в библиотеку. Бакунин же — Карл знал это — любит поесть не торопясь и сытно, приправляя обед изрядной дозой разговоров. Нет слов, его рассказы всегда интересны: человек он бывалый и остроумный. Но Карл все-таки предпочитал таким разговорам работу.

— Вот вы спросили меня об успехах,— заговорил Бакунин по-немецки, хотя в последнее время старался говорить больше по-французски.— Могу ответить вам: успехи мои ничтожны. Чем больше я вникаю в чужие учения, тем сильнее мне хочется бросить все это к чертям и заняться настоящим делом — живой революцией.

— Да, да,— сказал Карл.— Нетерпеливые натуры часто испытывают это чувство. Я вас понимаю...

— Вам тоже знакомо это чувство? — Бакунин, казалось, обрадовался тому, что нашел в Карле своего союзника.— Дело — разве не это самое главное в истории? Дело, работа, битвы... Нужно объединяться в отряды, нужно произносить зажигательные речи, нужно выпускать листовки, газеты... Драться хочется! Драться, пока есть силы, пока есть вера...

— Вера во что?

— В то, что мы победим.

— На чем же основана эта вера?

— На том, что человеку стало жить противно, тесно, тошно и скучно.

— Тошно и скучно жилось людям и сто лет назад, и двести, и тысячу. Были и среди наших далеких предков страстные борцы, трибуны, драчуны. Почему же не победили?

— Плохо дрались,— ответил Бакунин.— Нужно уметь драться.

Никакой медвежатины у Бишопа не оказалось. Пришлось довольствоваться обыкновенной ветчиной. Бакунин долго ворчал, когда узнал, что нет медвежатины, проклинал Бишопа и всех французов, принялся рассказывать о французах русские анекдоты времен двенадцатого года, но, увидев, что привлекает внимание людей за соседними столиками, замолчал, а потом сказал, наклоняясь к Карлу:

— Я приглашу вас в Россию на настоящую медвежатину.

— Когда? — улыбнулся Карл.

— Когда произойдет революция и весь царский двор полетит вверх тормашками.

— Как это? — не понял Карл, потому что два последних слова Бакунин произнес по-русски.

— Кувырком,— пояснил Бакунин,— вверх ногами. Это когда предсказывают полную неудачу... А вы думаете, Карл,— спросил Бакунин, помолчав,— что нас ждет на пути борьбы удача? Что мы сами не полетим вверх тормашками?

— Да, я убежден,— ответил Карл.

— Убеждение и вера — это, конечно, разные вещи,— не то спросил, не то утвердительно произнес Бакунин.

— Несомненно.

Они уплатили за обед и вышли на бульвары.

— Я вас провожу до библиотеки, Карл,— сказал Бакунин.

— А сами вы...

— Да, я не пойду в библиотеку,— не дав Карлу закончить вопрос, ответил Бакунин.— У меня назначена встреча с Руге.— Увидев, что Карл поморщился при упоминании имени Руге, Бакунин поторопился добавить: — Он обещал познакомить меня сегодня с Виктором Гюго. Я очень хочу познакомиться с ним, поэтому прибегнул к помощи Руге...

— Ладно, ладно,— сказал Карл.— Не стоит извиняться. Каждый выбирает себе друзей сам. Это неотъемлемое право человека.

Они пожали друг другу руки и разошлись: Карл отправился в библиотеку, Бакунин — на свидание с Арнольдом Руге.

Сидя уже за столом, заваленным книгами, Карл продолжал думать о том, что он говорил Бакунину.

Будущее общество должно быть достойно человека — это непреложный закон. Оно должно быть достойно умных, талантливых, добрых, оно должно помочь каждому стать прекрасным человеком. Мудрость, красота, честность, любовь, нежность — все это приобретет в будущем обществе ценность необыкновенную, священное право на всеобщую защиту. Человек перестанет, наконец, быть товаром, и ни одно из его достоинств не будет ни продаваться, ни покупаться.

Оно, это общество, будет достойно чистоты и незащищенности ребенка...

Карл вспомнил о Женни и крошке Женнихен. Смотрел в окно, представляя, как Женни кормит дочурку, как она купает ее и как та шлепает ручонками по воде, разбрызгивая ее во все стороны. Как Женни смеется, как прекрасны ее глаза...

Он вздохнул и снова вернулся мысленно к Бакунину. Бакунин, Бакунин... Энергичный и крепкий человек. Но плохо организованный, слишком эмоциональный и непостоянный в своих привязанностях и убеждениях. И жизнь его сумбурна, в ней так мало места отводится труду. Чтение газет, ночные дискуссии в редакции «Форвертс», в которых больше игры, чем смысла, больше шума, чем дела, заявления, обещания, словесная стрельба, знакомства со знаменитостями, салонные приключения — словом, богема. Лишь изредка — занятия в библиотеке, попытки что-то написать, которые так и остаются попытками. И жизнь на счет Рейхеля, который зарабатывает свои гроши уроками музыки...

Карл имеет право осуждать Бакунина, его образ жизни хотя бы потому, что свою жизнь он строит иначе, на иных принципах. И труд, упорный и даже азартный, занимает в ней главное место. Сколько он помнит себя, столько он и работает, ищет себя в себе, в других. И все это ценою усилий, которые Бакунину и не снились.

Впрочем, осуждение — не главное, почему Карл сейчас думает о Бакунине. Главное — тоска. Тоска по другу. У каждого человека должен быть друг. Чтобы видеть в нем себя, а в себе носить постоянное и радостное беспокойство о нем. Друг — это первый порог твоего общения с человечеством, первое и столь необходимое ощущение причастности к человечеству, его первое одобрение твоим делам и мыслям. Он — первая твоя опора, первая надежда, первая защита. Без друга человек

одинок, даже если он нужен людям. Без него все радости — не радости, а беды ужасны. Но как трудно его найти! Именно единомышленника, именно соратника, потому что для него, для Карла, главное в жизни — поиски истины и борьба. Для развлечений, для досужей болтовни в этом мире полно друзей. Они возникают по первому зову, из ничего, из пустоты. Но кто готов тащить в гору вместе с тобой крест? Ты тащишь его сквозь многотысячную толпу, и никто не подставляет под него своего плеча.

Тоска по другу — самая черная тоска. Зовешь одного — уходит прочь, зовешь другого — сворачивает в сторону, зовешь третьего — и убегаешь от него сам, потому что он обернулся к тебе ухмылкой бездельника. Ленивые, беспринципные, захваченные другим вихрем, другой волной. Самовлюбленные, слабые, глупые. Сколько их! А дело, грозное пролетарское дело, ждет борцов... Тоска по близкому другу — самая деятельная тоска.



Глава девятая

Было воскресенье. Карл вернулся с собрания рабочих, на котором присутствовал вместе с доктором Эвербеком.

На это собрание был приглашен также и Гервег, но Гервег на собрание не пришел, как не пришел он на прошлой неделе в кафе на Рю де Ларб, где также состоялось собрание и куда он был приглашен. Это огорчило Карла. Впрочем, с некоторых пор Гервег стал часто огорчать его: революционный дух в его стихах слабел, да и сам он все более утрачивал интерес к делам рабочих. Славой революционного поэта он пользовался с некоторых пор лишь в салонах. И стало быть, Руге был отчасти прав, когда обрушил свой гнев на Гервега, обвиняя его в сибаритстве, распущенности и лени. И это особенно обидно. Карл по-прежнему был убежден, что природа наделила Гервега исключительным талантом, но Гервег превращает свой талант в игрушку для пресыщенных, в то время когда мог бы служить обездоленным. Это ли не призвание таланта — отдавать себя трудовому народу?

Карл выступал перед рабочими после Эвербека. Эвербек остроумно

и зло сокрушал банкиров и крупных промышленников, говорил о крайней нищете рабочих. И закончил свою речь словами:

— И вот два врага, которых вы должны одолеть, чтобы построить новый мир: первый враг — крупный капитал, второй враг — ваша собственная нищета. Мир роскоши и нищеты — безнравственный мир.

Потом взял слово Карл. Заговорил он не сразу. Мир роскоши и нищеты, разумеется, безнравственный мир. Но не в этом главное зло, не в том, что он безнравственный. Безнравственный он стал потому, что основан на частной собственности. Упразднена должна быть частная собственность. И упразднит ее порожденный ею пролетариат. Она сама создала своего могильщика. И сама вынесла себе смертный приговор, породив пролетариат.

— Вам следует осознать эту свою великую историческую миссию,— сказал Карл,— и выполнить ее до конца.

Когда Карл и Эвербек вышли из зала собрания, Эвербек спросил:

— Значит, революция неотвратима?

— Неотвратима,— ответил Карл.

Консьержка вручила ему письмо. Это было письмо из Гамбурга, от Генриха Гейне. Карл не сразу прочел его. Разделся, умылся, заварил кофе и лишь после того, как сел за стол, распечатал письмо. Конечно, больше радости ему принесло бы письмо от Женни. Но и письмо от Гейне — тоже большая радость. И потому он так оттягивал момент, когда распечатает письмо, улыбался, думал об этом, поглядывая на конверт, даже мурлыкал себе под нос веселую песенку в предчувствии удовольствия.

И вот наконец этот момент настал. Он распечатал письмо, потом допил кофе, раскурил сигару и, откинувшись на спинку кресла, принялся читать. Гейне, как и в предыдущем письме, жаловался на боли в глазах. Едва Карл прочел об этом, как ощущение блаженства оставило его. Он подумал, что расспросит Генриха со всей пристрастностью о причине этих болей, когда тот вернется в Париж, заставит его побывать у лучших врачей. Побранил себя за то, что прежде не придавал значения жалобам Генриха на глаза, пропускал их мимо ушей или говорил в ответ ничего не значащие слова, вроде того, что это от усталости и тому подобное.

— Охо-хо,— произнес он вслух,— как мы порою бываем невнимательны к своим друзьям! Нам всё кажется, что они вечны, вечны...

Далее Генрих сообщал о своих издательских делах — они, слава богу, шли хорошо. Обещал на днях выслать Карлу корректурные листы поэмы «Германия», с тем чтобы Карл ее прочел и поместил отрывки из нее в «Форвертс». А еще обещал скоро приехать, просил передать привет Бернайсу и Женни, когда Карл будет писать ей, называл Карла дорогим другом, который понимает его без лишних слов...

Карл докурил сигару, затем выпил еще чашечку кофе и принялся листать журналы, присланные ему из Кёльна Георгом Юнгом, издателем «Рейнской газеты» и старым товарищем Карла.

Это был журнал, издаваемый Бруно Бауэром в Шарлоттенбурге. В июле Юнг прислал три номера журнала, а в конце августа еще один, в котором была помещена статья, направленная против коммунистов. В ней перепевались старые песенки Бруно Бауэра, старая идеалистическая чепуха, пустые разглагольствования выдавались за настоящее революционное дело, высокомерие и презрение к народным массам — за истинно революционную позицию.

Читая бауэровские журналы, Карл пришел к выводу, что давно настала пора еще раз и навсегда во всеуслышание отмежеваться от тех, кто, подобно Бауэру и его компании, продолжает барахтаться в болоте критической критики, в болоте ненужных словопрений и идеалистических иллюзий.

Это решение зрело в нем подспудно, по мере того как он приближался к собственному пониманию законов истории и революции. Теперь он может сказать, что обладает таким пониманием, которое есть подлинное знание.

Преданность истине выводит человека за круг многих привычных отношений. Филистер Руге уже давно обвиняет его в жестокости и высокомерии, в отсутствии дружелюбия, терпимости и прочих грехах. А между тем преданность и верность истине есть первый принцип подлинной дружбы для тех, кто решил посвятить этой истине всю свою жизнь.

Руге этого не понять. И Бауэру этого не понять. Возможно, что не поймут этого и многие другие, кто сейчас окружает его, с кем свела его жизнь. Жаль, конечно. И отрывать их от сердца больно. Всегда было и будет больно. Но ведь не ради них он избрал трудный путь исканий,

и не они вывели его на этот путь. Он хочет быть другом рабочего класса. И все истинные друзья рабочего класса станут его друзьями...

Кончался длинный и жаркий августовский день. В окно с той стороны дома, где лежала теперь тень, потянуло прохладным ветерком. Карл встал и потянулся, радуясь прохладе.

Подошел к окну и стал смотреть на раскидистый каштан, в листве которого устроилась целая стая крикливых воробьев. Птицы, должно быть, уже готовились к ночлегу, переругивались, выбирая себе веточку поудобнее, чистились, копаясь клювом в перышках, просто галдели, как галдят дети.

«Что их объединяет? — подумалось Карлу.— Что собирает в стаю? Кормятся они порознь и птенцов выводят порознь. Не совершают осенних и весенних перелетов. Неужели только то, о чем говорил Демокрит, утверждая, что подобное стремится к подобному? Голуби к голубям, песчинки к песчинкам, облака к облакам... И воробьи к воробьям? И люди к людям? Какая наивная, но милая мысль: подобное стремится к подобному. И стало быть, то, что не похоже друг на друга, распадается, разбегается, разлетается...»

В дверь постучали, и Карл пошел открывать. Поправил ворот рубашки, застегнул рукава, прижал ладонями волосы, которые растрепал ветерок, когда он стоял у окна. Уже держась за ручку двери, Карл вдруг почувствовал, что у него сильно забилось сердце.

«Чертовщина! — мысленно выругался Карл.— Разве я кого-нибудь жду?» Он никого не ждал. Но прийти к нему мог кто угодно: Гервег, Бернайс, Бакунин, Эвербек, Бёрнштейн, Бюргерс, кто-нибудь из рабочих, среди которых у Карла уже давно много знакомых. Неужели он подумал, что приехала Женни? Сердце подумало. Оттого и застучало.

«Но это не Женни,— сказал ему Карл.— Ты ошиблось».

Он открыл дверь и увидел Энгельса.

— Здравствуйте, доктор Маркс,— сказал Энгельс, улыбаясь.— Вы узнаете меня?

Узнать его было нетрудно. Энгельс был из тех людей, которые хорошо и надолго запоминаются даже при мимолетной встрече. Еще тогда, в Кёльне, два года назад, когда Энгельс навестил Карла в редакции «Рейнской газеты», Карл отметил про себя, что у Энгельса выправка гвардейского офицера, что у него удивительно здоровый цвет лица, хотя он не вынимал изо рта дымящуюся трубку, и очень красивые, с близоруким

прищуром голубые глаза. Он был высок, светловолос, с рыжинкой в бороде и усах. Он явно волновался, приветствуя Карла. Это было легко определить по легкому заиканию, с каким он произнес слова: «Здравствуйте, доктор Маркс!»

— Здравствуйте, Фридрих,— ответил Карл.— Входите.

Ему очень захотелось обнять Энгельса, но он сдержался и тут же пожалел об этом, подумав, что теперь вряд ли подвернется еще такой момент, когда он сможет выразить ему свою радость от встречи с ним, одним естественным жестом показать ему, как он ждал его и как он стал ему дорог за эти два года.

Тогда, в Кёльне, Карл обошелся с ним сурово. Незадолго до этой встречи, летом,— встреча состоялась в ноябре — в «Кенигсбергской газете» Энгельс напечатал заметку о берлинском кружке «свободных», которая попалась Карлу на глаза. Карл отнесся к этой заметке неодобрительно.

Карл встретил тогда Энгельса как посланца «свободных», с трудом сдерживая раздражение, и, уж конечно, без всякого дружелюбия. Энгельс это понял. Пообещал Карлу писать для «Рейнской газеты» из Англии, куда он тогда направлялся. Карла это заинтересовало. На этой деловой ноте тогда и закончилась их встреча. Позже, через Гервега, который встретился с Энгельсом в Остенде, Карл передал ему предложение сотрудничать в «Немецко-французском ежегоднике». Энгельс принял это предложение и вскоре прислал для журнала блестящую статью, которая обрадовала Карла: в ней он нашел мысли, созвучные своим собственным...

Карл взял из рук Энгельса трость и цилиндр, еще раз с улыбкой окинул взглядом его ладную, статную фигуру. Отметил про себя, что одет он щегольски, в добротный и модный английский костюм, как и подобает представителю процветающей манчестерской бумагопрядильни «Эрмен и Энгельс», затем указал ему на кресло, не забыв сказать о сигарах, коробка с которыми стояла на столике возле кресла.

— Спасибо, я курю трубку,— ответил Энгельс, прошелся по комнате, с любопытством разглядывая мебель, глянул в окно, достал из внутреннего кармана трубку, табак и опустился в кресло.— Я впервые в Париже,— сказал он,— и мне все здесь чертовски интересно. Много слышал о Париже, много читал, а вижу впервые.

— И давно вы здесь?

— Несколько часов. Успел переодеться с дороги — и вот...

— Это заметно,— сказал Карл.

— Что заметно? — не понял Энгельс.

— Что вы переоделись,— засмеялся Карл, не в силах больше сдерживать свою радость.— А поесть вы успели, Фридрих?

— Успел.

— Но вы выпьете со мной вина?

— С удовольствием.

— И еще один вопрос: сколько времени вы пробудете здесь, в Париже?

— Дней десять. Впрочем, я плохо сказал. Надо так: десять счастливых дней! Вы не представляете, доктор Маркс, как мне надоела, как тягостна для меня служба, конторские книги... А здесь — свобода!

— Да, да,— проговорил Карл,— здесь — свобода.

Он достал из буфета купленную еще Женни бутылку мозельвейна, бокалы, поставил вино и бокалы на стол, освободив его от бумаг и журналов, принес из кухни тарелку с фруктами — сливами и виноградом, придвинул к столу кресло и сел. Спросил, откупоривая бутылку:

— Сколько вам лет, Фридрих?

— В ноябре будет двадцать четыре,— ответил Энгельс.

— Мне в мае стукнуло двадцать шесть,— сказал Карл.

— Стареем? — улыбнулся Энгельс.

— Стареем.— Карл ответил ему улыбкой и еще раз отметил про себя, что Энгельс чертовски приятен.— Я подумал, не выпить ли нам на брудершафт? Чтоб перейти на «ты». Как вы считаете, Фридрих?

— Пожалуй, доктор Маркс,— согласился Энгельс.— Меня можно называть Фред. Это короче, чем Фридрих.

— Ради вас я тоже укоротил бы свое имя. Но как? Итак, Карл приветствует Фреда,— сказал Маркс и поднял свой бокал.

— А Фред приветствует Карла,— в тон ему ответил Энгельс.

Мозельское вино было терпким, и они, осушив бокалы, набросились на виноград. Потом закурили — Фридрих трубку, Карл сигару — и открыто посмотрели друг другу в лицо.

— Я ждал тебя, Фред,— сказал Карл.

— Я рвался сюда, Карл,— сказал Энгельс, пряча глаза от пристального взгляда Карла: он сказал многое, но боялся, что Карл прочтет в его



глазах больше, чем он сказал. Он спрятался за облачком табачного дыма, потом, чтобы перевести разговор в другое русло, указывая кивком головы на журналы, которые Карл убрал со стола и положил на подоконник, спросил: — Ты все еще интересуешься бауэровской стряпней?

— Ты правильно оцениваешь труды наших дорогих критических критиков,— улыбнулся Карл.

— Будто ты оцениваешь их иначе? Признаюсь тебе, я тоже знаком с сумасшедшим бредом наших дорогих критических критиков, представленным недавно во «Всеобщей литературной газете».

— Прекрасно, прекрасно,— обрадовался Карл.— Все это прекрасно. В таком случае я предлагаю закрепить наш союз общим делом. Я задумал написать брошюру против Бруно Бауэра и его компании и предлагаю тебе, Фред, написать для нее несколько главок. Это будет наша общая работа. Мы посмеемся в ней над сумасшедшим бредом, как ты сказал, братьев Бауэров и их последователей и в столкновении с их взглядами постараемся изложить нашу точку зрения. Твою и мою точку зрения,— подчеркнул Карл,— на ряд проблем современной жизни и рабочего движения.

Он посмотрел на Энгельса, ожидая его ответа, но тот промолчал.

— Вот посмотри.— Карл резко встал, взял с подоконника журнал и, найдя нужное место, подошел к Энгельсу.— Это попалось мне на глаза только что. Прочти. А, каково? Никто не смей касаться вопросов, которые обсуждает критическая критика. Никто не смей судить о них! Даже капиталисты и рабочие не имеют права обсуждать свои взаимоотношения. Ни-ни! Иначе — осквернение, святотатство!

Карл бросил журнал на подоконник, вернулся к столу и опустился в кресло.

— Увы,— сказал Энгельс.— Критическая критика достигла таких высот абстракции, откуда ей видны только ее собственные творения.

— Значит, по рукам? Пишем книгу вместе? — спросил Карл.

— Пишем,— ответил Энгельс.— Начнем сейчас?

— Нет,— сказал Карл.— Завтра.

— Морген, морген, нур нихт хойте...[1]

— Сегодня,— Карл глянул в окно, за которым уже смеркалось,— сегодня я хочу познакомить тебя со здешней революционной гвардией.

[1] Начало пословицы: «Завтра, завтра, не сегодня, так ленивцы говорят!»

Мы отправимся в редакцию «Форвертс» — там соберутся, как всегда, Бернайс, Даниельс, Гервег, русские... Словом, сегодня мы посвятим вечер разговорам и знакомству. Если ты, конечно, не возражаешь, Фред.

— Я не возражаю. Я буду только рад.

— Вот и отлично, вот и отлично! В таком случае отправимся сразу же!

Карлу не терпелось показать Энгельса своим товарищам. Он готов был бы показать его всему Парижу, когда б Париж смог оценить, каков он, его друг, его Энгельс, его Фред. Его единомышленник! Демокрит сказал: «Единомыслие создает дружбу». Не о нем ли тосковал Карл все эти дни?

Эта ночь в редакции «Форвертс» была отдана Энгельсу, его рассказам об Англии. Его слушали и засыпали вопросами. С ним спорили, на него нападали, и Карл видел, как ловко он отбивался от нападавших. Иногда Карл приходил ему на помощь, хотя Энгельс был сам достаточно силен. Но от помощи Карла он не отказывался, с наслаждением следя за тем, как тот сражал противников одной репликой, неопровержимым и коротким доводом, который звучал как выстрел. Энгельсу, бывшему гвардейцу пехотно-артиллерийского полка, очень нравилось это умение Карла. Они неслись в одном потоке, любовались силой и ловкостью друг друга, гордились друг другом. Карл, подбадривая Энгельса, то и дело обнимал его одной рукой за плечи, Энгельс отвечал ему улыбкой.

— Вы считаете, что пролетариат готов к революции? — Это спросил Бакунин.

— Революция — это единственная возможность для пролетариата возвратиться из царства животных в царство людей,— ответил Энгельс.— Рабочие становятся людьми, когда в них закипает гнев против господствующего класса. Они превращаются в животных, когда безропотно подставляют шею под ярмо.

— Что же они, по-вашему, предпочтут?

— Революцию. Я в этом убежден. Будет революция, в сравнении с которой французская революция покажется игрой.

Все, кто слушал Энгельса, также в той или иной мере встречались с рабочими, ремесленниками. Но эти встречи, по обыкновению, происходили на собраниях, в лучшем случае некоторые из присутствующих бывали в рабочих кварталах Монмартра, Бельвиля, Менильмонтаня

и имели возможность наблюдать быт парижских рабочих. Но никто из них еще не бывал на фабриках, никто из них не наблюдал жизнь рабочих так близко, как Энгельс. Он принес сюда живое ощущение мира, в недрах которого зарождалось будущее человечества.

— Зачем же мы? — спросил Гервег.— Если рабочий класс с необходимостью, в которой ты нас убедил, выберет и осуществит революцию, зачем тогда мы, наша пропаганда, наши газеты, журналы, речи? Зачем? Не лучше ли нам постоять в стороне и не мешать рабочим, не путать их своими теориями?

— Не лучше. Потому что мы видим и знаем больше, чем видит и знает отдельный рабочий. Мы обязаны стать их мозгом, их всевидящими глазами.

Энгельс обвел всех взглядом, ожидая возражений. Но все молчали. И он заговорил снова:

— Да, я утверждаю, что путь у них один — революция и цель у них одна — уничтожение мира частной собственности. Это так. И тем не менее, живя в одном городе, работая на одной фабрике, они пробегают один мимо другого, как будто между ними нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга...— Фридрих махнул рукой, в словах его зазвучала горечь: — Это жестокое равнодушие, эта бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительны и оскорбительны, что все люди живут рядом. Они живут в ветхих бараках, в грязи запущенных улиц, которые завалены отбросами. Там нет водостоков и канализации. Там потрясающая теснота, скученность, эпидемии, воровство, алкоголизм.

Теперь все стояли вокруг Энгельса. Лица их были суровы.

— Продукты, которыми они питаются,— гнилой картофель, протухшее мясо, прогорклое сало,— продолжал свой рассказ Энгельс.— Чахотка, узкогрудие, тиф — обычное явление в этих кварталах. Многие из них калеки, получившие травмы на производстве. Более половины детей умирают, не дожив до пятилетнего возраста. Женщины через три дня после родов выходят на работу. Работают все дети после девяти лет, быстро чахнут и умирают.

— А где же революционный дух, о котором вы говорили? — спросил Гервег.

— Однообразная, изнуряющая работа не дает человеку никакой пищи для духовной деятельности. Она оставляет ему время только на еду и сон.

Она превращает его в обыкновенное животное. Общество же давно превратило его в товар. Оно покупает его, когда он ему нужен, и обрекает на голодную смерть, когда он ему не нужен. Рабочий класс уже давно должен предъявить буржуазии обвинение в социальном убийстве, господа.— При этих словах Энгельс посмотрел на Карла.— Мы должны помочь ему сделать это обвинение доказательным и определить меру наказания. Эта мера наказания — полное упразднение класса собственников. Не понуждение его к благотворительности, к дележу, к подачкам, а упразднение!

— Браво! — сказал Карл.— Браво, Фред!

Несколько раз в доме напротив хлопали ставни — люди спасались от шума, который доносился к ним из окон комнаты Бакунина, где спорщики, забыв о том, что на дворе давно ночь и что парижане спят, уже давно не просто спорили, а орали друг на друга.

— Господа! Господа! — взмолился наконец один из соседей, высунувшись из окна в ночном колпаке.— Делайте же скорее вашу революцию и успокойтесь.

— Вот! — сказал возмущенно Бакунин, указывая рукой туда, откуда донесся голос.— Им нужен только покой. Только покой!

Кто-то посоветовал закрыть все окна. Так и сделали. Но уже через полчаса стало ясно, что находиться в комнате Бакунина при закрытых окнах невозможно. И не только потому, что вскоре стали задыхаться от табачного дыма, но еще и потому, что спорщики из-за дыма теряли друг друга, стоило лишь одному из них отойти от другого на два-три шага. Сам Бакунин же и открыл снова окна, так как он терял своих собеседников в дыму чаще других, потому что во время спора любил расхаживать по комнате.

Разговоры длились до утра. И может быть, продолжались бы еще, но тут Григорий Толстой, друг Бакунина, перекричал всех, предложил отправиться в кабачок на улицу Вольтера. Голос у Толстого был зычный, или, как говорил о нем Бакунин, «иерихонский».

— Я хочу есть и пить! — протрубил он.— Я приглашаю!

Его поддержал Бакунин. Да и другие не возражали: за ночь проголодались так, словно не разговоры разговаривали, а хлеб молотили.

— И ты будешь петь,— сказал Толстому Бакунин.— Обещай, что будешь петь!

— Обещаю,— согласился Толстой.

Что будет петь Григорий Толстой, никто не стал спрашивать: все знали, что он поет цыганские романсы. Всегда поет, когда о том просит его Бакунин. Надевает шелковую красную рубаху, берет гитару и поет. И тогда Бакунин, пристроившись подле него, предается грусти: вздыхает, иногда даже плачет.

Карл однажды сказал Бакунину, посмеиваясь:

— Когда вы льете слезы под песни Толстого, Бакунин, мне начинает казаться, что вы считаете себя погибшим человеком...

Бакунин обиделся. Ответил:

— Вас-то, конечно, никакими песнями не проймешь. Вас ничем не проймешь...

Бакунин был прав лишь отчасти. Да и романсы в исполнении Толстого Карлу нравились. Иногда они завораживали его до такой степени, что ему начинали видеться раздольные русские степи и пылающие костры цыганских таборов.

Кабачок был еще закрыт. Но, услышав требовательные голоса, хозяин тут же распахнул дверь. Расплылся в улыбке, увидев, что пришли старые знакомые, завсегдатаи его кабачка.

Завтрак был подан сразу. И гитара для Григория Толстого.

— Его надо послушать,— сказал Фреду Карл.— Однажды, слушая его пение, я подумал, что характер народа надо изучать по песням этого народа. Романсы, которые поет Толстой, только называются цыганскими. Сочинили же их сами русские...

Григорий Толстой ударил по струнам гитары. Потом коснулся их быстрыми пальцами, откинул голову, тряхнул волосами, запел без слов, тихо, словно подбираясь к мелодии, к слову, покачиваясь в такт музыке.

Бакунин откинулся на спинку стула, вздохнул, закрыл глаза.

— Все же я не люблю сентиментальных мужчин,— тихо проговорил, глядя на Бакунина, Карл.

— Я тоже,— отозвался Энгельс.

Григорий спел всего лишь три романса. Потому что больше петь ему не дал сам же Бакунин: он вдруг заспорил о том, кому из поэтов принадлежат слова последнего романса. Тут же спор стихийно перекинулся на другие темы. Через полчаса уже никто не вспоминал о цыганских романсах. Опять ораторствовал Бакунин, опять, заикаясь, с ним спорил Энгельс, опять Роланд Даниельс, благородный, деликатный Даниельс,

призывал спорщиков к спокойному исследованию предмета их спора. Но его не слушали и шумели.

Когда расходились, Бакунин подошел к Карлу и сказал:

— Поздравляю вас. Энгельс один стоит целой армии союзников. Вместе с ним вы становитесь силой, против которой никто не устоит.

Энгельс пришел к Карлу вечером. Принес несколько страниц для задуманной ими брошюры против Бруно Бауэра и компании. Карл тут же прочел их, сказал:

— Это как раз в том ключе, в каком пишу я. И в том же стиле, кажется. Читателям трудно будет определить, что написал я и что ты. Это замечательно, Фред. Я тоже кое-что сочинил... Ты вот это видел? — Карл показал Фридриху книгу — это был роман Эжена Сю «Парижские тайны».— В прошлом году этим романом зачитывался весь Париж. Известный тебе критический критик Теодор Мундт ставит его выше романов Жорж Санд и Бальзака. Он сказал, что человек, не читавший этого романа, ничего не знает о Париже. Я вынужден был прочитать...

— Мне тоже надо прочесть? — спросил Энгельс.— Или...

— Или,— ответил Карл,— я тебя перескажу его в нескольких словах. Некий князь Герольштейнский, которого зовут Рудольф, влюбился в некую Сару Сейтон, красивую и юную интриганку. И женился на ней. Тайно, разумеется. Тут можно было бы и поставить точку, но мисс Сара Сейтон стала наставлять князю рога. Князь возмутился и выгнал ее. Но этого ему показалось мало: если уж наказывать зло, решил он, так во всемирном масштабе. Он отправляется путешествовать. И всюду, где он появляется, добродетель находит в нем защитника, а зло — своего врага.

— Стало быть, всюду появляется, как бог из машины.

— Ты прав. В конце концов он возвращается в Париж. И тут, прогуливаясь по одному кварталу, который пользуется у парижан дурной репутацией, он берет под защиту некую Флер де Мари, юную служанку, которой очень досаждал сутенер Резака. Вскоре выяснилось, что Флер де Мари — его дочь от изгнанной им некогда Сары Сейтон.

— Я потрясен, Карл! — засмеялся Энгельс.

— И князь потрясен. Более всего он потрясен тем, что его юная дочь — морально падшее существо. Он немедленно отдает ее в монастырь,

где священник приводит несчастную Флер де Мари к полному раскаянию. Но князь на этом не успокаивается, ибо его миссия — наказывать всякое зло. Он узнает, кто виноват в нравственном падении дочери. Виновником этого несчастья оказывается нотариус Ферран, который заставил ее, неразумную, пожертвовать состоянием — оно у нее прежде было — в благотворительных целях.

— Осуждается благотворительность, Карл?

— Да, да. Даже в благотворительных целях жертвовать своим состоянием не всегда разумно... Впрочем, вернемся к князю. Он берет себе в слуги сутенера Резаку. И этот Резака становится карающим мечом в его руках. Они ослепляют некоего Мастака, который преследует князя по наущению его бывшей жены Сары Сейтон. Они повергают в прах нотариуса Феррана. И так далее, мой друг, и тому подобное. Зло наказывается, добродетель торжествует. А бедная Флер де Мари умирает в монастыре...

Карл отвернулся к окну и замолчал. Затем резко повернулся, спросил:

— Ты не плачешь, Фред? Не плачешь? А я рыдаю,— произнес он и изобразил рыдание, чем рассмешил Фридриха.— Впрочем, шутки в сторону. Дело не в самом романе, как ты понимаешь, а в тех идеях, которые извлекают из него наши критические критики, называя их тайнами.

— Почему тайны? — спросил Энгельс.

— Потому, что критические критики открывают нам две совершенно потрясающие тайны. Тайна первая: наша цивилизация одичала и погрязла в разврате, потому что сильные и богатые люди ничего не знают о нищете. «Ах, если бы богатые это знали!» — восклицают критические критики, полагая, что сильные и богатые люди не дали бы ей, нашей несчастной цивилизации, одичать и погрязнуть в разврате.

— Какая ужасная тайна! — подстроившись под иронический тон Карла, проговорил Фред, всплеснув руками.

— Критические критики открывают нам и вторую, не менее разительную тайну: причина всех несчастий и преступлений — трущобы. Оттуда совершаются нашествия современных гуннов на добродетель. Трущобы, говорят они, надо уничтожить. Но как? Надо отнять у бедняков детей и отдать их на воспитание государству — это раз. Надо заставить всех бродяг и нищих работать — это два. Надо создать для бедных

сельскохозяйственные фермы, обязательно образцовые, надо устраивать благотворительные вечера в пользу бедных, то есть богачам надо чаще развлекаться, чтобы бедные не умирали с голоду.

Карл встал и заходил по комнате.

— Каково? Нет, каково? И это пошлое лицемерие, эта гнусная защита общества богачей выдается за последнее слово революционной мысли!

Карл остановился у окна, какое-то время стоял молча, потом вздохнул и повернулся к Энгельсу:

— Прости, я разгорячился... Словом, я написал против всей этой чепухи, которую, как знамя, подхватила наша критическая критика, несколько злых страниц для нашей книги. Познакомься.

Пока Энгельс читал, Карл сидел и курил, время от времени поглядывая на Энгельса, пытаясь по выражению его лица определить, как он относится к прочитанному. Энгельс улыбался, хмурился, иногда отрывался от чтения и о чем-то сосредоточенно думал. Потом он отложил листки в сторону и сказал:

— Принимаю и одобряю. Этого достаточно?

— Достаточно.

— А теперь я хочу спросить тебя, Карл: как ты относишься к тому, что я вынужден буду со временем стать совладельцем фабрики, фабрикантом, коммерсантом и прочее?

— Тебя это беспокоит? — Карл не был готов к ответу на такой вопрос.

— Беспокоит. Ведь гнусно быть буржуа, к тому же еще фабрикантом, то есть буржуа, который активно выступает против пролетариата. Объективно выступает. В моих личных симпатиях к рабочим ты, надеюсь, не сомневаешься, Карл?

— Не сомневаюсь.

— Время, проведенное на фабрике моего старика, показало всю мерзость моего будущего положения. Если б я не занимался изучением жизни английского общества, я давно бы там прокис. Но как раз именно это изучение дает новую пищу моему бешенству. Ведь чем глубже я вникаю в суть дела, тем отвратительнее мне кажется ограбление рабочих. Ты понимаешь меня, Карл?

— Понимаю, Фред.

— Я, разумеется, допускаю, что некоторые фабриканты могут оказы-

вать рабочим материальную помощь в их борьбе и считать себя по этой причине коммунистами. Это их дело, дело совести. Но быть подлинным коммунистом, коммунистом до конца, и одновременно заниматься торгашескими делами нельзя, Карл. Это не укладывается в голове. Жду случая, чтобы изменить мою жизнь. И потому — пойми меня правильно — завидую тебе, Карл. Ты никому ничем не обязан.

— И часто сижу без гроша в кармане.

— Я согласился бы жить, как ты. Ты не думай, Карл, что я дорожу своим положением.

— У меня не было такой мысли, Фред. Жизнь хоть и скупа, но предоставляет средства для решения личных проблем. И я верю, что ты все решишь наилучшим способом. Только не торопись. И не оглядывайся на меня и на других... Для меня, Фред, я осмелюсь тебе в этом признаться, ты дорог такой, какой ты есть. И из всех твоих достоинств — самое большое есть вера и убежденность в победе пролетарского дела.

— Спасибо, Карл.

— Это высокое достоинство, смею тебя уверить. Ты все решишь.

— Да,— сказал Энгельс.— Конечно.

— Но главное ты уже решил.

— Да, пожалуй. Ты, Карл, открылся мне, и я тоже откроюсь тебе: главное я решил, и это главное — быть с тобой.

— Ладно.— Карл подошел к Энгельсу и положил ему руку на плечо.— Признались друг другу в любви, и довольно,— засмеялся он.— Теперь за работу. У нас впереди мало времени, поэтому я тороплю тебя, Фред.

Энгельс ночевал у Маркса. На этом настоял Маркс. Когда они оторвались от работы, был уже третий час ночи. Отпустить Энгельса одного Карл не решился — Энгельс плохо знал Париж, чтобы бродить по нему ночью. Проводить себя до гостиницы Карлу не позволил Энгельс: путь до гостиницы и обратно отнял бы у него весь остаток ночи.

Карл постелил Энгельсу в гостиной, сам устроился на своем топчане в кабинете. Дверь из кабинета в гостиную оставил открытой, чтобы можно было переговариваться с Энгельсом, если они не сразу уснут.

— Удобно? — спросил Карл, когда Энгельс погасил лампу и лег.

— Удобно,— отозвался Энгельс.— Мы здорово поработали: до сих пор буквы в глазах пляшут.

Карл усмехнулся и пожелал Энгельсу спокойной ночи.

Проснулись они поздно, когда солнце уже вовсю светило в окна.

— Это из-за меня, конечно,— сокрушался Энгельс, одеваясь.— Ты не хотел меня будить. А я люблю поспать, хотя служба в Манчестере заставляла меня подниматься чуть свет, за что я ее проклинал каждое утро.

— Спать каждую ночь и просыпаться рано утром — это большая роскошь,— сказал Карл.— Я еще в студенческие годы основательно разрушил эту естественную систему и возвратиться к ней не могу. Работаю несколько дней и ночей подряд, потом сплю или валяюсь двое-трое суток. Конечно, это дурно, мой метод работать — не для всех. Однако что-то есть в нем и положительное. Мозг, когда его заставляешь работать на полную мощность, неотрывно и настойчиво врезаться в факты и мысли, иногда показывает чудеса: то, что при нормальной работе можно было бы добыть через год, порой удается добыть в течение нескольких дней.

— Это так важно? — спросил Энгельс.— Есть причины торопиться?

— Есть,— ответил Карл.

— Карл,— сказал Энгельс, помолчав.— В Бармене меня ждет жизнь в болоте христианского ханжества и торгашества. Но я вырвусь. И тогда я снова буду с тобой.

— Поторопимся,— сказал Карл.— Надо где-нибудь позавтракать, а потом в «Форвертс». Сегодня должна быть напечатана твоя статья, Фред, об английских рабочих. Это хорошая статья, будет много разговоров. Готов ли ты к ним?

— Готов. Жалею, что нет Гейне. Когда-то я дурно отозвался о нем. Теперь я вижу, что был не прав. Хотелось бы сказать ему об этом. И еще о том, что он настоящий поэт. Мне все больше нравятся его стихи, в них много правды. Думаю, что все это не без твоего влияния, Карл...

— Возможно. Но наибольшее влияние на него имеет моя жена. Я для него жестковат, моя логика его ранит. Он однажды признался в этом Женни.— При имени Женни Карл украдкой вздохнул.

Энгельс заметил это, спросил:

— Но ведь она скоро приедет?

— Да. Обещает. Недели через три.

— Жалею также о том, что не повидал твою жену. Мне писали и говорили, что ты, Карл, похитил самую красивую девушку Трира.

— Это неправда,— смеясь, ответил Карл.— Моя Женни — самая прекрасная в мире.

В оставшиеся дни они продолжали работать над книгой, дважды присутствовали на рабочих собраниях, просто бродили по Парижу, любовались его дворцами, площадями, парками, Сеной. Эти дни пролетели, как один день. И когда Энгельс, прощаясь с Карлом, обнял его, Карл сказал:

— Обещай, что скоро встретимся снова.

— Обещаю.

Карл крепче обнял его.



Глава десятая

Карл встретил Женни и принял из ее рук маленькую Женнихен.

— Осторожно, Карл,— сказала Женни, целуя его.— Наше маленькое сокровище спит.

Он внес ее в дом, бережно опустил на кроватку, которую давно уже приготовил для нее, посмотрел в личико спящей дочери, поправил прядку волос на ее лбу, шепотом сказал Женни:

— Она очаровательна.

— Да,— ответила Женни.

— Она похожа на тебя.

— Нет,— сказала Женни.— Она похожа на тебя.

Карл обнял жену и долго не выпускал ее из объятий.

— В последние дни я просто бесился,— признался он ей.— Мне все казалось, что что-нибудь помешает твоему приезду: землетрясение, наводнение, война или еще какая-нибудь чертовщина. Я боялся умереть, попасть под коляску, свалиться с моста. Мне всюду мерещилось нечто, что может нас разлучить, помешать нашей встрече. Я впал в уныние от

всей этой чепухи. И теперь мне просто не верится, что мы снова вместе.

— Мне тоже, милый.

Проснулась Женнихен и, как позже утверждал Карл, внимательно с ног до головы оглядела его оценивающим взглядом, потом, найдя, должно быть, что он вполне приличен, улыбнулась ему и завертела головой, требуя, чтобы он взял ее поскорее на руки.

— Она признала меня! — сказал Карл.— Она точно признала меня!

В тот день он не выходил из дому, все никак не мог наглядеться, нарадоваться на своих женщин. Он исследовал Женнихен от пяток до макушки, восхищался ее четырьмя зубками, щекотал бородой ее животик, носил на руках, пел ей песенки, убаюкивал, кормил супом, который приготовила Женни, причесывал, оказывал ей всяческое внимание, чем возбудил ревность в Женни.

— Ты совсем забыл обо мне, Карлхен,— заметила она ему.— Но я тебя прощаю.

Бакунин, который встретился с Карлом на третий или четвертый день после приезда Женни, сказал:

— Я не узнаю вас, доктор Маркс. Вы помолодели лет на десять. Как вам это удалось?

— Я нашел кастальский источник,— ответил ему Карл.— Этот источник — любовь.

— Не верю,— удивился Бакунин.— Не верю, что такой суровый логик, как вы, можете испытывать подобное чувство. Ваш ум, как мне кажется, должен все расчленять на атомы, все подвергать сомнению.

— Разумеется, должен,— ответил Карл.— Он так и поступает по отношению ко всему, кроме любви. Туда, где любовь, я его просто не допускаю, Бакунин. И не потому, что боюсь за любовь, а потому, что боюсь за ум.

Вскоре судьба подарила Карлу еще один праздник: вернулся из Гамбурга Гейне, привез целый ворох новостей о немецкой жизни.

— Когда б не Гейне,— сказала однажды Карлу Женни,— боюсь, что мы заскучали бы.

Женни из-за ребенка не могла покидать дом. Гейне приносил с собой веселье, ощущение большой жизни, дружеское тепло. Карл был благодарен ему за это. К тому же он просто любил Гейне. И каждый его при-

ход встречал с радостью, оставлял ради него всякие дела, неохотно отпускал его, когда тот уходил.

Гейне возвратился из Гамбурга в октябре. В октябре же Карл закончил работу над книгой, которую вместе с Энгельсом начал писать в августе. Книга получилась больше, чем он предполагал. Предлагать ее в какой-либо журнал не имело смысла: для журнала она была слишком велика. Карл начал хлопоты о ее отдельном издании.

Первым издателем, к которому обратился Карл, был Фребель, владелец «Литературной конторы». Тот самый Фребель, который издал сдвоенный номер «Ежегодника» и компаньоном которого был Руге. Фребель печатать книгу отказался, сославшись на финансовые затруднения. Но это была лишь отговорка. Действительной причиной отказа было требование Арнольда Руге, с которым тот обратился к Фребелю, когда узнал, что Карл начал с ним переговоры об издании книги. «Вы должны выбрать между мной и Марксом,— заявил Руге Фребелю,— между его и моей дружбой». Фребель выбрал Руге.

За первой неудачей последовала вторая: печатать книгу отказались также владельцы издательства, в котором выходила «Форвертс». Посредничество редактора «Форвертс» Бёрнштейна также не имело успеха: издатель Жюль Ренуар предчувствовал (или знал), что надвигаются неприятности, которые он не хотел усугублять. Во всяком случае, слухи о том, что правительство Гизо по просьбе прусского правительства заинтересовалось газетой «Форвертс», не прошли мимо него.

— Эти неудачи меня огорчают, Карл,— сказала Женни.— У меня складывается впечатление, что против тебя готовится заговор.

— Чепуха,— возразил Карл.— Просто я дважды обратился не по адресу. Причина неудач в моей собственной глупости. К счастью, я это понял. И послал рукопись Левенталю во Франкфурт-на-Майне. Думаю, что на этот раз мне повезет.

На этот раз Карл не ошибся.

Доктор Левенталь согласился издать книгу, предложив для нее свое название: «Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании». Карлу это название понравилось.

Слухи о том, что французское правительство заинтересовалось газетой «Форвертс», вскоре подтвердились самым неожиданным образом: редактор Фердинанд Бернайс был вызван в суд. Ему предъявили обвинение в том, что он нарушил закон о политических газетах — не внес за-

лог в семьдесят пять тысяч франков, который обязан был внести по закону. Ни Бернайс, ни Бёрнштейн такой суммой не располагали. В результате Бернайс был приговорен к двум месяцам тюрьмы и штрафу в триста франков. Прямо из здания суда его под конвоем отвели в тюрьму Сен-Пелажи.

— У нашего малыша Фердинанда,— рассказывал Карлу Генрих Бёрнштейн,— был вид не осужденного, а победителя. Он даже пробовал запеть, когда его вывели на улицу. Но был сильный ветер, и наш Фердинанд замолчал — видно, побоялся простудить горло.

— И слава богу,— сказал присутствовавший при этом разговоре самый молодой сотрудник газеты Генрих Бюргерс.— Слава богу, что был ветер: у бедного Фердинанда нет ни слуха, ни голоса. По этой причине он не знает ни одной песни...

Уже на следующий день Бёрнштейн внес в судебную кассу шестьсот франков, уплатив, таким образом, штраф и судебные издержки. В тот же день сотрудники «Форвертс» отправились шумной компанией в тюрьму Сен-Пелажи навестить Фердинанда Бернайса, захватив с собой корзину съестного и бутылку вина. К Бернайсу пропустили лишь одного Бёрнштейна, хотя и разрешили взять с собой корзину. Бёрнштейн вышел через полчаса. Был молчалив и печален.

— Что-нибудь случилось с нашим Фердинандом? — спросил его Карл.

— Нет. С ним все в порядке. Но он смутил меня одной мыслью. Он предполагает, что события последних дней — лишь прелюдия к более суровым преследованиям, которые ждут нас в скором времени. А сам он держится молодцом. Отведав нашего вина, наш Фердинанд запел... Все-таки у него есть голос,— сказал Бёрнштейн Бюргерсу,— у меня была возможность только что убедиться в этом.

— Чего только не случается с человеком в тюрьме! — нашелся Бюргерс.— Я слышал, что один слепой в тюрьме стал зрячим.

— По совести, в тюрьму следовало бы посадить не Бернайса, а Руге,— сказал Гервег.— Бернайс принял на себя удар, который не заслужил.

— Да, он избавил от тюрьмы и меня,— вздохнул Бёрнштейн.— Наш Фердинанд — самый благородный человек. Когда он выйдет из тюрьмы, мы устроим в его честь грандиозный пир.

Слова Гервега о том, что в тюрьму следовало бы посадить не Бернайса, а Руге, не были случайны. Все отлично понимали, что Бернайс

пострадал вовсе не из-за того, что в государственную казну не был внесен залог в семьдесят пять тысяч франков, необходимый для получения права на издание политической газеты, каковой в последние месяцы стала «Форвертс». Истинной причиной несчастья, свалившегося на «Форвертс», были статьи, помещенные в ней. Статьи против прусского правительства и против самого короля. Среди них и статьи за подписью «Пруссак», которые принадлежали перу Арнольда Руге.

Предвидя, что оскорбления в адрес Фридриха-Вильгельма IV, которыми изобиловали статьи Руге, могут навлечь на «Форвертс» гнев не только прусского правительства, но и гнев правительства Франции, Бернайс написал Руге письмо. В нем он предлагал Руге взять ответственность за сказанное в статьях на себя, открыть свое имя, спрятанное за псевдонимом Пруссак.

Это была маленькая месть за статьи против «Форвертс». Как Бернайс и предполагал, Руге тотчас примчался к нему и стал умолять его, чтобы тот не открывал его имени и в случае каких-либо неприятностей принял бы вину на себя как редактор и как друг. Бернайс был отомщен. И все же он не предполагал, что дело обернется судом и тюрьмой и что ему действительно придется принять вину Арнольда Руге на себя...

— А вот вторая мысль, которой поделился со мной наш Фердинанд,— продолжал Бёрнштейн.— Он предлагает превратить нашу газету в ежемесячник. Дело в том, друзья, что выпуск ежемесячника, даже если он занимается политикой, не требует уплаты залога.

— Браво! — сказал Бюргерс.— Да здравствует наш мудрый Фердинанд!

Это была действительно мудрая мысль: превратить «Форвертс» в ежемесячник.

— У нашего Фердинанда,— сказал Бакунин,— в тюрьме не только голос прорезался, но и ум, кажется, обострился. Я предлагаю в честь этих двух событий устроить праздник.

Карл, Бёрнштейн, Бакунин, Даниельс, Бюргерс и Гервег возвратились в редакцию и расположились в комнате Бакунина. Генрих Бюргерс обратился к Карлу:

— Маркс, у меня просьба. Обещайте ее исполнить, и вы сделаете меня самым счастливым человеком.

Другие были заняты шумным обсуждением планов будущего ежемесячника и не слышали разговора Бюргерса и Маркса, которые к тому

же сидели на подоконнике, тогда как все остальные — на кровати и сундуке Бакунина. Генрих Бюргерс появился в редакции «Форвертс» не так давно, вместе с Роландом Даниельсом. Вскоре он стал выделять Карла среди других, Карл старался отвечать ему тем же.

— Когда всех нас, немцев, попрут из Парижа ко всем чертям,— сказал Бюргерс,— обещайте, что вы возьмете меня с собой.

Карл помолчал, обдумывая сказанное Бюргерсом, и ответил:

— Обещаю. Думаешь, что уже пора договариваться об этом?

— Как сказал бы наш Фердинанд, солнышко взошло, значит, утро пришло.

— Увидим, увидим,— ответил Карл.— Говорят, что прусский посол фон Арним зачастил к Гизо. Об этом сообщают газеты. Возможно, что они говорят и о нас.

Карл был готов к любым неприятностям, ибо знал, что дело, за которое он взялся, не сулит ему покоя. Но покидать Париж ему не хотелось. Да и Женни очень нравился Париж. Будущее им виделось более радостным, чем прошлое, подрастала Женнихен, научилась уже сидеть, меньше стала капризничать, и у Женни появилось больше времени для себя и для Карла. К тому же в феврале или в марте собиралась приехать из Трира Елена Демут, Ленхен, которую мать Женни посылает к ним в качестве няньки и домработницы. И значит, быт их станет еще более налаженным.

Должны появиться также и деньги: дела с изданием книги у Левенталя во Франкфурте-на-Майне шли хорошо. Доктор Левенталь писал Карлу, что «Святое семейство» увидит свет в конце февраля следующего года. А это означало, что уже в марте Карл получит гонорар и сможет хотя бы частично возвратить долг своим кёльнским друзьям: Классену, Оппенгейму, Мевиссену и Юнгу. В будущем году Карл намеревался взяться за новую книгу, надеясь, что и у нее судьба будет счастливой.

С этими надеждами и чувствами Карл и Женни собирались встретить новый, 1845 год. И когда до новогоднего праздника оставалось несколько дней, когда уже казалось, что ничто до наступления Нового года не может измениться, к Карлу — он был дома — прибежал рассыльный от Бёрнштейна с запиской, в которой Бёрнштейн просил Карла срочно прийти в редакцию «Форвертс». «Есть для всех нас важная новость»,— сообщал в записке Бёрнштейн.

Карл показал записку Женни. Прочитав ее, Женни неожиданно побледнела и опустила руки.

— Что с тобой? — испугался Карл, беря ее под локти и усаживая у камина.— Что случилось?

Женни в ответ протянула ему записку Бёрнштейна.

— Ведь тут не сказано, что плохая новость,— сказал Карл.— Важная новость может быть и приятной новостью.

— Да?

— Конечно, Женни.

— Значит, я просто глупая паникерша,— улыбнулась Женни.

— Выходит, что так. Я скоро вернусь, Женни, и ты увидишь, что не было причин для тревоги.

— Тогда поскорее возвращайся, Карл,— попросила Женни.— Как можно скорее.

Когда Карл вошел в кабинет Бёрнштейна, тот не встал из-за стола и даже не поднял на Карла глаза.

— Садитесь, доктор Маркс,— сказал он.— И приготовьтесь выслушать неприятное, очень неприятное для всех нас известие.— С этими словами он взглянул на Карла, и тот понял, что Бёрнштейн не шутит.

— Я готов,— ответил Карл, садясь напротив Бёрнштейна.— Что произошло?

— Сегодня рано утром ко мне на квартиру явился полицейский комиссар и зачитал мне декрет префекта полиции, согласно которому я, то есть Анри Бёрнштейн, как написано там, должен покинуть Париж в течение двадцати четырех часов и территорию Франции — в течение трех дней. Как вам это нравится, доктор Маркс?

— Суровый декрет,— ответил Карл.— На каком же основании он издан?

— На основании предписания министра внутренних дел Франции господина Дюшателя.

— Значит, фон Арним добился своего и Гизо по просьбе нашего просвещенного прусского короля решился прихлопнуть вас?

— Не только меня, доктор Маркс. Когда б только меня, я не стал бы тревожить вас.

— Понимаю. Вас, меня и кого еще?

— Двенадцать сотрудников нашей покойной «Форвертс» получат этот декрет.

— И Генрих Гейне?

— Слава Гейне не защитила его, доктор Маркс.

— Худо дело. Если уж слава Гейне не смогла защитить его, то нас, пожалуй, ничто не защитит. Значит, и Бакунин, и Гервег, и Бернайс, который сидит в тюрьме?

— Да. И доктор Руге тоже.

— И Руге? — удивился Карл.

— И Руге. Кстати, вам известен его адрес?

— Да.

— В таком случае не можете ли вы, доктор Маркс, сообщить ему об этой неприятности? Всем другим сообщу я.

— Ладно,— согласился Карл.— Думаю, что узнать о решении Дюшателя от меня ему будет крайне неприятно.

— Хотя бы это.

— Я вас не понял, Генрих.

— Я сказал, что хотя бы это, так как думаю, что Руге благополучно выпутается из этой истории.

— Каким образом?

— Не знаю, каким образом, но знаю, что выпутается. Спорим на вашу часть взноса в уплату штрафа за Бернайса. Я намерен спорить со всеми, кто внес за него деньги, чтобы таким образом не быть должником. Хитер?

— Хитер,— сознался Карл.

— Так спорим?

— Спорим.

— Считайте, что вы уже проиграли.

— Что вы намерены теперь делать? — спросил Карл, с замиранием сердца подумав о том, что он скажет Женни.

— Я уже кое-что сделал,— похвастался Бёрнштейн.— Я уже побывал в палате депутатов, вызвал адвоката и редактора газеты «Ла Реформ» и рассказал им обо всей этой грязной истории. И редактор, и адвокат возмущены в высшей степени. Они решили направить депутатский запрос кабинету Гизо, обвинив его в том, что он раболепствует перед чужим правительством. Завтра «Ла Реформ» и другие оппозиционные газеты поднимут ужасный шум. Еще не все проиграно, доктор Маркс. Вы довольны?

— Я доволен,— вздохнул Карл.— У меня будет чем утешить жену.

Письмо Арнольду Руге Карл написал здесь же, в редакции, и отправил его на улицу Нотр-Дам де Лоретт.

«Я узнал из надежных источников,— написал Карл,— что против Вас, меня и некоторых других префектурой полиции изданы приказы покинуть Париж в 24 часа и Францию в возможно кратчайший срок. Бёрнштейн может Вам сообщить детали. На тот случай, если Вы еще не знаете об этой новости, я счел уместным сообщить Вам о таковой. К. Маркс».

Вскоре после Карла в редакцию пришли Бюргерс, Даниельс и Бакунин. Потом пришел Гейне. Следом за ним Гервег. Все были потрясены случившимся. Бюргерс, едва увидев Карла, сказал:

— Я это предчувствовал.

— Да, да,— ответил Карл.

— Я пойду к Гизо,— сказал Гейне.— Он не раз восторгался моими стихами. Он не позволит изгнать меня из Франции.

— Правильно,— поддержал его Гервег.— И ты замолвишь слово за всех нас.

— Не надо,— сказал Карл.— Каждый должен постоять за себя сам. Ведь за всякую милость придется чем-то платить. И тут каждый решит сам, на какие уступки французскому и прусскому правительствам он способен пойти.

— Прав Карл,— сказал Бакунин.— Лично я не пойду ни на какой компромисс.

— Я тоже,— вставил свое слово Бюргерс.

— От меня могут потребовать только одну уступку: отказ от политической деятельности,— сказал Карл.— Больше мне платить нечем. Но это слишком высокая цена даже за право жить в таком прекрасном городе, как Париж.

Декрет о высылке из Франции не касался Роланда Даниельса, который хоть и стал другом Карла, но в работе «Форвертс» видимого участия не принимал. Даниельс и Бюргерс появились в Париже лишь в ноябре с рекомендациями от кёльнских друзей Карла по «Рейнской газете».

После первых же бесед с Даниельсом Карл понял, что имеет дело с человеком, для которого «революция» и «коммунизм» — не модные слова.

В отличие от Бюргерса, который бывал шумен в спорах, Роланд вел себя в такой степени сдержанно и деликатно, что вскоре именно это ка-

чество его характера выделило его среди других как третейского судью. Спорщики, увязнув в словесной пучине, стали все чаще обращаться к нему с просьбами рассудить их. К тому же Даниельс уже в Кёльне прославился как хирург, и эта его слава дошла до Парижа, до Эвербека, который рекомендовал его Марксу как выдающегося врача.

Но Даниельс был не только врачом, Карл узнал от самого Роланда, что тот три года учился на философском факультете в Бонне. Впрочем, если бы Роланд и не сказал об этом Карлу, тот и сам вскоре понял бы, что философские познания Роланда глубоки и обширны. В этом не трудно было убедиться, слушая его суждения о Гегеле, Фейербахе, философской науке вообще. Карл привязался к Роланду, найдя в нем единомышленника. Но предстоящая разлука с Парижем предвещала и разлуку с Даниельсом.

— Я вернусь в Кёльн,— сказал Карлу Даниельс.— Без вас мне в Париже делать нечего. Думаю, что в Кёльне я буду полезен нашему движению. Уверен, что наши связи не прервутся.

— Несомненно,— ответил Карл.— Несомненно.— Он крепко пожал Даниельсу руку, спросил: — А ваш друг Бюргерс? Вы не возьмете его с собой в Кёльн?

— Я предвижу много трудностей в вашей судьбе, Карл,— ответил Даниельс.— Я уговорил его побыть с вами. Помочь вам,— добавил он.— Да это, кажется, и его желание. Не отказывайтесь от этой помощи. Прошу вас, Карл.

— Спасибо, Роланд,— сказал Карл.— Я не откажусь.

Карл не торопился домой, медлил. Ему хотелось оттянуть тот момент, когда он сообщит Женни о приказе префекта, еще и еще раз обдумать, как он это сделает, как объяснит ей свое решение не идти ни на какой компромисс с французским правительством. Бюргерс хотел проводить его, но Карл отговорил его от этого намерения, сказал, что намерен побыть один, чтобы хорошенько осмыслить происшедшее. По этой же причине Карл не взял экипаж, хотя тот подвернулся ему, едва он вышел из редакции, и направился домой пешком.

Путь от редакции до дома занял у него больше часа. И хотя времени было достаточно для того, чтобы обдумать, в какой форме он сообщит Женни о случившемся, он все-таки ничего не придумал. Решил так: увидит Женни, ее лицо, ее глаза и тогда сообразит, как преподнести ей дурную весть.

Женни ждала его. Открыла дверь, едва он коснулся звонка.

— Малышка спит? — спросил Карл, снимая пальто.

— Спит,— ответила Женни.— Ты шел пешком?

— Да. Очень холодный вечер. Луна и мороз.— Карл приблизился к камину, протянув к огню руки.

— Следовало бы купить тебе новое пальто, Карл. И новое, и потеплее. Это уже потеряло всякий вид.

— Как только я получу гонорар, обязательно купим. Но в первую очередь тебе. Обещай, что ты не станешь возражать.

— Не стану,— сказала Женни и спросила: — Ты голоден?

— Да, я чертовски голоден. И продрог.

— Я купила ветчины. Можно поджарить яйца с ветчиной.

— Это будет прекрасно, Женни! Ничего я так не люблю, как поджаренные яйца с ветчиной. Если позволишь, я сам приготовлю ужин. Такое у меня творческое настроение — состряпать что-нибудь самому...

— Карл,— сказала Женни, помолчав.— Зачем вызывал тебя Бёрнштейн? Я вижу по твоим глазам, что ты чем-то очень обеспокоен.

— Как ты это определила, что особенного ты увидела в моих глазах?

— Ничего особенного. Ты просто прячешь от меня глаза,— сказала Женни.— И ты не поцеловал меня, хотя мы не виделись с тобой целый день...

— Разве? Ах я чурбан! — Карл подошел к Женни и поцеловал ее в щеку.— Твои наблюдения, конечно, верны, Женни: новость, которую сообщил мне Бёрнштейн, чрезвычайно неприятна. И я отдал бы очень многое, чтобы не говорить тебе о ней. Но она касается нас обоих, Женни. Мы должны уехать из Парижа. И очень скоро. И неизвестно куда. То есть мы сами должны сейчас решить, куда мы поедем. Гизо решил избавиться от «Форвертс» и всех ее сотрудников. Декрет префекта полиции предписывает нам покинуть Францию в трехдневный срок.

Женни села, уронила руки на колени.

— И ничего нельзя изменить, Карл?

— Почти ничего. Возможно, что нас выдворят не так скоро. Уже завтра о позорном решении Гизо заговорят все газеты. Возможно, что по отношению к кому-то требование о высылке будет взято обратно. Но меня не пощадят, Женни: мне нечем платить за милость.

— И куда же мы поедем, Карл?

— Может быть, в Брюссель? Я думал о Брюсселе. Это и близко, и там говорят по-французски. Совсем рядом Бонн...

— Зачем тебе Бонн?

— На всякий случай, Женни. Вдруг положение в Германии переменится и мы сможем вернуться домой...

— Значит, в Брюссель.

— Да, родная.

Оппозиционные правительству газеты, как и предвидел Бёрнштейн, действительно подняли шум. Газета «Ла Реформ» заявила: «Господа Бернайс и Маркс не совершили ничего такого, что могло бы нанести вред Франции. Если кто-либо и может жаловаться на них, то это лишь прусское правительство, и решение об их высылке было принято только в угоду прусскому двору. Люди, отличающиеся своим большим талантом и любовью к французским идеям и проявляющие симпатии к нам, получили приказ оставить Францию, которую они — и это было их преступлением — любили и защищали».

В том же номере «Ла Реформ» было напечатано письмо Бернайса из тюрьмы Сен-Пелажи:

«Теперь я сижу в тюрьме и отбываю наказание в надежде на то, что после этого сумею остаться в Париже. Я люблю Францию и хотел бы жить здесь, таким образом, мне милее отбывать это наказание, чем еще раз менять родину. Увы, расчеты свои я построил, не приняв во внимание дипломатов».

Шум, поднятый «Ла Реформ» и другими газетами, сделал свое дело. Уже через несколько дней министр внутренних дел Дюшатель вызвал Бёрнштейна и сообщил ему, что требование о высылке из Франции его и Бернайса может быть взято обратно, если они продемонстрируют свое уважение к правительству и прекратят издание «Форвертс». Бёрнштейн принял это предложение.

Получив письмо Маркса, посланное ему из редакции «Форвертс» с курьером, доктор Руге в тот же день решил, как ему следует действовать. Уже со следующего дня, поборов в себе всякую гордость, Руге принялся усердно обивать пороги приемных французских депутатов и за-



бросал ходатайствами саксонское посольство в Париже. Его расчет оказался верным: как бывший дрезденский гласный он был признан саксонским подданным, получил свидетельство о благонадежности и разрешение остаться в Париже.

Руге не скрыл своего отношения к «Форвертс» и того одобрения, которое вызывало в нем решение французского правительства о закрытии газеты. Всех, кто знал его раньше, удивило и возмутило его поведение. Он же полагал, что делает доброе дело в защиту свободы и гуманизма.

Вскоре выяснилось, что не имеет юридической силы приказ о высылке Гервега, так как Гервег является не подданным прусского короля, а гражданином Швейцарии.

Мировая известность и личное расположение премьер-министра Гизо избавили также от неприятностей Генриха Гейне.

После того как Бёрнштейн направил министру внутренних дел Дюшателю письменное заверение о том, что он прекращает выпуск «Форвертс», было разрешено остаться в Париже и некоторым другим сотрудникам газеты.

В итоге из двенадцати сотрудников «Форвертс» высылке подлежали только трое: Карл Маркс, Михаил Бакунин и Адальберт фон Борнштедт, бывший редактором «Форвертс» до Бернайса.

— Ты тоже можешь остаться,— сказал Бюргерсу Карл.— Париж — прекрасный город, а я не принимаю всерьез твое намерение ехать со мной. И то, что ты мне говорил в редакции, ни к чему тебя не обязывает, милый Генрих. Словом, оставайся.

— Нет,— ответил Бюргерс.— Я не бросаю слова на ветер.— Говоря это, он был так серьезен, что Карл не посмел ему возразить.— И я дал слово Роланду.

За день до отъезда Карла в Брюссель Марксов навестили Гервеги — Георг и Эмма.

— Мы не смогли защитить тебя,— сказал Карлу Гервег.— Мы плохо старались. Особенно Гейне, которого ты так боготворишь. Ведь он, кажется, был у Гизо и мог бы, следовательно, повлиять на него...

— Я не дал ему таких полномочий,— ответил Карл.— Ведь ты помнишь наш разговор в редакции.

— Да, помню. Полномочия — да. Но ведь есть еще порыв сердца, Карл.

— Ты хочешь бросить тень на Гейне,— сказал Карл.— А я тебе запрещаю это. И оставим этот разговор.

— Хорошо, оставим,— согласился Гервег.— А теперь скажи мне, почему ты не пошел на компромисс с Дюшателем? Неужели для тебя так важно нападать на прусское правительство? Ведь ты, Карл, ученый человек, ты философ. А философия, насколько мне известно, выше всяких правительств. Ты можешь заниматься философией и при этом ни словом не касаться прусского правительства. Осуждай тиранов вообще, королей вообще. Это в обычаях философии. А высокая философия не касается даже и этих дел.

Они разговаривали в кабинете. Эмма и Женни были в гостиной. Эмма помогала Женни упаковывать вещи, которые та намеревалась перевезти к Гервегам: одежду, кое-что из посуды. Книги Карл собрал и увязал раньше. Теперь они стояли стопками на полу. Уже были сняты портьеры и занавески, скатерти со столов. Убранной оставалась только супружеская постель и кроватка Женнихен. Но это не избавляло от ощущения пустоты, которая вдруг воцарилась в этом доме. Комнаты стали гулкими. Шаги и голоса людей отзывались эхом.

— Завтра же к нам, Женни,— это говорила в гостиной Эмма Гервег.— Как только уедет Карл, сразу же к нам. Мы уже приготовили для тебя и для малышки комнату. Будешь жить у нас, сколько тебе понадобится. Сразу же скажу тебе: я буду рада видеть тебя в нашем доме.

— Спасибо, Эмма,— ответила Женни.— Я не задержусь у вас. Как только продам мебель и белье...— Женни замолчала, и Карл насторожился: ему показалось, что она всхлипнула, но Женни после небольшой паузы продолжала: — Как только продам мебель и белье, я ни дня не задержусь в Париже. Я так долго жила в Трире без Карла, а теперь еще в Париже... Нет, я не задержусь у вас долго. Но за внимание, Эмма, сердечнейшее спасибо...

— Женни очень любит тебя,— сказал Карлу Гервег.— Тебе можно позавидовать.

— Я думаю, что женщины нас любят в ответ на нашу любовь.

— Да? Впрочем, вернемся к философии.— Георгу не хотелось обсуждать проблемы любви: разговор мог бы перейти на его отношения с Эммой, которые были по его вине далеко не благополучными.— Философия

и политика — это две разные вещи, они вполне могут существовать раздельно... Не так ли?

— Нет, Георг. Прости меня, конечно, но ты говоришь чепуху, хотя она исторически и оправданна. Да, прежняя философия была далека от политики. Она занималась лишь тем, что объясняла мир. Иногда хорошо объясняла, чаще — плохо. Задача же нынешней философии заключается в том, чтобы изменить мир. Изменить к лучшему. И эта задача не навязана ей. Эта задача вытекает из сущности новой философии. Говоря образно, нынешняя философия — это способ познания и изменения мира. Это философия нового класса, пролетариата, служению которому я себя отдаю.

— Надеюсь, ты веришь, Карл, что и я не стою в стороне. И я служу делу свободы.

— Разумеется, Георг. Разумеется. Я верю, что у тебя славное будущее.

Карлу хотелось верить в это.

Когда Гервеги ушли, Карл сказал Женни:

— Я опасаюсь за Гервега: у него в глазах собачья тоска.

— Эмма говорит, что он мало работает, часами сидит и смотрит в окно.

— Жаль. Кто мало работает, тот разрушается. Я напишу письмо Гейне и попробую отправить его с кем-нибудь, пока светло. Гейне — вот с кем мне действительно не хочется расставаться...

— Обязательно напиши ему эти слова,— попросила Женни.

«Милый друг! — написал Генриху Карл.— Я надеюсь, что завтра у меня еще будет время увидеться с Вами. Я уезжаю в понедельник. Издатель Леске только что был у меня. Он издает в Дармштадте выходящий без цензуры трехмесячник. Я, Энгельс, Гесс, Гервег, Юнг и др. сотрудничаем в нем. Он просил меня переговорить с Вами о Вашем сотрудничестве в области поэзии и прозы. Я уверен, что Вы от этого не откажетесь, нам ведь нужно использовать каждый случай, чтобы обосноваться в самой Германии.

Из всех людей, с которыми мне здесь приходится расставаться, разлука с Гейне для меня тяжелее всего. Мне очень хотелось бы взять Вас с собой. Передавайте привет Вашей супруге от меня и моей жены. Ваш К. Маркс».

...Карл и Генрих Бюргерс выехали из Парижа на рассвете. До заставы их почтовую карету сопровождал полицейский комиссар. Их путь лежал к бельгийской границе, через Пикардию. В почтовой карете они оказались одни: был пост, холодное время года, когда французы без крайней надобности не путешествуют. Они разговаривали. Временами Бюргерс затягивал песню, и Карл подхватывал ее. Но едва кончалась песня, он снова погружался в глубокую задумчивость.

Размышлений требовало и прошлое, и будущее. Карл думал о Женни. Вспоминал ее лицо, слезы на ее щеках в минуту расставания и немой вопрос, который она так и не решилась произнести вслух: «Что будет с нами?»

«Да, что будет с нами? — думал теперь Карл.— Что?»

Но ответа не было: будущее молчаливо.

— Мы еще вернемся в Париж! — пытался развлечь Карла Бюргерс.— Франция еще пожалеет о своем позорном решении...

КНИГА ВТОРАЯ



Соратники



Глава первая

Они остановились в отеле «Буа-Соваж» на площади Сент-Гюдюль. Это был не самый лучший в Брюсселе отель. И уж конечно, не самый дешевый. Все преимущества «Буа-Соваж» заключались в том, что он стоял в самом центре бельгийской столицы, совсем рядом с министерством юстиции и приемной бургомистра.

Дорога от Парижа до Брюсселя заняла три дня. И была трудной. Стоял холодный и ветреный февраль 1845 года. От мороза коченели ноги. Разламывалась от постоянной тряски голова. Плохо спалось. На станциях кормили дурно. Утомляли угрюмые лица соседей по дилижансу. В эту пору года путешествуют не по доброй воле, не ради развлечений: одних позвало в дорогу несчастье в семье родственников, других — нужда. Пожилая супружеская пара ехала на похороны дочери. Высокий седой старик, в недавнем прошлом парижский торговец скобяными товарами, направлялся в деревню к другу юности, надеясь найти у него приют и пропитание, потому что в Париже конкуренты полностью разорили его.

Молодая женщина, которая всю дорогу плакала, возвращалась к родителям в Лилль: ее муж, рыбак, утонул в Сене.

Все это удручало Карла. Но ничего нельзя было изменить. Он вынужден был ехать, трястись, мерзнуть, слушать унылые рассказы спутников. Собственные мысли тоже были порой безрадостны. Тревожило то, что и Женни должна будет вынести все тяготы этой зимней дороги. И не одна, а вместе с дочуркой. А на станциях холодно, не допросишься теплой воды, не приготовишь нужной для ребенка пищи. К тому же Женни в последние дни была нездорова.

При других обстоятельствах он, несомненно, взял бы Женни с собой. Для этого по меньшей мере нужна была уверенность, что Бельгия не откажет им в гостеприимстве. Такой уверенности у Карла не было. Карл взял с собой почти все деньги, какие были у них в доме. На этом настояла Женни. Но деньги нужны будут и ей.

Генрих Бюргерс несколько раз пытался отвлечь Карла от невеселых мыслей, принимался рассказывать смешные истории. А в редкие часы, когда они оказывались в дилижансе вдвоем, даже пел, всячески подзадоривая Карла, чтобы тот присоединился к нему. Карл улыбался, вздыхал. Потом сказал, жалея Генриха, его напрасные старания:

— У тебя доброе сердце, Генрих.

В отеле «Буа-Соваж» Маркс и Бюргерс сняли два соседних номера.

— Господам может показаться, что в номерах душно,— предупредил их хозяин отеля.— И все же я не рекомендую открывать окна. Дует очень скверный ветер, ветер с Северного моря. Он несет верную простуду, господа.

В номере действительно было душно. Карл открыл на несколько минут окно. Из окна была видна пустынная площадь, по которой ветер гнал снежную поземку.

— Новый город — новая жизнь,— сказал Карл, захлопывая окно.— Теперь увидим, какая она.

Маркс и Бюргерс поужинали в гостинице. Хозяин любезно согласился взять их на полный пансион после того, как они заплатили ему вперед за недельное проживание.

— А у вас что-нибудь осталось в кошельке, доктор Маркс? — полюбопытствовал Бюргерс, когда они отошли от конторки хозяина.

— Увы,— ответил Карл.— Почти ничего. Однако есть надежда. Ты, конечно, помнишь о моем договоре с дармштадтским издателем Леске? Я пообещал ему рукопись книги о политической экономии. Он должен выслать полторы тысячи франков. Как только я сообщу ему мой брюссельский адрес...

— Нужно было потребовать больше. Да, да!

— Потребовать? — засмеялся Карл.— Но ведь книги еще нет. И не знаю, скоро ли напишу: впереди столько хлопот, Генрих. Пустых хлопот, которые пожирают время. Вся надежда теперь на здешних немцев. Бернайс перед моим отъездом из Парижа посоветовал обратиться с моими делами к здешнему адвокату Карлу Майнцу. Хорошо, если Майнц в Брюсселе, если согласится помочь. Впрочем, я верю, дорогой Генрих, что все будет хорошо. Все невзгоды мы одолеем. Одолеем и большее. Я верю!

— Я тоже,— сказал Бюргерс.— Я тоже! Утром сразу же направимся к адвокату Майнцу.

После ужина, не зажигая света, Карл лег в постель. Какое-то время прислушивался, как за окнами гудит, налетая порывами, северный ветер, снова думал о Женни. С мыслями о ней и уснул. Но спал недолго, часа два. Проснулся оттого, что ему почудилось, будто кто-то толкнул его в плечо. Не сразу вспомнил, где находится. А вспомнив, чертыхнулся, встал, зажег лампу. Не одеваясь, сел к столу, закурил.

На столе лежала стопка почтовой бумаги, стояла чернильница с пером. Рука сама потянулась к перу, затем легла на листок бумаги, и перо двинулось по нему, оставляя извилистую линию. Карл рисовал. Он рисовал профиль милой Женни.

В Париже можно было жить и быть в центре всех важнейших событий. Там создается чудесный сплав будущего, сплав философии, политики и революционного действия. Брюссель же, насколько было известно Карлу, в сравнении с Парижем — тихий провинциальный городок. И стало быть, не лучшее место для человека, который хочет мыслить и действовать. И потому Брюссель — лишь временное пристанище. И выбрал он его потому, что отсюда близко и до Германии, и до Франции. Да и Англия рядом. От бельгийского берега до Дувра через Па-де-Кале рукой подать. Там, во Франции, Англии и в Германии, произойдут важ-

нейшие революционные события века. Разумеется, они будут важнейшими и в жизни Карла.

Но какой стороной они обернутся к его милой Женни? Какими тревогами? Какими лишениями?

Конечно, это будут и его тревоги, и его лишения. Но и тихая жизнь не для него. Впрочем, выбор сделан давно. Он и Энгельс подошли вплотную к важному открытию. Впереди непочатый край работы, теоретической и практической, философской и журналистской, научной и пропагандистской.

В день отъезда из Парижа Карл получил от Энгельса письмо. Энгельс писал ему и раньше. И в тех, предыдущих, письмах он жаловался на свою судьбу, полагая, что проведет в Германии полгода, а может быть, и год. Досадовал на себя за то, что не знает, как начать с отцом разговор об отъезде, писал о своем горячем желании как можно быстрее покинуть Бармен.

Последнее письмо Фреда консьержка вручила Марксу, когда он уже выходил из дому. Прочел его на ходу, а потом перечитал в дилижансе. Фред по-прежнему бранил судьбу и себя. «Я веду здесь жизнь,— писал он,— какую только может пожелать самый отъявленный филистер, тихую и спокойную, благочестивую и почтенную, сижу в своей комнате и работаю, почти нигде не бываю, стал солиден, как истый немец. Если так будет продолжаться, то я боюсь, как бы господь бог не простил мне мои писания и не пустил меня на небо. Уверяю тебя, я тут, в Бармене, начинаю пользоваться хорошей репутацией».

Далее Фред сообщал, что по настоянию стариков-родителей четырнадцать дней проработал в конторе, но бросил, потому что торговля — гнусность и мерзость. Что, сидя в конторе отца, он придумал способ, как в ближайшее время покинуть Бармен: он напишет что-нибудь предосудительное с точки зрения полиции, и это будет предлог для того, чтобы перебраться за границу.

Карл будто слышал слова, которые выкрикивал, слегка заикаясь от волнения, Фред: «Довольно! На пасху уеду! Я не могу больше этого вынести!»

Карл попробовал набросать на листке портрет Фреда. Не получилось.

Он закрыл глаза и какое-то время сидел так, с закрытыми глазами, и улыбался: он видел Фреда, веселого, голубоглазого. Фред что-то говорил, размахивал руками, то и дело поглядывал на него, на Карла. По-

том взял свою трубку, раскурил ее, и его лицо исчезло в табачном дыму...

Ветер не унимался. Ухал, проносясь вдоль окон. Иногда стучал по стеклам снежной крупкой, взвизгивал, рассекаемый ветками деревьев.

Карл погасил лампу и снова лег в постель. И это было очень приятно — лежать в теплой и мягкой постели и слушать, как за окнами буйствует холодный северный ветер.

После завтрака Генрих Бюргерс спросил Карла:

— Итак, к Майнцу?

— Разумеется, к Майнцу,— ответил Карл.— Но потом — к Фрейлиграту. Непременно к Фрейлиграту. Мне следует исправить то, в чем провинилась перед ним некогда «Рейнская газета»

— В чем же она провинилась перед ним?

— Она назвала его «врагом свободы и удостоенным пенсии стихотворцем». Лихо?

— Лихо,— согласился Бюргерс.— Но ведь и было за что.

— Да, было. Прусский король так полюбил стихи Фрейлиграта, что назначил ему ежегодную пенсию в триста талеров. Надо думать, за беззубость, за экзотические картинки, которые рисовал в своих стихах Фрейлиграт. Гервег показывал мне письмо Фрейлиграта той поры. Фрейлиграт обвинял Гервега в том, что тот превратил поэзию в служанку политики. Каково? А через год сам выпустил книгу «Символ веры», книгу, насквозь политическую, отказался от королевской пенсии и уехал из Германии. Этим он загладил все свои прежние грехи. Я должен ему об этом сказать, Генрих.

— Вы питаете слабость к поэтам,— сказал Бюргерс.— Видимо, это объясняется тем, что вы сами когда-то писали стихи. Или я ошибаюсь?

— Отчасти. Я действительно когда-то упражнялся в стихосложении. Но моя слабость, как ты сказал, Генрих, объясняется другим. Новому поколению нужно преподнести новый мир в мыслях и стихах. Это сказал Фейербах. И мне его слова очень нравятся, Генрих. Новый мир в мыслях и стихах.

Фердинанд Фрейлиграт также снимал номер в гостинице «Буа-Соваж». К своей радости, Карл застал у Фрейлиграта Гейнцена, с которым был знаком со студенческих лет. Гейнцен представил Карла Фрейлиграту и тем самым избавил его от лишних объяснений.

Фрейлиграт приятно басил, был приветлив. Приглашая Маркса и

Бюргерса войти в номер, сказал: «Прошу вас, юноши!» — и повел широко рукой, напомнив этим жестом Бакунина.

Он был одет в восточный халат, расшитый причудливым орнаментом, на голове его красовалась турецкая феска, да и усы у него были на восточный манер, как на картинках, изображающих турецкого султана.

— Тесновато, тесновато,— басил Фрейлиграт, усаживая гостей.— Как видите, очень много места занимаю я сам... Итак, вы бывший редактор «Рейнской газеты»?

— Да,— подтвердил Карл.

— Вот,— поднял назидательно палец Фрейлиграт.— Бывший редактор бывшей газеты. А я был, есть и буду поэт.

— Два поэта,— сказал Карл.

— Объясните,— потребовал Фрейлиграт.

— Один поэт, влюбленный в восточную экзотику, другой — поднявший голос в защиту униженных и обездоленных. Один вполне пригодный для того, чтобы стать придворным поэтом, другой — чтобы стать трибуном революции.

— Все верно,— помолчав, сказал со вздохом Фрейлиграт.— Вы пришли пожать мне руку?

— Да,— ответил Маркс.

— Тогда жмите! — Фрейлиграт протянул Карлу руку.— Крепче жмите! Я сам восхищен своим поступком. Как я послал ко всем чертям прусского короля, а?!

— Отлично послали,— сказал Карл.

Фрейлиграт раскатисто захохотал, встал и обнял Карла, который поднялся ему навстречу.

Адвокат Карл Майнц уже был в своей конторе и принял Маркса и Бюргерса сразу же. Быстро прочел рекомендательное письмо, которое дал Карлу в Париже Бернайс, удовлетворенно кивнул головой и спросил:

— Сразу же приступим к делу?

— Если можно,— ответил Карл.

— Вы твердо намерены поселиться вместе с семьей в Бельгии?

— Да. Вынужден.

— Именно в Брюсселе?

— Брюссель — прекрасный город, сердце Брабанта, столица Бельгий-

ского королевства... Так, кажется, начинаются рассказы всех путешественников, побывавших в Брюсселе.

— И это все, что вы знаете о Брюсселе, доктор Маркс? — Глаза адвоката сузились в хитром прищуре.— У некоторых немцев есть один большой порок: полагая, что Германия — пуп земли, а сами они — носители высшего разума, немцы ничего не хотят знать о других землях и народах. Это национальное немецкое чванство меня раздражает. А вас, доктор Маркс?

— Если я отвечу, что оно раздражает и меня, вы ведь мне не поверите,— улыбнулся Карл.— А потому продолжаю рассказ о Брюсселе. Этот прекрасный город возник в начале нашей эры. Где-то здесь, на острове Сен-Жери, находился лагерь германских племен...

— А, все-таки германских! — захохотал Майнц.— Все-таки германских!.. Кто поднял в небо великолепную башню брюссельской ратуши?

— Ян ван Рейсбрук,— не задумываясь ответил Карл.— В пятнадцатом веке.

— Отлично! Кто казнил графа Эгмонта? Надеюсь, вы знаете, кто такой граф Эгмонт?

— Граф Эгмонт Ламораль казнен Филиппом Вторым в тысяча пятьсот шестьдесят восьмом году за бунт против Испании. Драму «Эгмонт» написал великий немецкий поэт Гёте, а музыку к ней — великий немецкий композитор Бетховен.

— Вы отличный немец,— сказал Майнц, вытирая слезы, выступившие на его глазах от смеха.— Эгмонт был казнен здесь, в Брюсселе, на Большой площади, которую вы недавно пересекли, направляясь ко мне... Впрочем, довольно об этом. Вы меня развлекли, доктор Маркс. Моего дурного настроения как не бывало. А настроение у меня до вашего прихода было отвратительное.

— Можно узнать — почему? — осторожно спросил Карл.

— Нет, нет,— улыбнулся адвокат.— Ни со мной, ни с моей семьей ничего плохого не случилось. Причиной моего дурного настроения была вот эта книга.— Он показал книгу.— Ее написал Жак Пеше, архивариус полицейской префектуры Парижа. Она о самоубийцах. Самые ужасные и самые нелепые истории... А вы меня развлекли. Я очень рад знакомству с вами, доктор Маркс. Итак, приступим к делу?

— Если можно.

Адвокат придвинул к Карлу листок бумаги, чернильницу и подал перо.

— Вы не писали писем к королям? — спросил он. — Говорят, что Сен-Симон написал к королям и всякого рода вельможам сотни писем, убеждая их в необходимости социалистических преобразований. Насколько я понял из письма Бернайса, вы, доктор Маркс, имеете отношение к коммунизму.

— Да,— ответил Карл.— К коммунизму, который не выпрашивают у королей. И, как вы правильно заметили, писем к королям я никогда не писал. И не собираюсь.

— А надо, доктор Маркс. Придется,— сказал Майнц.— Иначе вам не удастся поселиться в Бельгии, о чем я, признаюсь, буду очень жалеть. Пишите.— Он прикоснулся пальцами к руке Карла.— Я вам продиктую, если позволите.

— Пожалуйста,— ответил Карл.

— Итак, текст прошения: «Нижеподписавшийся Карл Маркс, доктор философии, двадцати шести лет от роду, из Трира в Прусском королевстве, имея намерение поселиться с женой и ребенком во владениях Вашего величества, осмеливается покорнейше просить Вас...»

— Это обязательно — «покорнейше просить»?

— Обязательно, доктор Маркс. Унизительно, конечно, но что поделаешь? Думаю, что неприятности такого рода вы испытаете еще не раз. Крепитесь.

— Ладно. Так что я там покорнейше прошу?

— «...осмеливается покорнейше просить Вас разрешить ему проживание в Бельгии». Подпись, и все. Пока все, разумеется. Сегодня же я дам ход вашему прошению, а там увидим, что из всего этого получится. Скажу вам сразу: прусское правительство не оставляет без внимания своих подданных, где бы они ни находились. В том числе и здесь, в Брюсселе. А бельгийское правительство прислушивается к просьбам прусского правительства, когда они касаются немцев, тем более — опасных немцев.

— Вы полагаете, что я опасный немец?

— Все немцы, бежавшие из Германии, опасны, доктор Маркс. Впрочем, не только немцы. Здесь есть итальянцы, бежавшие из Италии. Есть поляки. Есть опасные французы, опасные швейцарцы. И конечно же, опасные бельгийцы.

— Господин Майнц,— сказал Карл,— я был бы очень признателен вам, если бы вы познакомили меня с этими людьми. Это возможно?



— Вполне возможно.

— И еще одна просьба,— сказал Карл, вставая из-за стола.— Дайте мне почитать книгу архивариуса полицейской префектуры Парижа Пеше, которая испортила вам настроение.

Майнц пожал плечами, посмотрел на книгу, потом на Карла, махнул рукой и сказал:

— Берите. Я буду рад от нее избавиться. Берите совсем. Но не читайте ее на ночь. Обещаете?

— Обещаю,— улыбнулся Карл.

Выйдя из конторы Майнца, Карл и Бюргерс снова оказались на Большой площади, являвшейся гордостью брюссельцев. Это здесь, на Большой площади, по приказу Филиппа Второго был воздвигнут эшафот, где были казнены граф Эгмонт и граф Горн. Далекая история, шестнадцатый век. В конце семнадцатого века французская армия под командованием маршала Вильруа обрушила на Брюссель три тысячи ядер. Все, что находилось на месте этой площади, превратилось в развалины. Но уже через шесть лет брюссельцы построили здесь новые дома, еще более прекрасные. На Большой площади пятнадцать лет назад Бельгия была объявлена независимым государством.

— Куда теперь? — спросил Бюргерс.

— Теперь неплохо было бы пообедать,— ответил Карл.— И значит, надо вернуться в «Буа-Соваж».

После обеда Карл написал несколько писем: Энгельсу в Бармен, издателю Леске в Дармштадт, Георгу Юнгу в Кёльн.

Не забыл и о Гейне. Письмо Гейне Карл дописывал уже при Бюргерсе, который зашел к нему.

— Ты перестал бриться, Генрих? — спросил Карл.— Решил отпустить бороду?

— Да,— слегка смутившись, ответил Бюргерс.

— Глядя на меня?

— Надоело бриться,— ответил Бюргерс.— К тому же при нашей неустроенной жизни не всегда удается добыть теплой воды...

Сказав «при нашей», Бюргерс смутился еще больше: никто не гнал его в Брюссель из Парижа, никто не принуждал его к «неустроенной жизни». Он сам решил сопровождать Карла в Брюссель, хотя Карл и отговаривал его. Отговаривал до той самой минуты, пока они не сели в дилижанс.

— У тебя будет прекрасная борода,— сказал Карл, чтобы рассеять смущение Генриха.— Черная и волнистая. Совсем греческая. Как у Эпикура.

— Вы думаете?

— Я знаю! — весело засмеялся Маркс.— Я это вижу! Не то что моя колючая метла.

— Зачем же вы ее отпустили, если так неодобрительно отзываетесь о ней?

— А чтоб сметать пыль с книг,— продолжая смеяться, ответил Карл.— Мне почему-то всегда достаются очень запыленные книги.

Вечерний Брюссель навевал тоску. Сумрачный, почти безлюдный, с редкими фонарями, пронизанный холодным ветром. Тротуары были скользкими от наледи. Ветер не успевал выдувать из улиц угольный дым, пахнущий серой. Обросшие ледяной коркой ветки деревьев стучали в вышине, еще более усиливая ощущение пустынности и неуюта. Поэтому вечерняя прогулка была короткой. Карл и Бюргерс возвратились в гостиницу. Карл попросил ужин в номер. Потом курил, пил кофе и читал книгу Пеше, которую выпросил утром у адвоката Майнца. Добросовестный архивариус рассказывал истории самоубийств без лишних эмоций, со всеми подробностями, какие только были ему известны.

Десятки историй, десятки причин, принудивших людей покончить с собой. Но все они свидетельствовали об одном — о страшной болезни общества, в котором самоубийства не только возможны, но и неизбежны.

Карл мысленно похвалил Жака Пеше за суровый укор, который он смело бросил обществу. Отложив книгу Пеше, Карл думал о том, что капиталистический мир — это бесчеловечный мир. Взрыв неминуем: заряд огромной очистительной силы накапливается в пролетариате. Революция не только сметет старый мир, но и выкует новых людей для новой жизни.

Что там говорил Сократ? «Познай самого себя»? Человек познает самого себя, свою сущность. Он — узел, средоточие общественных отношений. Чтобы стать прекрасным самому, прекрасными должны стать общественные отношения, само общество. Из него раз и навсегда будут изгнаны эксплуатация, насилие, человек перестанет быть средством в руках другого человека.

А что говорил Протагор, сын Артемона из Абдеры? «Человек есть мера всех вещей». Да, думалось Марксу, человек непременно сделает себя мерилом всех вещей и отношений, свои представления о добре, о прекрасном и великом. И выбросит на свалку истории все, что противоречит его природе. А также позаботится о том, чтобы впредь ничто враждебное в этом мире не возникало.

Так будет.

Утром Карл получил через посыльного записку от адвоката. Майнц приглашал Карла к себе, обещал познакомить его с Филиппом Жиго, архивариусом министерства внутренних дел. «Мне думается, что этот человек будет Вам полезен»,— написал Майнц.

Карл пришел к Майнцу в одиннадцать часов, как тот и просил в записке. Секретарь Майнца, молодой и очень суровый немец, провел Карла в кабинет. Там его уже ждали.

— Знакомьтесь, доктор Маркс,— сказал адвокат,— это и есть мой бельгийский друг месье Филипп Жиго.

Жиго, широко и приветливо улыбаясь, шагнул навстречу Карлу и протянул ему руку. Он был молод, красив, хорошо одет. Сразу же понравился Карлу. Да и Карл, кажется, понравился ему. Во всяком случае, он крепко пожал руку, сказал вполне искренне:

— Господин Майнц рассказал мне о вас много интересного. Но самое интересное заключается в том, что вы коммунист. Уверяю вас, что я разделяю убеждения коммунистов. Более того, надеюсь с вашей помощью расширить свои знания о коммунистических доктринах. Да говорите ли вы по-французски? — вдруг спохватился Жиго.— Я тут говорю, а вы, возможно, не понимаете меня...

— Прекрасно понимаю,— ответил на французском Карл.— Мне даже кажется, что с некоторых пор я говорю по-французски лучше, чем на родном языке. Ведь я более года прожил в Париже.

— Великолепно! — обрадовался Жиго.— Теперь я более чем уверен, что мы найдем общий язык!

— Теперь о деле,— остановил его Майнц.— Я понимаю, Филипп, что тебе очень хочется поговорить с доктором Марксом о Фурье, Сен-Симоне, Прудоне, Вейтлинге... Но прежде мы должны помочь доктору Марксу получить вид на жительство в Брюсселе. У тебя есть друзья в ведомстве общественной безопасности, а у меня — в министерстве юстиции. Мы

должны, Филипп, постараться избавить доктора Маркса от ненужных хлопот.

— Я буду вам очень признателен,— сказал Карл.— Смогу ли я со своей стороны сделать для вас что-нибудь?..

— Сможете.— Майнц положил Карлу на плечо руку.— Уверен, что сможете. Ваши знания нужны нам как воздух.

...Карл ждал Женни. Это мешало ему взяться за что-либо всерьез.

Немного читал. Но не в библиотеке. Читал Пеше и кое-что из тех книг, которые привез с собой из Парижа. Немного писал. Главным образом письма.

Навещал Майнца. По его совету побывал в министерстве юстиции, представился двум чиновникам.

Познакомился с книготорговцем Фоглером, но ничего не предложил ему для издания, сказал, что озабочен сейчас тем, как выполнить договор с дармштадтским издателем Леске, которому обещана «Политическая экономия».

Врач Фридрих Брейер, которого Карлу представил Майнц, выразил готовность помогать Карлу и его семье в случае каких-либо болезней. И еще предложил («Если доктор Маркс того пожелает») переехать из отеля в его дом, в котором он обещал предоставить Карлу «две вполне приличные комнаты с некоторой мебелью». Карл поблагодарил его и сказал, что вопрос о переезде из отеля может решить только его жена.

— Да, да,— весело сказал Брейер, толстый, подвижный и суетливый человечек.— Моя жена тоже диктатор. Все вопросы в доме решает только она. Один здешний человек, бельгиец, мне сказал: «У немцев женщины — мужчины, а мужчины — всего лишь женщины».— При этих словах Брейер так расхохотался, что Майнцу пришлось дать ему стакан воды, чтоб тот успокоился.

Карл ждал Женни с дочуркой, которой в день отъезда Карла из Парижа исполнилось десять месяцев. Как они перенесут длинную зимнюю дорогу?

А погода вдруг наладилась. Потеплело. Так что стало приятно ходить по улицам. Утих северный ветер, ослабел морозец, из-за туч то и дело стало выглядывать солнце.

Несколько раз Карл выходил из отеля лишь для того, чтобы побродить по городу. Теперь он казался ему более приветливым, чем в первые дни. Дважды побывал в парке, разделяющем парламент и королевский

дворец. И хотя деревья в парке стояли обнаженные, он все же был великолепен. Мраморные статуи, которым, кажется, не было числа, водоемы, мосты и арки, многолюдные аллеи и совсем тихие тропки, уводящие то к кущам, то к светлым широким полянам, порхание и веселый пересвист синиц — все это радовало и глаз, и слух, и самое душу.

Карл побывал на всех площадях верхнего города: Королевской, Монетной, Пти-Саблон. И на площади Мучеников, где похоронены борцы за свободу Бельгии, павшие в сентябре 1830 года. Еще и еще раз любовался шпилем ратуши на Гран-Плас.

— Высота этой башни сто восемнадцать метров,— сказала Карлу по-фламандски старуха, когда он стоял в один из дней перед ратушей, задрав голову.— А на самой ее верхушке статуя архангела Михаила. Вас не Михаил зовут? — спросила старуха.

— Нет,— ответил Карл.

— Жаль,— проговорила старуха, отходя.— Архангел Михаил любит всех Михаилов, живущих в Брюсселе. У меня два сына, и я обоим дала имя Михаил. Им в жизни везет. А там,— старуха махнула рукой в сторону городского управления, старинного здания, стоящего на противоположной стороне площади,— там мучили графов Эгмонта и Горна, восставших против испанского короля.

Хорошая погода продержалась недолго. Снова наползали тучи, задул северо-восточный ветер с холодного Скандинавского полуострова. Безлюдными стали улицы. По утрам мороз разрисовывал стекла ледяными узорами.

В один из таких холодных и пасмурных дней, когда Карл сидел с книгой у горячей кафельной печи, в дверь его номера громко постучали.

— Войдите! — крикнул Карл, вставая.

Дверь отворилась, и он увидел Женни с Женнихен на руках. За спиной у нее стоял носильщик с чемоданом и узлами.

— Проходите, мадам,— сказал Женни носильщик.— Или мы не туда постучались?

Женни стояла молча и неподвижно. Карл бросился к ней, взял из ее рук ребенка.

— Карл,— проговорила Женни, едва шевеля сведенными холодом губами.— Помоги мне. У меня нет больше сил.

— Сейчас, сейчас, Женни!

Карл положил на кровать дочь и снова бросился к жене. Обнял ее,

потом взял под руку, повел в комнату, к горячей кафельной стене. Усадил в кресло, в котором за минуту до этого сидел сам, остановился перед нею, не зная, что делать дальше. Носильщик ушел.

— Распеленай дочурку,— подсказала ему Женни.— Здесь, кажется, тепло.

Пока Карл освобождал Женнихен от одеял и платков, Женни, откинувшись на спинку кресла, казалось, уснула. Карл, взяв дочь на руки, подошел к жене, склонился над ней, спросил:

— Ты можешь раздеться сама, Женни?

Женни открыла глаза, но ничего не ответила.

— Ты слышишь меня? — с тревогой спросил Карл.

— Слышу, милый,— тихо ответила Женни.— Я совсем больна. Я думала, что не доеду. Так долго, так долго... И далеко. Мне уже казалось, что никакого Брюсселя вообще не существует... Положи Женнихен на кровать и помоги мне,— попросила Женни.— Нужна горячая ванна и горячее молоко. Это возможно?

— Да, Женни, да. И еще я приглашу врача. У меня уже есть знакомый врач. Я пошлю за ним.

Женни стало лучше лишь на четвертый день. Пока Карл спал, сидя в кресле, она сама спустилась на кухню за едой для малыша. Потом разбудила Карла, сказала:

— Ты можешь наконец лечь. У меня хватит сил, чтобы позаботиться о себе и о Женнихен. И о тебе, конечно, Карл. У тебя совсем измученный вид, мой дорогой.

— Пустое,— сказал Карл.— Сейчас я выпью чашки две кофе, выкурю сигару, и все будет в порядке.

Он улыбался. Обнял Женни, прижал к груди. Помолчали. Потом Женни спросила:

— Нам разрешили поселиться в Бельгии, Карл?

— Этого я еще не знаю,— ответил он.— Мне надо побывать у Майнца, здешнего адвоката. Он взялся помочь мне. Если ты позволишь, то я сейчас же пойду к нему. Думаю, что уже должны быть какие-нибудь результаты.

— Конечно, Карл,— согласилась Женни.— Ты можешь заняться своими делами. Я чувствую себя уже вполне хорошо.

— Я рад, Женни. Я рад, что ты здесь и что ты здорова.

Следовало бы, наверное, рассказать Женни о том, как он тосковал по

ней, с каким нетерпением ждал ее приезда, какие тревожные мысли посещали его во все дни ожидания, как силой воображения вызывал ее образ, как воскресало у него где-то под сердцем желание, эхо далеких студенческих лет, написать ей стихи, полные самых нежных чувств и самых красивых слов. Но ни о чем таком он рассказывать Женни не стал.

— Я рад, Женни,— повторил он.— Я очень рад.

— Спасибо, Карл. Спасибо, мой лохматик.— Женни обеими руками пригладила Карлу волосы.— Я тоже тосковала и очень торопилась сюда, тревожилась за тебя.

Карл засмеялся, поцеловал Женни. Он был счастлив. Она говорила: «Я тоже... Я тоже...» — значит, чувствовала все, что происходило в его сердце.

Майнц встретил Карла приветливо, но заговорил не о деле, а о погоде:

— Я вспоминаю зиму в Германии, на Рейне.— При этих словах он вздохнул и мечтательно закатил глаза.— Ах, какая там зима, доктор Маркс, какая красота! Тихо, светло, лежит мягкий белый снег, дети катаются на санках с горок, у них румяные лица, они весело смеются, галдят... И все, заметьте, говорят только по-немецки...

— Тоскуете по родине, господин адвокат? — сочувственно спросил Карл.

— Не скрою: очень тоскую. Иногда эта тоска становится невыносимой. А с вами такого не бывает, доктор Маркс?

Карл не ответил.

— У меня здесь большая семья, дом, контора, большой круг лиц, которые пользуются моей помощью,— продолжал Майнц.— Словом, я крепко прирос к этой земле, доктор Маркс. А что удерживает здесь вас? Вы поссорились с прусским правительством? Помиритесь. Многие прекрасные люди, исповедующие ту же веру, что и вы, спокойно живут в Германии. Я знаю таких людей.

— Простите, каких, господин адвокат? — спросил Карл. Разговор его раздражал.

— Людей, которых в бельгийском министерстве юстиции принято называть опасными демократами и коммунистами,— ответил Майнц.

— И кого же в уважаемом министерстве так называют, господин адвокат?

— Например, вас, доктор Маркс.

— Демократом и коммунистом?! — усмехнулся Карл.

— Да, именно так. Более того — тут я выдаю вам государственную тайну,— понизил голос Майнц,— министр юстиции дал указание ведомству общественной безопасности установить за вами слежку.

— Господин адвокат...— Карл сел.— А откуда вам известно о распоряжении министра юстиции?

— За эти сведения вы должны будете поблагодарить месье Жиго,— ответил Майнц.— Обычно я не сообщаю своим клиентам имена людей, которые доставляют мне секретные сведения. Кстати, вот сведения, которые сообщил мне также Филипп: глава ведомства общественной безопасности вчера подписал письмо, адресованное бургомистру Брюсселя. Он требует, чтобы бургомистр выяснил, не намерены ли вы издавать здесь свою газету.

— Нет.

— И далее,— продолжал Майнц,— полицей-директор из Аахена, который расположен, как вам известно, на прусской территории, недавно запросил наше ведомство, не находятся ли уже в Брюсселе, кроме вас, доктор Маркс, господа Гервег, Руге и Бёрнштейн. Вы знакомы с этими господами?

— Разумеется,— ответил Карл.

— Полицей-директор интересовался также тем, не собираетесь ли вы и перечисленные господа пересечь границу Пруссии.

— Все это крайне интересно,— сказал Карл.— Но как все это отразится на моем деле? Получу ли я вид на жительство? Несколько дней назад приехала моя жена с дочерью. Оставаться долго в отеле не позволяет наш бюджет. И вообще, отсутствие определенности в моем положении — источник всяких неприятных мыслей и чувств. Надеюсь, вы это понимаете.

— Я ваш друг, доктор Маркс. И если вы действительно намереваетесь остаться в Бельгии, дайте слово или обязательство, какое потребует полиция. При этом запомните: никто вам не позволит здесь заниматься антипрусской пропагандой. И антибельгийской. Занимайтесь философией, политической экономией, любой другой наукой. Так и скажите: «Хочу заниматься наукой». И все. Но если у вас есть другие желания — а они у вас есть, я это знаю,— вы о них умолчите. Это мой совет. И моя просьба.

...Дома ждало приятное известие: пришло письмо от Энгельса.

Энгельс сообщал, что получил наконец несколько экземпляров «Святого семейства», книги, которую они вместе писали в Париже. Удивлялся, почему Карл поставил его фамилию на титульном листе первой: «Ведь я почти ничего не написал. И все узнают твой стиль».

— Это действительно так? — спросила Женни.

— Он написал полтора листа. Остальные двадцать — я. Но мне очень хотелось, чтобы фамилия Энгельса стояла первой. Жаль, что ты до сих пор не знакома с Энгельсом, что тебя не было в Париже, когда мы писали «Святое семейство».

— Мне кажется, что вы в Париже не только писали, но и приятно проводили время, Карл. Разве не об этом его слова: «Ни разу я еще не был в таком хорошем настроении и не чувствовал себя в такой степени человеком, как в течение тех десяти дней, что провел у тебя»?

— Где ты прочла эти слова? Ведь они, кажется, из другого письма, которое мы получили еще в Париже?

— Хорошая у меня память? — засмеялась Женни.

— Великолепная! Но слова Энгельса о другом: они о нашем философском вдохновении, о радостях от наших научных удач.

— Ладно, читай дальше,— попросила Женни.

— «Я веду тут поистине собачью жизнь,— читал Карл вслух.— История с собраниями и «беспутство» некоторых здешних коммунистов, с которыми я, разумеется, встречаюсь, снова вызвали у моего старика взрыв религиозного фанатизма». Речь идет о собраниях,— пояснил Карл Женни,— которые Энгельс, Мозес, Гесс и еще тамошний художник Кетген, которого я не знаю, устраивают в Эльберфельде. Кстати, замечу, собрания эти Энгельсу очень нравятся. На них обсуждаются коммунистические идеи.

«Мое заявление,— писал далее Энгельс,— что я окончательно отказываюсь заниматься торгашеством, еще более рассердило моего отца, а мое открытое выступление в качестве коммуниста пробудило у него к тому же настоящий буржуазный фанатизм. Ты можешь теперь представить себе мое положение. Так как недели через две я уезжаю, то не хочу начинать скандала и все покорно сношу. Они к этому не привыкли и потому становятся храбрее.

Когда я получаю письмо, то его обнюхивают со всех сторон, прежде чем передать мне. А так как они знают, что все эти письма от коммуни-

стов, то строят при этом такую горестную благочестивую мину, что хоть с ума сходи.

Выхожу я — все та же мина. Сижу я у себя в комнате и работаю — конечно, над коммунизмом, это известно,— все та же мина. Я не могу ни есть, ни пить, ни спать, не могу звука сделать без того, чтобы перед моим носом не торчала все та же несносная физиономия святоши.

Что бы я ни делал — ухожу ли я или остаюсь дома, молчу или разговариваю, читаю или пишу, смеюсь или нет,— мой старик строит все ту же отвратительную гримасу...

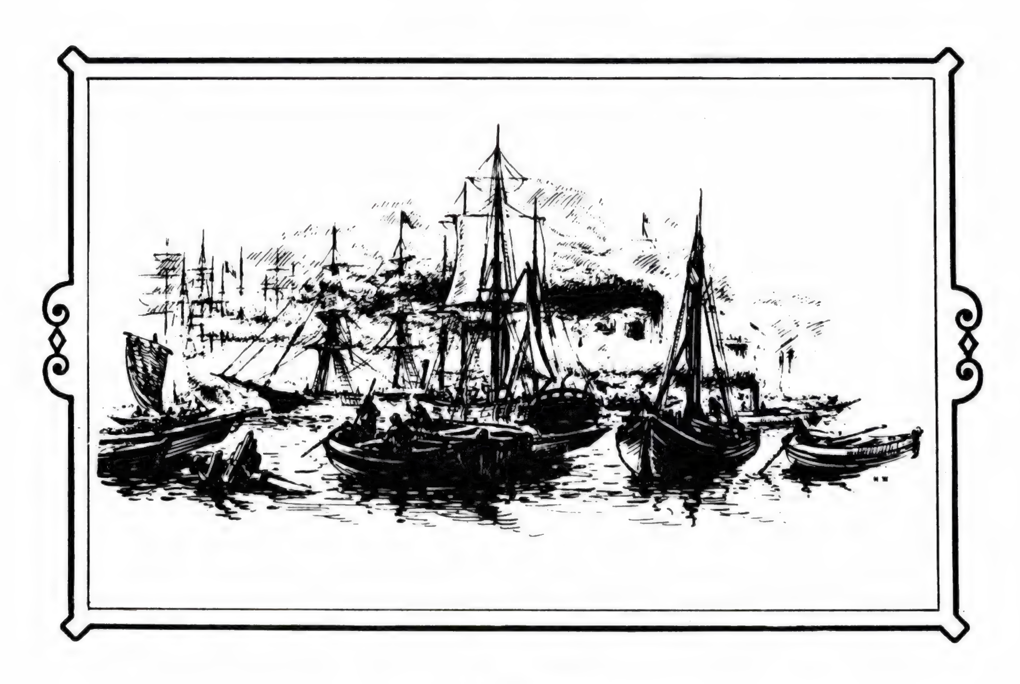
А тут еще у нас в доме сезон благочестия. Неделю назад конформировались мой брат и сестра. Сегодня вся родня собирается причащаться — тело господне оказало свое действие, и сегодня утром меня окружают еще более горестные лица, чем всегда...

Просто с ума можно сойти. Ты не представляешь, сколько коварства в этой христианской охоте на мою «душу». А если мой старик еще обнаружит, что существует «Святое семейство», он выгонит меня из дому. Кроме того, постоянно раздражает сознание того, что с этими людьми ничего не поделаешь. Ведь им просто-напросто хочется терзать и мучить себя всякими фантазиями об аде, и в то же время им нельзя втолковать даже самые примитивные понятия о справедливости.

Если бы не мать, которую я очень люблю,— она прекрасный человек и только по отношению к отцу совершенно несамостоятельна,— то я бы никогда не сделал моему фанатическому и деспотическому старику ни малейшей уступки. А теперь моя мать постоянно расстраивается и всякий раз, когда она сердится на меня, потом целыми неделями страдает головными болями. Я не могу больше этого переносить, я должен уехать и с трудом представляю себе, как я выдержу пару недель, остающихся до отъезда. Но так или иначе, придется выдержать».

— Одни рвутся в Германию,— сказал Маркс, окончив читать письмо,— для них Германия слаще меда, она видится им во сне. Другие рвутся из Германии, как грешники из кипящего котла. В Германии можно есть и спать, но нельзя мыслить и действовать. Все соседние с Германией государства полны немцев, для которых их родина стала мачехой. Опасных немцев. Думаю, что скоро опасными станут все немцы. И тогда мы вернемся в Германию.— Карл обнял Женни.

— Ты — моя Германия,— сказала Женни.— Мне хорошо там, где ты.



Глава вторая

«Величайшее счастье в жизни — это обретение дружбы» — так учил Эпикур. И еще он говорил, что дружба — надежнее всего. Сила, богатство, красота, власть не могут нас защитить от превратностей судьбы так, как защищает дружба. Друзей надо беречь более чем собственную жизнь. И кто этому следует, тот может умереть за друга без страданий.

Прекрасная мысль! Впрочем, как же должна была потрепать Эпикура жизнь, чтобы из всех благ, даруемых человеку судьбой, наивысшим благом он называл дружбу. Бедность, скитания, безвестность, сильные враги — да, все это у него было, через все это он прошел. И потому сказал: дружба — надежнее всего.

Карл не может пожаловаться на свою юность. Она была счастливой. Истины, высокие истины — вот что увлекало в то время его сердце и ум. Гегель был совершенно прав: при слове «истина» у него выше поднималась грудь и сильнее билось сердце. Очарование истиной — самое божественное из очарований.

А теперь все чаще думается об истинах простых, земных, менее вы-

соких, но еще более великих. О том, например, как построить свою жизнь, сообразуясь с разумом и долгом перед обездоленным народом, как лучше исполнить этот долг. И где та опора, которую не выбьют изпод тебя никакие превратности судьбы?

И вот Карл вспомнил об Эпикуре, который сказал, что такой опорой может быть только дружба. Прекрасно то, что об этом сказано так давно, две с лишним тысячи лет назад. Об этом мудрые люди говорили и позже, говорят и теперь. И значит, это свойственно людям — дружить. А самоотверженность в дружбе — древнейшее и лучшее качество человека.

Двух людей он может назвать своими самыми близкими друзьями — Женни и Энгельса. Он потому и размышляет о дружбе, что думает о Женни и Энгельсе. И еще о том, сможет ли он когда-либо отблагодарить их с полнотой, какую они заслуживают. Милая, терпеливая, нежная Женни и благородный Фред...

Деньги были очень нужны. Надо было платить адвокату и искать другое жилье. Жизнь в отеле стремительно увеличивала долг. И вот тогда пришли деньги от Энгельса, а днем позже — его письмо, которое Карл перечитал несколько раз, все более и более наполняясь чувством огромной благодарности к своему «благородному Фреду». Карл носил его письмо с собой, показывал его Майнцу, Филиппу Жиго, Фрейлиграту.

«Как только пришло известие о твоей высылке,— писал Карлу Энгельс,— я счел необходимым тотчас же открыть подписку, чтобы по-коммунистически распределить между всеми твои непредвиденные расходы в связи с высылкой. Дело прошло хорошо, и недели три назад я послал свыше 50 талеров Юнгу. Я написал также дюссельдорфцам, которые собрали столько же, а в Вестфалии поручил агитировать в этом направлении Гессу. Подписка здесь, однако, еще не закончена, так как художник Кетген затянул дело, и поэтому у меня еще нет всех денег, на которые я рассчитываю. Я надеюсь, однако, через несколько дней получить все деньги, и тогда я тебе вышлю вексель в Брюссель.

Так как я не знаю, хватит ли этих денег, чтобы ты мог устроиться в Брюсселе, то, само собой разумеется, я с величайшим удовольствием предоставлю в твое распоряжение мой гонорар за первую английскую работу, который я скоро получу хотя бы частично и без которого я в данный момент могу обойтись, так как займу у своего старика. Эти собаки не должны, по крайней мере, радоваться, что причинили тебе своей подлостью денежные затруднения».

— Пусть теперь скулят эти собаки,— каждому, кто читал письмо Энгельса, говорил Карл.— Недолгой была собачья радость.

«Я приеду в Брюссель,— писал Энгельс.— К тебе».

Получив деньги, Карл тотчас же снял квартиру на Рю-де-Пашеко — две комнаты и кухню с кое-какой мебелью.

— Обойдемся? — спросил Карл, когда Женни осмотрела квартиру.

— Обойдемся,— ответила Женни.— Но при одном условии: надо устроить новоселье. Я теперь точно знаю, что без новоселья в квартире долго не проживешь. Так было, во всяком случае, в Париже... Я приготовлю ужин, роскошный ужин, куплю все, что надо, а ты пригласишь гостей, твоих новых знакомых, Карл,— проговорила она умоляющим голосом.— Так хочется немного повеселиться!

— Очень хорошо,— согласился Карл.— Я тоже не прочь повеселиться.

Новоселье совпало еще с одним событием: Фердинанд Фрейлиграт собрался покинуть Брюссель, чтобы направиться в Швейцарию, в Цюрих, и ему надо было устроить проводы.

— Совместим веселое и грустное,— сказал Фрейлиграту Карл и пригласил его к себе на Рю-де-Пашеко. Приглашены были также Генрих Бюргерс, Карл Майнц, Филипп Жиго и Карл Гейнцен.

Ужин был божественный, как сказал Фрейлиграт. Жизнь в отелях и меблированных номерах обострила в нем чувствительность к семейному уюту, к домашней пище. К тому же он просто проголодался за день, чего он ни от кого не скрывал, и ел, как говорится, за семерых, чем доставил большую радость хозяйке.

— Какого дьявола вы едете в Цюрих? — спросил за ужином Фрейлиграта Бюргерс.— Чем Цюрих лучше Брюсселя?

— Объяснение очень простое,— охотно ответил Фрейлиграт.— Пусть не обижается на меня месье Жиго, но мне осточертела французская речь. Ведь я немец, более того, немецкий поэт. Мне хочется говорить по-немецки!

— И читать в газетах и журналах свои стихи,— подсказал Карл.— Тоже на немецком языке.

— Вы правы! — обрадовался поддержке Фрейлиграт.— Вы правы! В Швейцарии есть немецкие газеты и журналы. А что есть здесь? — Он обвел всех вопросительным взглядом.— Что есть здесь?

В ответ все понимающе закивали головами.

— Мне понравилось ваше объяснение,— сказал Фрейлиграту Гейнцен.— И я решил, в эту самую минуту, сейчас решил, что тоже уеду в Швейцарию.

— Браво! — воскликнул Фрейлиграт.— Кто следующий? Давайте все вместе уедем отсюда ко всем чертям! А? И возьмем с собой месье Жиго. Вы поедете с нами, месье Жиго?

— У меня есть долг перед моим народом,— серьезно ответил Жиго.— И мне думается, что наилучшим образом я смогу выполнить этот долг здесь, в Брюсселе.

Никто не посмел ему возразить на это. А Карл сказал:

— Грустная часть нашего вечера окончена. Давайте веселиться, радовать хозяйку. Совершим возлияние богам нашего очага по древнему и всеми забытому обычаю,— при этом Карл плеснул немного вина на горящие в камине поленья,— и провозгласим здравицу в честь...

— Хозяйки! — крикнул Фрейлиграт так громко, что напугал адвоката Майнца.

Зазвенели бокалы. Серебряные бокалы, которые Карл успел выкупить из ломбарда. Карл поцеловал жену в щеку и сказал:

— Чтобы нам здесь счастливо жилось.

— Спасибо, друзья,— ответила Женни.— Я так рада этому шуму, смеху, веселью — всему. Спасибо.

В другой комнате заплакала, проснувшись, Женнихен. Женни вынесла ее к гостям: никто из них ее раньше не видел.

— Она будет красавицей,— сказал Фрейлиграт.— Красавицей в испанском духе.

— Она уже прелестна,— вставил свое слово Жиго.— Совершенно прелестна во французском духе.

Женнихен, увидев гостей, сразу перестала капризничать, разулыбалась, словно поняла, что они заговорили о ней.

— Доктор Маркс,— сказал адвокат,— я должен высказать вам одно соображение.

— Слушаю вас, господин адвокат.

— Ваше дитя — очаровательно. Отсюда соображение: если у вас получаются такие красивые дети, грешно не иметь их, скажем, дюжину.

— О дюжине ничего не могу сказать,— засмеялся Карл вместе со всеми.— Но одно обещаю: пригласить вас в августе или в сентябре,—

при этом он взглянул на потупившуюся Женни,— на крестины сына! Или дочери? — спросил он у Женни.

— Давайте петь,— предложил Бюргерс.

— Не хочу! — заартачился Фрейлиграт, хотя Бюргерса поддержали Карл и Жиго.— Хочу разговаривать!

— Тогда прочтите стихи,— попросил Карл Фрейлиграта.

— Слушайте! — охотно согласился Фрейлиграт.— Это совсем новые стихи. Я напечатаю их в Цюрихе. Обязательно. Они длинны, и поэтому я пропущу начало, где говорится о том, как на роскошном пароходе катаются король и королева, а у них под ногами, под палубой парохода, в поте и копоти изнывает от тяжкого труда пролетарий — машинист. И вот он, этот машинист, говорит таковы слова:

Как государство пароход. Здесь в роскоши везут тебя!
А там, внизу, в нужде, во тьме, в труде приравненный рабу,
Поддерживаю я огонь и сам кую свою судьбу —
Мою, но и твою, монарх! Бьет лопастями чей удар?
Своей мозолистой рукою железо держит кочегар.
Король, ведь ты совсем не Зевс,— пожалуй, я скорей титан:
Я сдерживаю под тобой всегда клокочущий вулкан.
Ведь все зависит от меня: лишь поворот руки один —
И роскоши твоей конец, и ты падешь с твоих вершин!
И палубу размечет взрыв, и с ней взлетишь на воздух ты,
Освободившись, выйдем мы на свет дневной из темноты.
Мы — сила! Государство вновь скуем,— оно пришло вразлад,
И божьей ненавистью мы — доныне пролетариат!

— Спасибо, Фрейлиграт,— сказал Карл, когда тот кончил читать,— это сильные и честные стихи. Монарх — божьей милостью, а пролетариат — божьей ненавистью... Не появляйтесь с этими стихами в Германии. Но стихи обязательно должны дойти до наших соотечественников.

Приезд Энгельса не был неожиданностью. И все же записка, полученная с посыльным из гостиницы «Буа-Соваж», застала Карла врасплох: он только что собирался отправиться в редакцию одной брюссельской газеты, с тем чтоб навестить ее издателя, с которым тремя днями раньше его познакомил Филипп Жиго.

— Женни,— сказал Карл,— приехал Энгельс! — Сказал только это,

хотя хотелось сказать и о другом, о том, как у него сильно застучало сердце, едва он прочел слова Энгельса: «Я здесь. Сообщи, где и когда мы встретимся. Фред».

Посыльный ждал ответа.

— Я сам пойду в «Буа-Соваж»,— сказал ему Карл.— Вместе с вами, если позволите.

Посыльному было лет шестнадцать, не более. Он был худой, рыжий, весь в веснушках, с озорными, почти зелеными глазами. Его рассмешило, что Карл обратился к нему на «вы», да еще сказал «если позволите».

— Конечно,— ответил он.— Я проведу вас самой короткой дорогой. Вам не придется пользоваться фиакром, вы сэкономите несколько су и сможете угостить меня в отеле сладкой водой.

— Я принимаю ваш план. Итак, не мешкая, в путь! — сказал Карл, надевая пальто.

— Не забудь пригласить Энгельса к нам,— напомнила Женни.— Мне пора с ним познакомиться.

Какое-то время Карл и посыльный шли молча, хотя поглядывали друг на друга с нескрываемым интересом. Первым заговорил Карл. Он спросил:

— Где вы живете, юноша, и как вас зовут?

— Я живу там.— Посыльный махнул рукой в сторону нижнего города.— Возле канала. А зовут меня Франсуа.

— Живете с родителями?

— Да. И еще с шестью сестрами и братьями. Все меньше меня.

— Отец и мать работают?

— Мать ткет дома, у нас ткацкий станок. Отец работает в типографии газеты «Радикал».

— Значит, вы хорошо живете?

— Хорошо? — усмехнулся Франсуа.— Что месье хотел этим сказать?

— У вас достаточно пищи, одежды, у вас есть дом... Так?

— О да! — развеселился Франсуа.— Все это у нас есть. Одежда есть у меня, у матери и у отца. У всех других моих братьев и сестер — только обноски. Едим мы один раз в день, вечером. Картофель и ржаной хлеб. Иногда молоко, по праздникам. Еще я приношу из отеля чай, который уже заваривали. Я сушу его, и мы снова его завариваем. Получается еще хороший чай. Не верите?

Карл не ответил, спросил:

— Ну а дом у вас какой?

— У нас две комнаты,— охотно рассказывал Франсуа.— В одной комнате стоит ткацкий станок, в другой — родительская кровать. Я с братьями и сестрами сплю в той комнате, где станок. Мы спим на полу. Хозяин дома дерет с нас за жилье половину нашего заработка.

— Невеселый получился рассказ, Франсуа,— сказал Карл.— А сам ты веселый. Почему?

— Я не хочу унывать,— ответил Франсуа.— Мне нельзя унывать. Запрещает владелец отеля. Одна дама, которая останавливалась в нашем отеле, однажды сказала моему хозяину: «Когда смотришь на Франсуа, хочется плакать, а мне вредит плохое настроение. Не присылайте больше ко мне Франсуа». Так она потребовала. И тогда хозяин мне сказал: «Если ты будешь раздражать людей своей кислой физиономией, я тебя прогоню». Я научился быть веселым. Я сказал тебе: «А что печального в твоей жизни, Франсуа? Ты здоров, ты одет, и ты не умираешь с голоду. Значит, все хорошо, Франсуа!» Быть веселым — выгодно. Если ты сам веселый, значит, ты можешь развеселить другого человека. Веселые больше зарабатывают. К тому же скоро все переменится к лучшему. Так говорит мой отец.

— Что именно переменится?

— Все. Все люди будут сыты, хорошо одеты, у всех будут удобные дома. Богатые поделятся с бедными своим богатством, как учил Христос. Потому что бедные скажут богатым: «Или поделитесь с нами, или мы перестанем совсем работать».

— И когда же бедные так скажут, Франсуа?

— Когда договорятся между собой. Надо только договориться. Чтоб все, как один, дружно и разом навалились на богатых. И тогда те обязательно сдадутся. А куда ж им деваться? Без бедных они ведь и шагу ступить не могут. Сдадутся! Будут жить, конечно, победнее, но это ничего, не страшно. Зато совсем не будет бедных. И все станут любить друг друга и заботиться друг о друге. Тогда все люди станут хорошие, потому что никто никому не будет завидовать. А сейчас...— Франуса только рукой махнул.

Они миновали парк и вышли к королевскому дворцу.

— Здесь про богатых и бедных говорить не будем,— понизив голос почти до шепота, проговорил, прикрывая рот ладонью, Франсуа.— Гово-

рят, что у дворца есть уши. Что в стены вставлены такие трубки, как носят глухие. И через эти трубки все слышно. Кто возле дворца скажет плохое слово против богатых, того обязательно потом поймают и посадят в тюрьму.

— А вот и нет! — засмеялся Карл.— Это все выдумки! Сейчас я громко скажу что-нибудь плохое о богатых, и никто меня не поймает. Спорим?

— А на что? Но я вам не советую...

— Если ты проспоришь, будешь один раз в неделю, скажем в пятницу утром, приходить ко мне, брать у меня пакеты и разносить их, куда я скажу. За это ты будешь получать всякий раз деньги.

— Сколько?

— Один франк.

— Хорошо,— согласился Франсуа.— А если вы проспорите?

— Тогда будешь получать два франка.

— Как? — засмеялся Франсуа.— Ведь вы будете в тюрьме!

— Прежде чем сесть в тюрьму, я уплачу тебе за год вперед.

— Согласен.

Они ударили по рукам.

— А теперь говорите плохие слова против богатых,— потребовал Франсуа.— И погромче!

— Богатство — это кража! — громко произнес Карл, повернувшись лицом к королевскому дворцу.

— Ого! — восхитился Франсуа.— Вы действительно так думаете?

— Я в этом убежден.

— Значит, я правильно сообразил. Как только я вошел в ваш дом, я сразу понял, что вы бедный человек.

— Как же ты это понял? Ведь ты дальше прихожей не был.

— Я увидел, что у вас стоптанная обувь.

— Да,— вздохнул Карл, взглянув на свои старые ботинки.— Ты прав, Франсуа.

— А человек, который послал меня к вам, очень важный господин. На нем очень дорогой костюм, и пальто у него с меховым воротником... Очень важный господин. Будьте осторожны с ним: все богатые — хитрецы. Обведет он вас вокруг пальца.

— А вот тут ты, Франсуа, ошибся,— сказал Карл.— Господин, о котором ты говоришь, написал самую серьезную книгу в защиту рабочих

людей. Он большой друг рабочих. Он хочет, чтобы рабочие люди стали хозяевами на земле. И он знает, как добиться этого.

— Заплатил он мне, правда, щедро,— пошел на попятную Франсуа.— Но одежда у него все-таки дорогая...

— Она у него заработанная, уверяю тебя.

— Значит, у него хорошая работа,— предположил Франсуа.— Мне бы такую.

— Да, у него настоящая работа,— сказал Карл.— Отличная работа. Когда-нибудь я тебе расскажу, что это за работа. Ведь ты теперь будешь приходить ко мне?

— Если вас не посадят в тюрьму.

— Разумеется.

Карл и Энгельс молча обнялись. Потом поглядели друг на друга.

— Не изменился,— сказал Карл.

— Ты тоже. Рад встрече с тобой.

— Рад и я.

— Как жена, дочь? Здоровы ли?

— Здоровы.

— А сам ты как? — спросил Энгельс.

— В полном порядке.

— Закуришь моего табачку?

— У меня есть сигары.

Энгельс подошел к столу, набил табаком трубку, закурил.

— Табачок бельгийский,— сказал он при этом.— Из Остенде. Здесь купил. Еще не пробовал. Кажется, ничего.

— Табак здесь хороший,— сказал Карл и спросил: — Как тебе удалось уехать? И как это твой старик тебя отпустил?

— Все очень просто, Карл. Я уже писал о моих коммунистических речах на собраниях в Эльберфельде. Так вот, из-за этих речей власти заволновались не только в Эльберфельде, но и в Берлине. Кто-то из правительственных доброхотов отца предупредил его, что меня могут в ближайшее время арестовать. Тут он перепугался и поспешил выпроводить меня из Эльберфельда. Так мои интересы совпали с интересами отца.

— Вот и славно,— сказал Маркс.— А ведь ты действительно мог оказаться за решеткой. И тогда наши совместные планы могли бы рухнуть. Скажи, ты закончил свою книгу?

— Да, Карл, закончил. И уже нашел издателя. Отто Виганда в Лейпциге.

— И к какому выводу ты пришел? Относительно революции.

— Я думаю, Карл, что революция в Англии начнется в будущем году. В крайнем случае, в сорок седьмом. И это будет настоящая революция.

В номер принесли заказанный Энгельсом кофе. Маркс и Энгельс сели к столу.

— Сейчас мы выпьем кофе и примемся за работу,— улыбаясь, сказал Энгельс.

— За какую работу? — удивился Карл.

— Как?! Разве мы не сейчас же начнем громить наших врагов? — засмеялся Энгельс.— Помнится, в Париже ты сразу же придвинул ко мне бумагу и чернильницу. И не отпустил меня ночевать в отель.

— Кстати, об отеле. Ты долго намерен оставаться здесь? — спросил Карл.

— Я хотел бы поселиться рядом с тобой, Карл. Хорошо бы нам снять квартиры хотя бы на одной улице. Тогда бы мы могли в любое время, как только понадобится, навещать друг друга, не тратя много времени на ходьбу. Ведь мы снова будем писать вместе?

— Если хочешь, Фред.

— Разумеется, хочу. Но до этого ты должен будешь закончить книгу, обещанную Вильгельму Леске.

— Увы! Я жду за нее аванс.

— А мне необходимо съездить в Англию, в Манчестер...

— В Англию? В Манчестер? — Карл возбужденно заходил по комнате.— Я должен признаться тебе, Фред, что с книгой для Леске у меня ничего не получается. И я совсем измучен этим обстоятельством. Я должен либо отказаться от полученного аванса — а это большая сумма, Фред! — либо предложить ему недоработанную рукопись, потому что пришло время, обусловленное договором с Леске. Но я сейчас не могу сделать ни того, ни другого. Не могу отказаться от денег, потому что они мне очень нужны. И не могу предложить ему книгу, потому что это противоречит моим принципам. Толковой же работы пока нет. Впереди океан проблем, который вдруг открылся передо мной.— Маркс резко остановился перед Энгельсом, спросил: — Зачем тебе Англия, Фред? Зачем Манчестер?

— Я намерен написать статью об английском протекционизме, то

есть о том, как английское государство содействовало росту своей буржуазии. И еще книгу о социальном развитии Англии. И тут без книг английских экономистов, как ты понимаешь, мне не обойтись.

— Да! — казалось, обрадовался Маркс.— Ты совершенно прав! Без книг английских экономистов и я не могу двинуться вперед ни на шаг. Я хочу добраться до сути экономических явлений. Но сделать это без изучения новой экономической литературы никак нельзя. Особенно без английской. В здешних библиотеках ее практически нет,— пожаловался он.— К тому же я слабо знаю английский язык. Вот если бы мне поехать в Англию с тобой, Фред! Что ты на это скажешь? Мы бы вместе читали одни и те же книги...

— Правда?! — Энгельс взял Маркса за руки.

— А что? Мне очень нужно! Обещанная Леске работа просто немыслима без изучения английских экономистов. К тому же прежний метод исследования экономических явлений ни к черту не годится. Я должен разработать новый, диалектико-материалистический метод. Ты просто спасешь меня, если возьмешь с собой.

— Так это же прекрасно, Карл! Конечно же, давай поедем вместе!

— Да.— Карл улыбнулся и почесал лоб.— Но для этого мне понадобится уговорить мою жену.

— Я уговорю,— сказал Энгельс.

— Ага! Вот ты и поймался, Фред! — весело засмеялся Маркс.— Действительно, будешь уговаривать мою Женни ты. Потому что именно ты виновен в появлении мысли ехать в Англию. Счастливой мысли.

— Согласен.

Приехала Елена Демут — Ленхен. Для Женни это была большая радость. Приезд Ленхен освобождал ее от многих забот: от кухни, от стирки, от беготни по рынкам, мясным и овощным лавкам и от прочих мелких дел, на которые у нее не хватало сил и здоровья. Женни не жаловалась, нет. И Карл не слышал от нее ни одного слова упрека в том, что ей тяжело вести дом. И никогда, наверное, не услышал бы. Но приезд Ленхен от этого не стал менее радостным. Практичная Ленхен, разумная Ленхен, решительная Ленхен, самоотверженная Ленхен. Ленхен заботливая, Ленхен бережливая, Ленхен не унывающая. И это были еще не все ее достоинства. Во всяком случае, в письмах матери к Женни можно

было найти еще добрый десяток лестных слов, которыми она охарактеризовала Ленхен. Подвижную, белокурую, юную Ленхен.

Карл сказал Женни, что Энгельс придет вечером.

— Вот кстати,— обрадовалась Ленхен.— Сразу же займусь делом. Я люблю готовить для гостей.

Энгельс пришел с корзиной, доверху набитой гостинцами.

— Вы настоящий Санта-Клаус! — больше других радовалась Ленхен.— Вы очень щедрый человек,— хвалила она Энгельса.— Какие копчености, какое вино, какие сладости!.. Все это стоит больших денег. Вы очень добрый человек, господин Энгельс. Это видно и по вашему лицу. На нем просто написано, что вы добрый человек.

— Где написано? — смеясь, спросил Энгельс.— На лбу? Или, может быть, на носу? И чем написано? Чернилами?

— На лице написано,— серьезно ответила Ленхен.

— Спасибо вам, Ленхен,— сказал Энгельс.— Если и хозяйка дома так думает...— Он взглянул на Женни.— Если и вы, фрау Маркс, такого же обо мне мнения, то должен вам сказать, что вы ошибаетесь. Сейчас я вас огорчу. И гостинцы, которые я принес, не смогут окупить это огорчение.

— Вы меня пугаете, Энгельс,— насторожилась Женни. Взглянула на Карла.

Карл виновато опустил глаза.

— Ага, значит, заговор,— предположила Женни.— Сразу же сознавайтесь, несчастные заговорщики,— потребовала она.— Сию же минуту! — При этом она со всей суровостью, на какую только была способна, взглянула на Карла.— Говори ты. Не заставляй гостя принимать на себя первый удар.

— А глаза у тебя улыбаются,— сказал Карл.— Стало быть, в душе ты не веришь в заговор, Женни. А между тем он существует.

— Вот как? А я-то думала, что вы играете,— вздохнула Женни.— Жаль. В таком случае угощайтесь тартинками и рассказывайте.

Энгельс был весел. Рассказывал много смешного. Например, о том, как Мозес Гесс каждое утро, едва проснувшись, первым делом требует газеты, чтобы узнать, не началась ли уже революция. Еще рассказывал об одном купце, который в ожидании революции скупает порох, чтобы потом подороже продать его повстанцам.

При этом он поглядывал на Карла, надеясь, что тот скажет Женни

о своем намерении поехать в Англию, но Карл, казалось, не понимал его взглядов, пропускал его намеки мимо ушей.

— Очень славный господин,— сказала об Энгельсе Ленхен, когда тот ушел.

— А что скажешь о нем ты? — спросил Карл Женни.

— Он мне понравился,— ответила Женни.— Ты умеешь выбирать друзей. Он мне очень понравился. А теперь скажи мне, что вы задумали? Огорчительное для меня.

— Женни, ничего такого мы не задумали.— Карл уже решил, что лучше он не поедет в Англию, чем огорчит Женни.— С чего ты взяла? Право же...

— А вот это на тебя, Карл, совсем не похоже. Я уже почти знаю, что вы задумали,— ласково проговорила Женни.— Я лишь хочу, чтобы ты от меня ничего не скрывал. Как прежде. Ну? Ты хочешь поехать в Англию?

— Да,— вздохнул Карл.— Я хотел посоветоваться с тобой... У нас мало денег и... Словом, как ты скажешь.

— Ты хочешь поехать вместе с нами? Или один?

— Один, Женни. И не надолго. Мне надо прочесть там некоторые книги в Чатамской библиотеке. Здесь их не достать. Мне нужно для будущей книги... Что ты скажешь, Женни?

— Поезжай,— ответила Женни.— Было бы глупо препятствовать тебе, Карл. Я перестала бы себя уважать.

— Спасибо, Женни,— сказал Карл, обнимая жену.— Но я поеду не раньше чем мы поменяем квартиру.

На третий день после приезда Энгельса на Рю-де-Пашеко снова появился Франсуа, посыльный из отеля.

— С чем ты пришел, Франсуа? — спросил его Карл.— Ты пришел проверить, не арестовали ли меня после того, как я крикнул у королевского дворца, что богатство — это кража? Не так ли?

— Нет,— ответил Франсуа.— Меня снова прислал к вам господин Энгельс. Он приглашает вас на Рю-де-л'Альянс осмотреть квартиры.

— Это далеко? — спросил Карл.

— Близ ворот Сен-Лувен.

Женни и Ленхен придирчиво осмотрели квартиры. Выбрали ту, что

в доме номер пять, принадлежащем доктору Брейеру. Хотя она мало чем отличалась от той, что досталась Энгельсу.

Переезд на новую квартиру состоялся в тот же день. Новоселье отметили у Энгельса. Ужин ему доставили по заказу из ресторана отеля «Буа-Соваж».

— А вот это напрасно,— сделала выговор Энгельсу Ленхен.— Ужин можно было приготовить и дома. Это стало бы вам раза в три дешевле.

Женщины ушли домой рано, в десятом часу. Карл остался у Фридриха.

Друзья пересели на диван, поближе к камину. Ночь была тихая, безветренная. Дрова в камине горели спокойно, мерно потрескивая, посвистывая. По поленьям бегали искорки, словно там в суете носились друг за другом крохотные гномики с яркими фонариками. Это они пощелкивали сердито, шипели. Большой камин щедро дышал теплом, бросая розовые блики на руки, на колени, на лица Карла и Фреда. Табачный дым послушно тянулся к камину.

— Расскажи мне о манчестерской библиотеке,— попросил Карл.

— Охотно. Ее основал Хэмфри Чатам. Мануфактурист. Более двухсот лет тому назад. Главным образом он собирал книги, касающиеся экономики, производства. Это же пожелание записано и в его завещании. Кстати, по этому же завещанию книги долгое время были прикованы к полкам цепями, как рабы к галерам.

— Прикованы? Каким образом?

— В книгу вделывалось кольцо, а к этому кольцу уже крепилась цепь. Для чего это делалось, ты понимаешь: чтобы читатели не уносили книги с собой. Но уже к концу семнадцатого века нравы изменились. Цепи с книг сняли. Должно быть, нашли, что такой способ охраны книг выглядит не очень красиво... Придумали новый. Как ты думаешь — какой?

— Не могу представить.

— Очень простой способ. Поскольку библиотека расположена в бывшем монастыре, читателей отныне стали запирать в кельях, навешивая на двери замки.

— И теперь так поступают?

— Нет. Все-таки есть прогресс в мире людей, Карл. Теперь читатели сидят в читальном зале. Но у выхода из зала стоит строгий сторож, который просто ощупывает тебя глазами, когда ты выходишь.

— В библиотеке тепло? — спросил Карл.

— Да, всегда можно найти теплый уголок.

— Это очень хорошо. Ведь мне придется торчать в библиотеке целыми днями. Без тебя. Или с тобой? — хитро улыбнулся Карл.

— Ах, вот как?! — заулыбался Энгельс.— А я-то думаю, зачем ты так подробно расспрашиваешь меня о библиотеке... Нет, Карл. Я тоже намерен заниматься в библиотеке основательно.

— Чем, если не секрет? — спросил Карл.— Или ты уже говорил?

— Ну, вот,— вздохнул Энгельс.— Ты опять разговариваешь со мной, как дипломат. Давай раз и навсегда оставим этот стиль разговора. Прошу тебя, Карл.

— Давай,— охотно согласился Карл.— К черту всякую дипломатию!

— Мы будем работать вместе. Да?

— Да.

— И можем уже сейчас определить нашу общую задачу.

— Да, можем. Во-первых, Фред, мы должны научно обосновать наши взгляды на историю. Кстати, я тут набросал тезисы о Фейербахе, они об этом. Это первое. На историю и на революцию. И второе... Второе: мы обязаны убедить в правильности наших взглядов пролетариат. Прежде всего германский. Хотя, конечно, и французский, и английский, и бельгийский... Из этого следует, дорогой Фред, что нам необходимо установить еще более тесные контакты с деятелями коммунистического движения в Германии, Лондоне, Париже и здесь, в Брюсселе. В Германии — Георг Юнг, Роланд Даниельс, Генрих Бюргерс, Мозес Гесс. Это уже хорошо. Правда, они еще слабо связаны с рабочими. В Париже — Бернайс и Эвербек. Здесь есть Филипп Жиго, с которым я тебя обязательно познакомлю в ближайшее время. У него есть свой круг знакомых среди рабочих-бельгийцев. Есть здесь и немцы. А кто в Лондоне?

— В Лондоне чартисты, «Союз справедливых». С руководителями чартистов и «Союза справедливых» мы и постараемся познакомиться, когда будем в Лондоне. Кстати, там теперь Вейтлинг.

— Правильно. Нам обязательно надо побывать в Лондоне. Не только в Манчестере. И мы скажем лондонцам, что коммунизм — не выдумка прекрасных мечтателей. Отныне мы называем коммунизмом то, что с неизбежностью вытекает из природы нынешнего общества, из условий, в которых живет и действует пролетариат, из той борьбы, которую он ведет. Вынужден вести. И в которой непременно победит.

— Это замечательно, Карл. А более всего замечательно то, что ты говоришь так, будто читаешь мои мысли.

— Да? Теперь посмотрим, почему коммунизм неизбежен.

— Посмотрим. Итак...

Слушателю, не посвященному в тайны философии и политэкономии, разговор Карла и Фреда мог показаться непонятным, заумным, сложным, как китайская грамота. Они же давно привыкли к языку философии и политэкономии. Не находили нужным говорить друг с другом на другом языке. Но потом, когда они будут говорить с простыми рабочими, они найдут слова, понятные для всех.

Что такое человек? Конечно, это естественное существо, природное существо. Часть живой природы. Животное. Млекопитающее. Но какое животное? Чем человек отличается от других животных? Тем, что он мыслит? Да. «Я мыслю, следовательно, я существую». Так сказал Рене Декарт, французский философ. Но это не все отличия. Человек — животное прямоходящее. Великий Гегель сказал, что вертикальное положение есть абсолютный жест человека. И это верно. Человеку, стоящему на двух ногах, видно все до самого горизонта. Ему ничего не стоит поднять голову и увидеть звезды. А потом закрыть глаза и увидеть собственную душу, в которой отразились земля и звезды. Так, стало быть, человек отличается от животных тем, что у него есть разум? Возможно.

А что есть разум человека? Сознание бога? Нет. Нет и нет! В мыслях человека есть только то, что открывается ему в ощущениях, в соприкосновении с природой.

Так утверждал Фрэнсис Бэкон, великий английский философ.

Но может быть, мыслят и другие животные? Почему бы и нет?

Человек — существо общественное. Этим он отличается от других животных. Прав ли был Аристотель, великий греческий мыслитель, энциклопедический ум древнего мира? Прав. Человек на самом деле общественное животное.

Так в чем же сущность твоя, человек?

Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии, по тому, что они ходят на двух ногах,— вообще по чему угодно. Сами же люди начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им средства к жизни. И с этого момента человек может жить и утверждать себя лишь как существо общественное, потому что нуждается в продуктах труда других людей. И отношения с другими

людьми он осуществляет посредством обмена продуктов труда. Получает продукты чужого труда взамен на продукты своего труда. Таким образом, общественные отношения есть отношения, в которые люди вступают друг с другом в процессе труда и обмена продуктами труда. Они и составляют сущность человека.

— А развитие этих отношений — сущность истории?

— Да, Фред. Странно, что люди не поняли этого раньше. Ведь все, кажется, предельно просто.

Они улыбнулись друг другу, отлично понимая, что к этим выводам они прошли через напряженный научный поиск, через бессонные ночи, через горы проштудированной литературы, через пристальное и вдумчивое изучение самой жизни. Нет, не просто далось им это знание. И не теперь. Теперь они лишь излагали то, что добыто ими упорным и самоотверженным трудом, и радовались тому, что их взгляды совпадают, дополняют, развивают друг друга.

Карл принялся рассуждать о том, почему одни задачи решаются людьми раньше, другие — позже. И пришел к выводу, что люди всегда принимаются за решение лишь тех задач, которые жизнь уже поставила. И не только поставила, но и определила способ их решения.

— Задача нашего времени — уничтожение частной собственности. Способ ее решения — пролетарская революция,— сказал Карл.— Посмотрим, однако, почему же пролетарская революция неизбежна?

И они снова принялись за дело. Да, это был не просто разговор. Это было дело.

Все богатства создаются только трудом. Труд — удел большинства людей. А богатства достаются меньшинству. Ему же принадлежит власть, государство. Ему же верно служит религия, мораль, право, искусство.

Справедливо ли это? Разумеется, нет. Но дело не в восстановлении справедливости. Дело в том, что пролетариат не может освободить себя, не уничтожив частную собственность.

На смену рабовладельческому обществу пришло феодальное. На смену феодальному — буржуазное. Частная собственность оставалась, менялась лишь ее форма. Рабовладелец, феодал, промышленник — все они собственники. Пролетарий собственником стать не может. Потому что, превращаясь в собственника, он превращается в буржуа. И значит, ничего не меняется в жизни миллионов других пролетариев. Остается буржуазное общество.

Класс пролетариев уничтожает частную собственность. И это будет коммунистическая революция.

— Революция необходима не только потому, что никаким иным способом невозможно свергнуть буржуазию,— сказал Карл.— Она необходима еще и потому, что свергающий класс только в революции может сбросить с себя всю старую мерзость, очиститься для нового мира, для нового общества.

— Очиститься от чего? — спросил Энгельс, предугадывая ответ Маркса.

— От пьянства, от разврата, от жажды собственности, от рабской покорности перед богом, перед государством, от иллюзий и мистификаций, которыми опутывают его буржуазия и все те, кто вольно или невольно служит ей. От старого мира, Фред.

За окном посветлело. Близилось утро. Карл остановился у окна.

К нему подошел Энгельс, стал рядом, касаясь плечом плеча.

— Мне пора идти,— сказал Карл.— Ты уж извини меня за эту бессонную ночь.

— Ладно,— ответил Энгельс.— Не извиняйся. Я даже думаю, что стоило бы поблагодарить тебя за эту ночь. Я многое понял, слушая тебя.

— Не скромничай,— сказал Карл.— Это я тебя слушал и много думал.

В мае 1845 года в издательстве Отто Виганда в Лейпциге вышла книга Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».

Книга пришла в Брюссель. И все, кто читал ее, поздравляли Энгельса. Поздравил и Карл.

— Ничего более сильного и убедительного о рабочем классе я не читал,— сказал он Энгельсу.— Фред, это не комплимент. Это объективная оценка. Тебя, Фред, отныне можно называть пламенным защитником пролетариев. И это без всякого преувеличения.

— А твоим другом, Карл, я могу называться? — спросил Энгельс.

— Будто ты не знаешь. Конечно, Фред!

— В таком случае ты должен принять от меня эти деньги,— Энгельс протянул Карлу пакет.— Это часть гонорара за книгу, о которой ты тут говорил... Словом, бери. Я настаиваю. Как друг.

— Это убеждает,— сказал Карл.

Друзья рассмеялись.

...Проводить Карла и Энгельса пришли Жиго и Франсуа.

— Боюсь, что в Англии вам понравится больше, чем у нас, в Бельгии,— сказал Филипп Жиго.— Бельгия — бедная страна, а нынешний год просто ужасен: картофель, который исправно кормил нас много лет, вдруг поразила болезнь. Об этом пишут все газеты как о национальной катастрофе. Уже хорошо видно, что в этом году не уродится и хлеб. Да вы и сами знаете, что цены на хлеб из-за ожидаемого неурожая уже подскочили в три раза: раньше килограмм стоил четырнадцать сантимов, а теперь уже сорок. Что будет дальше?

— Положим зубы на полку,— весело сказал Франсуа.

Жиго его веселость не понравилась.

— Не с тобой разговаривают,— сказал ему Жиго и продолжал, обращаясь к Карлу: — Англия же себя прокормит, потому что грабит полмира. Когда другие страны голодают, Англии это только на руку: она торгует, жиреет на чужой беде.

— Мы скоро вернемся,— сказал Карл.— А ты перечитай книгу Энгельса. Не все в Англии жиреют. Жиреют жирные. А рабочие бедствуют, как везде.

— Я тоже скоро стану рабочим,— заявил Франсуа.— Когда вы вернетесь, я уже буду учеником наборщика. Отец нашел мне место в типографии.

— Поздравляю,— сказал Энгельс.— Лучше быть рабочим, чем посыльным в отеле.

Франсуа счастливо улыбнулся.

Решили ехать сначала в Остенде. А уж из Остенде на корабле в Англию, в Дувр.

Погода стояла теплая, тихая.

Была середина июня.

Путешествие обещало быть спокойным.

— Если на море ясно, мы увидим английский берег из Остенде,— сказал Энгельс.

— Вот и хорошо,— ответил Карл.— Но более всего мне хочется увидеть в Англии то, что видел ты и о чем ты так хорошо рассказал в своей книге «Положение рабочего класса в Англии».



Глава третья

В Лондоне были недолго, два дня, да и то неполных. Отдыхали с дороги, обедали, бродили по улицам. Побывали в Вестминстерском аббатстве, усыпальнице английских королей. Поклонились могиле великого Исаака Ньютона, создателя небесной механики. Прогулялись вдоль фасада парламента. Денек был серый, тусклый. И всегда неприветливое здание парламента выглядело мрачнее обычного.

— Думаю, что у господ, заседающих здесь, и мысли должны быть мрачные,— сказал Карл.

— Уж как повелось,— ответил Энгельс.— Здесь был принят, например, закон о создании работных домов, куда теперь загоняют обнищавших людей. Жизнь в этих домах устроена столь бесчеловечно, что здравый рассудок не может понять, как до такого могли додуматься цивилизованные люди. Я покажу тебе один такой дом в Манчестере. Здесь же,— продолжал Энгельс,— десять лет тому назад отменили налог на богатых в пользу бедных: буржуазии стало жаль расставаться ежегодно

с семью миллионами фунтов стерлингов для поддержания жизни тысяч несчастных людей.

— Да, великие филантропы здесь заседают, цвет английской нации...

От парламента Карл и Энгельс направились к Трафальгар-скверу, к «вороньему гнезду» Лондона, как называли сами лондонцы Сент-Джайльз, жилые кварталы рабочих. Тесные улочки, грязь, кучи золы, зловонные мясные и овощные лавки, выбитые окна в домах, перекошенные двери. И люди — босые, плохо одетые, с изможденными лицами, угрюмые, безмолвно возникающие вдруг из темных переулков, из подъездов облупленных домов, равнодушно взирающие на прохожих и так же молча исчезающие. Детский плач, доносящийся то из подвалов, то с чердаков. Тряпье на веревках. И опять кучи золы, гниющего мусора.

— Но то ли ты еще увидишь в Манчестере,— грустно сказал Энгельс.— Там все доведено до крайностей.

Деловые визиты в редакцию «Северной звезды», к руководителям чартистов и «Союза справедливых» Карл и Энгельс отложили на последние дни своего пребывания в Англии. Теперь же они торопились в Манчестер. В сердце промышленной Англии.

Манчестер встретил их дождливой погодой. Тучи ползли над городом так низко, что дым заводских труб набивал их копотью, которая потом выпадала вместе с дождем.

Лишь на третий день пребывания в Манчестере Карл смог увидеть шпиль, венчающий башню городской ратуши.

Энгельс поселился в той же квартире, в какой жил раньше, до августа прошлого года. Карлу досталась комната с окном, выходящим в сад с зеленой лужайкой.

Из окна этой комнаты он и увидел впервые башню ратуши. Обрадовался тому, что небо наконец очистилось от облаков. Взгрустнул, вспомнив о Кёльне, где он около года проработал в «Рейнской газете». Ратуша Манчестера построена в готическом стиле. Она-то и напомнила ему Кёльн.

Энгельс сам привез Карла в библиотеку Чатамской коллегии. Сам выбрал для него место — в башенном выступе, у широкого окна с разноцветными стеклами.

— Здесь тебе будет спокойно,— сказал он Карлу.— И светло. Из-за разноцветных стекол даже в пасмурную погоду кажется, что за окном светит солнце. Это прибавляет бодрости. Поверь мне.

Когда Энгельс уходил, Карл заметил, что у него виноватый вид. И понял почему: он оставлял его, Карла, одного. Оставлял ради своей невесты Мэри Бернс, которая жила здесь же, в Манчестере, и была работницей на фабрике.

— Клянусь, что дня через два приступлю к занятиям в библиотеке,— пообещал Энгельс.— Некоторые обстоятельства, связанные с фабрикой... Я обещал отцу и обязан...

— Ладно, Фред,— сказал Карл, легонько толкнув друга ладонью в грудь.— Не извиняйся.

Энгельс ушел. Карл сел к столу, перебрал все книги. Остановился на «Рассуждениях о политической справедливости» Уильяма Годвина. Того самого Годвина, который был одним из учителей Роберта Оуэна, беспокойного и деятельного человека, мечтавшего перестроить весь мир на принципах добра и гармонии. Оружием своей борьбы за новый мир он избрал слово и полагал, что люди, усвоив истины добра и гармонии, станут братьями. Он, кажется, и теперь верит этому, наивно верит в силу слова. Он пишет письма русскому царю и королям, убеждая их в том, что только социализм — совершенное общество. Впрочем, и немного пугает их. Пугает возможной революцией, которая принесет всем много бед. А потому, учит он сильных мира сего, следует не доводить дело до революции и решить все добром, пока не поздно. Славен же старик тем, что бичует нынешний строй как противоестественный и порочный.

Уильям Годвин — учитель Оуэна. Своими же учителями Годвин считал Гольбаха и Локка. Гольбаха, который называл религию священной заразой. Локка, который сравнивал душу ребенка с чистой доской, на которой жизнь и природа записывают свои истины.

Нет в человеке ни врожденных истин, ни истин, внушенных богом. Уильям Годвин это хорошо усвоил. И сказал сам: «Бытие определяет сознание и формирует человеческий характер».

Только среда, жизненные условия делают человека добрым или злым. Чтобы создать хороших людей, надо создать хорошую среду, общество, управляемое принципами разума и морали. Но для этого люди, говорит Годвин, должны открыть законы социальной среды. Чтобы изменить среду, надо научиться управлять ею.

Какая прекрасная мысль! И какая верная мысль! Да и сказано хорошо. Путь к истине, которая гласит, что бытие определяет сознание, а общественное бытие — общественное сознание, мог бы оказаться гораздо

короче. Впрочем, самый лучший путь к истине тот, который человек проложил сам.

К тому же Годвин во многом ошибался, развивая свои взгляды на будущее устройство общества, на способы его преобразования,— отвергал необходимость государства, семьи, брака, общественного воспитания, ратовал за общество мелких, независимых друг от друга производителей, считал, что доводы разума — вот способ борьбы с несправедливостью...

На ужин Энгельс пригласил часовщика Иосифа Молля. Молль опоздал к назначенному часу. Тысячу раз извинился. Сказал, что разнимал на улице дерущихся.

— Дрались пьяные. Совсем молодые. Один ирландец, другой англичанин,— рассказал он за угощением.— А стоящие рядом англичане и ирландцы не только не старались их растащить в разные стороны, но, напротив, науськивали друг на друга, как собак. Слышали бы вы, что они кричали, подливая, как говорится, масла в огонь! «А ну-ка, поддай этому вонючему ирландцу!» — кричали англичане. «Посчитай зубы зажравшемуся англичанину!» — кричали ирландцы. А между тем оба дерущихся были одинаково худыми, оборванными, грязными. Кстати, как и те, которые натравливали их друг на друга. Все это были рабочие люди,— вздохнул Молль.— Если бы дрались сынки богачей, я бы из толпы лишь поглазел на них. А то ведь дерутся те, кому самой судьбой определено быть братьями. Пьяные, жестокие, безумные...

— Буржуазия предоставила рабочим только два наслаждения: пьянство и разврат,— сказал Энгельс.— Рабочие становятся людьми лишь тогда, когда они исполнены гнева против буржуазии. Они остаются скотами, когда безропотно подставляют шею под ярмо.

— Я вижу, что и вам в этой драке досталось,— заметил Моллю Карл.— Не побоялись?

— Я сказал им, что я немец, чужестранец, что мне наплевать в равной мере и на англичан и на ирландцев, но что мне стыдно и обидно видеть, когда один рабочий человек избивает другого такого же рабочего. И знаете, я даже готов был от обиды заплакать,— сказал Молль, пряча глаза.— Но не это произвело на них впечатление. Не это.

— А что же? — спросил Маркс.

— Мои кулаки и пинки,— ответил Молль.— К сожалению. Разумеется, и мне досталось.— При этих словах Молль потер ладонью левое

плечо.— Кирпичом. Бросали уже из-за угла. И кажется, не те, кого я разнимал. А те, кого я лишил удовольствия наблюдать драку.

Молль был человеком среднего роста, но очень крепкого, атлетического сложения. И хотя работал часовщиком, имел дело с мелкими и хрупкими деталями, руки у него были большие, сильные. Верилось, что он разбросал дерущихся без труда.

Карл уже знал от Энгельса, что Иосиф Молль является одним из руководителей «Союза справедливых» в Лондоне и что теперь в Лондоне находится Вильгельм Вейтлинг.

Первая книга портного Вильгельма Вейтлинга, которому было в ту пору тридцать лет, вышла в тридцать восьмом году. Называлась она «Человечество как оно есть и каким оно должно быть». В этой книге он утверждал, что трудовой народ сам освободит себя, упразднит частную собственность и построит коммунистическое общество. Еще через четыре года Вейтлинг выпустил вторую книгу, которую назвал «Гарантии гармонии и свободы», в которой обосновал принцип равенства между людьми в свободном обществе будущего.

Карл похвалил тогда эту его вторую книгу, напечатав в «Форвертс» статью, в которой назвал книгу Вейтлинга беспримерным литературным дебютом немецких рабочих. Статья в «Форвертс» была напечатана без подписи. Но Вейтлинг узнал в авторе этой статьи Карла и прислал ему письмо, в котором назвал его своим другом.

Карл не принимал вейтлинговский коммунизм до конца, так как считал, что не следует выдумывать коммунизм, выводить его из некоего абстрактного идеала добра и справедливости, тем более уповать на «нового мессию». Вейтлинг писал, что придет «новый мессия», после чего, утверждал он, «земля превратится в рай».

Карл не мог принять этих мыслей Вейтлинга.

Письмо от Вейтлинга пришло за несколько недель до того, как французское правительство издало указ о высылке Карла из Парижа.

Швейцарское правительство, которое прежде спокойно относилось к коммунистическим проповедям Вейтлинга, объявило «нового мессию» богохульником. Его третья книга — «Евангелие бедных грешников» — была конфискована, а сам Вейтлинг арестован и приговорен к шести месяцам тюрьмы. Вейтлинг заявил швейцарскому правительству протест, но этим только навредил себе: верховный суд Цюриха увеличил срок заключения Вейтлинга до десяти месяцев. К тому же в приговоре суда

добавился новый пункт: после отбытия срока заключения в тюрьме Вейтлинг подлежал высылке из Швейцарии.

Так Вейтлинг оказался в Лондоне, рядом с Иосифом Моллем.

Карл знал об этом и поэтому спросил Молля:

— Как вы встретили Вейтлинга?

Это был не простой вопрос. И Молль это понял. Понял и хитро улыбнулся.

— Он был измучен,— ответил Молль.— И мы его встретили хорошо.

— Только потому, что он был измучен? — Карл понял, что нужный ответ от Молля ему будет получить нелегко.

— Да,— неопределенно сказал Молль, то есть это «да» не было утвердительным, скорее, оно означало, что он намерен продолжить прерванный разговор.— Он был очень измучен. Не знаю, известно ли вам, как поступила с ним швейцарская полиция.

— Да уж, наверное, не лучшим образом,— предположил Энгельс.— Хорошего ждать от полиции не приходится.

— Вы правы, Энгельс,— продолжал Молль.— Швейцарская полиция передала его баденской. А баденская — прусской. Его отправили в Магдебург, затем в Гельмштадт, издевались над ним, везли в наручниках, потом следили за каждым его шагом. Предложили ему покинуть Пруссию. Выдали паспорт и даже дали денег взамен на обещание, что он уедет в Америку, то есть так далеко, как это только возможно. Вейтлинг поехал сначала в Гамбург, а уже из Гамбурга к нам, в Лондон.

— И как вы его нашли? — спросил Карл.— Не изменился ли он с той поры, как вы встретились в Париже?

— Разумеется, изменился. Очень изменился.

— В лучшую или в худшую сторону?

— В тюрьму сажают людей не для того, чтобы они менялись в лучшую сторону.

Карл и Молль посмотрели друг другу в глаза. Молль не выдержал взгляда Карла. Сказал:

— Вейтлинг в тюрьме кричал, что он новый мессия, и требовал освободить его именем бога. Передаю это сведение с его слов. Писал там стихи. Книга этих стихов вышла в Гамбурге у издателя Кампе. Не попадалась?

— Не попадалась,— ответил Карл.

— Но мы встретили его хорошо,— продолжал Молль.— Немецкие,

английские и французские социалисты, живущие в Лондоне, устроили ему овацию.

— Молль,— сказал резко Карл, теряя терпение,— меня интересует совсем не то, о чем вы рассказываете. Меня интересует, как вы, ваш «Немецкий рабочий союз» и «Союз справедливых», относитесь к идеям Вейтлинга.

— Но ведь это наше дело. Насколько мне известно, вы не являетесь членом этих союзов.

— Да, не являюсь.— Карл встал.

Глядя на Маркса, Молль невольно восхищался им, его непокорной фигурой, его глубокой ученостью. Но одновременно его одолевала мысль: не свойственно ли и Марксу высокомерие некоторых ученых, не окружает ли и он себя неземным ореолом? Нет сомнения, что рабочие хотели бы относиться к ученым как к братьям. Но ведь случается, что ученые оскорбляют своим высокомерием, убивают словом за ошибку, вместо того чтобы растолковать, в чем ошибка. Конечно, это раздражает рабочих, вызывает в них недоверие к ученым. Но Маркс, кажется, не таков. Нет, не таков: терпелив, хотя и настойчив, внимателен, не кичится своей ученостью, старается быть понятным.

— Мы верим в свои идеи,— ответил Молль.— И не можем принять идеи Вейтлинга. Он призывает нас к немедленному восстанию. Мы же против заговоров и неподготовленных восстаний...

— Господа,— сказал Энгельс,— остывает рыба под гранатовым соусом. Будет восстание или не будет восстания, рыбу все равно надо съесть. Не так ли?

— И все же мы продолжим наш разговор,— сказал Моллю Карл, принимаясь за рыбу.

— Я даже буду просить вас об этом,— ответил Молль.— Нам интересна ваша точка зрения на задачи наших союзов.

Когда Молль ушел, Карл сказал Энгельсу:

— Крепкий орешек.

— Крепкий,— согласился Энгельс.— Но трезвая голова. Трезвее Вейтлинга. И осторожнее его.

— Это лучше?

— Это поправимо. Вейтлинг — идеолог ремесленников. Настоящих рабочих он не видел и не знает. И не хочет знать. Он мессия. Ему нужны апостолы. Ему подавай новый мир немедленно: ведь он, мессия, уже

явился. А волна пролетарской революции катит медленно, но грозно. И это чувствует Молль. И когда волна, вздыбившись, подойдет к берегу, Молль не будет ее останавливать. Вейтлинг и эти парни в Лондоне нуждаются еще в хорошей школе. Но это уже наша с тобой забота.

Утро выдалось ясным. Хоть и с ветром. Но ветер для Манчестера — благо. В безветренный день дым из фабричных и заводских труб опускается на город, обволакивает его удушливой пеленой, и, если это происходит летом, духота становится непереносимой. Ветер уносит дым, уносит смрадные испарения из грязных каналов и речушек, куда фабрики сбрасывают свои отходы, приносит воздух с окрестных лугов. И те из манчестерцев, у которых еще не совсем отравлено обоняние, чувствуют тогда запах трав и чистых речных вод.

Ветер дул с запада, со стороны Ливерпуля, с Ирландского моря. Теплый и влажный ветер. Солнце поднялось чистое, обещая жаркий день.

Карл и Энгельс позавтракали на скорую руку. Отправились налегке. Фред взял с собою трость.

— Отгонять собак? — спросил про трость Карл.

— И для этого,— ответил Энгельс.— Сегодня ты увидишь, что привычка ходить с тростью — не дань современной моде, а необходимость. К тому же я не так легко меняю свои привычки.

Последние слова Энгельса относились к тому, что Карл уже не в первый раз посмеивался над его обыкновением ходить с тростью. Впрочем, посмеивался беззлобно, по-дружески. И убеждал Энгельса, что трость мешает идти быстро.

Сам же Карл ходил быстро, чаще всего заложив руки за спину, чем не раз вызывал жалобы у своих спутников.

Пожаловался как-то на то, что не поспевает за ним, и Энгельс.

— Это еще что! — ответил ему Карл.— Я читал, что чукчи вообще передвигаются бегом. И что это — естественный способ передвижения для человека. Это мы, европейцы, обленились за долгие века цивилизации. А дети природы — бегают...

Они не стали осматривать центр города. Его достопримечательности — биржу, собор, ратушу — Карл уже видел. Коммерческий квартал — а он-то как раз и занимал центр города — гордился, однако, и другими



своими примечательностями: торговыми и промышленными складами, конторами, роскошными магазинами, парикмахерскими, кафе. Многолюдный и шумный днем, этот квартал пустеет к ночи. Здесь почти нет жилых домов. Жилые дома богачей находятся далеко за городом, там, где чистый воздух, много зелени, где царит тишина. Виллы промышленников и торговцев утопают в садах, прячутся за холмами, речушками, обнесены прочными и высокими оградами. Они недоступны для взгляда посторонних. Там течет жизнь, возбуждающая ненависть пролетариев.

А сами пролетарии живут здесь, в городе. Их дома кольцами окружают коммерческий квартал. И хотя они рядом с центром, туда не легко попасть. Улицы, радиально расходящиеся от центра города по всем направлениям, плотно застроены магазинами, торговыми конторами, жилыми домами торговцев и служащих. Они словно нарочно прижались друг к другу, образуя улицу-коридор, по которой можно проехать и даже пройти, так и не догадавшись о том, что справа и слева, за магазинами, конторами и домами торговцев, спрятаны жилища рабочих. Ужасные жилища, ужасная жизнь. Позор Манчестера, позор современной цивилизации, отгородившейся чистыми фасадами богатых домов, сверкающими витринами магазинов, набитых товарами и продуктами, от грязи и нищеты, от страданий людей, чьим трудом созданы все блага жизни.

Надо хорошо знать, в какой переулок свернуть с чистой улицы, чтобы затем, петляя по узким и темным проходам между домами и оградами, оказаться в рабочем квартале. И Энгельс, проживший в Манчестере несколько лет, это знал.

— Сюда,— сказал он Карлу.— Иди за мной. И будь внимателен, смотри под ноги.

Они свернули с улицы Лонг-Миллгэй в узкий крытый проход и оказались в лабиринте ветхих домов и пристроек. Под ногами после недавних дождей было сплошное месиво. И когда б не кирпичи, брошенные в грязь, здесь совсем нельзя было бы передвигаться. Карл и Фред, перепрыгивая с кирпича на кирпич, двинулись по лабиринту, придерживаясь за стены.

— Завидуешь? — спросил Фред, которому было легче, потому что во время прыжков его выручала трость.

— Завидую,— признался Карл.— Да и ноги у тебя подлиннее моих. Как не позавидовать! И долго нам еще так прыгать?

— Где-то здесь должен быть небольшой дворик, там отдохнем, оглядимся.

Дворик оказался сплошной лужей. Лишь ступая у самых стен и тоже по камням, можно было пробраться к дверям жилищ.

— Не пойдем,— сказал Карл.— Поглядим отсюда.

Они стояли у невысокой ограды, которая отделяла двор от проулка. Ограда была сложена из камней, облепленных грязью: прохожие об эти камни чистили ноги.

За оградой стояла гнилая вода. Посреди двора лежала свинья, утопая до половины в черной жиже. Увидев прохожих, подняла рыло, захрюкала. Из открытой двери, к которой Карл и Фред стояли лицом, на них смотрела старуха, дымя трубкой.

— Что господам надо? — спросила она сиплым голосом.— Какой товар ищут господа? У нас кое-что найдется, если господа зайдут в дом.

Старуха говорила по-ирландски. Фридрих перевел Карлу ее слова.

— Уйдем,— сказал Карл.

— Конечно,— согласился Фридрих.

Они двинулись дальше. Но не успели сделать и пяти шагов, как из двора, шлепая босиком по луже, выбежали дети, почти голые, мал мала меньше. Закричали писклявыми голосами:

— Пенсы! Пенсы!

Их было пятеро или шестеро. Старший малыш — это был мальчик — подбежал к Энгельсу, нагнулся, зачерпнул ладонью воды из лужи и принялся было мыть ему испачканный в грязи ботинок. Энгельс поднял его, сунул в ладонь несколько монет, сказал:

— Уведи своих братьев и сестер. Получишь еще одну монету.

— У них больше денег нет! — крикнул мальчишка, получив обещанную монету.— Айда делить! — И он, раскрыв ладонь, показал добычу.

Дети помчались за ним, снова через лужу, мимо спящей свиньи, забрызгивая друг друга грязной водой.

— Все было точно так же, как и тогда, когда бродил здесь без тебя,— сказал Энгельс Карлу.— Кажется, что и дети были эти же. Только ведь они должны были подрасти: прошло уже года два... Впрочем,— сказал он, помолчав,— здесь дети плохо растут. А в пять-шесть лет их уже берут на работу. Тогда они не становятся взрослыми, так и умирают детьми...

Следующий двор, у которого они остановились, оказался крытым. Над ним был воздвигнут навес из старых, во многих местах прогнивших

досок, битой черепицы и еще какого-то хлама, происхождение которого трудно было определить. Видимо, предполагалось, что этот навес будет защищать двор летом от дождей, а зимой от снега. Возможно, что когда-то он и выполнял эту роль. Но теперь он не давал проникнуть во двор только солнечным лучам. Грязь же под навесом была такой же непролазной, как и в первом дворе. Но смрад был здесь еще сильней, к тому же вход во двор не был очищен, и вода из грязного ручья, текущего по проулку, беспрепятственно устремлялась во двор, к отхожему месту, вымывая из ямы нечистоты.

— Войдем? — спросил Энгельс.

— Как?

— По камешкам. Заглянем в одно из жилищ.

— А что скажем?

— Спросим что-нибудь. Например: Мозес здесь живет? Уверен, что никакого Мозеса здесь нет. С тем и уйдем.

— Ладно,— согласился Карл.

Они пробрались к первой двери. Фред постучал тростью.

— Войдите,— ответил им женский голос из-за двери.

Энгельс потянул на себя обитую тряпьем дверь, которая с трудом отворилась, отгребая нижним углом от порога грязь.

— Здравствуйте,— сказал он в открытую дверь, чуть отступив в сторону, чтобы Карл тоже смог заглянуть в нее.

— Кто нужен? — спросил все тот же женский голос.

Комната была пуста. Лишь у противоположной стены, под окном, где земляной пол был засыпан опилками, лежала куча тряпья. Куча зашевелилась, и из нее показалась голова женщины. Худое, желтое лицо, растрепанные волосы.

— Кто нужен? — повторила женщина свой вопрос.

— Мозес здесь живет? — спросил Энгельс.

— Мозес? Мозес еще на пасху отдал богу душу,— ответила женщина.— А что, он вам задолжал?

— Нет, нет,— ответил Энгельс, отступая от двери.

— И слава богу,— сказала женщина.— У меня все равно нет ни пенса.— И потребовала: — Закройте поплотнее дверь, я болею, простудилась.

— Постучимся еще в одно жилище? — спросил Карла Энгельс, закрывая дверь.

— Пожалуй,— ответил Карл.

Во двор выходило несколько дверей. Энгельс постучался в соседнюю. Ответ последовал не сразу, лишь после того, как Энгельс постучал в третий или в четвертый раз.

— Кого там черти носят? — спросили за дверью. Спросили по-английски. Голос принадлежал мужчине.

Энгельс открыл дверь и задал все тот же вопрос:

— Мозес здесь живет?

— А ты переступи сначала порог, потом спрашивай. Что за привычка разговаривать через порог?

Хозяин сидел на кровати, застланной старым, набитым соломой матрацем. Матрац во многих местах был прорван, и вокруг кровати и под нею лежала соломенная труха. У печной топки была куча золы. Тут же, на земляном полу, стояли ведра, кастрюли. Единственный табурет был перевернут вверх ножками, и на нем сушилась неопределенного цвета тряпица. В комнате дурно пахло, хотя окно было раскрыто. И стоял сумрак, потому что проникнуть свету через окно мешала стена соседнего дома, до которой с подоконника можно было дотянуться рукой.

— Чем обязан? — спросил хозяин, оглядев вошедших и опуская одну ногу на пол. Другая его нога, плотно завернутая в холстину, осталась лежать на матраце.

— Мозес здесь живет? — повторил свой вопрос Энгельс.

— Ха! — ответил хозяин, махнув рукой.— Ошиблись дверью! А на кой черт вам Мозес? — Хозяин был крупного телосложения, головаст, давно не брит. Голос его звучал в тесной комнате как труба.

— Должок за ним,— ответил Энгельс.

— Должок? Это за что же?

— Да уж есть должок.

— Так отправляйтесь за ним на тот свет! — сказал, захохотав, хозяин.— Улетучился ваш Мозес! Там он, там! У боженьки под крылышком. Вместе с вашими денежками, ха-ха! Ежели вам неохота за ним туда, так поручите мне: скоро и я обниму нашего дорогого боженьку. И уж с Мозеса взыщу ваш должок сполна. Да там, в небесной таверне, и прокучу его. Или жаль?

— Что у вас с ногой? — спросил Карл.

— С ногой? — Хозяин потрогал спеленатую ногу рукой, вздохнул.— С ногой дела плохи. Пропадает нога. А вместе с ней и я. Устанавливали

на фабрике мюль-машину. Так я под эту самую машину и подставил ногу — поскользнулся, упал... Теперь гниет нога, теперь я никому не нужен! — Хозяин кулаком ударил по колену здоровой ноги.— У Мозеса печенка лопнула, пил много. А я пил мало, думал, что долго проживу... Жена с детьми сначала попрошайничала, но теперь ее взяли в работный дом. И детей. А я вот жду смерти. Подайте несчастному что-нибудь,— сказал он вдруг, протянув руку.— Подайте, господа! — Лицо его задрожало, из глаз покатились слезы.— На выпивку, господа! На том свете буду бога молить за вас...

— Здесь несколько шиллингов,— сказал Энгельс, достав горсть монет.

Несчастный хотел поцеловать Энгельсу руку, но Энгельс не позволил, сказал ему:

— Я постараюсь прислать вам доктора. Ждите.

— За что? — закричал в изумлении тот.— За какие такие мои заслуги?

— Ждите доктора,— сказал Энгельс.— И не пейте.

Карл и Энгельс миновали еще несколько дворов и спустились к Эрку ниже моста Дюси-Бридж. Эрк — приток Эруэлла, одной из речек, на берегах которых раскинулся Манчестер. Эрк очерчивает границу города с севера. За Эрком — Читам-Хилл, северное предместье Манчестера, средоточие кожевенных заводов, красилен и костомолен. Они-то, кожевенные заводы, красильни и костомольни, и сделали Эрк вонючей и грязной речушкой. Берега ее завалены отбросами, возле которых гниют и пузырятся лужи, источая ужасный смрад.

Карл и Фред поднялись на мост. Здесь вонь была не так сильна, тянуло ветерком.

— Странно, что Данте ничего не написал, кажется, о запахах ада. Или написал? Если написал, то вонь в аду должна быть такой же, как здесь. Отвратительнее не придумаешь,— сказал Карл.

— А теперь посмотри туда,— предложил Энгельс, указывая на высокие зубчатые стены, которыми было обнесено какое-то здание. Отсюда, с моста, была видна лишь крыша этого здания, черепичная, закопченная, как и все крыши окрестных домов.

— Что это, какая-нибудь фабрика? — спросил Карл.

— Это «Бастилия для бедных»,— ответил Энгельс.— Работный дом, который я обещал тебе показать. К сожалению, туда нас не пропустят, нужно разрешение властей. И его не так легко получить. Но я разгова-

ривал с людьми, которые там живут. Впрочем, живут — не то слово. Скорее, страдают... Посуди сам: там кормят только картофелем и овсяной кашей. И не досыта, разумеется. А тех, кто не выполняет работу, вообще лишают еды. Голодом наказывают слабых. И не только голодом. Там людей истязают, но об этом запрещено говорить. Голод, холод, жестокое обращение — все это приводит обитателей работного дома к быстрой смерти. Мертвых хоронят там же, в общих ямах...— Энгельс достал трубку, закурил.— Закури и ты,— предложил он Карлу.— Не так чувствуется этот отвратительный запах.

Карл последовал его совету, раскурил сигару. Оба продолжали смотреть в сторону работного дома.

— Мне кажется, что лично я предпочел бы этому дому смерть,— сказал Энгельс.— Рабочие боятся этого дома пуще тюрьмы. Да и есть чего бояться. Семьи там разлучены. И как ты думаешь, с какой целью?

— Чтоб не рождались новые дети,— предположил Карл.

— Ты угадал. Взрослые живут по двенадцать — четырнадцать человек в одной комнате. Детей, если они провинились, запирают для наказания в мертвецкой, и тогда они спят на крышках гробов. Видимо, в этом же доме обитают жена и дети нашего недавнего знакомого...

— Ты действительно пришлешь ему врача? — спросил Карл.

— Да, пришлю.

Они снова вышли на улицу Лонг-Миллгэй.

— Не заглянуть ли нам в пивную? — спросил Энгельс.— Пить хочется.

— Пожалуй,— ответил Карл.

Сели в конце длинного стола, у окна. Поодаль от них уже сидели четверо посетителей. Судя по одежде, это были рабочие, «плисовые пиджаки». О том, что рабочих в Англии называют «плисовыми пиджаками», Карл узнал от Энгельса. Он же объяснил Карлу, почему именно «плисовые пиджаки». Теперь Карл мог убедиться, насколько объяснение Энгельса было верным. Рабочие действительно носили брюки и куртки из плиса. Иногда из другой плотной бумажной материи. Рубашки — из ситца. Как правило, из самого дешевого.

Теперь лето, тепло всем — и тем, кто в плисе и ситце. А каково им зимой, когда пронизывающие ветры, сырость?

Томас Карлейль, английский философ, книгу которого Карл вчера читал, сказал о рабочих, своих соотечественниках, следующее: «Они

носят костюм из лохмотьев, снять и надеть который есть одна из труднейших операций, предпринимаемая только в праздники и в особо торжественных случаях». Карл выписал эти строки Карлейля, подумав о том, что они ему когда-нибудь понадобятся.

На рабочих, сидевших за столом, одежда была не из лохмотьев, но далеко не новой и не чистой. Пиво они пили молча, настороженно поглядывая на Карла и Фреда.

— Мы им не нравимся? — спросил у Фреда Карл.

— Разумеется,— ответил Фред по-английски.— Они видят в нас господ. А эта пивная не для господ. Они ее считают своей. И очень хотели бы, чтобы господа здесь не появлялись. И не мешали бы им обсуждать свои проблемы. Верно я говорю, Лич? — обратился Энгельс к одному из рабочих.

Поднялся самый пожилой из четверых. Почти совсем седой, но еще крепкий, с большими, сильными руками.

Подойдя к Энгельсу, он сказал, извиняясь:

— Я не сразу вас узнал, господин Энгельс. Не мог и предположить, что вы снова в Манчестере. И честно говоря, рад вас видеть. Все ли у вас хорошо?

— Да. А у вас, Лич?

— Мы живем надеждами. И борьбой,— ответил рабочий.— Борьба объединяет нас. Она же дает нам надежду. Одним словом, действуем.

— Жив, значит, чартизм?

— Еще как жив! Мы верим в победу. И в наших вождей.

— Я зайду к тебе, Лич,— сказал Энгельс.— Есть о чем потолковать. Кстати, книгу о рабочих Англии я написал, как и было обещано. Принесу тебе.

— Я пригласил бы вас и вашего друга за наш стол,— сказал Лич,— но мы уже уходим. Впрочем, мы еще успеем выпить по кружке пива. Прошу вас.

Разговор был коротким: рабочие торопились. Успели лишь познакомиться друг с другом да потолковать о заработках на манчестерских заводах. На прощание Лич сказал Энгельсу:

— Приходите вместе с вашим другом. Он нам понравился. Очень серьезный человек.

— Куда направимся теперь? — спросил у Фреда Карл, когда они вышли из пивной.

— Разве не домой? — удивился Фред.

— Нет,— твердо сказал Карл.— Давай теперь свернем с этой улицы в другую сторону. Неужели и там не лучше?

— Лучше? Нет, Карл, там не лучше. Там хуже. Там мы будем блуждать в грязных тупиках и проходах и совсем запутаемся, пропадем. Там не жилища, там куча населенных людьми хлевов. Но если ты настаиваешь...

— Я настаиваю,— сказал Карл.— Ну хотя бы на полчаса,— попросил он.— Должен же я убедиться...

— Разве я не убедил тебя своей книгой, Карл?

— Разумеется, убедил. Но я хочу видеть все своими глазами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. Не правда ли?

Они свернули в переулок, долго шли между двумя высокими оградами, сложенными из кирпича, потом по крутой тропинке, скользя и падая, спустились к изрытому берегу все того же Эрка, пробрались сквозь частокол старых свай, деревянных оград и наконец оказались среди невообразимого хаоса полуразваленных хижин, землянок и ям, среди сохнущего на веревках тряпья, мусорных куч, страшных задворков, где среди заполненных водой рытвин бродили все те же свиньи.

— А где же люди? — спросил Карл.— Я не вижу людей.

— Работают,— ответил Энгельс.— А те, что не могут работать, прячутся. Ведь такая жара.

Было и впрямь жарко. У Карла на спине промокла рубаха. Энгельс то и дело вытирал потное лицо платком.

Решив вернуться на Лонг-Миллгэй, они сразу же поняли, что заблудились. Думали, что спускаются к реке, а спустились в огромных размеров котловину, к мусорным свалкам и едва не задохнулись там от удушливых испарений. Сбили вконец башмаки, перемазались глиной.

Потом сообразили, что надо идти в сторону заводской трубы, изрыгавшей в небо черный густой дым. Эту трубу они видели в Читам-Хилле, когда стояли на мосту. Выбравшись из котловины, снова оказались среди трущоб. Но все же дошли до реки, а потом по берегу — до железнодорожного моста Лиддской дороги.

Энгельс взглянул на часы.

— Теперь все, теперь домой,— сказал он Карлу.— Второе путешествие заняло у нас три часа. Столько же нам придется отмываться от грязи.

Их мучила жажда, и они снова спустились в погребок, чтобы выпить по кружке пива. В пивной было безлюдно, сумрачно, прохладно.

— Нам повезло,— сказал Карл.

— Хорошо, что мы выбрали для похода не субботу. По субботам все пивные и таверны набиты народом. Особенно по вечерам. В субботу рабочим выдают зарплату. И тогда в этих районах идет бойкая торговля. Не только спиртным. В ход идет все: плохое мясо, гнилые овощи, фальсифицированные продукты.

— Фальсифицированные? — переспросил Карл.— Что ты имеешь в виду?

— Сахар с толченым рисом, соленое масло, обмазанное свежим, какао с бурой глиной, растертой с бараньим жиром, чай с терновым листом, иногда просто высушенный чай, который уже был в употреблении, мука с гипсом и мелом, вместо портвейна — разбавленный спирт с добавлением красителей. При этом продавцы пользуются фальшивыми гирями, неправильными весами. И все это проделывается лихо, без зазрения совести.

— А не почиститься ли нам здесь? — предложил Карл.— Тогда мы еще успели бы до захода солнца осмотреть новый город. Или Малую Ирландию. По твоему выбору. Раз уж мы решили посвятить этот день осмотру рабочих кварталов, не будем торопиться домой. Завтра может испортиться погода, и тогда улицы станут совсем непролазными. Да и сэкономим время для работы в библиотеке.

— Уговорил,— вздохнул Энгельс.— Ты во всем неистов, Карл. Отправимся в Малую Ирландию. Так и быть. А умываться и чиститься будем все-таки потом, дома. Потому что из Малой Ирландии мы выползем снова грязными. Я хотел сказать, еще более грязными.

До Оксфорд-Род они доехали на извозчике, затем пешком спустились в низину, опоясанную рекой Медлок. Это и была Малая Ирландия — район, заселенный исключительно ирландцами. Ирландская деревня, ирландская яма, ирландский хлев — так называли этот район манчестерцы. И не только те, что жили в виллах. Так называли этот район и рабочие-англичане. Всегда голодные и нищие, ирландцы брались за любую работу и делали ее за бесценок, отнимая тем самым заработок у рабочих-англичан. Особенно много ирландцев в Манчестере весной, когда на родине у них кончаются продукты, картошка. Тогда они толпами осаждают конторы заводов и фабрик. Тогда предприниматели увольняют рабочих-

англичан за малейшую провинность и берут на их место ирландцев, которым платят вдвое, а то и втрое меньше, чем своим соотечественникам. Вот почему многие рабочие-англичане ненавидят рабочих-ирландцев.

Малую Ирландию — ирландскую деревню, ирландскую яму — окружали со всех сторон высокие фабричные корпуса, ее застилал дым, ее заливали отбросы, она тонула в грязи, в нечистотах. По улицам, где никогда не было мостовых, бродили оборванные дети и женщины. И свиньи. Снова свиньи, злые, как собаки, черные от грязи. Они увязывались за прохожими, кидались друг на друга, валялись в лужах, рыли землю у стен в поисках пищи. Но и у стен домов, где земля не была так истоптана, ничего не росло: ни крапива, ни лебеда. Здесь все было отравлено заводскими отходами: и земля, и вода, и воздух.

В тридцать первом году здесь вспыхнула холера. Тогда городские власти решили разрушить Малую Ирландию. И почти выполнили свое решение. Во всяком случае, были разрушены десятки домов, сожжены хлева, засыпаны подвалы.

Теперь на месте бывших развалин снова появились хижины, сложенные из битых камней, кирпичей и досок. Отрыты все подвалы. Не для хранения овощей, разумеется.

В этих подвалах живут люди. Дети, женщины и мужчины, которые сейчас за два-три шиллинга в неделю гнут спину на соседних фабриках по двенадцать часов в сутки. Домой они придут только к ночи. Валящиеся с ног от усталости. Угрюмые, злые. В субботу — пьяные. Будут драться. Плакать и проклинать жизнь...

В тот вечер Карл снова ужинал у Энгельса. Был молчалив. Ел мало.

— Ты очень устал, Карл? — спросил его Энгельс.

— Нет, не очень,— ответил Карл.— Просто у меня из головы не идет все, что я сегодня увидел. Честное слово, это стоит сотен томов иных сочинителей, рассуждающих о нынешней цивилизации, о высоком нравственном призвании, о любви к бедным. Это сильнее твоей книги, Фред. Не для ума, разумеется, а для чувств. Не все то, что мы видим, чувствуем, становится, к сожалению, пищей для ума. Видим, страдаем, ужасаемся... Но этого мало. Нужно, чтобы заработал во всю мощь разум. Истины открываются разуму. И в твоей книге, Фред, разум работает. Объясняет, открывает, направляет, указывает на цель и способы борьбы. Этим твоя книга сильна. Но то, что мы увидели,— ужасно. Не укладывается в голове.

— Это потому, что ты, Карл, увидел все это впервые. Я имел возможность наблюдать картины жизни рабочих много раз. Когда я увидел весь этот ужас впервые, меня много ночей преследовали кошмары. И я возвращаюсь к тем первым впечатлениям всякий раз, когда повседневная суета уводит меня в сторону от главной цели, от главной работы... Ты понимаешь, о чем я говорю.

— Да, понимаю.— Карл хлопнул ладонью по руке Фреда: — И еще: какой запах, какой смрад!.. Не за ужином будь сказано. Ох! — вздохнул Карл.— Какой смрад!..— Сказал, сжав кулаки: — Конечно, все это надо уничтожить, сжечь, сровнять с землей. Отнять дворцы, отнять виллы у богачей, перестроить их под жилье...

Карл стал прощаться. Энгельс принялся было уговаривать его, чтобы он посидел еще, но Карл не остался.

— Надо написать несколько писем,— сказал он.— Очень надо.— Спросил Энгельса уже у двери: — Будешь ли завтра в библиотеке?

— Да,— ответил Энгельс.— Буду.

Карл не стал писать письма: почувствовал себя крайне утомленным. Лег в постель, погасил лампу. Ночь была теплая, и он открыл окно. Но едва окно распахнулось, Карлу почудилось, что он снова ощутил угнетавший его весь день запах. Хотел было закрыть окно, но тут же понял, что запах ему только почудился. Пахло расстилавшейся за окном лужайкой.

В ночном небе мигали звезды. Он откинулся на подушку, стал смотреть в окно.

Какие звезды! Какие даны им имена! Имена богов, героев!

Люди любят давать звездам красивые имена. Звезды далеки, звезды чисты. И людям верится, что жизнь, если она есть там, прекрасна. А потому и имена у звезд должны быть прекрасными...

Весь следующий день Карл и Фридрих провели в библиотеке.

Читали, делали выписки. Старались не мешать друг другу. И Карлу, и Фридриху хорошо была ясна задача, которую они поставили перед собой еще в Брюсселе.

Более месяца, изо дня в день, они приходили в библиотеку, садились за стол в башенном выступе с разноцветными стеклами, тихо разговаривали, пока служитель библиотеки подбирал им книги, потом замолкали до обеда, читали, скрипели перьями.

— По подбору книг я понял,— сказал как-то им служитель,— что

господа намерены превзойти в своих будущих работах Адама Смита и Давида Рикардо. Или я ошибаюсь и господа решили найти способ разбогатеть, познав тайны фабричного производства?

— Именно разбогатеть,— ответил Карл, смеясь.— А что вы нам посоветовали бы?

— Есть,— многозначительно ответил служитель.— Кое-что есть. Одна тоненькая книжечка. Но в ней тысяча советов, как делать деньги. Я не выдаю эту книжечку воспитанникам нашей коллегии, чтобы не смущать их юные души, но вам, господа, вам я могу предложить.

— Позвольте задать вам один вопрос,— обратился к нему Карл,— вы богатый человек?

— Увы, нет, господа,— ответил служитель.— Я из бедной семьи, и жалованье у меня небольшое.

— А вы читали книжечку, которую хотите предложить нам?

— Разумеется, читал.

— Отчего же вы не воспользовались советами, собранными в этой книге?

— Э-э,— замялся служитель, потом рассмеялся и сказал: — У меня не было досуга, господа. Да, сознаюсь, я попал впросак... Пустейшая книжечка. Не советую ее вам читать. Только понапрасну потеряете время. Лучше читайте Давида Рикардо. Это очень серьезный ученый.

— Спасибо,— ответил Карл.— Вот этим вашим советом мы и воспользуемся. Принесите-ка нам снова «Начала политической экономии» Рикардо. И сочинения Адама Смита, его «Исследования о природе и причинах богатства народов».

— Похвальное намерение, господа! — воскликнул служитель.— Очень похвальное! Я принесу вам том сэра Адама Смита, который он лично подарил нашей коллегии. Это очень большая ценность, господа. Книга хранится в нашей библиотеке уже семьдесят лет. Прежде она была прикована к полке серебряной цепью. Так завещал сэр Хэмфри Чатам: книги великих ученых приковывать на дорогую цепь...

Лондон встретил дождливой погодой. Старожилы говорили, что задождило надолго, недели на две, а то и на все три. Пессимисты утверждали даже, что уже началась осень, хотя была только вторая половина августа, преддверие осени.

— Лондон похож на себя только в дождливую погоду,— сказал Энгельс.— Не будем сетовать на небесную канцелярию. К тому же у нас с тобой много дел.

— Да, да. Обойдемся без прогулок, Фред. Итак, с кого мы начнем?

— Я думаю, что с Джулиана Гарни. С левого крыла чартистской партии. И хотя теоретиком этого крыла является Бронтер О'Брайен, возглавляет его Джулиан Гарни. Гарни — пролетарий. И отец его пролетарий. И дед. Что называется, рабочая кость. Ненависть к эксплуататорам у него врожденная, в крови. О положении рабочих он знает как никто другой. Чего хочет Гарни, того хотят и рабочие. И наоборот: чего хотят рабочие, того хочет и Джулиан Гарни.

— Ну-ну,— улыбнулся Маркс.— Веди меня к Гарни.

С Джулианом Гарни они встретились в редакции «Северной звезды», которая была одновременно и штаб-квартирой левого крыла чартистов.

Гарни крепко пожал Карлу руку, пригласил сесть.

— Рад встрече с вами,— сказал ему Маркс.— И хочу сразу же похвалить вас за отличную организацию политической борьбы английских рабочих и пропаганду революции и революционных методов борьбы. У вас есть чему поучиться другим национальным организациям рабочих. Честное слово, есть чему поучиться.

Гарни посмотрел на него из-под нахмуренных бровей, затем перевел взгляд на Энгельса и сказал:

— Мне показалось, что в похвале Маркса есть какой-то подвох. Верно ли я понял?

— Верно,— улыбнулся Маркс.— Я хотел спросить вас, Гарни, вот о чем. В Лондоне большое число политических эмигрантов из других стран. Пролетарских политических эмигрантов,— уточнил Маркс.— Так вот, было бы отлично, если бы установили с ними тесную связь. В частности, с руководителями Коммунистического просветительного общества немецких рабочих в Лондоне. Им очень нужен ваш опыт и ваша убежденность.

— У меня тоже есть к вам просьба,— сказал Гарни.— Нам хотелось бы больше узнать о ваших научных разработках революционной теории. Вот и в книге Энгельса о положении рабочего класса в Англии, которую я прочел, есть мысли, относящиеся к теории революции.

— Несомненно,— сказал Маркс.— Существуют объективные законы общественного развития, в том числе и законы революции.

— Каковы же эти законы? — спросил Гарни.

Маркс помолчал и ответил:

— Я и Энгельс готовы изложить наше понимание законов общественного развития, законов революции, но нам хотелось бы, чтобы вы, Гарни, были не единственным нашим слушателем.

— Понимаю. Пожалуй, мы предоставим вам такую возможность. Но так как здесь не все зависит от меня, мне необходимо посоветоваться. Завтра вы получите наш ответ. В крайнем случае, послезавтра.

Все переговоры об участии в собрании на Уэббер-стрит вел Энгельс. Ему же предстояло и выступить на этом собрании, на чем настоял Маркс. Причин было две: во-первых, Энгельс в совершенстве владел английским языком, чего нельзя было сказать о Марксе, и, во-вторых, многие из участников предстоящего собрания знали Энгельса лично.

Маркс и Энгельс полагали, что им будет дана возможность высказать свою точку зрения на предстоящую революцию. Собрание же на Уэббер-стрит намеревалось рассмотреть вопрос о создании международной демократической организации. Словом, не о революции должна была вестись речь. Во всяком случае, не о научной теории революции, как хотели бы Маркс и Энгельс. Это обстоятельство несколько меняло их планы и отчасти огорчало. И хотя они оба считали, что создание международной организации пролетариата — насущная задача дня, в то же время они понимали, что создать такую организацию, не имея научно обоснованной теории пролетарской революции, невозможно. Они были убеждены, что без такого обоснования организация не будет подлинно пролетарской.

— Не сегодня и не на Уэббер-стрит такая организация будет создана,— сказал Карл.— Но хорошо уже и то, что будет сделан шаг в нужном направлении. На собрании ты обязательно скажи, Фред, что интернациональная организация нужна, потому что рабочее движение по своей природе является интернациональным, потому что рабочие свободны от национальных предрассудков и стремятся к международному братству.

Таверна на Уэббер-стрит, в которой собрались представители чартистов, «Союза справедливых» и других демократических организаций, называлась «У ангела». Многие пришли сюда задолго до начала собрания.

Раньше назначенного времени пришли также Маркс и Энгельс. К ним сразу подошел Иосиф Молль. Поздоровался, сказал:

— Я не раз вспоминал тот вечер в Манчестере.

— С каким чувством? — спросил Маркс.

— С удовольствием,— ответил Молль.— Я передал разговор некоторым моим друзьям, и они выразили желание познакомиться с вами, доктор Маркс. Что им сказать?

— Отчего же не познакомиться? Буду только рад,— ответил Маркс.

— В таком случае,я приглашу их.

Подошли двое, представились: Карл Шаппер — наборщик, Генрих Бауэр — сапожник. Оба немцы, оба изгнанники, члены «Союза справедливых». Бауэр — маленький, щуплый, но лицо решительное, взгляд упрямый, испытующий. Едва познакомившись с Марксом, спросил:

— Почему люди из обеспеченного класса примыкают к нашему движению. Что ими движет?

— Разное,— ответил Карл.— Думаю, что общего ответа нет.

— Так. А что же движет лично вами? Почему вы пришли сюда?

— Меня привел Энгельс,— попробовал отшутиться Маркс, но Бауэр шуткой не удовлетворился.

— А все-таки? — продолжал он допытываться.— Вы любите рабочих? Вы им сочувствуете? Вы ненавидите богатых? Вы мечтаете об идеальном обществе?

— Ах, господин Бауэр,— ответил, вздохнув, Маркс,— все эти вопросы я мог бы задать и вам. Но я все-таки отвечу: опыт моей жизни и мой научный поиск привели меня к убеждению, что будущее принадлежит пролетариату...

Разговор продолжить не удалось: началось собрание. Председательствовать поручили Чарльзу Кину, ветерану чартистского движения. Медлительный, убеленный сединами Чарльз Кин занял председательское место. Обвел всех присутствующих добрым взглядом, покивал приветственно головою, сказал, четко произнося каждое слово:

— События, равного этому, еще не было. Создание международной демократической организации представляется мне началом новой эпохи. Я надеюсь, что она станет могучей силой, мировой силой. Я говорю это без преувеличения. И испытываю при этом чувство, которое сродни счастью.

Затем начались выступления ораторов. Карл с нетерпением ждал,

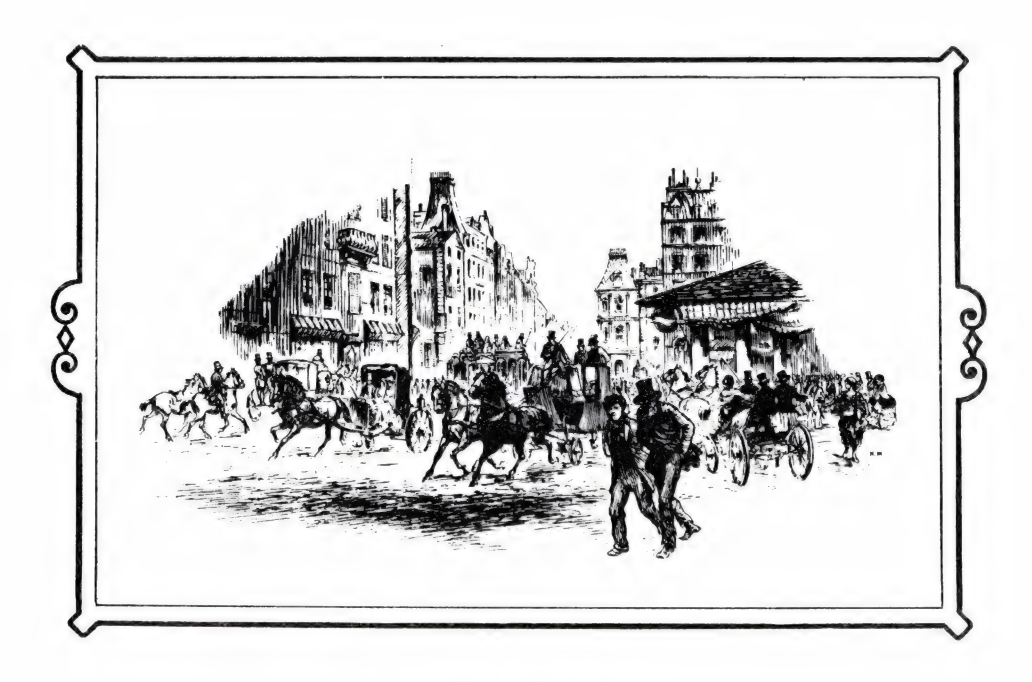
когда будет предоставлено слово Энгельсу. Оживился, когда председательствующий назвал его имя. Проводил Энгельса к трибуне ободряющей улыбкой.

Его слушали с большим вниманием.

— Только пролетарии,— сказал Энгельс,— способны уничтожить национальную обособленность. Только пролетарии могут установить братство между различными нациями. И потому демократическая организация, о которой мы тут говорим, международная демократическая организация должна объединить демократов и пролетариев.

Энгельс помог руководителям Просветительного общества немецких рабочих в Лондоне установить контакт с чартистами и лондонской организацией «Союз справедливых», чем во многом помог созданию общества «Братские демократы».

На этом шестинедельное пребывание Маркса и Энгельса в Англии завершилось. В конце августа они вернулись в Брюссель. С Энгельсом приехала и Мэри Бернс, ставшая его женой.



Глава четвертая

В этот день они работали у Энгельса, хотя до того несколько дней и ночей почти безвылазно просидели в кабинете у Маркса, вновь обсуждая «Тезисы о Фейербахе», написанные Марксом еще весной. Одновременно они составляли план своей новой совместной работы. Новое понимание законов исторического развития, обоснованное Марксом в «Тезисах о Фейербахе», решено было положить в фундамент этой работы. Задачу ее они видели в том, как она была сформулирована Марксом в его одиннадцатом тезисе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

Предполагалось, что будущая книга станет знаменем борьбы против идеализма, против чуждой всякому революционному действию немецкой идеологии.

Они сидели бы в кабинете Маркса еще, если бы не Ленхен, которая затеяла генеральную уборку квартиры.

— Фрау Маркс скоро родит,— сказала она, потребовав, чтобы Карл и Фридрих освободили кабинет хотя бы на полдня,— и тогда нам будет

не до уборки. К тому же дым из кабинета просачивается во все щели, табаком пропахла вся квартира, и это может повредить будущему ребенку. Так что уходите, господа. И постарайтесь где-нибудь пообедать.

Карл и Фридрих послушно удалились, захватив с собой все необходимые для работы бумаги, сигары для Карла и коробку табака для Энгельса, Женни проводила их до двери, еще раз попросила пообедать в какой-нибудь кофейне, вручила Карлу несколько франков. Эти франки Карл и Фридрих оставили в ближайшей лавке, купив копченой ветчины, сыра и хлеба, чтобы потом, принявшись за работу в квартире Энгельса, никуда уже из дому не уходить.

Работалось им хорошо. Даже весело. Серьезные мысли рождались зачастую в шутливой форме. Они часто хохотали над нелепыми мыслями своих противников.

Книгу они назвали «Немецкой идеологией». Работа над ней быстро продвигалась. Потому что главные ее идеи родились не сегодня и не вчера: это были уже устоявшиеся, хорошо обоснованные, выстраданные в длительных размышлениях и беседах идеи.

Оба они знали также, сколь важна их работа для тех, кому она адресована, и для них самих. Они закладывали основы новой науки, новой философии. Основы материалистического понимания человеческой истории. Той самой истории, которая прежде представлялась философам то промыслом божьим, то воплощением некоего мирового духа, то бессмысленным нагромождением случайностей, то областью, где беспрепятственно хозяйничают великие умы, императоры, полководцы и герои. И только народу отказывали в праве творить историю.

Был третий час ночи, когда в дверь квартиры Энгельса сильно постучали.

Маркс и Энгельс оторвались от работы.

— Кто бы это? — удивился Энгельс.

— Я знаю! — вскочил на ноги Маркс.— Это за мной! — И бросился к двери: он приказал Ленхен позвать его, как только у Женни начнутся роды.

Стучала действительно Ленхен.

— Что? — спросил Маркс.— Началось?

— Началось,— ответила запыхавшаяся Ленхен.— Я уже позвала повитуху. Теперь вот прибежала за вами. Да идемте же, идемте! Что ж вы стоите?

— А что делать мне? — спросил Энгельс.

— Ничего,— ответила ему Ленхен.— Когда у вас будет рожать жена, тогда и у вас будет дело. Оставайтесь дома.

— Но завтра?..— обратился Энгельс к Марксу.— Завтра можно прийти?

— Да! — ответил Карл, рассмеявшись.— Завтра можно! — И побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через две-три ступеньки. Ленхен бросилась следом за ним.

К утру Женни родила девочку. У полуторагодовалой Женнихен появилась сестренка. Через несколько дней ей дали имя, которое выбрал Карл, отец. Имя это он позаимствовал у Петрарка, из его «Книги песен», посвященной любви поэта к прекрасной Лауре.

— Итак, Лаура! — сказал Карл, когда гости уселись за стол.— Принимаете ли вы это имя?

— Принимаем! — дружно откликнулись гости.

— Готовы ли вы поцеловать ей ручки?

— Готовы! — закричали гости.

— Нельзя,— сказала Женни.— Нельзя, чтобы столько чужих мужчин дышало на кроху. Вот и господин Брейер это может подтвердить.

— Да,— с готовностью подтвердил Фридрих Брейер.— Как врач, утверждаю: нельзя чужим людям дышать на маленького ребенка. Ребенок может заболеть. Это установлено.

— Кем установлено? — шутливо возмутился Георг Веерт, который пришел с Энгельсом.— Уж не вами ли, господин Брейер?

Маркс подружился с поэтом Веертом еще до поездки в Англию. Веерт лечился у Брейера (у него была травма) и часто навещал Маркса.

— Нет, не мной. Еще Гиппократ говорил...— ответил Брейер.

— Тогда поверим! — засмеялся Веерт.— Раз это утверждение не ваше, господин Брейер, поверим.

— Разве мне нельзя верить? — добродушно усмехнулся Брейер.— Как понимать ваши слова, господин поэт?

— Поэты всегда выражаются неточно,— вмешался в разговор Эн-

гельс.— Георг хотел сказать: если утверждение принадлежит Гиппократу, значит, его можно принять. Так, Георг?

— Так.

Энгельс и Георг Веерт были знакомы давно, еще с той поры, когда Энгельс по настоянию своего отца служил приказчиком в Манчестере на бумагопрядильной фабрике, а Веерт — в Брадфорде комиссионером одной немецкой торговой фирмы. Брадфорд расположен в тридцати милях к северу от Манчестера. И отчасти именно это обстоятельство было причиной того, что Веерт и Энгельс однажды встретились.

Познакомившись, Веерт и Энгельс выяснили, что в их судьбах много общего: оба с юных лет восстали против религиозного фанатизма и ханжества своих родителей, обоим была уготована судьба торговцев — Веерт в четырнадцать лет стал учеником купца в Эльберфелде, на родине Энгельса, затем служил бухгалтером в Кёльне, приказчиком у купца в Бонне, а вот теперь — комиссионером торговой фирмы в Брадфорде. Сойдясь ближе, Энгельс и Веерт обнаружили, что они одинаково потрясены нищетой рабочих, бесчеловечностью английских фабрикантов, жестокими порядками в работных домах, что оба они мечтают об одном и том же: как можно скорее вырваться из пут торгашества и посвятить себя делу революции...

Веерт громко разговаривал, громко смеялся, громко читал свои стихи против короля:

Почтенный король-бездельник,
Узнай о нашей беде:
Мы ели гнилье в понедельник,
Во вторник — конец был еде.

Мы в среду жестоко постились,
Четверг был еще страшней,
Мы в пятницу чуть не простились
От голода с жизнью своей.

Окончилось наше терпенье,
Дать хлеб нам в субботу изволь,—
Не то мы сожрем в воскресенье
Тебя самого, король!

Брейер сказал:

— Окно открыто, нас могут услышать на улице. Подумают, что стихи против бельгийского короля.

— Они против всех королей! — ответил Веерт, чем заслужил аплодисменты Филиппа Жиго, Карла, Женни, Энгельса, Себастьяна Зейлера и Ленхен.

— Зейлер,— сказал Энгельс,— отправьте эти стихи Веерта в ваши газеты.

— Придет время — отправлю,— улыбнулся в ответ мудрый Зейлер, руководитель корреспондентского бюро, снабжавшего многие немецкие газеты сообщениями по Бельгии, Франции и Германии.

Зейлер был самым старшим из всех присутствующих, ему недавно исполнилось тридцать пять лет. После одной из бесед с Карлом и Фридрихом он сказал: «Вы же знаете, что я давно разделяю коммунистические взгляды. Но газеты, которые снабжает корреспонденциями мое бюро, еще далеки от этого. Подождем революцию».

Поэтому в ответ на слова Зейлера «Придет время — отправлю» Энгельс воскликнул, смеясь:

— Подождем революцию!

— Если хотите — да,— сказал Зейлер.— Подождем.

— Мне пришла в голову блестящая мысль,— заговорил долго молчавший Жиго.— Вы можете меня выслушать? Господа! — повысил он голос.— Вы можете меня выслушать? Да перестаньте же хохотать! Не понимаю, что такого смешного вы нашли в словах Ленхен.

Жиго был, пожалуй, прав: ничего смешного в словах Ленхен не было. Она лишь сказала Брейеру, который пустился в рассуждения о недопустимости революции («Революция может привести к пролитию крови»,— сказал он): «А вы, господин Брейер, что делаете вы, когда у человека болит голова? Вы пускаете ему кровь».

Эти-то ее слова и вызвали дружный смех. Смешны были не сами слова, а то изумление, в какое пришел Брейер, не находя слов, чтобы достойно ответить Ленхен.

— Господа! Господа! — замахал руками Жиго.— Да послушайте же меня!

Хозяева и гости успокоились, Карл сказал:

— Право же, давайте послушаем Филиппа. Ведь у него блестящая мысль. Какая, Филипп?

Все хотели засмеяться снова, но Карл потребовал тишины.

— Мысль, быть может, не такая уж и блестящая,— пошел на попятную Филипп,— но в ней, как мне кажется, что-то есть... Я о детях...

— Прекрасно, Филипп,— поддержал его Зейлер.— О детях — это прекрасно. И всегда интересно. Особенно для тех, у кого есть дети. Слушаем вас, Филипп.

— Надо по-новому воспитывать наших детей,— сказал Жиго.— Дети должны быть не такими, как мы. Надо взять на себя труд и воспитать их добрыми, щедрыми, честными... И вот вырастет совсем новое поколение людей, которое само откажется от всего, что сегодня мешает нам жить счастливо. Старые люди уйдут. И вместе с ними уйдет старый мир. Придут новые люди, новое поколение. И новый мир.

— Да-а,— сказал Карл.— Мысль и впрямь блестящая, благая. И далеко не новая. Странно, однако, не это. Странно, что она пришла в голову вам, Филипп.

— Я и сам уже успел подумать об этом. Но пришла...— Жиго развел руками.

— Очень хорошо,— сказал Карл,— когда люди желают добра другим людям. Плохо другое: желать несбыточного добра. А это все равно что не желать его вовсе.

— Почему несбыточного? — возразил Брейер.— Почему несбыточного! Что за самоуверенность такая? Почему несбыточного!

— Хорошо. В таком случае ответьте мне на вопрос: кто воспитает детей такими, как предлагает Филипп? Где вы возьмете таких воспитателей?

— Ну, надо позаботиться...

— Вот! Надо позаботиться. Иными словами, надо воспитать воспитателей. А кто воспитает воспитателей? Опять воспитатели, о которых надо позаботиться... Разве вы не видите, что это дурная, а потому неосуществимая бесконечность. Чтобы воспитать новое поколение, воспитатели должны быть сами воспитаны. Вот и весь ответ, из которого вытекает, как вы заметили, господин Брейер, наша самоуверенность. По-настоящему воспитывает только жизнь. И она, вы это знаете, воспитывает сегодня не блаженных добрячков, а пролетариев. Они — новое поколение. И они построят новый мир. Своими собственными методами. Извините.— Карл встал из-за стола и ушел в кабинет.

— Черт меня дернул за язык,— проговорил Жиго виновато.— Я ведь и сам прекрасно понимал, что говорю чепуху. Но очень хотелось... У меня сегодня очень доброе седце.

— Ничего страшного,— успокоила всех Женни.— Вы думаете, что

Карл рассердился и потому ушел. Но это не так. Я уже хорошо изучила своего мужа. Сделав вид, что рассердился, он ушел в кабинет покурить. Кто мне не верит, может заглянуть в дверь кабинета.

— Я загляну,— сказал Энгельс.

Карл стоял у раскрытого окна и курил.

— Ты почему ушел? — спросил его Энгельс.

— Знаешь,— Карл обнял Фридриха за плечи,— работать хочется. Всякий праздник — потерянное время. Я это всегда чувствую...

Они работали по восемнадцать часов в сутки. Это был режим Маркса. Энгельс быстро к нему приспособился. Но случалось, жаловался. Не Карлу жаловался, а Женни, находя в ней полное сочувствие. Однажды он показал ей письмо от Джулиана Гарни из Лондона — ответ на его письмо, которое он передал Джулиану с Веертом. В своем письме Джулиану Энгельс рассказал о том, как он и Карл работают над книгой. Гарни написал:

«Когда я сообщил своей жене о вашей весьма философской системе писания вдвоем до трех-четырех часов утра, она заявила, что такая система для нее не годилась бы и что, если бы она была в Брюсселе, она подняла бы бунт среди ваших жен. Она не возражает против организации революции при условии, чтобы эта работа производилась по системе сокращенного рабочего дня».

Приехал Эдгар Вестфален, брат Женни. Приехал без гроша в кармане. Карлу и Женни жить стало труднее, но веселее. Впрочем, вскоре удалось пристроить Эдгара к делу: Зейлер взял его в свое корреспондентское бюро.

В конце марта с рекомендательным письмом от Григория Толстого, с которым Маркс познакомился в Париже, пришел русский помещик, Павел Анненков. Богатый русский помещик, но вольнодумец, как отрекомендовал его в письме Григорий Толстой. Вольнодумство же в России, писал далее Григорий Толстой, вполне современная болезнь. Привычная с той поры, когда молодые русские офицеры вышли на Сенатскую площадь в Петербурге с оружием в руках в декабре двадцать пятого года. Считает себя революционером, но не революционер. Влюблен в русскую



литературу. Говорит, что только в ней, в русской литературе, еще стучит свободолюбивое сердце русского народа. Друг Гоголя. Большой знаток Пушкина и один из первых его биографов. Прекрасный собеседник, эрудит. Жаден до всего нового. Просто приятный человек. Скучает, путешествует. Жаждет великих событий, мировых потрясений. Верит в пробуждение русского народа.

Маркс принялся с жадностью расспрашивать гостя о жизни в России.

— Мерзкая жизнь,— рассказывал Анненков.— В России все еще рабство, которое называется у нас крепостным правом. После событий на Сенатской площади в двадцать пятом году свободомыслие жестоко преследуется. Ваш Гегель почитается за опасного вольнодумца. Мыслящие люди говорят эзоповским языком. Правда, есть смелые сердца, отчаянные головы.

— У вас есть литературный критик Белинский. Этот Белинский — вождь русского свободомыслия.

— Да! — обрадовался словам Маркса Анненков.— Белинский — мой друг! Много вечеров я провел вместе с ним. Это светлая голова. От него я впервые услышал о вас, доктор Маркс. Белинский читал вашу статью о гегелевской философии права в «Немецко-французском ежегоднике». Очень хвалил. Тогда я тоже прочел вашу статью.

Анненков пробыл у Маркса не более часа. Прощаясь, сказал:

— Не смею больше отнимать у вас время, хотя мне чрезвычайно приятно было беседовать с вами, доктор Маркс. Хочу надеяться, что это была не последняя встреча. Я даже буду просить вас...

— Приходите завтра,— сказал Маркс.— Тридцатого. Будут мои друзья. Будет Вейтлинг.

— Вейтлинг? Неужели? Это большая удача для меня. Я читал его «Гарантии гармонии и свободы». Удивительная книга.

Маркс ужинал, когда пришел Энгельс. Маркс пригласил его к столу. После ужина они засели за работу. Свет в кабинете Маркса горел до утра. После завтрака они вздремнули и снова принялись за дело. Встали из-за стола только под вечер. Выпили по чашке крепкого кофе и отправились на заседание Коммунистического корреспондентского комитета, созданного еще в январе. В его работе приняли самое деятельное участие Вильгельм Вольф, Георг Веерт, Эдгар фон Вестфален, журналисты Фердинанд Вольф и Себастьян Зейлер, Иосиф Вейдемейер, бельгийцы Филипп Жиго, Виктор Тодеско.

Коммунистический корреспондентский комитет поставил перед собой цель: установить связь, объединить пролетарские организации и социалистические кружки, создать пролетарскую партию на единой теоретической основе. Многое уже удалось сделать — связаться с «Союзом справедливых» и Просветительным обществом немецких рабочих в Лондоне, с английскими чартистами, с немецкими общинами «Союза справедливых» в Париже, с коммунистами в Кёльне, Северной Германии, Силезии.

В то же время Марксу и Энгельсу стало ясно, что серьезным препятствием на пути объединения разрозненных коммунистических групп немецких рабочих является Вейтлинг и его утопический, грубоуравнительный коммунизм. Маркс и Энгельс не раз вели с Вейтлингом дружеские беседы о его теоретических ошибках, старались переубедить его, привлечь на свою сторону, ценя его талант и зная о его популярности среди немецких рабочих. Но Вейтлинг упорствовал в своих ошибках, считал, что многие коммунисты завидуют его популярности, воображал себя великим человеком, мессией, призванным спасти человечество, отвергал всякие разумные доводы. Маркс и Энгельс, исчерпав свое терпение, решили выступить против Вейтлинга, против его учения открыто на заседании корреспондентского комитета.

Эдгар фон Вестфален, Себастьян Зейлер, Иосиф Вейдемейер, Филипп Жиго, Вильгельм Вольф были уже в сборе. Вслед за Марксом и Энгельсом пришел Павел Анненков. Последним появился Вейтлинг.

— Садитесь,— сказал Вейтлингу Маркс, указав ему на стул у другого конца стола.— Мы ждали вас.

Первым выступил Себастьян Зейлер. Он сообщил, что Мозес Гесс, находящийся в Вестфалии, связался с некоторыми демократическими деятелями, которые выразили готовность предоставить средства для издания коммунистической литературы.

— Открывается, если верить Гессу, возможность для пропаганды наших идей,— сказал Зейлер.— Вопрос, однако, в том, какие книги следовало бы издать в первую очередь в Германии, какую доктрину мы хотим предложить для распространения у нас на родине.

Встал Энгельс, обвел всех уставшими глазами, сказал:

— Надеюсь, всем понятно,— при этом Энгельс взглянул на Вейтлинга,— что единый взгляд на общество и революцию должен быть научным, свободным от всяких фантазий. У пролетариата, который един по своему экономическому положению, должна быть единая научная доктрина.

В соответствии с ней мы должны развернуть печатную пропаганду коммунизма в Германии.

— О какой доктрине идет речь? — с вызовом спросил Вейтлинг.— Насколько мне известно, создано уже несколько доктрин. Теперь появилась еще одна?

— Речь идет о единой научной доктрине,— сделав ударение на слове «научная», ответил Энгельс.

— А без научной доктрины революции не будет? — усмехнулся Вейтлинг.— Ученые не позволят? Я готов предоставить в распоряжение издателей все свои работы, которые, верю, стоят того, чтобы их читали немецкие рабочие, готовые идти за мной к новой жизни.

Энгельс собирался уже было ответить, но в разговор вмешался Маркс. Он поднял лицо от листка бумаги, на котором все это время что-то записывал карандашом, в упор посмотрел на Вейтлинга и сказал, едва сдерживая раздражение:

— Скажите же нам, Вейтлинг, каковы основания вашей деятельности, ваших проповедей, с которыми вы так шумно выступали в Германии? К чему вы призываете людей?

— Я? — Вейтлинг встал.— Мои призывы общеизвестны, и у них есть прочные основания. Это нищета, это бесправие, это жажда лучшей, светлой жизни, всеобщая и неодолимая жажда. Я говорю людям: «Поднимайтесь на борьбу!» — и они поднимаются. Они знают, почему надо подниматься, во имя каких целей. Эти великие цели — благополучие и свобода! Здесь мое основание, здесь моя крепость, сила моих призывов, источники моей веры и смелости. Ведь нужна смелость, чтобы поднять людей, не правда ли? Не всякий решится. Решится лишь тот, кто верит, что его призыв упадет на благодатную почву. Сердца обездоленных — вот благодатная почва. Нужно сеять в сердцах людей, а не изобретать доктрины, напичканные всякого рода формулами. В сердцах обездоленных моя вера, моя основа. Они узнают в моих словах правду, находят в них свою боль и способ избавления от нее...

Вейтлинг говорил еще долго. И все в том же духе, выспренне, тоном библейского пророка. Маркс не перебивал его. Слушал с гневно насупленными бровями. Постукивал карандашом по столу. Сказал, когда Вейтлинг наконец замолчал, истощив свое красноречие:

— Возбуждать массы, Вейтлинг, и не давать им никакой научной доктрины, никаких научно обоснованных принципов борьбы — значит

просто обманывать их. Кто возбуждает в народе фантастические надежды, тот ведет его к гибели, а не к спасению. Нужно идти к народу со строго научной идеей. Кто этого не делает, тот занимается пустой и бесчестной игрой в проповедников. Люди без положительной доктрины ничего не могут сделать, Вейтлинг. Да и ничего не делали до сих пор! Кроме шума, разумеется, вредных вспышек и гибели самого дела, за которое брались пророки!

Вейтлинг покраснел, у него задрожали руки. Чтобы как-то унять дрожь, он оперся обеими руками о стол, тряхнул головой, заговорил вдруг охрипшим, срывающимся голосом:

— Кого и в чем вы обвиняете, Маркс? Меня?! Человека, который во имя идеи справедливости, солидарности и братской помощи друг другу собрал под одно знамя сотни людей? Я думаю, что такого человека нельзя назвать пустым и праздным человеком! Выслушав ваши нападки, Маркс, я утешаюсь лишь тем, что у меня есть сотни писем с изъявлением благодарности, которые я получил из Германии, моего отечества. Меня утешает также и то, что книги мои, которые, как я понял, вы не хотите издавать, уже нашли своих читателей, пусть даже немногих. Подготовительная работа, проведенная мной, важнее для общего дела, чем критика и кабинетные анализы доктрин вдали от страдающего света и бедствий народа!

Маркс вскочил и грохнул кулаком по столу.

— Никогда еще,— сказал он,— никогда еще невежество никому не помогло, Вейтлинг!

Все встали из-за стола. Вейтлинг, ни с кем не попрощавшись, направился к двери. Павел Анненков хотел остановить его, но не успел. Разгневанный, Маркс принялся ходить взад и вперед по комнате. Анненков хотел проститься с ним, но не решался подойти, молча наблюдал за ним, стоя у двери. Спустя много лет он расскажет о впечатлении, которое произвел на него в этот вечер Маркс, и набросает его портрет такими словами: «Сам Маркс представлял из себя тип человека, сложенного из энергии, воли и несокрушимого убеждения,— тип, крайне замечательный и по внешности. С густой черной шапкой волос на голове, с волосистыми руками, в пальто, застегнутом наискось, он имел, однако же, вид человека, имеющего право и власть требовать уважения, каким бы ни являлся перед вами и что бы ни делал. Все его движения были угловаты, но смелы и самонадеянны, все приемы шли наперекор с принятыми обря-

дами в людских отношениях, но были горды и как-то презрительны, а резкий голос, звучавший как металл, шел удивительно к радикальным приговорам над лицами и предметами, которые произносил».

Маркс перестал ходить и взглянул на Анненкова.

Анненков распрощался.

Вскоре в кабинете остались только Маркс и Энгельс.

— Ну что? — спросил Карл.— Что будем делать дальше с пророком Вейтлингом?

— А с пророком Германом Криге? — вопросом на вопрос ответил Энгельс.

— Ты прав,— сказал Карл.— Давай проверим его еще раз на Германе Криге, который выдает себя за истинного социалиста. Герман Криге в своем «Народном трибуне» наболтал столько чепухи, что Вейтлингу, если он поддержит наше выступление против Криге, придется отречься и от своих фантазий. Впрочем, выступить против Криге надо не только ради Вейтлинга.

Они снова уселись за стол, разложили перед собой около двух десятков экземпляров газеты «Народный трибун», которую с января начал издавать в Нью-Йорке Герман Криге.

— Послушай,— сказал Карл, беря в руки газету.— Цитирую Криге: «Мы не хотим посягать на чью бы то ни было частную собственность. Пусть ростовщик сохранит то, что ему принадлежит. Мы только хотим предупредить дальнейшее расхищение народного достояния и помешать капиталу и в дальнейшем отнимать у труда его законную собственность». Стало быть, сохраним капитализм, оставим ему награбленное, а то, что еще не удалось разграбить, отдадим бедным. Какая глубокая мысль, а?

— Чудо мысль! — развел руками Энгельс.

— В Америке осталась неразграбленной земля. Криге даже подсчитал, сколько осталось такой земли,— продолжал Карл.— Тысяча четыреста миллионов акров. Эту землю он предлагает объявить «достоянием всего человечества», распределить ее между бедными, отрезав каждому по сто шестьдесят акров. Сколько же бедных удастся обеспечить этой землей?

— Девять миллионов,— быстро подсчитал Энгельс.

— И это все человечество?! Ах, Криге, Криге! Надо быть совсем лишенным мозгов, чтобы нести такую чушь. И это выдается за последнее

слово коммунистической доктрины, преподносится читателям всерьез, с умной миной.

— По существу же — опошление и извращение коммунизма. По-моему, нам надо решительно отмежеваться от такого коммунизма,— сказал Энгельс.— И чем скорее мы это сделаем, тем лучше.

— Да,— сказал Карл, отбросив газету, которую держал в руках.— Кажется, довольно. Думаю, что нам следует составить циркулярное письмо с изложением нашего отношения к «истинному жрецу коммунизма» и разослать его во все корреспондентские пункты в Германии, Англии и Франции. А также послать один экземпляр письма самому Криге с требованием, чтобы он напечатал его в своей газете. Под письмом подпишемся все. Предложим и Вейтлингу подписать его. Посмотрим, как отнесется к этому Вейтлинг. Кстати,— сказал Карл, помолчав,— я написал письмо Прудону. Предлагаю ему принять участие в работе нашего комитета.

Погода наладилась только к концу апреля, хотя и в марте было несколько солнечных и теплых дней.

— Весна, черт возьми! — сказал Энгельс, распахивая окно.— А мы тут сидим с тобой в прокуренной комнате, работаем, света белого не видим.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Карл.

— Этим я хочу сказать, что не пора ли нам оставить хотя бы на час в покое Гегеля и иже с ним и прогуляться по аллее Луизы под лучами животворящего солнца!

— Пожалуй,— согласился Карл.

— К тому же мне удалось раздобыть немного денег, и мы сможем заглянуть в какой-нибудь погребок.

— Я — «за»!

— Слышу голос не мальчика, но мужа, как любил говорить твой русский знакомый Бакунин. Кстати, я слышал, что он скоро объявится здесь, в Брюсселе.

— А слышал ли ты что-нибудь о Борнштедте?

— Слышал. Говорят, что он хлопочет об издании немецкой газеты.

Они вышли на улицу, остановили пролетку. Доехали до погребка

Брукса на площади Сент-Гюдюль и направились дальше, на аллею Луизы, чтобы полюбоваться весенней зеленью, солнцем, подышать свежим воздухом.

На аллее было многолюдно. Особенно много было дам, которые обновляли свои весенние наряды. Впрочем, и мужчин было достаточно. Видно, не только Карлу и Фридриху пришла в голову мысль прогуляться под ярким солнцем.

— Греет! — сказал Карл, глядя, сощурившись, на солнце.

— И еще как! Радоваться бы да радоваться!

— А что мешает, Фред?

— Мысли мешают,— ответил Энгельс.— Всякие мысли.

— Плюнь на всякие мысли,— посоветовал Карл,— забудь обо всем и радуйся. Но не забывай о том, что радость будет недолгой. Немного радости — как глоток свежей воды... Я соскучился по детям, Фред,— вдруг сказал Карл,— по своим девочкам. Да и они без меня скучают. Особенно по моей бороде. Очень любят хватать меня за бороду. Лаура просто визжит от радости, когда ей удается поймать меня за бороду. Давай вернемся...

— По крайней мере, давай вернемся пешком,— предложил Фридрих.— Все-таки прогуляемся.

— Пропадет много времени,— ответил Карл.— Лучше поедем.

Дверь Карлу открыла Женни.

— Где мои девочки? — зашумел Карл, едва переступив порог.— Где мои красавицы?

— Тсс! — сказала Женни, приставив палец к губам.— Девочки спят. Ты почему такой веселый, Карл? — спросила она, когда Карл обнял ее.— Случилось что-нибудь хорошее?

— Да! Да, да и да!

— Что же?

— У меня есть ты! У меня есть Женнихен и Лаура! — ответил Карл, смеясь.— И это самое хорошее, что случилось в моей жизни!

— Правда, Карл? — У Женни на глазах появились счастливые слезы.— А мне показалось, что ты стал забывать нас.

— Женни! — сказал Карл нарочито сурово.— Ты знаешь, что это не так.— И еще крепче обнял жену.

В дверь постучали. Пришел Франсуа, бывший посыльный отеля «Буа-Соваж», теперь ученик наборщика в типографии Адольфа Бартельса.

— Что случилось, Франсуа? — спросил Карл.— Ты пришел убедиться, что я все еще на свободе?

— Нет,— ответил Франсуа, потупившись.— Вчера умер мой отец. Мне не на что его похоронить. И вот я обхожу знакомых, прошу о помощи.

— Бедный Франсуа! — вздохнула Женни.— Войди же в дом, я покормлю тебя.

— Спасибо, мадам,— сказал Франсуа, продолжая стоять в дверях.— Но я тороплюсь. Мне надо побывать еще в пяти или шести местах, если удастся.

Карл положил руку на плечо Франсуа.

— Я тоже похоронил отца,— сказал он.— И моя жена похоронила своего отца, Франсуа. Старые люди умирают. Так было всегда. Это, разумеется, не утешение. Но такова наша природа — стареть и умирать. Мы должны помнить об этом и быть мужественными, Франсуа.

— Да,— ответил Франсуа и уткнулся лицом Карлу в грудь.

Женни принесла деньги, отдала их Франсуа.

— Можно я сделаю для ваших девочек маленькие табуреточки? — спросил Франсуа, беря деньги.

— Да,— сказал Карл.— Сделай, пожалуйста. На каком кладбище будут хоронить твоего отца?

Франсуа назвал кладбище и рассказал, как до него добраться.

— Я буду на похоронах,— пообещал Карл.

— Это так далеко...

— Я буду! — твердо повторил Карл.— Мужайся, Франсуа!

День рождения Женнихен отпраздновали без гостей, если не считать гостем Павла Анненкова, который заходил проститься: он уезжал в Париж. Увидев, что Карл играет с детьми, сидя на полу, Анненков сказал:

— Вот таким вы мне очень нравитесь, доктор Маркс.

Женнихен забралась Карлу на спину и принялась понукать его, крича:

— Нó, коняшка! Скачи!

Карл прошелся на четвереньках, сказал Анненкову:

— Женнихен — именинница. Приходится повиноваться ей.— Потом снял со спины дочурку, поднялся, протянул Анненкову руку: — Рад буду, если встретимся снова.

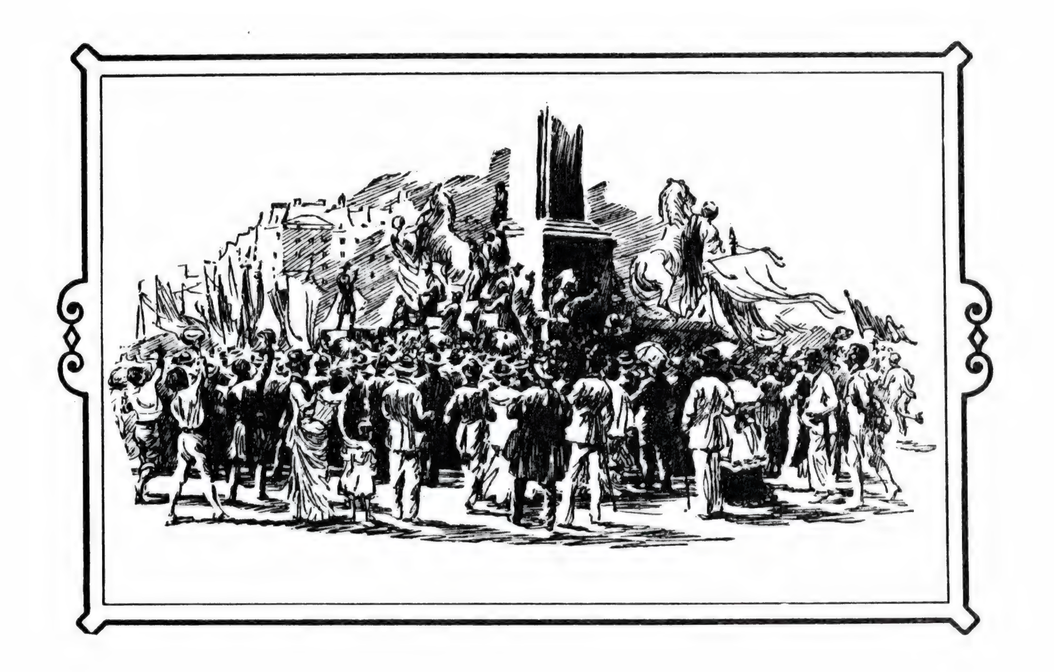
— Я буду вам писать, доктор Маркс. Вы позволите?

— Пишите. Пишите о Париже, о России. Со временем я намерен изучить русский. Что вы мне посоветовали бы прочесть?

— Читайте Пушкина,— ответил Анненков.— Это величайший из русских поэтов. Он был убит на дуэли десять лет тому назад.

— Да, Бакунин мне рассказывал. А пять лет тому назад был убит другой русский поэт, Лермонтов. Вы, русские, не бережете ваших поэтов.

— Поэты не берегут себя,— ответил Анненков.



Глава пятая

— Итак,— сказал Вильгельм Вольф на очередном заседании Коммунистического корреспондентского комитета,— сегодня нам предстоит рассмотреть один вопрос: о нашем отношении к Герману Криге, который щедро угощает своих американских читателей с помощью еженедельника «Народный трибун» всякого рода сочинениями. Сразу же скажу — это мнение Энгельса и Маркса,— что в сочинениях Германа Криге нет ничего общего с нашими принципами. Более того, он их опошляет. А между тем заявляет, что он коммунист. Я познакомлю вас с сочинениями Криге. Впрочем, если бы я стал читать все,— сказал Вольф,— нам пришлось бы просидеть здесь всю ночь. Поэтому я предлагаю познакомиться только с наиболее характерными высказываниями Криге.

— Я протестую против огульного охаивания сочинений Криге,— сказал Вейтлинг.— Проповеди, опошление... На мой взгляд, в них есть и принципиальность, и искренность, и страстность, которой так не хватает некоторым доктринам.

— Приступайте к делу,— попросил Вольфа Маркс.— Читайте же нам Криге.

Вейтлинг промолчал.

К концу чтения у Вольфа почти пропал голос. Поэтому письмо, которое Карл и Энгельс назвали «Циркуляром против Криге», читал Эдгар. Письмо занимало более тридцати страниц.

Затем Маркс предоставил слово Филиппу Жиго, который ознакомил членов комитета с проектом постановления.

— Надеюсь, все ясно? Впрочем, могу повторить, что суть нашего мнения сводится к следующему: Криге компрометирует коммунистов, его бредни вредят рабочему движению,— резюмировал постановление Энгельс.— Поэтому мы, обосновав наше мнение в письме, разошлем его коммунистам Германии, Франции и Англии. Один экземпляр отправим самому Криге в Америку с требованием напечатать его в еженедельнике «Народный трибун». Члены комитета, согласные с этим постановлением, обязаны подписаться.

Энгельс взял постановление и первым подписал его.

— Я отказываюсь ставить свою подпись,— сказал Вейтлинг, когда очередь дошла до него.— Я не подпишу ни ваш циркуляр, ни ваше постановление.

— Очень жаль,— сказал Маркс.— В таком случае идейное единство между нами, Вейтлинг, отныне становится невозможным.

Через несколько дней пришло письмо от Пьера Жозефа Прудона из Лиона. Его принес Марксу Филипп Жиго.

— Интересно? — спросил Жиго, видя, с какой поспешностью Маркс распечатывает конверт.

— Интересно,— ответил Маркс.— Крайне интересно.— Он быстро пробежал глазами несколько строк, вздохнул облегченно, сказал: — Прудон согласен. Он согласен принять участие в работе нашего комитета. Но...— Маркс снова пробежал несколько строк.— Но кажется, без особого желания. Впрочем, послушайте: «Я предпочитаю лучше сжечь институт частной собственности на медленном огне, чем дать ему новую силу путем Варфоломеевской ночи собственников...»

— Он против революции? — спросил Жиго.— Против уничтожения частной собственности? Что же он предлагает?

— Известно что,— сказал Маркс,— отмыть капитализм, почистить, нарядить в светлые одежды и преподнести его пролетариям в качестве рождественского подарка. Словом, надежды на Прудона нет. Нужно кому-то ехать в Париж. Нужно разъяснить немецким коммунистам в Париже идейные причины нашего разрыва с Вейтлингом и Криге. Нужно вырвать их из-под влияния Карла Грюна — переводчика писаний Прудона, его агента среди немецких рабочих. Победа прудоновских идей равносильна отходу рабочих от коммунизма. Меня в Париж не пустят. Кто поедет? — спросил Маркс.

— Думаю, что надо поехать Энгельсу,— ответил Жиго.

— Да, конечно,— вздохнул Маркс: мысль о разлуке с Энгельсом уколола в сердце.— Больше некому. К сожалению. К моему сожалению,— добавил он.

Герман Криге напечатал циркуляр Коммунистического корреспондентского комитета в Брюсселе в своей газете. Напечатал вместе с клеветническим письмом Вейтлинга.

Но прежде чем это письмо было напечатано в «Народном трибуне», Вейтлинг уехал из Брюсселя, получив от Криге деньги и приглашение занять пост редактора в его еженедельнике.

— Удрал в Америку,— сказал о Вейтлинге Вильгельм Вольф.— Испугался, что мы оторвем ему голову. Ведь мы разбойники! Ах, какие мы страшные разбойники! Хотели его дурацкую голову просветить, а он решил, что мы хотим ее оторвать... А где наша толстая мошна? Где наши громадные деньги, о которых написал Вейтлинг? Подать сюда мошну: хочу запустить в нее свои жадные руки! Где она? — Вольф забегал по комнате.— Хочу купить весь мир!..

— Что за шум? — спросила Женни, заглянув в дверь.

— Наш Вольф развлекается,— ответил, смеясь, Карл.— Изображает разбойника.

— Можно привести детей?

— Не стоит, фрау Маркс,— извинился Вольф.— Я больше не буду.

— А с мошной дела обстоят скверно,— сказал Маркс, когда Женни ушла.— Можно уже сделать выводы: издательство Фребеля в Цюрихе закрыто для нас, так как Арнольд Руге всячески старался нам помешать и добился своего. Это во-первых. А во-вторых, Вейдемейер, который ищет

для нас издателей, для «Немецкой идеологии» и для задуманной нами библиотеки социалистических писателей, сообщил из Вестфалии, что наш «Циркуляр против Криге» сыграл там роль последней капли в переполненной чаше. Сначала два денежных мешка, два толстосума, которые лишь по недоразумению считали себя коммунистами, согласились было дать деньги для организации издательства. Но как только дело дошло до платежей, у них вдруг появились какие-то «внешние обстоятельства», черт бы их побрал! Словом, денег не будет.

Всем было ясно, о каких «внешних обстоятельствах» шла речь. Принципиальность Маркса, подвергавшего беспощадной критике тех, кто объявлял себя коммунистами, но занимался лишь болтовней, не обременяя себя поиском и изучением законов коммунистической революции, ее стратегии и тактики,— вот что стало камнем преткновения на пути создания, сбора средств для издательства. Мнимые коммунисты обиделись на Маркса за его суровую критику и отказались финансировать издание социалистических книг.

— Стало быть, не будет «Немецкой идеологии», не будет библиотеки для рабочих, не будет журнала, о котором мы все мечтали,— вздохнул Энгельс.— А что же будет?

Маркс не ответил.

— Я вынужден оставить квартиру и перебраться в какой-нибудь дешевенький отель,— сказал Марксу Энгельс, когда они остались вдвоем.

— Пожалуй, я сделаю то же самое,— ответил Карл.

— Тогда давай поселимся в одном отеле,— предложил Энгельс.— Все же будет веселей.

— Я согласен. Можно поселиться в «Буа-Соваж». Там недорогие обеды. К тому же есть совсем дешевые номера. Дешевые, но сносные. Без клопов и тараканов.

— Сегодня же напишу грозное письмо отцу, который бросил на произвол судьбы своего несчастного сына...

— Пришла, кажется, и мне пора снова заняться делами о наследстве, хотя все это до тошноты противно.

— Ты прав, Карл,— сказал Энгельс.— Это противно.

Они оставили квартиры на Рю-де-л'Альянс и переехали, как и договорились, в «Буа-Соваж», сняв в отеле два соседних дешевых номера. Но соседство их было недолгим: в августе Энгельс уехал в Париж.

В ряду грустных событий были, конечно, и радостные: из Лондона пришло письмо, подписанное Иосифом Моллем, Карлом Шаппером и Генрихом Бауэром — руководителями «Союза справедливых». В этом письме они сообщали, что одобрили разрыв Брюссельского Коммунистического корреспондентского комитета с Вейтлингом. Осудил Вейтлинга и Мозес Гесс, прочитав его грубое и лживое письмо в еженедельнике Германа Криге.

Радостным для Карла было и еще одно событие: поднялась на ножки и пошла Лаура. Это случилось в канун нового, 1847 года. В январе у Карла и Женни родился сын. Ему дали имя Эдгар.

«Значит, пойдут и дела,— сказал себе Карл.— Встанут на ножки, как моя Лаура, и зашагают!..»

Разумеется, всерьез Карл не связывал успех в делах с тем, что маленькая Лаура пошла. Никогда и ни на что Карл не загадывал, так как совершенно не был склонен к суевериям. Его оптимизм, его вера в успех начатых им дел опирались на другое: во всем чувствовалось приближение революции. Неурожай прошлого года породил сельскохозяйственный кризис в Германии, начались голодные бунты. Прусский король требовал от буржуазии денег, а буржуазия требовала от короля, чтобы тот допустил ее к власти. Король отказывал буржуазии в этих ее требованиях, а буржуазия не давала ему денег. Усиливалась взаимная вражда. И разрешиться она могла только революцией. Правда, буржуазно-демократической революцией, не пролетарской. Карл это хорошо понимал. И как бы страстно он ни желал своему народу полного освобождения, он знал: в предстоящей революции немецкий народ такого освобождения не получит, такое освобождение ему может принести только пролетарская революция. Но и буржуазная революция не будет для народа напрасной: она проложит путь для пролетарской. Если пролетариат уже теперь будет вооружен своей программой, если им будет руководить пролетарская партия...

Предвестники бури появились не только в Германии, но и в Англии, Франции.

В конце января 1847 года в Брюссель из Лондона приехал Иосиф Молль. Карл принял его на квартире в доме на Рю-д'Орлеан, куда он вместе с семьей переехал в ноябре минувшего года. В «Буа-Соваж» начался ремонт печей, в номерах было холодно, то и дело приходилось кутать детей в одеяла, дети простывали, стала болеть Женни. Тогда-то

Маркс и переехал на новую квартиру. Квартира оказалась довольно скромной, но теплой. К тому же теперь рядом жил врач Фридрих Брейер, который охотно лечил детей, Женни, да и самого Карла — время от времени вскрывал ему вену на левой руке, пускал кровь, когда Карла начинали донимать сильные головные боли.

Для разговора с Моллем Маркс пригласил Филиппа Жиго и Вильгельма Вольфа.

Беседа с Моллем началась с того, что Молль достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и протянул его Марксу.

— Что это? — спросил Маркс.

— Мое удостоверение,— ответил Молль.

— Я и без удостоверения поверил бы в то, что это вы, Молль,— улыбнулся Маркс, беря удостоверение.— Я хорошо помню нашу встречу в Манчестере, а затем в Лондоне. В Манчестере вы спасали какого-то ирландца, а в Лондоне — меня от Генриха Бауэра... Кстати, здоров ли наш Бауэр?

— Здоров.

— И Шаппер?

— И Шаппер. Они подписали мое удостоверение. Оно удостоверяет не мою личность, а мои права.

Маркс ознакомился с удостоверением, передал его Вольфу. Вольф — Жиго. В нем говорилось, что подателю сего, Иосифу Моллю, дано полномочие сообщить о положении дел в Лондоне и разъяснить его точку зрения на все важные вопросы.

— Прекрасно,— сказал Маркс.— Итак, слушаем вас.

— Мне поручено сделать вам предложение,— сказал Молль.— Предложение о вступлении в наш «Союз справедливых».

— Почему возникло такое предложение? — спросил Маркс.

— Мы разделяем многие ваши взгляды,— ответил Молль.— Более того, мы намерены пригласить вас и Энгельса на ближайший конгресс, чтобы вы на нем провозгласили свой «коммунистический символ веры». Я убежден, что большинство примет его. Я знаю, что Энгельс сейчас в Париже. Я поеду к нему.

— Вы действительно разделяете наши взгляды? — с интересом спросил Маркс.

— Нам нужны ваши знания, ваше умение убеждать. Грубо говоря, нашему союзу нужна ваша голова. Нужно научное понимание задач,

целей и методов борьбы. Таково, как нам кажется, требование времени. Впрочем, это и ваше убеждение?

— Да, Молль,— сказал Маркс. — Это и мое убеждение. Я согласен стать членом вашего союза. Я согласен принять самое активное участие в подготовке конгресса «Союза справедливых». И еще,— добавил Маркс,— нужно раз и навсегда отказаться от заговорщичества и сектантства.

— Думаю, что мы примем и это ваше условие,— сказал Молль.

— Вот и ладно,— весело проговорил Маркс.— А теперь расскажите нам, каково настроение у ваших товарищей.

— Настроение боевое. Организуемся и примемся за дело. Руки чешутся. К тому же само дело, кажется, подпирает. Но начнется оно, по-моему, не в Англии.

— Пожалуй,— согласился Маркс.— Скорее всего, начало революции положит Франция. Но и Германию она не обойдет. Да, не обойдет.— Маркс встал, подошел к камину, прикурил от уголька.— Но надо торопиться. Надо торопиться: сколько путаницы, сколько чепухи вбили в головы рабочих всякие пророки! А революция не шутит с теми, кто вступает в нее с допотопным оружием, с ложными идеями и целями. Ложь и путаница в головах сегодня — это напрасная кровь и напрасные страдания завтра. Это поражение. Это продление мук рабочих на десятилетия.

— Что же делать? — спросил Молль.— Что надо делать?

— Все,— ответил Маркс,— все, что в наших силах. И делать это сегодня, сейчас, немедленно. Надо брать пример с Энгельса. Он в Париже не знает ни минуты покоя, борясь за умы и сердца рабочих. Он выступает на собраниях, пишет, ведет постоянные дискуссии, бегает по кружкам, редакциям газет. Много неприятностей доставляет ему там Карл Грюн. Не без помощи Прудона, этого социального знахаря, книгу которого, полную вздора, сейчас переводит на немецкий язык Грюн. Я прочел эту книгу,— сказал Маркс, возвращаясь к столу.— Это действительно вздорная книга. Прудон при помощи Грюна уговаривает рабочих копить средства, чтобы затем купить у капиталистов Франции все заводы и фабрики...

— А! — хлопнул себя по коленям Вольф.— Черт возьми! Как же мы не додумались до такой идеи? Действительно! Давайте не только копить деньги, но и чеканить фальшивую монету! И купим весь мир! А купив

его, объявим о наступлении эры коммунизма! Ай да Прудон, ай да молодец!

— Грюн же, вероятно, полагает, что золотом солнечных лучей можно заменить рабочим настоящее золото. Я пишу теперь книгу против Прудона,— сказал Маркс.— Я напишу ее на французском языке, чтобы Прудон и другие французские социалисты могли ее прочесть. И назову ее «Нищета философии» в ответ на его «Философию нищеты».

— Не отправиться ли и мне в Париж на помощь Энгельсу? — сказал Вильгельм Вольф, когда Маркс замолчал.— Энгельс пишет, что друзья Грюна науськивают на него французскую полицию.— Эти слова Вольфа были обращены к Моллю.— И делают они это так, как способны делать только трусливые и подлые люди: на рабочих собраниях, где обычно бывают шпионы, кричат, что Энгельс заговорщик, что он подбивает рабочих к восстанию. Попались бы они мне в руки!..— Вольф потряс перед собой кулаками так, словно враги Энгельса были у него уже в руках.

— Я вас понимаю,— сказал Вольфу Молль.— Очень хочется схлестнуться с врагами в открытом бою. Я вас отлично понимаю.

И Вольф, и Молль — оба они были крепыши, широкоплечи, с крупными и сильными руками.

— Успеете еще,— сказал им Маркс.— Открытый бой для революционера — праздник. Но, как и всякий праздник, он должен быть подготовлен.

— Что представляет собой «Немецкая брюссельская газета» фон Борнштедта? — спросил Молль.— Каково ваше отношение к ней?

— Пока это бесцветный листок,— ответил Карл.

— Листок этот не пользуется спросом и скоро разорит Борнштедта,— добавил Вольф.— Чтоб стать популярной среди рабочих, газета должна стать по-настоящему революционной. Борнштедт это понял и скоро обратится к нам за помощью.

— Если это говорит Вольф, значит, так и будет,— сказал Маркс.

Молль уехал. Маркс возвратился к работе над книгой против Прудона. Он и без Энгельса работал помногу. Не раз обращался за помощью к доктору Брейеру.

— Остановитесь, господин Маркс,— предупреждал его Брейер.— Вы загоните себя. Вы работаете на износ.

— Да, да,— обещал Брейеру Маркс.— Еще немного, и я закончу книгу. Тогда отдохну. Тогда непременно отдохну.

— Еще немного, и вы заболеете основательно. Немедленно прекратите работу. Я настаиваю. Иначе я пожалуюсь вашей жене.

— Только не это,— сказал Карл.— Выпустите из меня всю кровь, но жене не жалуйтесь. Достаточно того, что голова болит у меня. Но если вы будете жаловаться на меня жене, голова разболится и у нее.

— Черт побери! — воскликнул Брейер, едва вскрыв вену на руке Маркса.— Вы подсунули мне не ту руку! Я должен был сделать это на левой руке. Вы совсем заморочили мне голову, господин Маркс. Как же вы теперь будете работать? Ведь вы пишете правой, вы не левша.

— А, теперь мне ясно все ваше коварство, господин Брейер,— беззлобно проговорил Маркс.— Вы не могли подействовать на меня уговорами и произвели операцию на правой руке. Что это, если не коварство?

— Да нет же! — всерьез стал возражать Брейер.— Я не хотел. Это вы подсунули мне другую руку. Господи, как же это случилось? Неужели вы думаете...

— Успокойтесь,— сказал Маркс.— Ваша пустяковая царапина не помешает мне работать правой рукой.

— Не помешает?

— Конечно же.

— Уф, какая нелепость! Но работайте осторожно, следите за повязкой, чтобы не сползала и снова не пошла кровь... Обещаете?

— Обещаю,— рассмеялся Маркс.— Это я вам обещаю. Буду работать осторожно.

Но едва Брейер ушел, Карл тут же забыл о своем обещании. Он принялся за работу с прежним упорством. И это едва не закончилось трагически: рана на руке воспалилась, и Карл тяжело заболел. Вольф и Жиго дважды привозили к нему известного в Брюсселе врача. Приехав во второй раз, врач сказал:

— Теперь все хорошо. Опасность миновала.

— А была опасность? — спросила Женни.

— Увы,— ответил врач.— Была опасность общего заражения крови. А это — смерть.

— Бог с вами, доктор! Что вы такое говорите!

— То, что вы спрашиваете,— ответил врач и повторил: — Но теперь все хорошо. Успокойтесь.

Женни просидела у постели Карла больше недели. Сидела и переписывала его рукопись.

— Как она тебе показалась? — спросил Карл Женни о рукописи, когда ему стало лучше.

— Показалась? Она чуть не убила тебя,— заплакала Женни, но быстро успокоилась и добавила: — Тебя она чуть не убила, а несчастного Прудона сразит наповал.

— Ты жалеешь Прудона?

— Жалею,— ответила Женни.— Говорят, что он сам связал себе фуфайку и постоянно ходит в ней. А еще говорят, что он носит башмаки на деревянных подошвах. Бедный Прудон! — проговорила Женни и снова заплакала.

— Ты что? — удивился Карл.— Что с тобой, Женни?

— Ничего. Ничего особенного, Карл.— Женни вытерла платком слезы.— Просто мне сегодня всех жаль. Потому что все умрут и жизнь у всех коротка. А между тем люди ссорятся, воюют друг с другом, страдают и даже убивают... Когда подумаешь об этом, всех становится жаль.

— Конечно,— согласился Карл.— Конечно, Женни. Потому-то и необходимо, чтобы люди покончили с таким бессмысленным существованием. И они это сделают. Это сделает пролетариат. Будет новое общество, настанет разумная жизнь. А пока приходится сражаться. За эту новую, разумную жизнь. Мне также жаль Прудона как человека. За его плечами трудная судьба. Но Прудон-мыслитель, Прудон-философ, Прудон-экономист — враг будущего.

— Я это понимаю,— сказала Женни.— Я помню, что ты мог умереть из-за него...

— Не надо об этом,— попросил ее Карл.— Вспомни, что говорил у Вольтера неунывающий Панглос: «Все идет к лучшему в этом лучшем из миров». Расскажи мне о новостях, Женни: что произошло, пока я болел, кто приходил, о чем велись разговоры?..

— Тебе это интересно?

— Интересно. А ты сомневаешься? Почему?

— С некоторых пор я думаю, что для тебя интересна только твоя работа, Карл. Ты совсем забыл о детях. И обо мне.— Женни снова всхлипнула.

— Ну, ну,— погладил Карл плечо Женни.— У тебя совсем отсырели глаза. Ты устала, моя любимая. Я понимаю. И все-таки ты меня прости.

Конечно, работа...— Карл вздохнул.— Тут я ничего не могу с собой поделать. И время торопит. Время, Женни.

— Да, время... Оно же уносит нашу молодость и делает невозможным счастье, которое было возможно еще вчера.

Карл не стал спорить, хотя мог бы сказать, что время не только враг. А тому, кто работает для будущего, оно друг...

— Новости же такие,— продолжала Женни.— Приходил Франсуа, справлялся о твоем здоровье. Жиго и Вольф бывают у нас каждый день.

— Как живет Франсуа? Ты спрашивала?

— Плохо живет. Похудел. Одежда на нем совсем износилась. Я отдала ему твои две сорочки, которые ты не любишь. Исполнилась годовщина со дня смерти его отца. Он хотел, чтобы ты пришел к нему на поминки. Ты ведь тогда ходил на кладбище... Всех, кто был на кладбище, он собирал на поминки.

Видя, что Карл снова нахмурился, Женни сказала:

— Есть и веселая новость.

— Какая?

— Завтра у нашей Женнихен день рождения.

— Женни, родная...— Карл прижал голову Женни к груди.— Конечно, это радость. Это наша радость... Поэтому я должен встать. Мне надоело болеть. В день рождения Женнихен я должен быть здоровым и веселым.

Конгресс «Союза справедливых» в Лондоне состоялся без Маркса. У него не оказалось денег на эту поездку. На конгресс отправились Энгельс и Вольф. Энгельс — от коммунистов Парижа, Вольф — от коммунистов Брюсселя. Они сделали на конгрессе все, что надо было сделать: «Союз справедливых» по их предложению стал называться Союзом коммунистов. Вместо лозунга «Все люди — братья» впервые прозвучал призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Было покончено с заговорщичеством, исключены из союза сторонники Вейтлинга, разработан новый устав.

Энгельс предложил первый проект программы Союза коммунистов под названием «Проект коммунистического символа веры».

Энгельс и Вольф вскоре возвратились в Брюссель.

Маркс, выслушав их отчет о конгрессе, сказал:

— Вы — молодцы. Создание Союза коммунистов — это великое событие! Следующий шаг — повсеместное создание общин Союза коммунистов. Насколько я понял из вашего рассказа, устав предусматривает, что община Союза может быть создана даже из трех коммунистов. Нас в Брюсселе гораздо больше. Мы можем организовать несколько общин. Они вскоре пополнятся, удвоятся и утроятся. Эти общины составят округ. Итак, начнем это дело?

— Начнем,— кивнул в ответ Энгельс. И тихо добавил: — Я, к сожалению, не смогу участвовать. Ведь скоро должен буду вернуться в Париж, где состою в организации Союза.

Поглядывая на Карла, Энгельс улыбался. Он соскучился по нему и не мог это скрыть.

— Давай, как тогда,— предложил он Карлу,— как в апреле сорок пятого. Отметим нашу встречу хорошим ужином. Позовем друзей. Ты не против?

— Нет, Фред.

Ужин на квартиру Маркса был доставлен из ресторана гостиницы. Можно было поужинать и в ресторане, но там не удалось бы свободно поговорить.

Главный интерес гостей и хозяев был прикован на ужине к Энгельсу. От него ждали интересных новостей, потому что Париж, как всегда, был самым горячим революционным котлом, в котором почти год варился Энгельс. И Энгельс рассказывал без устали. Рассказывал о том, как голодные парижане штурмуют булочные, как крестьяне нападают на поместья, на торговые обозы, склады продовольствия.

— Терпение народа истощается,— сказал Энгельс.— Не пройдет и полгода, как вспыхнет революция.

— А рабочие? Они готовы к революции? — спросил Вольф.

— Да! И притом гораздо более основательной, чем первая. Придет время — и они вмиг окажутся на улицах и площадях. Они знают, что надо делать: они разроют мостовые, перегородят улицы телегами, каретами, ящиками, бочками. Они забаррикадируют все переулки, каждый тупик превратят в крепость. А потом двинутся на Тюильрийский дворец!

— Еще! — потребовал Вольф.— Продолжай же, продолжай! Боже, как

это хорошо! Неужели мы дождемся этого дня?! А что же у нас, в Германии? Неужели немцы будут судачить о новой французской революции и попивать свое дурацкое пиво?

— Нет.— Это снова заговорил Энгельс.— Вы знаете, что немногим более месяца назад Фридрих-Вильгельм разогнал ландтаг. И это ему даром не пройдет. Ропщут все. Даже дворянство. Торговцы вздувают цены в обстановке все усиливающегося голода. Еще весной начались бунты. Клокочет и германский вулкан, друзья. Так что, Вольф, доживем до счастливого дня. Доживем!

Председателем первой брюссельской общины Союза коммунистов был избран Маркс. Он стал также председателем окружного комитета Союза коммунистов.

— Общины Союза коммунистов — тайные организации,— сказал на первом заседании окружного комитета Маркс.— И это правильно. Но они должны стать центрами открытых рабочих обществ. Например, просветительных обществ. Как это делают в Лондоне наши друзья Шаппер, Молль и Бауэр. В них мы могли бы вести коммунистическую пропаганду в различных формах.

Объявление о создании Просветительного общества немецких рабочих вскоре было помещено в «Немецкой брюссельской газете». Удалось договориться об аренде помещения для собраний общества. Для этой цели был выбран старый цеховой дом брюссельских мясников. Решено было, что собрания будут проводиться два раза в неделю — в среду и воскресенье. В среду — лекции, дискуссии. По воскресеньям — короткие политические обзоры и развлечения.

Председателем Просветительного общества был избран наборщик «Немецкой брюссельской газеты» Карл Валлау. Женни для Валлау сама выбрала и купила председательский колокольчик.

— Ага,— шутя сказал Карл, узнав о колокольчике,— фрау Маркс сделала подарок председателю. И кажется, небескорыстно: фрау Маркс надеется, что председатель разрешит и ей выступать перед рабочими.

— Конечно,— ответила Женни.— Мы уже договорились. На воскресных собраниях я иногда буду читать стихи.

— Чьи? — поинтересовался Карл.

...На первом воскресном собрании Просветительного общества Женни

стихи не читала, потому что и без того было прочитано много стихов: выступал поэт Георг Веерт. Но в следующее воскресенье Женни смело поднялась на возвышение за столом председателя и прочла отрывки из «Зимней сказки» Генриха Гейне. Ей горячо аплодировали. Особенно женщины, потому что она была первой женщиной, которая поднялась на возвышение зала собраний. Карл поздравил ее. Энгельс, выбрав удобную минуту, сказал ей:

— Фрау Маркс, то, что я вам сейчас скажу, вы не должны передавать Карлу. Фрау Маркс, сегодня вы были очаровательны, как никогда!

Маркс выступал на собраниях Просветительного общества по средам. Он читал рабочим лекции по вопросам политической экономии — о том, что такое труд и капитал, как буржуазия грабит рабочих, присваивает плоды их труда, толкая их в бездну нищеты. Как разоряются и становятся пролетариями мелкие ремесленники и крестьяне. Как общие страдания и цели объединяют рабочих и поднимают их на борьбу с буржуазией.

Подготовка к этим лекциям отнимала у Маркса много времени, так как приходилось готовиться тщательно, доводить каждую фразу, каждую мысль до простого и ясного звучания. Он то и дело жаловался на эту адскую работу и сетовал на то, что не был подготовлен к ней раньше.

— Философия Гегеля словно нарочно придумана для того, чтобы ее никогда не поняли простые люди. А я воспитан на языке этой философии,— сказал он однажды Женни.— Приходится переучиваться на другой язык.

— Я и прежде тебе говорила, чтобы ты писал проще,— напомнила Карлу Женни.

— Помню, Женни. Как-то в письме из Трира ты меня отругала за мой гегелевский стиль. И поделом, конечно. Но в прошлую среду ты слушала мою лекцию. Как она тебе показалась?

— Рабочие тебя понимали, Карл,— ответила Женни.

— Это главное. Ради этого не жаль никаких трудов, никакого времени. И вот что я еще думаю, Женни. Общественная работа, какой бы скромный характер она ни носила, оказывает на каждого необычайно освежающее действие. Я чувствую это по себе. Иногда мне кажется, что я даже помолодел.

Женни засмеялась.

— Ты чему смеешься? — спросил ее Карл.— Разве я сказал что-нибудь смешное?

— Рабочие называют тебя папашей Карлом,— ответила Женни.— Я сама слышала. Вот так-то, дорогой папаша Карл. А ты говоришь, что помолодел. В их глазах ты отец. Отец Карл! — снова засмеялась Женни.— В двадцать девять лет ты стал для них отцом Карлом.

— Мне двадцать девять?

— А ты забыл?

— Просто давно не вспоминал. Впрочем, вру. Теперь, когда я здоров и полон сил, которых мне хватит еще на сто лет, я могу тебе признаться, Женни, что однажды во время недавней болезни я подумал: «Неужели я умру в двадцать девять лет?»

— Есть категория людей, которым не дано умереть до тех пор, пока они не завершат свое главное дело,— сказала, помолчав, Женни.— Я где-то об этом читала.

— Ты думаешь, что я отношусь именно к этой категории людей?

— Да, Карл.

Лекции отнимали у Маркса много времени, но не все. Остальное время он посвящал работе над статьями для газет. Весь конец августа и начало сентября он отдал статье для «Немецкой брюссельской газеты», в которой защищал коммунистов от ложного утверждения, будто их интересы совпадают с интересами прусского правительства, поскольку и коммунисты, и правительство борются против буржуазии. С такими утверждениями выступил «Рейнский обозреватель» — реакционная ежедневная газета, выходившая в Кёльне. В одной из статей эта газета договорилась даже до того, будто сам король Фридрих-Вильгельм IV является другом пролетариата, поскольку он не допускает к власти буржуазию, злейшего врага пролетариата. «Трон,— писал «Рейнский обозреватель»,— должен покоиться на широком народном основании; тогда он держится прочнее всего».

— Проклятие! — ругался Карл.— Если так и дальше пойдет, то сам король объявит себя коммунистом.

Пришлось напомнить читателям «Немецкой брюссельской газеты» о том, как поступил со своим королем Карлом I английский народ, когда тот стал призывать его к оружию против парламента. Народ объявил тогда себя противником короля и заставил парламент обезглавить его. Это было в 1649 году.

А в 1792 году точно так же поступил со своим королем Людовиком XVI французский народ.

— Что будет с Фридрихом-Вильгельмом, мы увидим немного погодя,— сказал Маркс Борнштедту, вручая ему статью.— Скоро увидим.

В середине сентября 1847 года в Брюсселе состоялся международный конгресс по вопросам торговли, на который из многих стран съехались экономисты, промышленники, купцы, представители различных торговых организаций.

— Весь цвет ученого и торгового мира собрался для обсуждения вопроса — облагодетельствует ли свобода торговли все человечество,— сказал о конгрессе Энгельс и, повернувшись к Карлу, спросил: — Готова ли твоя речь?

— Готова,— ответил Маркс.— Она мне легко далась. Я потратил на нее всего две ночи.

— Ночи? А куда же ты девал дни?

— Выступал на собрании общества — это раз. Проводил заседание окружного комитета — это два. Вносил поправки в те экземпляры «Нищеты философии», которые намерен подарить друзьям,— это три. Не сбился ли я со счета, нет?

— Не сбился.

— Вычитывал статьи для «Немецкой брюссельской газеты» — это четыре.

— Теперь можно говорить короче,— сказал Энгельс,— для нашей газеты.

— Совершенно верно: для нашей газеты. Два часа светлого времени возил на плечах Лауру,— засмеялся Карл.— А теперь и тебе предлагаю заняться этим делом. Вместе со мной.

— Согласен,— ответил Фред.

Женни очень удивилась, когда Карл и Фридрих потребовали, чтобы она «немедленно выдала им Лауру для катания на плечах».

— Вы решили побездельничать? — спросила она.— Как это на вас не похоже.

— Мы решили заняться настоящим делом! — возразил ей Энгельс.

Энгельс посадил себе на плечи Лауру, Карл — Женнихен. Так, неся детей на плечах, они отправились гулять на аллею Луизы, где уже

осыпались каштаны и под ногами прохожих шуршали сухие листья, такие же красные, как черепица покатых крыш, на которых под лучами еще теплого осеннего солнца грелись голуби и кошки.

Речь Марксу на конгрессе произнести не удалось: когда очередь дошла до него, председательствующий внезапно прекратил прения. Но Маркс работал над нею все же не зря: через двадцать дней ее прочли все читатели «Северной звезды», чартистской газеты, выходившей в Лондоне и редактируемой Джулианом Гарни, с которым Маркса познакомил Энгельс.

Редакция «Северной звезды», печатая речь Маркса, сделала к ней пометку: «От нашего немецкого корреспондента». Этим корреспондентом был Энгельс. Речь Маркса была напечатана в его изложении.

Когда этот номер «Северной звезды» пришел в Брюссель, Маркса в Брюсселе не было: он уехал в Голландию по делам наследства. Вновь Маркс и Энгельс встретились только в октябре. Правда, встреча эта была недолгой: Энгельс торопился в Париж. В Париже он был избран в окружной комитет Союза коммунистов и разработал предварительный проект программы, которую предстояло обсудить на втором конгрессе Союза коммунистов в Лондоне. Конгресс состоялся в ноябре. Маркс и Энгельс отправились на конгресс вместе из бельгийского порта Остенде.

Был субботний вечер. Для ночлега выбрали отель «Корона». В Остенде их никто не знал. И поэтому, встретившись в холле отеля, они позволили себе обнять друг друга на глазах у посторонних людей, обнять крепко, по-братски.

— Осторожно, я мокрый,— сказал Карл, у которого с плаща капала на пол вода: в отель он добирался под дождем.

— Я тоже,— засмеялся Энгельс.— Значит, едем?

— Едем.

— А как семья, Карл? — спросил Энгельс, когда они были уже в номере.

— Женни болеет, дети простужены. Но Ленхен здорова. Все надежды на нее.

Помолчали.

— Все-таки давай поговорим о деле,— предложил Карл.— Вот послушай, что мне недавно написали из Лондона.— Карл вынул из нагрудного кармана конверт, достал из него письмо, пробежал несколько строк глазами, нашел нужное место и принялся читать вслух: — «На этом

конгрессе решится вопрос, должен ли Союз в целом прекратить свое существование, или же из него должна быть удалена та гниль, которая то здесь, то там обнаруживается в нем. По нашему мнению, это последнее средство является единственным, если мы хотим чего-либо добиться. В настоящее время в Союзе господствует такая сумятица, в нем находится так много глупых людей, желающих во что бы то ни стало набить себе цену, что можно просто сойти с ума».

— Они правы,— заметил Энгельс.

— Послушай, однако, что лондонцы пишут дальше: «Мы были бы очень рады, если бы Маркс мог прибыть на конгресс». Последние слова в письме подчеркнуты: «Мы сделаем все, что только в наших силах, чтобы облегчить вам тяжесть расходов. Приложите все свои силы. Если мы преодолеем этот кризис, то мы победим...»

— Непременно преодолеем,— сказал Энгельс.— Потому что на конгрессе будешь ты.

— Не преувеличивай мои возможности,— возразил Карл.— Лучше расскажи, как обстоят дела во Франции. С чем ты едешь на конгресс?

— Я уже писал тебе, что парижский окружной комитет утвердил в качестве проекта программы «Коммунистический манифест».

— Да,— сказал Карл.— Теперь нам предстоит убедить конгресс в правильности наших взглядов. Если мы это сделаем, конгресс поручит нам составить окончательный проект программы Союза коммунистов. Только тогда можно будет говорить о победе. И вот еще что важно, Фред: Союз коммунистов должен отныне открыто объявить перед всем миром о своем существовании. Хватит играть в прятки. Надо сказать людям: «Вот мы, вот наши цели. Теперь решайте, хотите вы идти с нами или нет».

Второй конгресс Союза коммунистов открылся в Лондоне 29 ноября 1847 года. На конгресс прибыли коммунисты из Франции, Швейцарии, Бельгии, Польши, Германии. Они собрались в зале лондонского Просветительного общества немецких рабочих. Это был день семнадцатой годовщины польского национально-освободительного восстания 1830 года. Поэтому до начала конгресса решено было провести митинг, посвященный этой годовщине.

Маркс и Энгельс выступили на митинге с короткими речами.

Поляки, немцы, французы, итальянцы, англичане — все, кто слышал их речи, горячо и долго аплодировали им.

Энгельс в заключение сказал:

— Так как положение рабочих во всех странах одинаково, так как их интересы одинаковы, враги у них одни и те же, то и бороться они должны сообща! И братскому союзу буржуазии всех наций они должны противопоставить братский союз рабочих всех наций!

Конгресс заседал уже почти две недели. И не было такого дня, когда бы Марксу и Энгельсу не приходилось выступать.

— За всю свою жизнь я, пожалуй, не произнес столько слов, как за эти дни,— пожаловался Энгельсу Маркс.

— Я тоже,— сказал Энгельс.— Но мы, кажется, добились своего. Конгресс на нашей стороне. И я уверен, что завтра он поручит нам выработать программу партии.

Энгельс не ошибся: второй конгресс Союза коммунистов поручил Марксу и Энгельсу разработку манифеста.

Конгресс утвердил также проект устава Союза коммунистов. Марксу и Энгельсу принадлежали и его общая редакция, и первая его статья. Она гласила: «Целью Союза является свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного общества и основание нового общества, без классов и без частной собственности».

Это была победа.

Конгресс продолжался. Обсуждались другие вопросы. Но они уже не так волновали Маркса, как вопрос о программе партии, хотя и не давали ему уехать. А надо было бы поскорее вернуться в Брюссель. С каждым днем его все сильнее беспокоило то, как чувствуют себя сейчас Женни и дети и остались ли у них еще деньги. По его расчетам деньги у них кончились.

Маркс вспомнил о Павле Анненкове и написал ему в Париж. Хотя Павел Анненков и недолго прожил рядом с ним в Брюсселе, Марксу казалось, что он хорошо узнал его как человека отзывчивого, доброго и честного. Да и Анненков как будто проникся к нему дружеским чувством. Все это давало Марксу право обратиться к Анненкову с просьбой о помощи.

«Дорогой Анненков! — написал он ему.— Я вынужден остаться здесь еще несколько дней, хотя оставил свою семью в чрезвычайно тяжелом и совершенно безденежном состоянии. Дело не только в том, что моя жена и дети больны. Мое материальное положение в данный мо-

мент является настолько критическим, что мою жену буквально осаждают кредиторы, и она испытывает отчаянные денежные затруднения.

Как дело дошло до такого кризиса, объяснить легко. Мои немецкие рукописи в целом не печатаются, а то, что публикуется из них, я отдаю даром, чтобы только выпустить их в свет. Моя брошюра против Прудона разошлась очень хорошо. Но я получу часть денег за нее только лишь весной, к пасхе.

Одного того, что получает моя жена, недостаточно, а с моей матерью я уже довольно давно веду переговоры о том, чтобы получить хотя бы часть моего состояния. Теперь как будто появились шансы на это. Но в данный момент это мне ничего не дает.

При таком положении, о котором я откровенно, без стеснения рассказываю Вам, Вы поистине спасли бы меня от величайших неприятностей, если бы смогли переслать моей жене 100—200 франков. Уплатить этот долг я смогу, конечно, только после того, как мне удастся урегулировать мои денежные отношения с моими родителями.

Если Вы можете исполнить мою просьбу, то я прошу Вас послать деньги по моему старому адресу: Брюссель, Рю-д'Орлеан, 42. Однако моя жена не должна догадаться по содержанию письма о том, что я писал вам из Лондона. Позднее я объясню Вам причину.

Я надеюсь, что в следующий раз смогу написать Вам о чем-нибудь более приятном.

Ваш К. Маркс».

Это было не первое письмо, которое Маркс написал Анненкову. Ровно год назад он написал Анненкову письмо, в котором подробно — по просьбе Анненкова — рассказал ему о своем отношении к работе Жозефа Прудона «Философия нищеты». Маркс тогда еще только собирался написать книгу против «Философии нищеты» Прудона. Но мнение о ней у Маркса уже сложилось как о книге бесформенной и претенциозной. В канун революции, не поняв современного общественного строя, Прудон преподносил рабочему классу беспочвенные фантазии.

В этом же письме Маркс изложил Анненкову свое понимание законов общественного развития со всей простотой и ясностью, на какую был способен.

«Если он еще помнит обо всем этом,— подумалось ему,— он поможет мне». Больше Марксу не на кого было рассчитывать. Обратиться с денежной просьбой к Энгельсу у него не было сил. Энгельс и без того

делился с ним всем, чем только мог. К тому же ему после окончания конгресса еще предстояла поездка в Париж.

Маркс не ошибся в Анненкове. Возвратившись в Брюссель, он узнал, что Женни получила от Анненкова деньги.

Один из вечеров Маркс целиком посвятил встрече с Джулианом Гарни.

— В прошлый раз я отнесся к вам с некоторой осторожностью,— признался Джулиан Гарни.— Вы, наверное, заметили это.

— Заметил,— улыбнулся Маркс.— Ваше лицо не годится для того, чтобы скрывать чувства, Джулиан. Даже ваша шотландская борода ничего не скрывает.

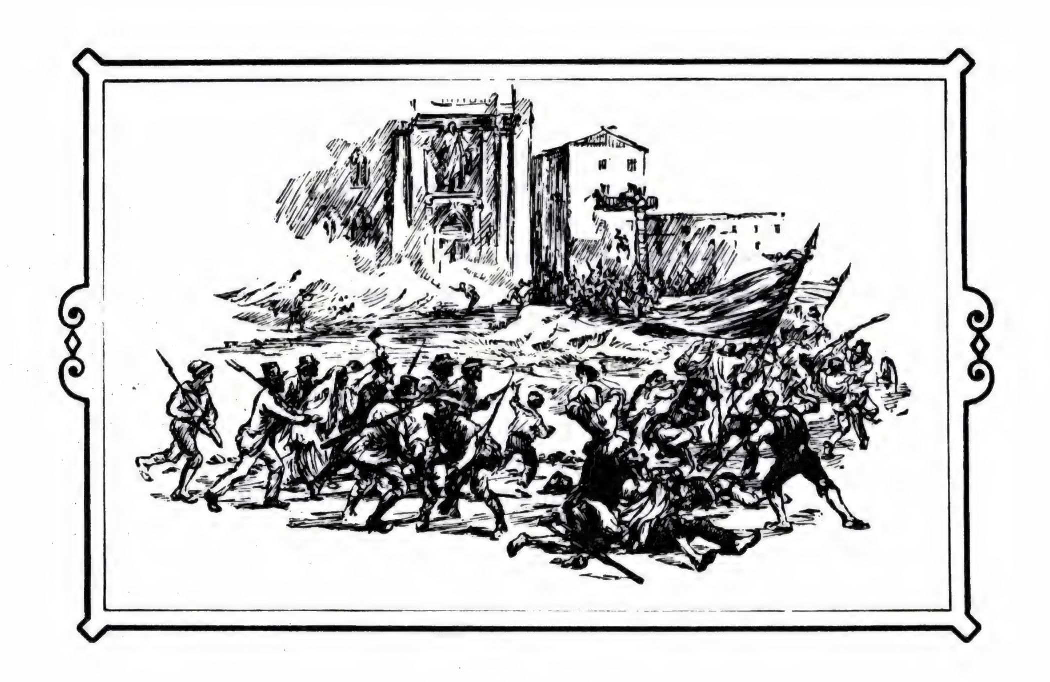
— А ваша скрывает,— сказал Джулиан.— Скрывает ваш волевой подбородок. Когда вы молчите, вы кажетесь значительно добрее, из-за бороды. Но когда вы говорите, борода уже ничего не может скрыть. Что вы посоветуете нам на прощание? — спросил Джулиан Гарни, когда Маркс собрался уходить.

— Я могу лишь повторить то, что уже сказал на митинге в честь годовщины польского восстания,— ответил Маркс.— Англия — это страна с наиболее развитым пролетариатом. И буржуазией, разумеется. Противоречия здесь обнажены до предела. Поэтому победа английских пролетариев над английской буржуазией будет иметь решающее значение для победы всех угнетенных над угнетателями. Вы, чартисты, не должны поэтому ограничиваться высказыванием благих пожеланий об освобождении других наций, о победе пролетариата в других странах. Разбейте ваших собственных, внутренних врагов и тогда вы увидите, как рухнет старое общество во всем мире.

Маркс вернулся в Брюссель 12 декабря. Это было воскресенье. В среду в Брюссель приехал Энгельс.

— Сколько ты намерен пробыть здесь? — спросил Энгельса Карл.

— Думаю, дней пять. И мы снова будем работать вместе. Теперь над «Манифестом Коммунистической партии».



Глава шестая

Новый, 1848 год Карл встретил на банкете Немецкого рабочего общества в Брюсселе.

На банкете присутствовали не только коммунисты-немцы, но и бельгийские, польские, французские коммунисты и демократы.

Маркс сказал:

— Первым шагом в рабочей революции будет превращение пролетариата в господствующий класс.

Он говорил не более десяти минут. Но в эту свою речь он включил все то самое главное, что спустя два месяца прочли в «Манифесте Коммунистической партии» тысячи людей. «Манифест» был напечатан в Лондоне, в маленькой типографии на Ливерпуль-стрит, на деньги рабочих. Он был разослан во все общины Союза коммунистов. В Париж он пришел, когда там началась революция, и был встречен восторженно.

— Вот и праздник,— сказала Женни.— А я все думала, какой бы нам отметить праздник? Мы получили наконец часть наследства, но миновали все праздники: рождество, Новый год, день рождения Эдгара.

И вы, Энгельс, приехали в Брюссель раньше, чем мы ожидали. А праздник, оказывается, вот какой: революция во Франции!

В Брюссель Энгельс приехал 31 января. Он был выслан из Парижа французским правительством за революционную пропаганду среди рабочих. Выслан за месяц до победы революции.

Революция началась во вторник двадцать второго февраля, а уже двадцать четвертого победила.

— Теперь вы отмщены, фрау Маркс! — сказал Энгельс.— Французский народ изгнал из Парижа ваших гонителей! Я очень жалею, что не смог быть в эти дни вместе с парижанами.

Пришел Вольф. Пришел, запыхавшись.

— Что нового? — спросил его Маркс.

— Все новости уже, к сожалению, устарели. Революция свершилась два дня назад, но лишь теперь стало известно, как это было. На бульваре Капуцинов, у министерства иностранных дел, гвардейцы расстреляли пятьдесят восставших. Париж покрылся баррикадами. Восставшие разрушили все железные дороги вокруг Парижа, затем захватили оружейные магазины...

С корзиной в руках прибежал Веерт.

— Ты откуда, с рынка? — спросил его Маркс.

— Я встретил Ленхен,— объяснил Веерт.— Вот взял у нее корзину, которую она едва тащила.

— А где же сама Ленхен?

— Она бежит следом,— ответил Веерт.

Все рассмеялись: Веерт с тяжелой корзиной в руках бежал так быстро, что обогнал Ленхен.

— Зачем же ты так торопился? — весело спросил его Карл.

— Чтобы сообщить вам новость: народ разгромил Тюильри!

— Эх! — вздохнул Энгельс.— И это уже сделано без нас!

Вскоре пришел Филипп Жиго.

— Я раздобыл экземпляр одной французской газеты,— сказал Жиго.— В ней все описано со слов очевидца. Вот эта газета.— Жиго вынул из кармана сложенную газету и, развернув, потряс ею в воздухе.— Я заплатил за нее двадцать франков! Теперь французские газеты стоят очень дорого...

— Дайте ее мне! — потребовал Карл.— Я хочу увидеть своими глазами.

Жиго передал Карлу газету.

— Да,— сказал Карл, пробежав глазами несколько строк.— Это рассказ очевидца. Такое нельзя придумать, друзья! Такие сюжеты способна создавать лишь сама революция. Слушайте! — Маркс стал читать.

Казалось, что ничего более захватывающего никто из них в жизни не слыхал. Впрочем, так это и было. Нет в мире более захватывающих событий, чем революция. И нет более славных героев, чем народ, поднявшийся на борьбу за свободу...

— «Струсил король Луи-Филипп. Все, что бы он ни обещал народу, тонуло в мощном крике: «Долой Луи-Филиппа! Да здравствует республика!» И тогда он решился на последний шаг: он отрекся от короны, чтобы спасти престол.

— Я отрекаюсь от короны, которую воля народная возложила на меня,— заявил он,— отрекаюсь в пользу моего внука графа Парижского! И покидаю дворец!

— В Тюильри! — послышался тогда на улицах и площадях многоголосый клич.— В Тюильри!

Первым во дворец ворвался отряд, который возглавил капитан Дюнуайе. Наводя ужас на царедворцев, отряд с криками промчался по анфиладам комнат и ворвался в тронный зал. Дюнуайе сорвал с места королевский трон, вынул из кармана уголек, подобранный им на одной из улиц, и написал на золотой парче: «Парижский народ — всей Европе: свобода, равенство, братство! 24 февраля 1848 года».

А тем временем народу в тронном зале становилось все больше. Дюжие гвардейцы сняли с мраморного постамента и выбросили в окно бронзовый бюст Луи-Филиппа. Другие открыли стрельбу по портретам королевских сатрапов. Со звоном разлетелись по паркетным полам осколки зеркал, люстр и ваз.

В зале для спектаклей восставшие захватили все инструменты оркестра, оттуда слышится адская какофония. Проникшие во дворец мальчишки наряжаются в бархатные халаты, женщины льют на свои волосы духи, оставленные на столиках принцессами, румянят щеки, примеряют кружева и меха.

Кто-то крикнул:

— Трон — на площадь Бастилии!

Четверо рабочих подняли трон и, держа его за ножки над головами,

понесли из дворца. Толпа, орущая, смеющаяся, стреляющая из ружей в потолки, двинулась следом за ними.

Двое молодых людей на прекрасных лошадях из королевской конюшни возглавляют процессию. Барабанщики неистово бьют в барабаны. На пиках, следующих за троном, клочки пурпура, дамасского шелка, атласа, расшитого золотом и серебром, на штыках и саблях — куски мяса, хлеба, пустые бутылки, взятые в королевской кухне. Все поют «Марсельезу».

Остановились у первой же баррикады. Рабочие опустили трон на землю, один их них стал на него и сказал, обращаясь к народу:

— Луи-Филипп удрал в Сен-Клу! Кто из вас хочет занять его трон?

Толпа ответила смехом.

— Я хочу! Я хочу! — протиснулся к трону старик-нищий.— Я хочу посидеть на троне! Такой случай! Дайте посидеть на троне!

Рабочий уступил трон старику. Тот сначала сел на него, потом забрался с ногами, закричал:

— Очень мягкое кресло! Отдайте его мне!

После старика на трон забрались мальчишки, сразу трое. Они принялись на нем прыгать и хохотать.

Рабочие прогнали мальчишек, снова подняли трон над головами и понесли дальше. Опять остановились у баррикады на перекрестке Рамбюто и Сен-Мартен. Теперь на трон взобрался другой рабочий.

— Парижане! — обратился он к восставшим.— Вы победили! Теперь не дайте себя обмануть трусливым политикам. Требуйте республику! Требуйте народного правительства!

Когда толпа, идущая за королевским троном, выплеснулась на бульвар Бомарше, к ней присоединились тысячи других парижан и национальных гвардейцев. Люди обнимались, пели песни, пускались в пляс впереди трона.

— Хочу попробовать трон на прочность! — сказал один из гвардейцев, остановив несших трон рабочих.— Хочу испытать его штыком.

Рабочие опустили трон, и гвардеец вонзил в его сиденье штык.

— Жаль, что на нем нет короля! — закричали из толпы.

На площади Бастилии трон поставили к подножию Июльской колонны, облили его керосином и подожгли. Вокруг горящего трона образовался в ту же минуту многотысячный хоровод...»

— Германия, надо надеяться, последует за Францией,— сказал Энгельс, когда Карл закончил читать.— Теперь или никогда воспрянет она из своего униженного состояния. Если есть у немцев еще энергия, гордость и мужество, не пройдет и четырех недель, как мы тоже воскликнем: «Да здравствует германская революция!»

— Ура!

— В половине первого ночи прибудет поезд из Франции,— сказал Жиго.— Если мы хотим узнать еще что-нибудь, надо поторопиться на вокзал.

— Мы знаем главное,— ответил ему Карл.— И стало быть, надо действовать. Я предлагаю созвать всех наших друзей. Нам предстоит принять важные решения.

— Следовало бы нам всем отправиться в Париж,— сказал Энгельс.

— Несомненно, Фред. Надо подышать воздухом революции. Надо собрать там все наши силы. Там мы сможем действовать и говорить свободно. Оттуда Германия должна услышать наш голос. Обязательно отправимся в Париж. Но сначала надо связаться с немцами в Лондоне. Надо заготовить необходимые воззвания, определить тактику нашего поведения. И сделать все, чтобы бельгийцы также не остались стоять в стороне от революции, как и немецкие рабочие.

В субботу Брюссель был спокоен. Все понимали, что и тем, от кого зависело будущее Бельгии, нужно время на размышление. Народ терпеливо ждал, что скажут революционные вожди и король Леопольд. Король оповестил своих министров, депутатов и мэров о том, что выступит перед ними с речью в воскресенье утром. Представители крупной буржуазии наметили свою встречу на вечер. Вечером же, как о том сообщил горожанам последний номер «Брюссельской немецкой газеты», должен был собраться Комитет Демократической ассоциации, объединивший всех демократов.

С утра брюссельцы вышли на улицы, толпились у королевского дворца, у ратуши, у кафе «Оси́нь», где обычно собирались члены Демократической ассоциации. То и дело раздавались возгласы: «Да здравствует республика!» Полиция не предпринимала никаких мер против демонстрантов. Охрана королевского дворца мирно уговаривала брюссельцев

не шуметь. Один из офицеров королевской охраны обратился к собравшимся у дворца.

— Сейчас наш король произносит речь,— сказал он.— И вы своими неумеренными криками можете отвлечь его. Дайте же королю произнести свою речь спокойно.

Королю Леопольду никогда еще не приходилось произносить таких речей перед своими подданными.

— Ваша воля,— сказал он, чем растрогал своих легковерных министров и депутатов,— для меня — высший закон. И подчиниться этому закону — мой долг. Что скажете вы, то и свято, то и истина. И если вы скажете сегодня: «Оставь престол!», то я немедленно это сделаю, уверовав в великий смысл такого шага. Только бы не лилась кровь, только бы наш народ был счастлив и независим. Но пусть и народ поверит сегодня мне: все, что прежде было сделано нами, что будет делаться в нашем королевстве от нашего королевского имени, служило и будет служить только одному: процветанию нашего отечества...

Говорят, что некоторые министры и депутаты плакали, слушая короля. Да и сам король подносил не раз платок к глазам, произнося свою речь. Высокое собрание не только не потребовало от короля отречения или хотя бы уступок, но устроило ему продолжительную овацию. Недаром хитрый Леопольд потратил на подготовку этой речи целую ночь, недаром он репетировал ее перед зеркалом. Он достиг своей цели: он усыпил и без того слабые демократические чувства своих парламентариев. Предумышленно унижаясь и расточая похвалы народу, он сохранил за собой свой королевский трон. И выиграл время для того, чтобы подтянуть к Брюсселю преданные ему войска. Они вошли в столицу к вечеру с приказом разгонять всякие собрания и демонстрации. А полиция — тоже по приказу короля — начала аресты среди эмигрантов, упорно распространяя слух о том, что все безобразия от них — от немцев, французов, поляков, итальянцев, которых не раз уже изгоняли из своих стран. Среди тех, кто был арестован полицией 27 февраля, оказался Вильгельм Вольф. Приказ, на основании которого он был арестован, гласил: подлежат аресту и высылке из Бельгии все эмигранты, не имеющие работы.

Вольфа арестовали на площади. Полицейские били его кулаками, сорвали очки, плевали в лицо, пинали ногами. Все это по распоряжению Оди, начальника службы безопасности.

... Комитет Брюссельской Демократической ассоциации начал свое заседание с принятия приветствия временному правительству Французской республики.

«Честь и слава вам, французы! — говорилось в конце приветствия.— Вы заложили фундамент союза народов, пророчески воспетого вашим бессмертным Беранже. Преисполненные непоколебимыми братскими чувствами, приносим вам, граждане, дань нашей самой глубокой признательности!»

Решено было, что сразу же после заседания приветствие будет отправлено во Францию с ночным поездом.

Второе решение было принято относительно оружия. Петицию муниципальному совету Брюсселя с требованием раздать оружие рабочим прочел Люсьен Жотран.

— Но пока у нас мало надежды на то, что муниципальный совет выполнит наше требование,— сказал Энгельс.— Мы должны купить оружие и вручить его рабочим. Это было предложение Вольфа, который сегодня арестован. Пусть каждый из нас внесет сумму, какую может.

Маркс уже до этого решения внес значительную сумму на закупку оружия из денег, полученных по наследству.

Ленхен, отправленная утром за покупками, вскоре вернулась в слезах.

— Что случилось, Ленхен? — спросила не на шутку встревоженная Женни: никогда прежде с Ленхен такого не случалось.

Ленхен махнула рукой, бросила на стол пустую корзину и еще пуще залилась слезами.

— Карл! — позвала мужа Женни.— Спустись к нам! С Ленхен что-то стряслось.

Карл спустился в столовую.

— Так что стряслось? — спросил он Ленхен.

— Лавочник отказался продать мясо,— всхлипывая, ответила Ленхен.— Он сказал: «Немцам не продаем. Пусть все немцы убираются в свой фатерланд!»

— Так и сказал? — нахмурил брови Маркс.

— Да, так и сказал. Еще сказал, что вся смута в Бельгии от немцев и что немцы хотят захватить власть в Бельгии. Что все немцы бунтовщики и что хозяин кафе, в котором собиралось ваше немецкое общество, вас больше к себе не пустит...

— И ты ничего не купила на завтрак? — спросил Карл.

— Ничего,— ответила Ленхен.

— Могла бы пойти в другую лавку.

— Ходила.

— И что же?

— А там еще хуже. На дверях написано: «Все немцы — свиньи. Убирайтесь домой!» Меня встретил Клаус, который еще вчера работал у этого лавочника, и сказал, что хозяин уволил его только за то, что Клаус — немец.

— Проклятие! — сказал Карл.— Впрочем, все логично: коль скоро есть указ о высылке из Бельгии всех безработных эмигрантов и пущен слух, что все они заговорщики и бунтовщики, предприниматели и лавочники начали действовать, то есть увольнять эмигрантов. И это в стране, где министром внутренних дел является француз господин Рожье, а королем — немец Леопольд. Они изгоняют своих соотечественников!..

— Зачем же? — спросила Женни.

— Чтобы отвлечь бельгийцев от мыслей о республике, растратить их энергию на мелкую националистическую возню вокруг немцев и французов. Старый, как мир, прием: боишься собаки — брось ей кость. Немцы и французы — кость у конуры посаженных на королевскую цепь бельгийцев...

Пришел Энгельс. Бросил на стол ворох газет.

— Обрати внимание на эти грязные листки, в которые вдруг превратились газеты. Еще вчера похвалялись они, что всей душой стоят за демократию. Сегодня же восхваляют добродетели Леопольда и с восторгом пишут о том, что палата депутатов проливала слезы умиления, что Бельгийское королевство — наилучшая из республик, лучше Франции...

— Охота же тебе тратить время на чтение такой чепухи. Что слышно об арестованных вчера? Я еще не выходил из дому.

— Вести самые плохие,— вздохнул Энгельс.— Говорят, что их бьют. Что при этих истязаниях присутствует господин Оди, начальник охранной полиции. Мне кажется, Карл, что уже началась охота и за нами. Ждут только подходящего момента...

— Вполне возможно, Фред. Нужно быть готовыми и к этому. Но не следует унывать. Нам предстоит еще несколько важных дел. Необходимо созвать брюссельский окружной комитет Союза коммунистов. Поскољ-

ку лондонский Центральный комитет передал свои полномочия нам, надо объявить наш окружной комитет центральным. Впрочем, лишь для того, чтобы он поручил мне и тебе, как только обстоятельства нам позволят, образовать Центральный комитет в Париже.

— Это понятно. Что еще?

— Пока у нас есть возможность, мы должны провести несколько собраний Демократической ассоциации. И позаботиться о том, чтобы на этих собраниях присутствовало как можно больше народа. Мы должны дать образцы энергичной коммунистической агитации для тех, кто останется в Брюсселе. Мы должны сделать все, чтобы помочь арестованным вырваться из тюрем. Привлечь к этому делу прессу, адвокатов, соответственно возбудить общественное мнение.

— А не взять ли тюрьмы штурмом, Карл?

— Ах, вот что! Теперь мне ясны причины твоего уныния, Фред. Тебе охота драться.

— Конечно же, охота,— признался Фред.— Я знаю, что ты мне на это скажешь. Ты скажешь: «Потерпи. Будет и это».

— Правильно.

— Вот я и терплю. Но терпеть так тяжело...

Женни протянула Карлу почтовый конверт.

— Что это? Из Парижа? — спросил Карл, взглянув на обратный адрес.— От кого?

— От Флокона, редактора «Реформы». Теперь он член временного правительства, как ты знаешь. Он приглашает тебя в Париж. От имени временного правительства... Прочти, прочти!

Карл вынул из конверта листок, прочел:

«Временное правительство. Французская республика, Свобода, Равенство, Братство.

От имени французского народа

Париж, 1 марта 1848 г.

Мужественный и честный Маркс!

Французская республика — место убежища для всех друзей свободы. Тирания Вас изгнала, свободная Франция вновь открывает Вам свои двери, Вам и всем, кто борется за святое дело, за братское дело всех наро-

дов. Всякий агент французского правительства должен толковать свои обязанности в этом духе.

Привет и братство.

Фердинан Флокон».

Карл опустился в кресло, вытер ладонью лоб.

— Устал,— сказал он, уловив встревоженный взгляд Женни.— И не каждый день приходят такие письма. Знаешь, я не тщеславный человек, но от этого письма и у меня защемило сердце... А что у тебя в руке? — спросил Карл, увидев, что Женни держит в руке еще один пакет.

— Не знаю, как тебе и сказать, Карл,— ответила Женни.— Насколько приятно письмо от Флокона, настолько же неприятно это, Карл. Это приказ, подписанный господином Рожье, министром внутренних дел Бельгии. Он касается тебя...

— Ты зря волнуешься, Женни,— сказал Карл.— Я догадываюсь, что в этом приказе. Он предписывает нам покинуть Бельгию?

— Да, Карл. Но ведь мы все равно собрались уезжать. Вот и приглашение Флокона...

Карл встал, подошел к Женни, обнял ее. Впервые, кажется, подумал о том, какие у нее слабые плечи, как она беззащитна, но как оберегает его! Вот и теперь старается подготовить его к удару, который скрыт в приказе Рожье, смягчить этот удар, заслонить собой от этого удара его, Карла, крепкого и сильного мужчину.

— Я думаю, что письмо Флокона способно нейтрализовать даже смертный приговор,— сказал Карл.— А тут какой-то жалкий приказ Рожье, блюдолиза Леопольда... Как скоро он приказывает нам покинуть королевство?

— Опять, как тогда в Париже,— ответила Женни,— в двадцать четыре часа...

— Могли бы придумать что-нибудь новенькое. Увы, все тираны скроены на одну колодку, изготовленную мерзавцем.— Карл отстранил от себя Женни, посмотрел ей в лицо.— Будем собирать вещи?

— Я уже начала,— сказала Женни.

— В таком случае я примусь за бумаги. Ненужные сожгу в камине, из книг возьму только самые необходимые.

— Ты будешь ужинать? — спросила Женни.

— Выпью чашку кофе в кабинете, чтоб не терять времени.

— Я принесу тебе.

Карл поднялся в кабинет.

В марте смеркается очень рано. Хотя был только шестой час, пришлось зажечь лампу. Увидев на столе сигары в коробке, Карл взял одну, закурил, сел в кресло. Перед ним лежала стопка чистой бумаги, книги, несколько страниц, исписанных его почерком, перья, стояла чернильница, которую Женни наполнила чернилами совсем недавно. В камине горели дрова — постаралась Ленхен: она знала, что Карл вернется к вечеру, и растопила камин. Книги на столе, книги на полках, на диване, на подоконнике, на камине... А если точно — три года и один месяц. Дольше, чем в Париже. И больше сделано. Написана вместе с Энгельсом «Немецкая идеология»... Правда, напечатать ее не удалось, но главное, ради чего они ее писали, было уже достигнуто: оба уяснили истины, ради которых стоило поработать. Потом создали Брюссельский Коммунистический корреспондентский комитет и установили связи с коммунистами в различных странах, помогли им очиститься от благоглупостей Вейтлинга, Криге, Грюна, Гейцена, Прудона, указали им на истинный принцип единства и подлинную цель борьбы. Теоретически отсталое и узкое объединение в рабочем классе — «Союз справедливых» они превратили в Союз коммунистов, партию пролетариата, разработали и опубликовали ее программу — «Манифест Коммунистической партии». Теперь, когда началась революция, «Манифест» сослужит рабочему классу хорошую службу...

Что еще? Да, написана «Нищета философии», десятки статей, превращена в орган коммунистов «Брюссельская немецкая газета», прочитаны лекции для рабочих, не раз он выступал с речами...

Родились Лаура и Эдгар!..

Началась революция, которая окупает все неудачи! И эту последнюю — приказ Рожье. Мерзавца Рожье. Без его приказа Карл оказался бы в Париже через пять-шесть дней. Теперь он будет в Париже уже послезавтра...

Женни принесла кофе.

— Ты ничего не делаешь? — удивилась она.— Сидишь и куришь?

— Прости, Женни,— сказал Карл, взглянув на часы.— Сейчас у нас соберутся члены Центрального комитета Союза коммунистов. Я сам назначил это заседание. А приготовиться к отъезду мы еще успеем. Ведь у нас в запасе двадцать четыре часа.

Центральный комитет заседал недолго. Было решено перенести ЦК в Париж. Сформировать новый ЦК в Париже поручили Марксу.

Был уже первый час ночи. Женни и Ленхен разговаривали внизу, гремели посудой. Маркс разбирал свои бумаги. Дети спали.

Сначала Карл услышал шаги и голоса на улице, а через несколько минут сильный стук во входную дверь.

— Не отпирайте! — крикнул он женщинам сверху.— Я сам спрошу, кому понадобилось ломиться к нам так поздно.— Он сбежал вниз по лестнице.— Пусть кто-нибудь поднимется к детям, чтобы они не испугались. Ленхен, сделайте это вы!

В дверь продолжали колотить кулаками.

— Какого дьявола? — спросил Карл, берясь за щеколду.— Что нужно?

— Полиция! — ответил за дверью басовитый голос.— Откройте, именем короля!

— Вы, кажется, забыли, что нельзя врываться в жилище граждан от захода и до восхода солнца! Даже именем короля! — сказал Карл.— Я не открою дверь!

— Мы только проверим ваши документы,— ответил все тот же голос.— Есть указ короля, который позволяет нам... Словом, если не откроете, мы выломаем дверь! Я помощник комиссара полиции! У меня есть полномочия!

В дверь снова забарабанили.

— Придется открыть,— сказал Карл Женни.— Покажу им приказ Рожье. Надеюсь, что это их успокоит.

— Что ж,— ответила Женни.— Открой. Детей они уже разбудили.

Карл открыл дверь. Первым переступил дверь помощник комиссара, бритый толстяк, от которого разило вином. За ним, толкаясь, в комнату вломились десять полицейских.

— Так чем обязан? — спросил Карл, когда толстяк отдал ему честь.— Почему вам не спится, господа?

— Я вижу, что и вам не спится, господин Маркс,— ответил комиссар, ухмыляясь, и тут же шутовски поклонился Женни.— Вы господин Маркс? Это так? — спросил он у Карла.

— Да, это так,— ответил Карл.

— Предъявите документы. Желательно паспорт.

— Паспорта нет.

— Тогда все, что есть.— Толстяк расплылся в нелепой улыбке и снова поклонился Женни. Потом повернулся к сопровождавшим его полицейским и приказал: — Осмотрите дом, удостоверьтесь, что здесь нет посторонних лиц и прочее.

— Я протестую! — заявил Карл.

— Увы, поздно! — развел руками полицейский.— Я свои приказы не отменяю.

— Ну и шут с вами,— сказал Карл и отправился следом за тремя полицейскими в свой кабинет.

Полицейские вошли в кабинет, увидели на столе раскрытый чемодан с бумагами, устремились к нему.

— Что под бумагами? — спросил один из них, обращаясь к Карлу.

— А что вы ищете? — спросил Карл.

— Например, оружие...

— Оружия нет,— ответил Карл.— Под бумагами только бумаги.

— Многовато,— заметил другой полицейский.— И зачем вы укладываете их в чемодан?

— А затем, господа, что министр Рожье прислал мне приказ с предписанием покинуть Бельгию в двадцать четыре часа.

— А! — обрадовался полицейский.— Это меняет дело! Ну-ка! — прикрикнул он на других.— Обыскать все как следует!

Карл спустился к помощнику комиссара с документами.

— Вот,— сказал он, вручая их ему.— Это приказ бывшего министра внутренних дел Франции господина Дюшателя о моей высылке из Франции. А это приказ нынешнего все еще министра внутренних дел Бельгии господина Рожье о моей высылке из Бельгии. В обоих значится, что приказы адресуются мне, Марксу. Надеюсь, это достаточно убедительно удостоверяет мою личность?

Помощник комиссара взглянул на бумаги и вернул их Карлу.

— Что? — спросил Маркс.

— Паспорт,— ответил тот.— Паспорт подданного Пруссии.

— У меня такого паспорта нет.

— Паспорт подданного Бельгии?

— Тоже нет.

— В таком случае я вынужден вас арестовать как лицо, не имеющее удостоверения личности. Как бродягу. Арестовать и доставить в тюрьму для выяснения и прочее. И не вздумайте сопротивляться! — вытара-

щил глаза полицейский.— Иначе мы применим силу! У нас есть полномочия!

— Я вижу, что у вас на все есть полномочия, на всякие беззакония,— сказал Карл.— И очень надеюсь, что уже завтра вы об этом пожалеете.

— Одевайтесь! — рассвирепел толстяк.— Каждый бродяга будет мне угрожать!.. Да я вас лично отволоку!.. У меня чрезвычайные полномочия...

— Вы много выпили, господин полицейский,— сказала Женни.— Вам бы сначала протрезветь. Я засвидетельствую завтра, в каком состоянии вы к нам ворвались. Где ваши полномочия? Ну, покажите нам их! — потребовала она.— Все ваши полномочия — фляга, которая торчит у вас из кармана.

— Наряд, ко мне! — заорал помощник комиссара, багровея.— Этот человек арестован,— указал он полицейским на Карла.— На Рю-Амиго!

На Рю-Амиго находилась городская тюрьма.

Женни принесла Карлу пальто, шляпу. Сказала:

— Я сейчас же отправлюсь к Жотрану.

— Утром! — потребовал Карл.— Пожалуйста, утром, Женни! Я прекрасно посплю в тюрьме до утра, ничего со мной не случится.

— Поспит, поспит,— снова поклонился Женни толстяк.— Я сам выберу для него камеру потише и потеплее.— При этих словах он расхохотался.— Очень тихую и очень теплую камеру. И с компаньоном! — взвизгнул он от веселья.— У нас там есть один, мы его недавно поймали!..

Толстяк подмигнул полицейским, и те дружно загоготали.

— До свидания, Женни,— сказал Карл, обернувшись в дверях.— Прошу тебя, ничего не предпринимай до утра.

— Да, да! — продолжал веселиться толстяк.— Слушайтесь вашего мужа, мадам! Он хорошо проведет эту ночь!..

— А вот это уже хамство,— сказал ему Карл.— Но вы за все ответите. Я вам гарантирую.

— Попридержите его! — приказал полицейским толстяк.— А то еще драться станет! — И он снова расхохотался.

Ночь была холодная, ветреная и темная. Ветер раскачивал деревья и редкие фонари. Ленхен вынесла плед, накинула Женни на плечи.

— Вернитесь в дом,— попросила она.— Вы можете простудиться.



— Да,— сказала Женни.— Я оденусь и побегу к Жотрану. А ты останешься с детьми...

— Я с вами!..

— С детьми! — настояла Женни.

— Но как же вы ночью одна?..— Ленхен расплакалась.— И деток, конечно, нельзя оставить без присмотра... Может быть, мне сбегать за кем-нибудь из ваших друзей? Чтоб кто-нибудь пошел с вами...

— Это долго,— ответила Женни.— Все друзья живут далеко. А те, кто был близко, тоже сидят в тюрьме. Не беспокойся, ничего со мной не случится. К счастью, я хорошо знаю дорогу к дому Жотрана. Мы еще вчера ходили к нему с Карлом по делу Вильгельма Вольфа. Вот кто мне помог бы, Вольф... Но он сам в тюрьме.

— Какое страшное время! — вздохнула Ленхен.

— Страшное? Нет, Ленхен, совсем не страшное. Карла завтра же освободят. И мы поедем в Париж, где полицейские на него пикнуть не посмеют. А потом в Германию, где тоже будет революция... Скоро везде будет хорошая жизнь, Ленхен. Надо еще совсем немножко потерпеть. Но когда знаешь, что впереди хорошее, терпеть легко.

— Это правда,— согласилась Ленхен.

Женни вернулась в дом, оделась и отправилась к Люсьену Жотрану, адвокату, председателю Демократической ассоциации. Шла быстрым шагом, бежала. Совсем выбилась из сил. Несколько минут стояла у дверей дома Жотрана, не могла перевести дух. Потом позвонила. Ей сразу же открыли: в доме еще не спали. И провели в кабинет к Жотрану.

— Боже мой! — воскликнул Жотран, увидев Женни.— На вас лица нет. Что случилось? С Карлом?

— Его только что отвели на Рю-Амиго! Арестовали!

— Арестовали? Да как они посмели?

Жотран подошел к Женни, помог ей сесть.

— Спасибо,— сказала Женни.— Просто я очень быстро шла, торопилась... Карл не велел мне беспокоить вас до утра. И я понимаю, что теперь, наверное, ничего нельзя сделать для него...

Жотран взглянул на часы. Они показывали третий час ночи.

— Теперь уже и утро скоро,— сказал он.— Я как раз составляю новое требование со списком незаконно арестованных. Сразу же утром вручу его властям. Теперь включу и господина Маркса. Но и сам я лично побываю у начальника полиции...

— У Карла на руках приказ о высылке из Бельгии.

— Ах, мерзавцы! — Жотран хлопнул ладонями по столу.— Кто арестовывал? Вы не запомнили фамилию полицейского?

— Не запомнила,— ответила Женни.— Да он, кажется, и не назвался.

— Ничего,— успокоил ее Жотран.— Мы все равно его найдем. И накажем. А Карла утром же освободят. Я вам это обещаю.

Жотрану можно было верить. Он был не только известным в Брюсселе адвокатом, но и лидером демократов, с которым власти не могли не считаться. Демократическая ассоциация, председателем которой он был избран единодушно, нашла в лице Люсьена Жотрана энергичного и целеустремленного человека. К тому же он хорошо относился к Карлу. Разница в возрасте — Жотран был на четырнадцать лет старше Карла — не мешала ему видеть в Карле человека, который во многом превзошел его в знаниях.

— Теперь вам следует отдохнуть,— сказал он Женни.— У нас найдется для вас комната. Я прикажу сейчас приготовить...

— Нет, нет! — возразила Женни.— Я не могу остаться. Дома дети... Никак не могу. К тому же Карла могут отпустить раньше... Спасибо вам. Но я не могу...

— Опасно ходить по городу в столь позднее время. Я хотел сказать, в столь беспокойное время...

У церкви святой Гудулы Женни встретила Филиппа Жиго, который уже узнал об аресте Маркса и теперь разыскивал ее. Идя рядом с Филиппом, Женни подумала, что совсем не испытывала страха, когда бежала к Жотрану, хотя и тогда ей навстречу попадались люди, чаще по нескольку человек. Кажется, что однажды ей кто-то улюлюкал вслед в темном переулке, но и тогда она не вспомнила о страхе. А теперь, увидев идущую им навстречу группу шумных мужчин, попросила Филиппа остановиться и сказала:

— Давайте постоим за углом, пусть они пройдут.

— Хорошо,— согласился Филипп,— постоим, пусть пройдут.

Встречные прошли мимо, не увидев их.

— Вы слышали, о чем они разговаривали? — спросила Женни.— О том, что вышвырнут из Бельгии всех иностранцев...

— Да, слышал,— ответил Филипп.— Это подвыпившие лавочники. Проще — скоты. А им все еще кажется, что они люди. Я так скажу, повторив мысль вашего мужа: к какой бы великой нации ни принадлежал человек, но если он отказывает представителю другой, пусть самой маленькой нации в праве на человеческое достоинство, значит, он принадлежит к классу угнетателей, к обреченному классу. Истинное братство возможно только между людьми труда.

— Вы, Филипп, и Жотран — прекрасное тому доказательство. Вы встали на защиту немцев, итальянцев, французов. Вы истинно представляете свой бельгийский народ, Филипп.

Остальную часть пути они проделали без всяких приключений. Оба озябли, оба мечтали о домашнем тепле, торопились, даже заговорили о том, какие дрова в камине горят жарче. Но в дом не попали. Ни Женни, ни Филипп.

У подъезда их ждал полицейский.

— Госпожа Маркс? — спросил он вежливо, когда Женни и Жиго остановились перед ним.

— Да,— ответила Женни.

— Я знаю, что ваш муж арестован,— сказал полицейский,— и что он находится теперь в тюрьме.

— Да,— сказала Женни.— Это так.

— Если вы хотите повидать вашего мужа,— предложил полицейский,— вам стоит лишь пойти со мной.

— Это что — любезность? Или чей-то приказ? — спросила Женни.

— Вам, конечно, трудно предположить, что и у полицейского может быть доброе сердце... Это любезность,— ответил полицейский.

— Что вы на это скажете? — обратилась Женни к Жиго.— Я пойду.

— Я с вами,— ответил Жиго.

Через полчаса они были в полицейском управлении.

— Ждите здесь,— сказал полицейский.— Комиссар скоро примет вас. Сейчас я ему доложу.

Полицейский исчез за дверью и больше не появился. Через несколько минут вышел сам комиссар и спросил, увидев Женни и Филиппа:

— Вы по делу господина Маркса?

— Да,— ответила Женни.

— Войдите,— предложил комиссар. У него были красные, воспален-

ные глаза. Он то и дело облизывал пересыхающие губы, пил из графина воду.— Кто такой господин Маркс? — спросил он грубо, не предложив Женни сесть.

— Мой муж,— ответила Женни.

— Ваш муж? — ухмыльнулся комиссар.— А это кто? — кивнул он в сторону Филиппа.— Ваш любовник?

— Ваши слова оскорбительны для нас обоих,— сказал ему Жиго.— Не забывайтесь!

— У вас есть документы? — не обратив внимания на слова Жиго, спросил у Женни комиссар.

— Нет, но вот господин Жиго может подтвердить...

— Господин Жиго может что угодно подтвердить,— грубо прервал Женни комиссар.— Женщин, которые бродят по ночам с чужими мужьями, мы называем одним словом...

— У этой женщины дома остались маленькие дети,— попытался протестовать Филипп.

— В камеру его! — заорал комиссар.

— И даму? — спросил один из полицейских.

— В карцер! — еще сильнее заорал комиссар.— В карцер!

Низкий потолок, каменный пол, сумрак, запах плесени, коптящий фонарь над дверью и женщины, с криком бросившиеся к двери, едва тюремщик загремел замком.

— Пополнение! — сказал полицейский, подталкивая Женни в спину и придерживая дверь приоткрытой ровно настолько, чтобы Женни могла в нее войти.— Веселей будет, девочки!

Женщины кричали и стучали в дверь кулаками и ногами еще несколько минут после того, как тюремщик и полицейские удалились. И лишь когда успокоились, обратили внимание на Женни.

— Где они тебя? — спросила одна из женщин, лицо которой не удавалось разглядеть.— На какой улице?

Другая потянула ее за подол пальто, приглашая сесть.

— Здесь солома,— сказала она.— Нет ли у тебя хлеба? Проголóдалась, как собака.

— А как зовут? А как зовут? — подскочила к Женни вертлявая девчушка.— Я что-то тебя раньше нигде не встречала. Есть хлеб?

— Хлеба нет,— ответила Женни, садясь на солому.— И нет сил отвечать на ваши вопросы.

...Карл находился недалеко от Женни, но она об этом не знала. Он же и предположить не мог, что Женни тоже в тюрьме. Ни разу за всю ночь ему такая мысль не пришла в голову. И если он страдал, вспоминая о Женни, то лишь потому, что думал о ее бессоннице, о ее тревожных мыслях, причиной которых стал его арест. И в то же время благодарил судьбу за то, что Женни не знает всего. Не знает о том, что он брошен в тесную камеру вместе с буйно помешанным. Комиссар устроил ему «веселое соседство» — не забыл о своем обещании.

Было около одиннадцати часов утра — об этом ей сказал надзиратель,— когда Женни перевели из карцера в соседнюю камеру, пустую и еще более холодную.

— Откуда такая милость? — спросила Женни у надзирателя.

— Кто-то о вас хлопочет, мадам,— ответил надзиратель.— Скоро вас отведут к судебному следователю.

Женни остановилась у оконной решетки, откуда был виден тюремный двор и окна камер на противоположной стене. Вдруг в одном из окон она увидела мертвенно-бледное лицо Филиппа Жиго. Он тоже увидел ее и теперь пытался знаками ей что-то объяснить. Наконец она поняла, что он указывает ей на помещение внизу. Женни взглянула туда и увидела Карла. Его вывели под конвоем в тюремный двор и куда-то увели. Это длилось всего три-четыре секунды, так что Женни не успела даже окликнуть его.

Час спустя она предстала перед судебным следователем. Судебный следователь допрашивал ее, пытаясь безуспешно склонить ее к показаниям, будто Карл враждебно относился к бельгийскому правительству. Ничего не добившись, следователь приказал Женни освободить. Был уже вечер, когда Женни добралась домой. Спустя час или два вернулся домой Карл. Они обнялись.

— Я должен немедленно покинуть Брюссель,— сказал Карл.— Срок, который господин Рожье дал мне для сборов, истек.

Карл и Женни, которая провожала Карла, то и дело поглядывали в окно вагона. Видели чужих людей, видели жандармов, которые также ждали отправления поезда: им нужно было убедиться, что их подопечный

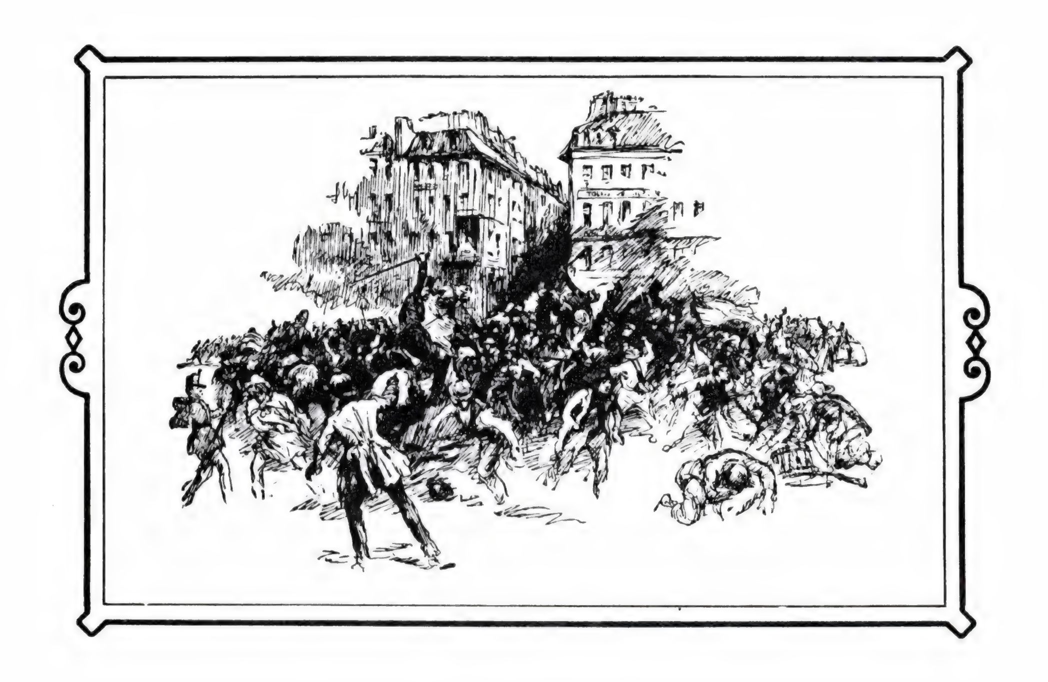
действительно уехал, покинул Брюссель. По каким-то причинам отправление задерживалось. Жандармы нервничали, прохаживались вдоль вагона.

— А мы спокойны,— сказал Карл Женни.— Мы должны быть спокойны. Эти мерзавцы,— Карл поглядел в окно на жандарма,— не увидят нашей растерянности, мы не доставим им такого удовольствия. А Энгельс и наши друзья вскоре заставят их изворачиваться и юлить за проявление столь неслыханного беззакония. Обязательно передай Энгельсу, что я прошу его помочь тебе уладить все наши дела. Впрочем, он сделает это и без напоминаний... Завтра пятое марта? — вдруг переменил тему разговора Карл.

— Пятое марта,— ответила Женни и прижалась щекой к плечу Карла.— Боже, как я устала! Просто валюсь с ног.

— Возвращайся домой и поспи, родная,— сказал Карл.— У тебя впереди так много хлопот! — Карл опустил голову: — Прости.

— Ну что ты, что ты,— улыбнулась Женни.— Ведь все-таки впереди Париж! — Это была фраза, которую часто произносил Карл во время их свадебного путешествия. Для обоих она означала, что все лучшее — впереди.



Глава седьмая

Едва приехав в Париж, Маркс с головой окунулся в партийную работу. Уже на другой день после изгнания из Брюсселя он присутствовал на многолюдном митинге немецких эмигрантов, который состоялся в Париже, в зале Валентино. На этом митинге было провозглашено создание Немецкого демократического общества, которое приняло приветственный адрес правительству Французской республики. Маркс был в президиуме этого митинга. Он сидел рядом с Георгом Гервегом, который стал во главе Немецкого демократического общества. Это была первая и последняя дружеская встреча Маркса с Гервегом в Париже. Вскоре они поссорились из-за намерения Гервега создать вооруженный немецкий отряд — легион, с тем чтобы вторгнуться с ним в пределы Германии и поднять там революцию. Предполагалось, что легион, оказавшись на территории Цвейбрюкена и Мангейма, провозгласит там германскую демократическую республику и создаст временное правительство. Маркс сразу же отверг эту идею как авантюрную и заявил, что революцию не прино-

сят народу на штыках, что сам народ должен созреть для революции и осуществить ее.

В начале марта в Париже был создан ЦК Союза коммунистов. Маркса избрали председателем ЦК. А вскоре после этого, обеспокоенный популярностью идеи Гервега о создании легиона, Маркс и другие деятели Союза коммунистов организовали клуб немецких рабочих. Первое заседание клуба состоялось в кафе «Пикар» на улице Сен-Дени. В газетах были даны объявления о записи в клуб, указаны адреса для желающих записаться — адреса Маркса, Шаппера и других членов Союза коммунистов. Маркс едва ли не ежедневно выступал на собраниях в клубе. Главная мысль, которую он старался внушить рабочим, состояла в том, что нельзя поддаваться призывам Гервега и Борнштедта, что следует готовиться к созданию революционной организации в самой Германии.

— Немецкое демократическое общество, возглавляемое Гервегом и Борнштедтом,— не уставал говорить Маркс,— является антикоммунистическим!

Гервег и Борнштедт, создавая легион, заручились поддержкой министра иностранных дел временного правительства Франции Ламартина, не подозревая о том, что Ламартин тут же уведомил правительства приграничных немецких земель о намерениях и планах легиона. Затея Гервега и Борнштедта, таким образом, была заранее обречена на провал: немецкие войска уже ждали легион, готовя ему сокрушительный разгром.

В середине марта было получено известие о начале революции в Германии. Немецкие эмигранты стали рваться на родину. Энтузиазм был так велик, что даже некоторые члены Союза коммунистов, забыв о предупреждениях Маркса, переметнулись к Гервегу, стали записываться в его легион. Маркс и Энгельс, обеспокоенные этим, опубликовали в газете «Популяр» заявление. В нем говорилось, что настоящие коммунисты отвергают преступную авантюру Гервега и Борнштедта. Несколькими днями раньше Борнштедт был исключен из Союза коммунистов.

— Мы должны выработать программу действий и требований нашей партии в Германии,— сказал своим друзьям Маркс.

Эта программа, которую Маркс и Энгельс назвали «Требования Коммунистической партии Германии», была обсуждена вместе с Шаппером, Моллем, Бауэром и Вильгельмом Вольфом — членами ЦК Союза коммунистов.

«Требования» были напечатаны в виде листовки. Вместе с «Мани-

фестом Коммунистической партии» листовки вручались членам Союза коммунистов, отправлявшимся в Германию для ведения революционной работы. Они уезжали в Германию поодиночке, чтобы не вызвать подозрений со стороны германских правительств.

А впереди у Маркса было еще больше дел. Одно из них — создание последовательной революционной газеты в Германии.

— Как только я получу право на жительство в Кёльне,— сказал Карл Женни, собирая ее в дорогу,— я напишу тебе в Трир. И ты приедешь.

Женни пробыла в Париже недолго. Хотя, как и Карл, давно полюбила Париж. К тому же он был родиной ее первой дочери и этим навсегда приковал к себе ее сердце. Женни было жаль снова расставаться с Парижем. Особенно теперь: в Париж вместе с победой революции пришла весна, и к ликованию парижан, прогнавших короля и его министров, прибавились тысячи новых радостей, даруемых солнцем, высоким небом, щебетаньем птиц, запахом трав и первых весенних цветов — золотых нарциссов и голубых гиацинтов. Город разобрал последние баррикады и пустил гулять по улицам теплый ветер. Никогда, казалось, парижане так приветливо не улыбались друг другу, как теперь, никогда не пели столько песен.

Но Женни была вынуждена расстаться с Парижем. Революционные события начали бурно разворачиваться в Германии. Маркс и Энгельс решили отправиться в Кёльн. Надо было освободить Карла от забот, связанных с семьей, чтобы он мог полностью посвятить себя революционной работе.

За время, что они прожили в Париже, Карл заметно изменился: его жесты и речи стали еще более энергичными, более резкими. Он и прежде всегда верил в осуществимость задуманных дел. Теперь же в нем эта уверенность заметно возросла.

— Мне жаль, что мы не успели побывать у Гейне,— сказала Женни.

— Я обязательно побываю у него,— пообещал Карл.— Хотя не могу себе вообразить Гейне, прикованного к постели. Думаю, что ему было бы неловко предстать перед тобой в таком виде.

— И все же кланяйся ему от меня, скажи, что я его помню и желаю ему всех доступных радостей. А теперь поцелуй меня, Карл.

В словах Женни прозвучал уловимый лишь для Карла упрек. Да, он

виноват. Да, он завертелся в эти дни и мало уделял внимания Женни. Вполне возможно, что ни разу не поцеловал ее. И не нашел времени, чтобы сходить с ней в театр, хотя обещал. Не побывали они и на веранде кафе «Каскад», где провели некогда несколько счастливых часов, слушая бродячего музыканта. В тот год они только поженились и были на пять лет моложе. На пять лет больше у них тогда было впереди счастья. И бед... Да, он виноват. Он опустил глаза.

— Ты прости меня,— сказал он Женни, потом посмотрел на нее с улыбкой и добавил: — Но я ни на минутку не забывал о тебе.

— О революции, Карл. О революции.

— И о тебе. О революции и о тебе.

— Пусть будет так,— вздохнула Женни.— До свидания. Как ты думаешь, Карл, следует ли мне попрощаться с Гервегами?

— Нет, не следует,— резко ответил Карл.

Здесь, в Париже, они навестили Гервегов лишь один раз. Карл надеялся отговорить Гервега и его жену Эмму от участия в создании немецкого легиона вместе с Борнштедтом. Не только Гервег, но и Эмма играла в этой истории не последнюю роль. Когда Карл и Женни пришли к Гервегам, Эмма тотчас же показала им свой, как она говорила, «боевой костюм» — наряд, специально сшитый для участия в боевых действиях совместно с немецким легионом. Эмма верила, что так и будет, что вместе с Георгом, возглавляя вооруженный отряд немцев-эмигрантов, они пересекут французскую границу и вторгнутся в пределы Германии под черно-золотым знаменем. Цвета́ этого знамени были нашиты на «боевом берете» Эммы. Именно Эмма разжигала Георга своей бредовой мечтой и подавляла в нем всякие попытки взглянуть на их затею трезвыми глазами. А затея их, романтическая на первый взгляд, в сути своей была преступной.

— Итак,— сказал Карл после приветствий и малозначащих вопросов-ответов,— я снова хочу с вами поговорить о легионе.

Гервег насупил брови. Эмма вышла из комнаты и в ту же минуту вернулась в своем «боевом берете».

— Так вы позволите поговорить с вами о легионе? — спросил Карл.

— А что говорить? — ответил Гервег.— Вы уже отняли у нас половину бойцов, переманили на свою сторону, отправили поодиночке в Германию, как трусов.

— Это не твои слова, Георг,— сказал Карл, подавив в себе возмущение.— Это слова фон Борнштедта.

— И мои тоже. И это правильное определение, Карл.

— Да, да! Правильное! — поддержала Георга Эмма.— Мы предлагаем немцам оружие и патроны. А что предлагаете вы? Листовки и брошюрки. Наши легионеры поднимут в Германии революцию и будут стрелять во врагов, а ваши? Ваши будут бормотать что-то невнятное, заглядывая в листовки и брошюрки. Разве не так?

— Ладно, поговорим о листовках и брошюрках. Уверяю вас, они сильнее ваших ружей,— сказал Карл.— Листовка, а вернее, «Требование Коммунистической партии Германии», которое мы вручаем рабочим, уезжающим в Германию, содержит тактику и стратегию немецкого пролетариата в предстоящей революции, которая разворачивается как антифеодальная и буржуазная. Вот эти требования: Германия должна стать единой. Но не под властью Пруссии или какого-либо другого немецкого государства. Она должна стать единой демократической республикой. В этой республике все получают избирательные права, осуществляется всеобщее вооружение народа, отменяются все феодальные повинности. Земля, шахты, рудники, железные дороги, каналы, пароходы, почтовые станции становятся собственностью государства. Гарантируются всеобщее бесплатное образование, зарплата, обеспечение нетрудоспособных. Буржуазная революция в Германии должна стать прологом революции пролетарской. А для этого необходимо объединить всех рабочих, нужна Коммунистическая партия Германии, а не ваш легион...

Георг и Эмма, казалось, слушали Карла с интересом. Когда он закончил, Эмма сказала:

— Но ведь это только слова, Карл. Кто завоюет для народа все эти прекрасные права?

— Народ и завоюет,— ответил Карл.— Пролетариат, руководимый коммунистами.

— Пустые мечты,— сказал Георг.— В свою веру ты нас не обратишь.

— А вдруг? — усмехнулся Карл.— Разрешите попытаться еще?

— Зря потратишь время,— ответил Георг.

— В таком случае,— сказал Карл,— я откровенно заявляю вам, что ваша затея с легионом обречена на полный провал.

— Почему же? — взвилась Эмма.— Ты не веришь в нашу храбрость?

— Эмма,— ответил Карл спокойно,— я верю в вашу храбрость. В вашу безумную храбрость. Но вы, перейдя границу, встретитесь с регулярной армией, с хорошо обученными и хорошо вооруженными солдатами. Никакая храбрость не поможет вам устоять.

— Узнав о нашем легионе, поднимется весь немецкий народ,— возразил Гервег.

— А если не поднимется? Ведь немецкий народ не знает, за что вы сражаетесь. Кто расскажет ему о вас?

— Вы и расскажете,— ответила Эмма.

— Нет,— сказал Карл.— Те триста или четыреста рабочих, которых мы переправим в Германию поодиночке, с нашими «Требованиями» и «Манифестом»,— кстати, скоро мы получим из Англии тысячу экземпляров «Манифеста Коммунистической партии»,— эти рабочие будут вести в Германии серьезную политическую работу, подготавливать народ к схватке, которая решит судьбу революции.

— Значит, то, что мы намереваемся сделать, не для революции? — мрачно спросил Гервег.

— Вы погубите и людей и себя. Вы погибнете, ничего не добившись, Георг. Будь же благоразумным.

— Никогда смерть не бывает напрасной.

— Да! — сказала Эмма.— Смелая смерть лучше трусливой жизни.

— Ладно.— Карл встал.— Красивые слова остаются всего лишь красивыми словами, Эмма. Ваш легион будет разбит. Вы закроете в Германию дорогу другим немцам, которые не меньше вас, а больше, в тысячу раз больше беспокоятся о судьбе немецкого народа, немецкой революции. С ними революционный разум, а не с вами! Вы будете виновны не только в той крови, которая прольется на границе, но и в той, которая прольется потом, в застенках тюрем. Вы дискредитируете революцию. Прощайте!

Карл и Женни покинули дом Гервегов.

Отправив Женни вместе с детьми в Трир, Карл и сам начал готовиться к отъезду в Германию. И когда уже почти все было готово к отъезду, он навестил Генриха Гейне.

Дверь Марксу открыла старая служанка Генриха Гейне.

— Я Маркс,— назвался он.— Могу ли я увидеть господина Гейне?

— Он сейчас моется,— ответила служанка.— Подождите вон в той комнате, если хотите,— предложила она.— Его вынесут через полчаса.

— Вынесут? — переспросил Маркс.— Впрочем, извините. Я все время забываю, что господин Гейне тяжело болен.

— Уж как болен, как болен! — вздохнула служанка.— Сам и шагу сделать не может. Точно ребеночек: все ему подай, все ему принеси. Врагу такой болезни не пожелаешь. Но голова у него светлая,— словно спохватившись, продолжала служанка,— голова хорошая, все понимает, про все разговаривает...

Четверо женщин внесли Гейне на полотняной простыне, держа ее за углы. Уложили в постель.

— Вот видишь, Карл,— улыбнулся Гейне, которого Маркс с трудом узнал: так изменила его болезнь.— Вот видишь, Карл, женщины все еще носят меня на руках.

Шутка получилась не очень веселая.

— Прежде всего хочу передать тебе привет от Женни,— сказал Карл, подсаживаясь поближе к кровати.— Она просила.

— Да, да. Спасибо, спасибо.— Гейне закрыл глаза.

— Ты устал, Генрих? — спросил Карл.

— Нет. Я закрыл глаза, чтобы яснее представить себе Женни. Она по-прежнему очаровательна? Не постарела?

— Никого не щадит время, Генрих,— ответил Маркс.— У нас уже трое детей. Но Женни по-прежнему очаровательна.

— Я рад, Карл. О тебе же я не говорю: ты полон сил, у тебя прекрасные живые глаза и совершенно сократовский лоб, за которым так и чувствуются горячие и смелые мысли. А я — развалина, хотя жить мне еще лет восемь. Так говорит один врач.

— И живи,— сказал Карл.— Всякая жизнь — жизнь, другой не будет.

— Разумеется, Карл. Разумеется. Но если бы я знал раньше, что меня ждет эта матрасная могила, я нашел бы способ завершить свою жизнь иначе. С пользой для людей. Хотя, если говорить правду, не было подходящего случая. Я хочу сказать, Карл, что вы очень задержались с революцией. Что вам стоило начать ее хотя бы на три года раньше? — Гейне снова закрыл глаза, в уголках его губ задрожала слабая улыбка.

— Ты можешь еще послужить революции,— сказал Карл.— Как служил ей раньше: своими стихами.

— И тогда можно умереть?



— И тогда ты увидишь новую жизнь, Генрих.

— Думаешь, я увижу, доживу?

— Несомненно. Скажу тебе больше: ты сможешь вернуться в свободную Германию.

— Я не очень-то верю в это, Карл. Если не взяться за дело, никакой свободной Германии не будет. Гервег, Руге, Борнштедт — все они либо болтуны, либо авантюристы.

— Ты прав, Генрих. Ты, как всегда, прав. Понадобится время, чтобы все стало на свои места. Нужна большая работа. Нужно объединение всех демократических сил. Нужно довести общими силами буржуазную революцию до той точки, до той черты, за которой и начинается пролетарская революция. И подготовить пролетариат к этой, его собственной, революции. Поэтому я отправляюсь в Германию. Я и Энгельс. Мы намерены, Генрих, создать в Германии газету, которая объединит вокруг себя все здоровое и живое. Я надеюсь, Генрих, что на страницах этой газеты будут и твои новые стихи.

— Завидую тебе, Карл,— сказал Гейне.— До слез завидую. И боюсь, что не смогу сдержать этих слез. А ты подумаешь: «Каким слабым и слезливым стал Гейне». Но ты так не думай.— Гейне прикрыл глаза ладонью.— Ты так не думай, Карл. Конечно, я стал слабым, слезливым: меня доконала проклятая болезнь. Но я найду еще силы, чтобы написать для вашей газеты стихи. Я обещаю.

— Спасибо, Генрих. Теперь я уйду,— сказал Карл, вставая.— Мне пора. До свидания, Генрих.

— До свидания, Карл. Хотя, знаешь, я всем уходящим теперь говорю прощай. Я простился уже и со своей богиней. Я лежал перед нею и плакал.

— Перед кем? — не понял Карл.

— Перед Венерой Милосской. Когда я еще мог передвигаться, я попросил друзей доставить меня в Лувр, в тот зал, где стоит она. Я долго смотрел на нее, а потом лег перед нею на мраморный пол... Ведь на том свете, Карл, если он даже существует, нет Венеры Милосской. Она только здесь, на земле. Потому что создана руками человека. А что создано руками человека, то вовеки пребывает среди людей. Может погибнуть, но не может воскреснуть на небесах. Я говорю о прекрасном... Творя революцию, берегите прекрасное, Карл, в нем — человек. Прощай!

...Расставшись с Генрихом, Маркс направлялся к ратуше, где заседало временное правительство, чтобы повидаться с Флоконом. Дело было важное: правительство Французской республики, обеспечив оружием и обмундированием немецких легионеров Гервега и Борнштедта, обещало помочь и тем немцам, которые решили вернуться в Германию самостоятельно, поодиночке, членам Союза коммунистов. Тридцать тысяч франков, по утверждению Флокона, правительство отдало легионерам, вручив их Гервегу. Для легиона, состоявшего из восьмисот человек, этого было достаточно, чтобы продержаться, как предполагали сами легионеры, до победы, до скорой победы. Карл считал, что было бы справедливо, если бы такая же сумма была выделена правительством и для других немцев. Чтобы напомнить об этом Флокону, Карл и направлялся теперь к ратуше.

И тут, на площади перед ратушей, он увидел Гервега и фон Борнштедта, стоявших на возвышении. Георг Гервег произносил перед легионерами напутственную речь.

— Немцы! — говорил Гервег.— Тираны падут к вашим ногам. Они уже дрожат, глядя на восставших и победивших французов. Теперь им предстоит встретиться с вашей решимостью, с вашим оружием! Немцы! Да здравствует республика!

Площадь многоголосо отозвалась. Но не так дружно, не так встревоженно, как можно было ожидать.

Лицо Гервега вспыхнуло негодованием. Он негодовал на своих соотечественников, у которых не хватило запала для дружного и громового возгласа одобрения.

— Теперь — в путь! — закричал Гервег, так как все необходимые речи были уже сказаны.— Я жду вас на границе!

Послышались команды. Площадь пришла в движение. Шарканье сотен ног, позвякиванье амуниции, крики французов, пришедших проводить легионеров,— все это слилось в один гул, далеко не праздничный, даже унылый. Во всяком случае, так показалось Карлу. Это его ощущение усиливалось еще и тем, что лица у легионеров были озабоченные и даже усталые, снаряжение и обмундирование плохо подогнаны. Да и выправка недавних портных, сапожников, грузчиков, конюхов, продавцов мелких лавчонок оставляла желать лучшего. Но по этой же причине совершенно блистательно выглядели на их фоне молодые офицеры, которым было доверено командовать отрядами. И совсем роскошно выглядела

Эмма Гервег в своем черном бархатном берете, украшенном разноцветной кокардой, в костюме амазонки, сшитом у Юмана.

Наряд Гервега совсем походил на генеральский. Он сошел с возвышения и присоединился к офицерам, окружавшим Эмму.

Кто-то из провожающих бросил ему букет цветов. Гервег поймал его на лету, поднес к лицу, поклонился. Потом поднял цветы над головой и принялся читать стихи. Ему аплодировали. Громче других аплодировала Эмма.

Центральный комитет Союза коммунистов был созван в последний раз в Париже накануне отъезда Маркса и Энгельса в Германию.

Было обсуждено положение в Германии и задачи, которые предстоит решать Марксу и Энгельсу в Кёльне и Майнце, куда они собирались заехать по пути в Кёльн.

Положение в Германии складывалось далеко не так, как хотелось бы. Хотя восстания рабочих и мелкой буржуазии прокатились почти по всем городам немецких государств, плоды победы повсюду достались крупной буржуазии, которая в Германии оказалась настолько трусливой, что сразу же стала искать союз с монархией и дворянством. Увидев, какой грозной силой становится пролетариат во Франции, она делала все, чтобы не допустить объединения и вооружения немецких рабочих. Армия, полиция, государственный аппарат во все еще раздробленных немецких государствах оставались в руках королей и помещиков. Словом, не были осуществлены до конца даже цели буржуазной революции, а контрреволюция уже набирала силу. В этих условиях объединение рабочего класса, создание газеты и пропаганда идей демократической революции становились главнейшей задачей.

Заседание длилось до глубокой ночи. Было окончательно решено, что ЦК Союза коммунистов необходимо немедленно перебраться в Германию. Была определена примерная дата отъезда Маркса и Энгельса — пятое апреля 1848 года.

После заседания Маркс и Энгельс остались в номере вдвоем.

— Подведем итоги? — спросил Карл.

— У меня тоже есть такое желание,— ответил Энгельс.— Вполне, как мне думается, естественное: впереди у нас новая жизнь.

— Ты прав, Фред: совершенно новая жизнь. Все прошлое было лишь

подготовкой к этой жизни, да. Вопрос, однако, в том, достаточно ли мы готовы начать новую жизнь.

— Ты в чем-то сомневаешься, Карл?

— А ты, Фред?

— Я не сомневаюсь,— ответил Энгельс.— Мы сделали все необходимое. Обоснованы принципы, определена роль и цель пролетариата в коммунистической революции, создана партия коммунистов.

— Все это, несомненно, так, Фред. Но партия пока малочисленна. За эти дни удалось отправить в Германию около двухсот коммунистов. Они укрепят общины Союза коммунистов, вольются в другие демократические организации, попытаются объединить рабочих, ремесленников, поднять крестьян. Но, Фред, не надо забывать, что и рабочий класс в Германии еще слаб. С другой стороны — трусливая буржуазия, которая способна в любой момент предать дело революции, и послушная королям армия. И еще,— добавил Карл, хлопнув по столу ладонями,— не все члены Союза коммунистов достаточно хорошо усвоили себе наше учение. Что ты на это скажешь? Должны ли мы принять все это в расчет, Фред?

— Разумеется, должны. И все-таки я верю...— Энгельс встал, подошел к окну, затем вернулся к столу, оперся о него обеими руками.— Все-таки я верю, Карл, что в горниле сражений и пролетариат получит необходимую закалку, и крестьяне расстанутся со своими иллюзиями о добром феодале и короле, что ряды коммунистов значительно вырастут. Мы не дадим буржуазии предать нас, а королевские армии не устоят перед вооруженным народом.

— Я тоже на это надеюсь,— сказал Карл.— Но чтобы наша надежда сбылась, нам придется работать всюду: в рабочих союзах, в демократических обществах, всюду, где можно влиять на рабочих, мелких буржуа, крестьян. А главное — нам нужна ежедневная газета. Вот и Веерт пишет из Кёльна, что Даниельс, Бюргерс и Д'Эстер затевают там новую газету. Он считает, что мы могли бы ускорить ее создание.

— Но кто будет делать газету?

— Ты, Фред. Я, Вольф, Веерт, Шаппер... Шаппер — отличный корректор, он держал корректуру «Манифеста». Еще, наверное, Фердинанд Вольф, ты знаешь его по Брюсселю, Эрнст Дронке... Словом, есть кому делать газету. Нет только газеты. Но она нужна.

— Ты упомянул Эрнста Дронке, Карл. Это серьезно? Ведь ты познакомился с ним только вчера.

— Но твои рекомендации, Фред... Я вполне доверяю твоему мнению о нем. Или есть причина для сомнения?

— Нет,— ответил Энгельс.— Я могу лишь повторить то, что уже сказал: Дронке парень очень скромный, очень молодой и, по-видимому, очень восприимчивый. Поэтому я полагаю, Карл, что при некотором надзоре и дальнейших занятиях он станет дельным человеком.

— Сколько ему лет?

— Двадцать пять,— ответил Энгельс.

— А тебе, Фред?

— В ноябре будет двадцать восемь.

— Значит, и ты молод.

— Конечно, Карл. И я молод, и Дронке. И ты, Карл. Мы все еще очень молоды. И это прекрасно. Потому что мы увидим не только победу революции, но и ее зрелые плоды. Очень хочется, Карл, все это увидеть. Очень хочется!

— Мне тоже,— сказал Карл.— Но вернемся к Дронке. Читал ли ты его книгу «Берлин»?

— Да, читал. В ней немало путаницы, но есть и здравые мысли. Иногда он даже цитирует тебя, Карл, правда не называя твоего имени. Книга написана два года назад. С той поры во взглядах Дронке многое изменилось. «Я очень повзрослел в тюрьме»,— сказал он мне. Так это, наверное, и есть.

Эрнст Дронке был арестован и посажен в тюрьму прусской полицией. Его обвинили в том, что в книге «Берлин» он «оскорбил его величество короля прусского». Почти полгода его продержали в камере-одиночке, запретив встречи с родственниками и друзьями. Затем состоялся суд, который приговорил его к двум годам пребывания в крепости Везель. Через два месяца Дронке из крепости бежал и вскоре оказался в Брюсселе. Это было в марте, когда в Брюсселе уже не было Карла, но оставался еще Энгельс.

— Я устроил ему суровый экзамен, Карл,— продолжал рассказывать о Дронке Энгельс.— И многое ему растолковал. Дронке с восторгом принял нашу точку зрения на революцию.

— Все правильно, Фред,— сказал Карл.— В Кёльн он поедет вместе с нами.

— Мне показалось, Карл, что ты плохо слушал меня,— заметил Энгельс.— Твои мысли были где-то далеко. Ты думал о Женни?

— Не угадал,— улыбнулся Карл.— Женни с детьми у матери, и я за них спокоен. Я думал о нашем Вильгельме Вольфе. Ты говорил о Дронке, а я думал о Вольфе. Не знаю, почему стал думать именно о нем. Возможно, потому, что в судьбе Вольфа и судьбе Дронке есть сходство: Вольф тоже был приговорен к тюремному заключению, тоже отбывал срок в крепости, ему тоже не разрешали видеться с друзьями и родственниками... Ты помнишь, что ему не разрешили даже в сопровождении стражи навестить умирающего отца.

— Ты мог бы вспомнить и о Карле Шаппере,— сказал Энгельс.— Он тоже прошел через тюрьмы.

— Ты прав, Фред. Все наши друзья прошли суровую школу жизни, закалены в борьбе. Большое счастье иметь таких друзей.



Глава восьмая

В Кёльне их встретили настороженно, даже холодно. Бюргерс лишь изредка поднимал взгляд на Маркса, то и дело поглаживал свою бороду, покашливал, выпячивал губы и повторял:

— У нас нет средств. Стало быть, надо, чтобы наша газета была более общедемократической, больше занималась делами Кёльна. Только тогда нам, возможно, удастся раздобыть необходимые средства.

Суть сказанного Бюргерсом заключалась в том, что Маркс и Энгельс рискуют отпугнуть акционеров будущей газеты — богатых промышленников.

Врач Андреас Готшальк, ставший недавно председателем Кёльнского рабочего союза, был откровенно против участия Маркса и Энгельса в газете.

— Нам хотелось,— сказал он при встрече с Марксом, упирая все время на слово «нам» и подчеркивая этим, что он говорит от имени всего Рабочего союза,— нам хотелось бы, чтобы газета не уводила читателей

в теоретические дебри, не затуманивала их мозги дискуссиями, в которых никто не может разобраться...

— Почему же никто? — спросил Маркс, не скрывая иронии.— Вы-то в них разбираетесь?

— Я разбираюсь, но...

— Вот и прекрасно! — не дал ему договорить Маркс.— Вы разбираетесь и, стало быть, сумеете разъяснить суть этих дискуссий другим. Разве не в этом задача руководителей Рабочего союза?

— Не в этом,— ответил Готшальк.— Совсем не в этом. Задача Рабочего союза, и моя в том числе, поскольку у меня нет интересов, отличных от интересов рабочих, заключается в том, чтобы бороться за улучшение жизни работников и ремесленников. За улучшение жизни, доктор Маркс! За то, чтоб они лучше ели, лучше одевались, больше зарабатывали. Или, по-вашему, это не задача?

— Разумеется, задача. Кто же станет это отрицать? Это наболевшая задача дня. Ее непременно надо решать. Вопрос, однако, в том, как вы намерены решать эту задачу. Если вы намерены выпрашивать у предпринимателей, у местных властей или у правительства подачки для рабочих, то это, конечно же, не решение.

— Я реалист,— ответил Готшальк.— И решать, что лучше: журавль в небе или синица в руках,— не хочу. Сегодня рабочие требуют, чтобы были снижены налоги на продукты питания. Завтра появится возможность переселить рабочих из лачуг в хорошие жилища, я буду бороться за такое переселение. Я реалист!

— И вы хотите, чтобы именно этими и только этими делами занималась газета?

— Да,— сказал Готшальк.— Именно этими. И только этими.

Впрочем, Готшальк не отвергал и политическую деятельность. Он, например, ратовал за установление в объединенной Германии конституционной монархии со всеобщим избирательным правом. А уже через месяц стал агитировать за немедленное установление «рабочей республики».

— И все равно нет средств,— упорствовал Бюргерс.— Нет денег, чтобы сделать нашу газету общегерманской, как мы того хотим. Местная, кёльнская газета — это понятно. Но ведь мы замахиваемся на общегерманскую...

— Давайте договоримся так,— предложил Маркс.— О средствах поза-

ботимся все вместе. Распространим как можно больше акций. Пошлем людей в разные города. Это в наших силах. Обсудим пункт за пунктом общую программу газеты. Проект такой программы поручим составить Генриху Бюргерсу.

Энгельс прикрыл рукой рот, чтобы скрыть улыбку. Карл начал атаку, сделав для разбега несколько шагов назад, а Бюргерсу показалось, будто Маркс отступил. В его глазах — огонь первого торжества, на устах слова снисхождения.

— Разумеется, я могу составить проспект газеты,— сказал Бюргерс.— И деньги можно раздобыть, если послать людей в разные города... Нужно лишь умело повести это дело.

— Мы поставим под название газеты два слова: «Орган демократии»,— сказал Маркс.

— Да?! — удивился и, кажется, обрадовался Бюргерс.

— Да,— твердо ответил Маркс.

— Именно это я хотел предложить,— сказал Бюргерс.— Маркс лишь на мгновение опередил меня. А я именно это хотел предложить.

— Не будем с этим считаться,— сказал Маркс, и Энгельс снова прикрыл улыбку рукой.— Хотя факт этот чрезвычайно знаменательный, Генрих. Мы не даром провели столько времени вместе.— Маркс говорил это, обращаясь к Генриху Бюргерсу.— Помнишь, как мы мерзли зимой сорок пятого, убегая из Парижа в Брюссель, как потом бедствовали в Брюсселе, делились друг с другом всем, чем могли... Общая судьба объединяет. Общая судьба делает людей единомышленниками, Генрих. Это прекрасно. Сказав, что наша газета должна стать органом демократии, я и не предполагал, что ты думаешь о том же. А ведь мог бы догадаться, помня о нашем прошлом...

— О нашем общем прошлом,— растрогался Бюргерс.— Да, да, о нашем общем прошлом.

— А будущее? — Маркс, сидевший все это время за столом, встал.— А будущее, друзья? Разве оно не станет нашим общим будущим? К чертям уныние! К чертям опасения! Не хватает средств? Найдем! Есть, есть еще люди, друзья, которые ради революции не пожалеют своего кошелька. Ведь кошелек — не жизнь, кошелек — пустяк! А мы готовы отдать за революцию жизнь! Разве не так? Разве не так, Бюргерс?

Бюргерс взял Маркса за руку и крепко пожал ее.

— Пусть кого-то испугают наши имена,— продолжал Карл,— пусть кто-то завизжит от страха! Это нас не остановит! Любовь и похвалы мерзавцев мы отвергаем! — При этих словах он весело подмигнул Энгельсу.— И конечно же, наша газета будет откликаться на требования рабочих, как скалы рейнских берегов откликаются на голос лодочника.

— Браво! — захлопал в ладоши Веерт.— Прекрасное сравнение, Карл!

— Мы будем отстаивать демократию с позиций пролетариата,— добавил Маркс.

Разговор на этом не кончился. Он продолжался и на другой день, и на третий. В конце концов общее решение было принято. Генрих Бюргерс, как и было договорено, составил проспект «Новой Рейнской газеты». И хотя этот проспект не вполне устраивал Маркса и Энгельса, они с ним согласились, чтобы ускорить выпуск газеты.

Энгельс уехал в Бармен, Веерт — во Франкфурт. Им, как и многим другим сотрудникам будущей газеты, было поручено найти для газеты акционеров.

Карл остался в Кёльне и занялся подготовкой первого номера «Новой Рейнской газеты», а также устройством своих личных дел. Чтобы вызвать семью в Кёльн, нужно было найти квартиру, получить право на жительство.

С квартирой дело уладилось быстро: помогли друзья, старые знакомства. Шесть лет назад, в апреле 1842 года, здесь, в Кёльне, Карл начал свою журналистскую деятельность: был сотрудником, а затем и редактором «Рейнской газеты». Многие в Кёльне еще помнят, как благодаря Карлу «Рейнская газета» за короткий срок стала самой популярной газетой в Рейнской провинции и вызвала гнев короля Пруссии...

Тогда Карлу было двадцать четыре года, он был холост и не существовало еще на свете ни Женнихен, ни Лауры, ни маленького Эдгара — его дочерей и сына. Да и нынешнего Карла тогда не существовало: был совсем другой Карл, последователь Гегеля, бунтарь духа, философ и поэт. Шесть лет для молодого человека — полное обновление мыслей и чувств. И странно ему вспоминать себя таким, каким он был тогда...

А город остался прежним. Архиепископ Конрад фон Гохстеден, положивший первый камень в основание Кёльнского собора шестьсот лет назад, узнал бы, наверное, свой город и теперь. Собор, конечно, не узнал бы: собор переменился за шестьсот лет, заметно приблизился к своему завершению. Да и пора бы: шесть веков — достаточный для этого срок. Правда, почти триста лет стен собора не касалась рука каменщика, а в конце прошлого века он служил складом для сена наполеоновских драгун. Это обстоятельство, возможно, и всколыхнуло в немцах сначала чувство возмущения поступком французов, а затем и благородное чувство уважения к отечественной старине. И вскоре почти в каждом немецком доме стали обязательными разговоры о достройке собора. Разговоры эти дошли и до королевского дворца. И тогда Фридрих-Вильгельм III приказал начать реставрацию собора. А нынешний король Пруссии Фридрих-Вильгельм IV решил его достроить. Как сообщают кёльнские газеты, в сентябре будет начата торжественная достройка собора. И возможно, на эти торжества прибудет сам Фридрих-Вильгельм IV. Все газеты подчеркивают это слово «возможно». А одна совсем смелая газета даже написала: «Возможно ли, что на торжествах закладки будет король?»

«Возможно, возможно»,— подумал Карл.

Марксу нравился Кёльн, родина Агриппины, супруги римского императора Клавдия. В честь Агриппины, как сообщают древние историки, город был назван Колониа Агриппина. Со времени рождения Агриппины прошло восемнадцать веков. И латинское слово «Колониа» стало произноситься как Кёльн. Карл любил гулять по мосту через Рейн, по длинному мосту, украшенному башнями и статуями. Если идти не торопясь, то путь от одного конца моста до другого занимает двадцать — двадцать пять минут. Двадцать пять минут в одну сторону и столько же обратно. Свежий ветер над Рейном, много солнца и в чистом небе, и на воде...

О чем-то он тосковал однажды в Париже. Вспомнил: в листьях каштана, росшего за окном, шуршал дождь, а ему, Карлу, почему-то слышался шорох дождя в травах на рейнском берегу. Или на берегу родного Мозеля? Ах, не все ли равно, не все ли равно?

Директор кёльнской полиции Мюллер, с которым Карл виделся на прошлой неделе, сказал ему:

— Теперь, именно теперь, вы можете надеяться, доктор Маркс, что ваше прусское гражданство будет восстановлено. Тогда, в Брюсселе, вы

поступили, конечно, недальновидно, отказавшись от прусского гражданства. Теперь у вас и хлопот никаких не было бы.

— Прусское гражданство создавало тогда много хлопот,— ответил Мюллеру Карл.— Ведь Пруссия настаивала на моей высылке из Брюсселя. Ей удалось выслать меня из Парижа, удалось бы и из Брюсселя.

— Возможно,— не стал спорить Мюллер.— Но теперь само провидение за вас. Я хотел сказал: сама революция...

— Но законы в Пруссии пока старые, господин Мюллер.

— Правильно,— согласился тот.— Законы пока старые, а отношение к ним уже новое. А когда на старые законы смотрят новыми глазами, изменяются и сами законы.

— Вы оптимист, господин Мюллер,— сказал Маркс.— Благодарю вас.

— Мне известно, что вы, господин Маркс, еще больше оптимист: вы, конечно, надеетесь, что старыми законами скоро будут обклеивать стены... Впрочем, можете не отвечать мне.

— Это тоже новое отношение? — спросил Карл.

— Если хотите, да,— ответил директор полиции.

Муниципальный совет утвердил «обратную натурализацию» Маркса, то есть возвратил ему прусское гражданство, но одновременно его уведомили, что решение муниципального совета не является окончательным, что оно должно быть утверждено окружным советом, а окружной совет запросит на этот счет мнение королевского правительства.

«Все еще королевского»,— подумал Карл.

Флокон в Париже предлагал ему принять французское гражданство. А живя в Брюсселе, он мог бы стать бельгийским подданным. Он всегда считал и теперь считает себя гражданином Германии. Особенно той Германии, которая будет, когда победит народ...

Не дожидаясь решения правительства Пруссии о восстановлении его в правах гражданства, Карл написал Женни, что ждет ее в Кёльне.

Двадцатого мая возвратился из Бармена Энгельс. Они встретились в доме № 12 на улице Святой Агаты, где разместилась редакция их будущей газеты.

— Мой кабинет,— сказал Карл, пропустив Энгельса впереди себя.— Нравится?

— Нравится,— не задумываясь ответил Энгельс.— Особенно стол.

— А что ты увидел на столе? — удивился Карл.

— Прочный,— ответил Энгельс.— Если по нему трахнуть кулаком, не развалится.

— А! — засмеялся Карл.— Никак не можешь забыть брюссельский разговор с Вейтлингом? У меня тогда с неделю болела рука...

— Стол придется отодвинуть от окна,— сказал Энгельс, садясь на узкий, обитый кожей диван.— Вон туда,— указал он рукой.

— Это зачем же?

— А затем, что в окно могут выстрелить и попасть в тебя, когда ты будешь сидеть за столом.

— Выстрелить? — удивился Карл.

— Конечно.

— Думаешь, что дело может дойти до стрельбы?

— Почему бы и нет? Обидим в газете какого-нибудь мерзавца, он и выстрелит.

— Пожалуй,— согласился Карл.— Кстати, я тоже приобрел пистолет. Из любви к оружию, разумеется. Не могу, правда, показать тебе его, потому что оставил дома. Но в редакции есть ружья. На всякий случай.

— А диван похож на тот, что я видел у тебя в Париже,— заметил Энгельс.— Такой же прочный и, кажется, непрожигаемый.

— Ты прав. Купил в память именно о том диване. А тот покупала для меня Женни.— Вспомнив о Женни, Карл невольно вздохнул.

— Здоровы ли жена и дети? — спросил Энгельс.

— Здоровы.— Карл заглянул в ящик стола, затем задвинул его с грохотом, сказал, садясь в кресло: — Материалов для газеты полный стол. Некоторые уже успели устареть. А газеты все еще нет. Не хватает средств... С какими новостями возвратился ты?

— Я писал тебе. На акции в Бармене и Эльберфельде приходится, к сожалению, мало рассчитывать. Дело в том, что даже радикально настроенные буржуа видят в нас врагов в будущем. А потому и не хотят давать нам в руки газету, то есть оружие, которое мы могли бы очень скоро повернуть против них. Они, как чумы, боятся того, что мы станем в нашей газете обсуждать вопросы коммунизма. Буржуа не хотят давать нам деньги, а у рабочих денег нет. Впрочем,— добавил Энгельс,— вернулся я не совсем пустым. Кое-кого удалось уговорить, заставить раскошелиться. Не знаю, надолго ли. Как только мы заговорим решительно, наши акционеры от нас побегут.

— Итог такой,— сказал Карл.— Из необходимых тридцати тысяч талеров нам удалось собрать лишь около тринадцати тысяч, менее половины. Несмотря на все твои старания, на старания Шаппера в Майнце и Висбадене, Дронке — в Кобленце и Франкфурте, Лупуса — в Бреславле, целая куча акций осталась не проданной. И продать их, пожалуй, уже не удастся. Выход один: увеличить число подписчиков. Газеты за объявления о подписке дерут огромные суммы. Поэтому мы выпустили афиши, распространили по всему городу подписные листы. Я и Веерт обошли чуть ли не все кафе Кёльна, чтобы оставить там на столах подписные листы и афиши.

Энгельс знал уже больше — о том, что сам Карл купил несколько десятков акций, каждая из которых стоила пятьдесят талеров. Купил, заведомо зная, что эти акции не принесут ему никакого дохода, то есть просто пожертвовал для газеты большую сумму денег из части отцовского наследства.

— А между тем нам следует торопиться,— продолжал Карл.— Ты сам знаешь почему. В Германии, во Франкфурте, существует учредительное Национальное собрание. Его избрал немецкий народ. Народ завоевал это право на баррикадах. И значит, Национальному собранию в своих актах следовало бы закрепить завоеванные народом права, его суверенитет. Выработать германскую конституцию и обезопасить страну от контрреволюции. А что делает Национальное собрание?

— Ничего,— сказал Энгельс.— Я познакомился с отчетами о заседаниях Национального собрания. Сплошь бестолковщина. Болтают, например, о регламенте. Болтают вот который день. Пусть погибнет весь мир, да здравствует регламент, порядок, который предупредил бы стычки между депутатами. Где собираются три немца, там непременно надо позаботиться о порядке...

— А контрреволюция не дремлет! Ты слышал о событиях в Майнце? О мерзавце Хюзере? Хюзер — комендант крепости в Майнце. Он выпустил в город несколько пьяных солдат, которые принялись дебоширить. Городские власти арестовали этих солдат, чего Хюзер, надо полагать, с нетерпением ждал. Он объявил сразу же город на военном положении, разоружил горожан и стал угрожать им в случае какого-либо сопротивления бомбардировкой. Каково?

— Я прочел об этом в последнем отчете о заседании Национального собрания,— сказал Энгельс.— Из Майнца возвратилась комиссия, послан-

ная туда Национальным собранием, и доложила, что прусские солдаты разоружили гражданскую гвардию. По докладу комиссии собрание не приняло, в сущности, никакой резолюции. Депутаты поболтали о том о сем и отправились пить пиво!..

Карл встал из-за стола, подошел к окну, потом резко обернулся к Энгельсу, заговорил, подчеркивая каждое слово:

— А между тем замысел Хюзера — это лишь часть плана реакционной берлинской военщины. Она стремится повсеместно разоружить гражданскую гвардию и передать ее безоружной в руки армии! Ты знаешь, Фред, что это уже случилось в Аахене, Трире, Мангейме. Теперь — в Майнце. Завтра это может произойти в других местах. А Национальное собрание, как ты сказал, пьет пиво! Что происходит, Фред? Что происходит? Впрочем, мы оба прекрасно знаем, что происходит.

Карл стал говорить о том, что коммунистов в Германии мало, что им еще не удалось создать сильную рабочую партию, а демократическая партия, опьяненная первыми победами, бездействует и теряет одну позицию за другой. Реальная власть сегодня принадлежит умеренной буржуазии. Она еще борется, хотя и робко, с королем, но уже объявила смутьянами подлинных революционеров. Многие демократы поддались чувству разочарования. Уже стали слышны голоса, что мир-де не созрел для подлинной революции. Вместо того чтобы действовать, многие стали грустно вздыхать и философствовать.

— Проклятая немецкая привычка,— сказал Карл,— философствовать там, где надо драться. Мы должны заставить их драться, Фред! Драться решительно. Нужна газета! Немедленно! Я уже все рассчитал: вместо того чтобы ждать первого июля, мы можем выпустить газету уже первого июня! Смотри! — Карл вернулся к столу, вынул из ящика материалы, макет первого номера газеты.— Здесь не хватает лишь двух-трех статей. И я подумал: «Что мешает Энгельсу написать большую статью о Национальном собрании во Франкфурте?» И сам себе ответил: «Решительно ничто не мешает». А что ты скажешь?

— Я готов.

— И еще мы напишем статью о мерзавце Хюзере. И конечно, дадим сообщение от имени редакции о том, почему мы поторопились с выходом первого номера «Новой Рейнской газеты». Текст может быть такой.— Карл взял перо и быстро набросал на листке текст сообщения:

«Выход «Новой Рейнской газеты» был первоначально намечен на

первое июля. Договоренность с корреспондентами и т. д. предусматривала именно этот срок.

Но так как новые наглые выступления реакции заставляют ожидать в скором времени принятия немецких драконовских законов, мы решили использовать каждый день в условиях свободы и начинаем выпускать газету уже с первого июня. Наши читатели должны будут, следовательно, извинить нас, если в первые дни наши сообщения и различные корреспонденции еще не будут содержать того богатого материала, каким мы в состоянии располагать благодаря нашим обширным связям. В ближайшие же дни мы сможем удовлетворить и в этом отношении все запросы читателей».

— Следовало бы, думаю, сообщить также о составе редакционного комитета,— предложил Энгельс.

— Ты прав,— согласился Карл и быстро дописал на листке: «Редакционный комитет: Карл Маркс — главный редактор; Генрих Бюргерс, Эрнст Дронке, Фридрих Энгельс, Георг Веер, Фердинанд Вольф, Вильгельм Вольф — редакторы».— Нравится? — спросил Карл.

— Бюргерс, значит, остается?

— Остается. Куда же от него денешься? Таково условие. Он принес мне вчера свою статью. Скажу тебе откровенно, что она не годится. Впрочем, я ее уже переделал. Вернее, половину переделал, а вторую половину совсем выбросил и написал сам. В первый номер ее не поставим, чтоб не затевать с Бюргерсом лишних разговоров. А потом посмотрим. Он стал очень важным, сам увидишь. То и дело заводит разговор о том, как определить политическое лицо газеты.

— А что пишет Вольф, наш дорогой Лупус? — спросил у Маркса Энгельс.

— Пишет, что скоро появится в Кёльне.

— Ему надоел Бреславль?

— Он сделал там все, что мог. Предвыборная борьба измотала его. Ты знаешь, что он был выборщиком, исколесил всю Силезию. Сам едва не стал депутатом франкфуртского Национального собрания. Депутатом не стал, но был избран заместителем депутата, а также стал редактором «Силезской хроники». Правда, ему там не дали развернуться... Недели через две обещает быть здесь. Ты знаешь, что Лупус — незаменимый работник. Ни один из нас не может писать так популярно, как Лупус.

— А Веерт взял на себя фельетоны? Это правильно. Я уверен, что у нас будут лучшие фельетоны. А где Дронке?

— Во Франкфурте. Скоро мы получим его материалы о Национальном собрании. Шаппер здесь, он готов держать корректуру газеты. Наборщики подобраны. Разносчиков газет успеем предупредить. Кстати, одного из разносчиков я хорошо знаю, его зовут Клаус или Старый Клаус: он разносил «Рейнскую газету», когда я был ее редактором. Так вот этот Старый Клаус сказал мне: «Доктор Маркс, я готов доставлять вашу газету хоть черту в пекло, если это нужно. Ваша прежняя газета была очень порядочной, а эта, верю, будет лучше всех».

— А знаешь, я тоже в это верю,— сказал Энгельс.

Маркс весело взглянул на него, но ничего не сказал.

В среду, первого июня, в зале экспедиции типографии было как никогда многолюдно: собрались кёльнские разносчики газет в ожидании первого номера «Новой Рейнской газеты». Карл не сразу вышел к ним, хотя давно заприметил среди них своего давнего знакомого Клауса. Он ждал, когда будут доставлены пачки с газетами. Наконец в зале появился издатель Герман Корф, которому было поручено руководить экспедицией «Новой Рейнской газеты», а следом за ним и тележки с пачками свежих газет. Разносчики принялись нагружать свои объемистые сумки. Сумки Старого Клауса были раза в два больше других. Да и сам Клаус на целую голову возвышался над всеми разносчиками, и голос его гудел, как иерихонская труба.

— Мне двойную порцию! — потребовал он.— Я всегда беру двойную порцию!

Скоро в наборной, откуда Карл наблюдал за разносчиками, стало теснее: пришли Энгельс, Веерт, Бюргерс, Шаппер, несколько человек наборщиков, печатники, верстальщики.

Разносчики, наполнившие свои сумки, просматривали страницы газеты, выискивая в них броские заголовки, сенсационную информацию. Это было профессиональное любопытство: из броских заголовков и сенсационной информации каждый из них составлял для себя несколько фраз, способных привлечь внимание читателей.

— Выйдем к ним,— сказал Карл.— Надо помочь им.

— Доктор Маркс! — завидев Карла, загудел Старый Клаус.— Гос-

подин редактор «Новой Рейнской газеты»! Попросим его сказать нам несколько слов!

— Да, да,— сказал Карл.— Несколько слов. Разумеется, о газете, которую вы сейчас получили. Так вот,— проговорил он громко,— наша газета разоблачает трусов, болтунов, предателей и врагов революции! Тайных и явных! Наша газета отстаивает власть народа и единство Германии! Отныне и до конца! До победы!

— Так и будем говорить,— ответил Старый Клаус.— Так это и есть, господа разносчики! — загудел он во всю мощь.— С богом!

Зал экспедиции быстро опустел. И в ту же минуту за воротами типографии раздался зычный голос Старого Клауса:

— Вот газета — друг всех честных людей! Клеймо на солдатскую морду Хюзера! Кто ищет правду, пусть ищет ее в «Новой Рейнской газете»!

— Ты доволен? — спросил Карла Энгельс.

— Вполне,— ответил Карл.— Есть хорошее начало. Теперь нужно, чтобы и продолжение было отличным.

Вскоре в редакцию поступили первые отклики на газету. Первым о газете высказался Андреас Готшальк — председатель Кёльнского рабочего союза. Он вошел в кабинет Карла и заявил:

— Нет! Решительное нет вашим заигрываниям с буржуазией! О чем вы толкуете? О заседаниях Национального собрания? Депутаты — сплошь буржуа! Мои рабочие за них не голосовали! Нужно немедленно порвать с буржуазией! Нужно выбросить лозунг немедленного провозглашения рабочей республики!

— Торопитесь, Готшальк! — ответил Карл.— Очень торопитесь. Буржуазная демократия далеко не исчерпала себя. Пока буржуазия борется против короля, против феодалов, против прусской военщины, пока она выступает революционно, мы обязаны ее поддерживать. Это аксиома! Это элементарно, Готшальк!

— Для меня аксиома другое: то, что вы в первом же номере исчерпали революционность вашей газеты!

— Революция — это движение народа, ниспровергающее устаревшие порядки, а не крикливые лозунги, порожденные истерией,— четко произнес Маркс.

После обеда в дверь постучался Курт Эйсельт, один из акционеров газеты. Карл предложил ему стул, сигару. Эйсельт долго прикуривал,

пыхтел, молчал. Потом похлопал ладонью по газете, лежавшей перед ним на столе, и спросил, кривя губы:

— Это что, господин Маркс? Это газета?

— Разумеется, господин Эйсельт. А по-вашему, что?

— По-нашему, господин редактор, это не газета, а повестка в суд. Повестка для вас, для меня и для всех остальных акционеров. Даже не повестка, а приговор! Да, да! Приговор! Нас всех посадят в тюрьму за такую газету! Это не орган демократии, как тут написано, а орган бунтовщиков! Как вы могли! Как вы решились?

— Что именно вас так напугало, господин Эйсельт?

— О Хюзере,— почему-то перешел на шепот Эйсельт.— То, что вы написали о Хюзере, коменданте крепости из Майнца.

— Почему?

— А потому.— Эйсельт затянулся дымом, потом объяснил: — Сегодня вы написали о Хюзере, а завтра напишете о начальнике кёльнского гарнизона, да? И солдаты вас расстреляют...

— Вы преувеличиваете смелость наших солдат,— попытался успокоить акционера Маркс.— Они не такие храбрые...

— Не говорите, доктор Маркс, не говорите. У кого в руках ружье или сабля, тот храбрее самого бога. Национальное собрание не решилось проголосовать против Хюзера, а вы его так... Надо бы извиниться, господин редактор.

— Перед Хюзером, перед этим мерзавцем, который запугал своими пушками целый город? Никогда, господин Эйсельт!

— Никогда?

— Никогда! — повторил еще более решительно Маркс.

— В таком случае, господин редактор, я вынужден буду отказаться от финансовой поддержки вашей газеты. Я не хочу, чтобы вы разорили меня. У меня пятеро детей, господин Маркс!

— У меня трое,— сказал Маркс.

— Трое — это все же не пятеро.— Эйсельт погасил сигару и встал.— Мое решение окончательное!

— Мое тоже.

— А у вас какое? — спросил Эйсельт.

— Никогда не извиняться перед мерзавцами,— ответил Маркс.

Узнав о разговоре с Эйсельтом, пришел Корф. Был он мрачен. Сел без приглашения. Пожевал губами, спросил:

— Вы по-прежнему доверяете мне распоряжаться финансами газеты?

— Что-нибудь случилось? — Маркс, писавший все это время, отложил перо, поднял голову, внимательно посмотрел на Корфа.

Герман Корф, отставной офицер, демократ, по общему согласию всех акционеров был назначен гарантом «Новой Рейнской газеты», ответственным за ведение ее финансовых дел.

— Что случилось? — повторил свой вопрос Маркс, так как Корф явно не торопился с ответом.

— Вы выставили за дверь Эйсельта.— При этих словах Корф так сморщился, будто у него заболели зубы.

— Я не сказал бы...

— Вы выставили за дверь Эйсельта! — повысил голос Корф.— Сегодня вы выставили за дверь Эйсельта, а завтра всех остальных акционеров?

— У меня нет таких намерений,— спокойно ответил Маркс.— К тому же я очень надеюсь, что не все наши акционеры так трусливы, как Эйсельт. А вы не считаете?

— Я считаю только деньги,— ответил Корф.— Только деньги. И мои подсчеты мне говорят, что потеря еще нескольких акционеров приведет нашу газету к краху.

— К финансовому краху,— уточнил Маркс.

— Разумеется.

— Но не к краху нашей принципиальности и чести.

— После финансового краха вряд ли придется говорить о принципиальности и чести...

— О принципиальности и чести, господин Корф, нужно думать прежде всего и постоянно! — Тон, каким заговорил Маркс, не предвещал ничего хорошего.

Корф встал.

Маркс подошел к нему вплотную. В его черных глазах, как в грозовой туче, таилась молния.

— Я хотел было только сказать... — пошел на попятную Корф,— лишь предупредить... К тому же мы напечатали статью Энгельса...

— Принципиальность и честь,— не дал ему договорить Маркс,— стоят не только ваших денег, но и жизни! Кажется, простая истина, господин Корф. О какой газете Энгельса вы хотели сказать?

— Акционеры могут потребовать вашего ухода из газеты, если вы будете... Статья Энгельса о франкфуртском собрании...

— Да! — сказал Маркс.— Что еще?

— Я предупредил,— ответил Корф и направился к двери.— Не озлобляйте акционеров, не восстанавливайте их против себя, господин редактор. После статьи Энгельса они побегут от нас.

— Подумайте о том, чтобы организовать широкую розничную продажу газеты,— сказал Маркс.— Это по вашей части.

Корф ушел.

Маркс возвратился к столу, сел и принялся за работу. Но долго поработать ему не удалось: пришел Веерт, сказал, что у него новости. Они касались Гервега.

Маркс уже знал, что поход легиона Гервега — Борнштедта закончился полным поражением, бесславным поражением. У деревни Нидердоссенбах легион был встречен регулярными войсками и разбит. Вторая рота шестого вюртембергского полка, из которой некогда дезертировал Гервег, первой открыла огонь по легионерам. Пятьдесят легионеров было убито, часть попали в плен, остальные отступили к французской границе. Гервег и его жена спаслись бегством. Все это произошло еще в конце апреля. Борнштедт взят в плен и посажен в тюрьму.

Карл, узнав о поражении легиона, сказал:

— Борнштедт и Гервег вели себя как авантюристы. Поражение было неизбежно. Пятьдесят жизней — вот цена их преступной затеи.

Теперь стали известны подробности бегства Гервега с поля боя. О них сообщали корреспонденты из Парижа и Швейцарии.

Уже накануне сражения Гервегом овладело беспокойство. Он не ложился спать, пытался писать стихи, но стихи «не шли». Потом долго смотрел на звезды и сказал: «Неужели это моя последняя ночь на земле?»

— Откуда известны такие детали? — спросил Карл у Веерта.

— О них охотно рассказывает Эмма. Говорят даже, что она начала писать книгу об участии Гервега в этом злосчастном походе. Книга уже продана издателям.

— Это очень похоже на Эмму,— сказал Карл.— Итак, он воскликнул: «Неужели это моя последняя ночь на земле?» Что же дальше?

— Едва началась стрельба, Гервег заметался по полю, отдавая бестолковые команды. Эмма утверждает, что, не будь ее рядом, Гервег

непременно угодил бы под пули. Он то и дело размахивал саблей, к нему трудно было подступиться, был бледен, в слезах. Тогда Эмма стала звать на помощь легионеров, требуя, чтобы они спасли Гервега, увели его с поля боя. «Я хочу умереть! — кричал он, видя, что его отряд терпит поражение.— Я хочу умереть вместе со всеми!» А между тем не стал сопротивляться, когда его повели в безопасное место.

Гервег и Эмма скрылись в ближайшей деревне. Вбежали в крестьянский двор, попросили хозяина спрятать их. Хозяин не сразу решился: стрельба велась уже совсем рядом, вюртембержцы стремительно приближались. Но Эмме удалось все же уговорить его. Вместе с хозяином она помогла Гервегу залезть в пустую бочку, которую сверху в ту же минуту забросали соломой. Сама Эмма переоделась, выпросив у крестьянина одежду его жены. Она сделала это вовремя, так как у ворот уже были слышны крики солдат.

Солдаты осмотрели двор, приняли Эмму за хозяйскую дочь и ушли. Пришло время подумать о том, как Гервегу и Эмме выбраться из деревни.

«Купите лошадь и телегу,— посоветовал Эмме крестьянин.— Бочку с вашим героем мы поставим на телегу, вы сядете на козлы и уедете».

Эмма так и поступила. Когда в деревне все успокоились, она подъехала к дому спасителя на телеге, вместе с ним водрузила на телегу бочку и благополучно выбралась из расположения неприятеля. Так Гервег был спасен от расправы вюртембержцев и вскоре появился в Страсбурге. Там он остригся, сбрил бороду и усы, чтобы подосланные врагами убийцы — он предполагал, что они мчатся за ним следом,— не могли узнать его. К возмущению легионеров, часть которых тоже добралась до Страсбурга, Гервег поселился в богатой гостинице и никого из них не допускал к себе. Они требовали у него денег, которые ему выдало временное правительство Франции, но он уверял всех, что никаких денег у него нет. Вражеские газеты стали преследовать его злыми карикатурами и советами немедленно застрелиться, недавние друзья отвернулись от него.

— Я рад, что не последовал за ними,— сказал Веерт, опустив глаза.— Рад.

Карл не стал напоминать Веерту, что от участия в авантюре Гервега его отговорил он. Но Веерт сам вспомнил о долгом и суровом разговоре в Париже, который состоялся между ним и Карлом.

— Я вел тогда себя глупо,— сказал он,— молол всякую чепуху о жажде подвига...

— Возможно,— не дал ему договорить Карл.— Но в итоге поступил разумно. Стоило, наверное, вспомнить об этом, чтобы навсегда забыть.

— Будем ли мы печатать что-либо о Гервеге? — спросил Веерт.— Получился бы хороший фельетон.

— Нет,— ответил Карл.— Не будем. Из уважения к памяти легионеров, погибших под Нидердоссенбахом.

Карл засиделся в своем кабинете допоздна и домой не пошел. Решил уснуть на диване. Погасил лампу и распахнул окно, которое держал закрытым с вечера: на свет в окно летели бабочки, кружились роем вокруг лампы, мешали сосредоточиться. Ночь была теплая. Звездное небо вздрагивало, как хорошо натянутый полог: от земли поднимался невидимый пар. Карл хотел было закурить, но вовремя вспомнил, что весь день не расставался с сигарой, и подумал, что Женни, узнай она об этом, не похвалила бы его. Конечно, она никак не могла узнать о его запойном курении, потому что была далеко, в Трире. Но вот он вспомнил о ней и словно бы перенес ее сюда. И ему захотелось подчиниться ей, заслужить ее похвалу. А вот, кажется, и ее голос, он звучит в нем, в его памяти: «Молодец, Карлхен. Твое здоровье — наша драгоценность».

— Чья это — наша? — вслух спросил Карл и улыбнулся.

«Моя!» — Карл узнал голос маленькой Женнихен. «И моя!» — это произнесла Лаура. И совсем тоненький голосок Эдгара: «Моя, моя!»

Через две недели приехала Женни с детьми. И это была большая радость. Ленхен, давно не видевшая Карла таким счастливым, спросила:

— У господина Маркса все дела идут хорошо?

— Все! — ответил Карл.— Все, Ленхен!

— Но больше всего вы, конечно, радуетесь революции?

Карл в ответ засмеялся, погрозил Ленхен пальцем.

— Надо бы пригласить гостей,— сказала Карлу Женни, когда было покончено с устройством квартиры.— Отметить наше возвращение на немецкую землю.— При этих словах Женни вопросительно взглянула на Карла.

— Да,— ответил Карл,— возвратились. Но времена беспокойные, и все еще может быть. Хотя нам не привыкать, Женни?

Женни вздохнула. Конечно, она ждала от Карла другого ответа, вернее, ей хотелось, чтоб он ответил ей иначе, хотя и сама понимала, что иного ответа быть не может.

Гостей позвали в воскресенье. Для Карла, да и для других сотрудников редакции, это был единственный свободный день, потому что по понедельникам газета не выходила.

Пришли Энгельс, Веерт, приехавший накануне из Бреславля Вольф, Шаппер с женой, другие сотрудники редакции, доктор Роланд Даниельс. Заглянул на несколько минут и Генрих Бюргерс, поздравил Женни «со счастливым прибытием в Кёльн» и ушел, сославшись на то, что его ждут неотложные дела.

— Ты поссорился с Бюргерсом? — улучив минутку, спросила Карла Женни.

— А! — махнул рукой Карл.

— Объясни,— потребовала Женни.

— Хорошо, постараюсь объяснить,— сдался Карл.— Бюргерс написал статью. Написал плохо. В таком виде ее нельзя было напечатать. Я переписал и дописал его статью. Напечатал. Бюргерс надулся. Вот и вся история.

Почтовый курьер, прибывший утром из Парижа, рассказал, что во время его отъезда на парижских улицах начались сражения между народом и национальной гвардией. Вся редакция ждала новых вестей из Франции. Но почта в тот день из Парижа не пришла. Не пришла она и на следующий день, двадцать пятого июня. Получены были лишь газеты, датированные двадцать третьим числом. О событиях в Париже в них еще ничего не сообщалось. Единственным источником сведений о парижском восстании были бельгийские газеты, хотя и в них события излагались еще очень скупо. Но одно уже было несомненно: в Париже началось настоящее рабочее восстание.

Двадцать шестого июня вести из Парижа пошли потоком. Начали проясняться подробности восстания. И одновременно стало ясно, что восстание парижан терпит поражение.

— Я хочу, чтобы о событиях в Париже написал ты,— сказал Эн-

гельсу Карл.— Тебе легче будет представить военную сторону дела, ведь ты бомбардир, служил в армии.

— Я согласен. Но хотелось бы сравнить твою и мою точки зрения на причину восстания.

— Думаю, что они полностью совпадают, Фред. Рухнули все иллюзии февральской революции. Французская нация раскололась на две нации — нацию имущих и нацию рабочих. Началась открытая война труда и капитала, война не на жизнь, а на смерть.

— Да, Карл. На знаменах, развевающихся над баррикадами, начертан лозунг: «Жить, работая, или умереть, сражаясь!»

— Умереть, сражаясь,— задумчиво произнес Карл.— Умереть, сражаясь... Что подсказывает тебе твой опыт, Фред? Каковы перспективы восстания с военной точки зрения?

— Четвертый день сорок тысяч рабочих сражаются с превосходящими их вчетверо силами противника. Сегодня в руках восставших остался только последний их оплот — предместье Сент-Антуан и часть предместья Тампль. Они не совсем удачны для боев: там очень широкие и прямые улицы, которые ведут прямо к центру предместья Сент-Антуан. Ты должен это помнить, Карл.

— Да, я помню,— ответил Карл.— Но как жаль! Как жаль, черт возьми! — Он ударил кулаком по столу.

— Там большой простор для действий артиллерии. И армия этим воспользуется.

— Значит, поражение?

— Значит, поражение,— ответил Энгельс.— Военное поражение. Но с каким геройством, с каким единодушием, с какой дисциплиной и с каким военным искусством сражались парижские рабочие, Карл! Ей-богу, они были на волосок от победы. Еще немного, и они закрепились бы в центре Парижа, взяли бы ратушу, учредили бы временное правительство и удвоили бы свою численность, потому что к ним тотчас примкнули бы рабочие остальных кварталов.

— Но этого не произойдет...— вздохнул Маркс.

— Не произойдет, Карл. Это не было решающее сражение. Я думаю, что решающее сражение впереди. И победа впереди.

— Ты прав, Фред!

— Я захватил с собой описание одного эпизода сражения на бульваре Сен-Дени. Хочешь послушать?

— Прочти.

— «Бульвар Сен-Дени был очень сильно укреплен,— принялся читать Энгельс, расхаживая по кабинету Карла.— Здесь разразился первый серьезный бой. Народ сражался с невиданным презрением к смерти. Сильный отряд национальной гвардии напал с фланга на баррикаду улицы Клери. Большая часть защитников баррикады отступила. Только семь мужчин и две молодые красивые девушки остались на местах. Один из этих семи поднимается на баррикаду со знаменем в руках. Остальные начинают стрелять. Национальная гвардия открывает ответный огонь. Знаменосец падает. Тогда одна из девушек, высокая, красивая, в изящной одежде, с обнаженными руками, подхватывает знамя, перебирается через баррикаду и идет к национальным гвардейцам. Огонь продолжается, буржуа из национальной гвардии стреляют в девушку и убивают ее в тот момент, когда она вплотную подходит к их штыкам. Тотчас же подбегает вторая, подхватывает знамя, поднимает голову своей подруги и, убедившись в том, что она мертва, в ярости бросает камни в национальных гвардейцев. И она тоже падает под выстрелами буржуа. Перестрелка усиливается, стреляют из окон, из-за баррикады. Ряды национальной гвардии редеют. Но вот подходит подкрепление, и баррикаду берут штурмом. Из семи защитников баррикады в живых остался только один. Его обезоружили и взяли в плен. Эту геройскую победу над семью рабочими и двумя девушками одержали франты и биржевые волки из второго легиона».

— Непременно включи этот эпизод в свою статью,— сказал Карл.— Через два часа она должна быть готова. Успеешь?

— Успею,— ответил Энгельс.

Статья Энгельса была отпечатана в экстренном приложении к газете. В самой же газете двадцать шестого июня появилась лишь краткая информация о событиях в Париже. В ней сообщалось, что Париж залит кровью, что буржуазное правительство ушло в отставку, что установлена военная диктатура кровавого генерала Кавеньяка.

Двадцать шестого июня последние отряды парижских рабочих оставили баррикады. Это был конец восстания.

«Новая Рейнская газета» напечатала статью Маркса.

Эта статья заканчивалась такими словами: «Нас спросят, неужели у нас не найдется ни одной слезы, ни одного вздоха, ни одного слова для

жертв народного гнева, для национальной гвардии, для мобильной гвардии, для республиканской гвардии, для линейных войск?

Государство позаботится об их вдовах и сиротах, декреты будут прославлять их, торжественные погребальные процессии предадут земле их останки, официальная пресса объявит их бессмертными, европейская реакция будет превозносить их от востока до запада.

Но плебеи истерзаны голодом, оплеваны прессой, покинуты врачами, по милости «порядочных» ославлены ворами, поджигателями и каторжниками; их жены и дети ввергнуты в еще более безграничную нищету; их лучшие представители из оставшихся в живых сосланы за море. Обвить лавровым венком их грозно-мрачное чело — это привилегия, это право демократической печати».

Ворами и поджигателями обозвала парижских рабочих «Кёльнская газета».

— Мерзавцы! — сказал Энгельс, смахнув со стола номер «Кёльнской газеты».— Они пишут, что рабочие грабители. Ложь! Они брали лишь оружие, боевые припасы, перевязочные материалы, необходимейшие средства к жизни! Они обзывают их каннибалами! Но кто разбивал черепа раненым, пристреливал побежденных, закалывал женщин? Разве не национальные гвардейцы? Кто превратил в руины целые кварталы Парижа? Неужели рабочие, у которых были только ружья? Но и это не все: «Кёльнская газета» злорадствует по поводу казней, которым подвергаются сейчас рабочие в Париже! Я требую места для статьи, для большой статьи против «Кёльнской газеты»! — заявил Энгельс.— В ближайшем номере!

— Я против! — заявил Корф.— Я категорически против! Мы окончательно подрубим этой статьей сук, на котором сидим! Статьи Маркса и Энгельса об июньской революции в Париже уже лишили нашу газету большей части акционеров! Практически мы остались без средств. Статья против «Кёльнской газеты», которая чрезвычайно влиятельна и которая сразу же ополчится на нас после статьи Энгельса, приведет нас к полному краху! Она убедит наших последних акционеров покинуть нас.

— Я за то, чтобы Энгельс отхлестал «Кёльнскую газету»,— сказал Маркс. Его поддержали другие.

Статья Энгельса была напечатана первого июля в тридцать первом номере «Новой Рейнской газеты».

Последние акционеры потребовали возвращения своих капиталов.

— Нужно снизить стоимость одного номера газеты,— сказал Маркс Корфу,— чтобы она стала доступной для всех. Так мы добудем новые средства. Пусть незначительные,— предупредил он возражение Корфа.— Пусть самые незначительные! Недостающую сумму я раздобуду сам.

— Как? Где? — воскликнул Корф.— Кто решится теперь нас поддержать? Ведь мы газета бунтовщиков!

— Я решусь поддержать газету,— ответил Маркс.— Я вложу в нее свои средства. Свои последние средства! — добавил он.

— Жена не согласится,— сказал Корф.— Никакая благоразумная женщина не согласится бросить в огонь все семейные сбережения.

— Все зависит от того, Корф, хорош ли будет огонь,— усмехнулся в ответ Карл.

Женни одобрила решение Карла.



Глава девятая

Жандармы появились у дома, где жил Фридрих Аннеке, один из руководителей Рабочего союза, рано утром, часов в шесть. Их было семеро. Позвонили в дверь. Служанка, не предполагая ничего худого, открыла им. Они оттолкнули служанку, приказали ей молчать и тихо поднялись по лестнице на второй этаж, где была спальня. Четверо жандармов вошли в спальню без стука, трое остались дежурить в передней. Один из жандармов, проникших в спальню, был пьян и заметно покачивался.

— Что вам угодно, господа? — спросил разбуженный Аннеке.

— Следуйте за нами! — приказал один из жандармов.

— Вставайте и одевайтесь! — сказал другой.— И побыстрей!

Аннеке попросил жандармов выйти в переднюю.

— Здесь женщина, господа,— сказал он.— И это неприлично...

— Поторапливайся! — рявкнул пьяный жандарм.— И без лишних слов! Иначе мы вытащим тебя из-под одеяла!

Трое других жандармов захохотали. Тот, что был пьян, смеялся громче всех, приговаривая:

— Вытащим! За ноги вытащим!

Едва Аннеке оделся, жандармы вытолкали его в переднюю. Пьяный ударил Аннеке, сам не устоял на ногах, повалился на стеклянную дверь и локтем разбил ее. Аннеке столкнули с лестницы. Старший приказал троим остаться в доме и ждать прибытия прокурора, а сам с другими жандармами повел Аннеке в тюрьму.

— Где ордер на арест? — спросил у старшего Аннеке.

Жандарм вынул из кармана какую-то бумагу и тут же спрятал ее.

Прибывший на квартиру Аннеке государственный прокурор Геккер приказал оставшимся там жандармам произвести обыск. Было конфисковано большое количество бумаг и прокламаций, выпущенных в разное время Рабочим союзом. Жандармы, усердствуя, прихватили также с собой и личные бумаги госпожи Аннеке, которые к делу не относились.

В то же утро был арестован Андреас Готшальк, председатель Кёльнского рабочего союза. Власти стянули в город войска, выставили дополнительную охрану у тюрьмы, вызвали гусар из Дейца, которые лихо проскакали по улицам спящего Кёльна. Стало известно также, что оберпрокурор Кёльна Цвейфель хвастался перед жандармами, что в течение недели покончит в городе со всякими рабочими клубами, союзами, свободой печати и прочими порождениями мартовской революции.

— Восстание рабочих подавлено в Париже, а радуется буржуазия всей Европы,— сказал Маркс, когда ему принесли информацию об аресте Андреаса Готшалька и Фридриха Аннеке.— Радуется и наша кёльнская буржуазия. Но ей не хватало своего, кёльнского повода для радости. И вот теперь такой повод подарили ей наши жандармы: арестованы руководители кёльнских рабочих. А впереди у нашей буржуазии, конечно же, новые радости, праздник победы... Но мы испортим ей этот праздник, обязаны испортить! А потому — материал о бесчинствах жандармов немедленно в номер. И подготовить статью, разоблачающую предательские намерения нашей буржуазии.

К вечеру по постановлению судебных властей жандармы арестовали еще несколько человек: секретаря Рабочего союза Калькера, активного деятеля этого же союза Янсена и рабочего Эссера.

Обо всем это сообщила своим читателям «Новая Рейнская газета».

— Будем ждать ответного удара,— сказал Маркс.

Ждать пришлось недолго. Уже на следующий день в редакцию пришел пакет с письмом от государственного прокурора Геккера, в котором

он грозно предупреждал: «Содержащиеся в статье клеветнические выпады и оскорбления против г-на обер-прокурора Цвейфеля и жандармов, производивших арест, получат должную оценку во время судебного следствия, которое возбуждается по этому делу».

— Очень хорошо,— посмеиваясь, сказал Маркс, прочитав письмо Геккера.— Теперь у нас есть превосходный повод посадить в лужу Геккера, Цвейфеля и всю их компанию вместе с жандармами. Я берусь за эту работу.

Прокуратура не замедлила начать судебное следствие против газеты. Первыми для дачи свидетельских показаний были вызваны к судебному следователю наборщики «Новой Рейнской газеты». Следователь, который допрашивал их, добивался настойчиво одного: он требовал назвать автора статьи, разоблачавшей незаконный арест руководителей Рабочего союза. Но никто из корректоров имя автора этой статьи не назвал. Такому же допросу был подвергнут и Маркс. Затем судебный следователь допросил Корфа. Обоим им показали черновик статьи, которая так взбесила Геккера и Цвейфеля. Спрашивали, узнают ли они почерк написавшего статью. Маркс и Корф ответили, что почерк им незнаком.

Позже по этому делу судебный следователь вызывал несколько раз Энгельса и Дронке. Они также отказались назвать имя автора статьи.

— Настоящая драка только начинается,— предупредил своих друзей Маркс.— Готовьтесь.

Тем временем контрреволюция все более смелела. Прусское правительство подготовило законопроект о печати — полицейский законопроект, по которому газетам запрещалось обсуждать действия государственных чиновников. Едва «Новая Рейнская газета» выступила против этого законопроекта, правительство разработало новый — законопроект о гражданском ополчении, суть которого сводилась к тому, что народное ополчение должно быть подчинено властям.

— Отныне наш девиз: ни минуты без борьбы,— сказал Энгельсу Маркс.— Нужно бить этих мерзавцев по голове, не давая им опомниться, пока существует наша газета.

Теперь Маркс все реже бывал дома, все чаще оставался на ночь в редакции, похудел, порою у него воспалялись глаза, он много курил, у него охрип голос.

— Ты работаешь на износ,— сказала ему Женни.

— Прости,— ответил Карл,— но сейчас иначе нельзя. Враг наглеет,

мы должны быть постоянно начеку. Ты, конечно, прости, но такова ситуация.— Он обнял жену, погладил по голове.

— Я понимаю,— сказала Женни.— Я все понимаю, Карл. Враг наглеет — это видят все.

Третьего августа Маркс получил уведомление из королевского окружного управления.

— Ну вот, полюбуйся,— сказал он Женни.— Мне отказано в праве на прусское гражданство. Отныне я иностранец на родной земле и могу быть в любой момент выслан из Кёльна. Это предательский удар, удар в спину. Правительство хочет расправиться не только со мной. Оно хочет закрыть нашу газету, которая давно для него словно бельмо на глазу. И это его главная цель. Но мы будем сражаться до конца!

Энгельс предложил Марксу обсудить предательское решение кёльнских властей на собрании Демократического общества. Маркс согласился. С речью на собрании выступил Энгельс.

— Мы все догадываемся об истинных причинах отказа Марксу в праве на прусское гражданство,— сказал он.— Не с Марксом хочет расправиться правительство, а с демократией! Оно хочет закрыть «Новую Рейнскую газету» — единственный орган левого крыла демократического и пролетарского движения. Только «Новая Рейнская газета» освещает истинные позиции различных классов в революции. Только она выступает за непрерывную революцию, решительно борется за единую демократическую Германию и смело противостоит врагам этого единства. Она прославляла беспримерное мужество парижских рабочих, на которых обрушился град клеветы и ненависти. Она поднимает голос в защиту борющихся за свою свободу итальянцев, венгров, поляков, чехов, других народов. Интернационализм, союз с революционными движениями в других странах — эти принципы последовательно защищает только «Новая Рейнская газета». Вот почему она стала прусскому правительству поперек горла. Вот почему правительство вредит ей всеми способами. Продолжается судебное преследование по поводу статьи об арестах. Почта не доставляет газету подписчикам. Полиция то и дело вызывает сотрудников газеты на допросы. И вот — удар по Марксу, в самое сердце газеты.

На собрании было принято решение отправить к кёльнским властям депутацию с ходатайством об отмене полицейских мер против Маркса.

Не дремали и враги. Полиция подготовила новый удар против газеты.

11 августа к полицейскому комиссару был вызван корректор «Новой Рейнской газеты» Карл Шаппер.

— Вот предписание господина Гейгера, полицей-директора,— сказал Шапперу полицейский комиссар.— Ознакомьтесь и распишитесь.

Шаппер прочел предписание. В предписании говорилось, что он, Карл Шаппер, должен в течение суток покинуть Кёльн вместе с семьей, как подданный другого государства.

— В течение суток?! Здесь нет ошибки? — спросил Шаппер.— Ведь у меня трое маленьких детей. Вот так, вдруг, покинуть квартиру, налаженный быт?..

— Конечно, конечно,— ответил комиссар.— Все это прискорбно. Единственное, что я могу сделать для вас, господин Шаппер, это закрыть глаза и, скажем, дней восемь не тревожить вас. Но через восемь дней... Вы сами понимаете: с господином полицей-директором шутки плохи.

— В чем мое преступление? — возмущался Шаппер, возвратясь в редакцию.— В чем? — обратился он к Марксу.

— В том,— сказал Маркс,— что ты один из руководителей Рабочего союза и сотрудник «Новой Рейнской газеты». Для прусского правительства мы все такие же преступники, как и ты. Депутация, которая посетила магистрат с ходатайством об отмене полицейских мер против меня, возвратилась ни с чем. Чиновники магистрата заявили, что ничего сделать не могут, так как вопрос о предоставлении мне прусского гражданства решают не они, а правительство в Берлине.

— Что же теперь делать? — спросил Маркса Шаппер.

— Послать всех к черту и работать,— ответил Маркс.— Впрочем, можно еще направить апелляцию министру внутренних дел Кюльветтеру. Моя жена настаивает на этом. Она надеется, что апелляция возымеет действие...

— А ты, Карл?

— Послушай.— Маркс взял со стола листок бумаги.— Я как раз сочинил эту самую апелляцию. Я пишу, что меня преследуют за мои демократические убеждения и оппозиционное отношение к существующему правительству. Что такое возможно только в старом полицейском государстве, каковым нынешняя Пруссия не является.

— Не является?

— Не должна быть,— ответил Маркс.— Я показывал уже мою апелля-

цию Энгельсу и Лупусу. Они считают, что ее надо опубликовать в нашей газете. А что думаешь ты?

— Они правы,— сказал Шаппер.— Письмо может затеряться в пути, а газета не затеряется. Это важно. На письмо, напечатанное в газете, министр не сможет не ответить.

— То же самое мне говорили Энгельс и Вольф. Но я не такой оптимист, как вы,— сказал Маркс.— Впрочем, увидим.

Кюльветтер ответил, что в силе остается прежнее решение королевского окружного управления, по которому Марксу отказано в праве на прусское гражданство.

— Во вражеском стане тишина,— сказал Энгельсу Вольф.— Стало быть, враги готовятся к нападению. Мы должны быть готовы к нему. И подготовить народ. Впрочем, сознаюсь, что о тишине я сказал для красного словца.

Энгельсу не надо было объяснять, что Вольф имеет в виду: он сам достаточно внимательно следил за всеми событиями в Германии. Эти события подтверждали мысль Вольфа о том, что контрреволюция готовится к решающему бою.

Поражение парижских рабочих, которое европейская контрреволюция расценила как свою крупную победу, придало смелости прусскому королевскому правительству. Контрреволюционный переворот был поставлен на повестку дня. Вскоре планы контрреволюции четко обозначились: король готовит роспуск берлинского Национального собрания, готовит заранее обдуманный удар против движения за воссоединение германских государств — открытое предательство интересов населения Шлезвиг-Гольштейна, желавшего войти в состав воссоединенной Германии. Заключив перемирие с Данией, которая воевала с этими княжествами, Пруссия получила возможность оттянуть свои войска в Берлин, чтобы опереться на них в своих контрреволюционных замыслах.

— К решающему бою следует готовиться и нам,— сказал Маркс.— Нужно привести в боевую готовность все наши порядки. Теперь уже мало выпускать газету. Нужно заняться организацией масс. Необходимо установить личные контакты с руководителями демократического и рабочего движения в других городах Германии и Австрии. Именно с этой целью я намерен предпринять поездку в Берлин и Вену. И прошу ва-

шего согласия, друзья. Особенно твоего, Фред,— обратился он к Энгельсу,— поскольку тебе придется возглавить «Новую Рейнскую газету».

В Берлин Маркс уехал в конце августа. И не только с целью укрепить связи с демократическими организациями столицы в преддверии надвигающейся контрреволюции, но и с тем, чтобы раздобыть средства для газеты.

Денег, которые вложил в нее Маркс, было явно недостаточно. Газета жила теперь только за счет тиража, потому что после статей об июньском восстании в Париже ее покинули почти все акционеры. Но в последнее время и тираж газеты стал уменьшаться, так как правительство, в ведении которого находилась почта, стало всячески препятствовать распространению газеты.

Берлин, хорошо знакомый Марксу с юношеских лет — ведь здесь он начинал свою студенческую жизнь,— произвел на него удручающее впечатление. Всюду чувствовалось, что народ оттеснен с позиций, которые он завоевал в мартовские дни, что дворянство осмелело, а вместе с ним и все то жадное, жирное, тупоумное, что жило под защитой прусского короля.

Если бы не деловые встречи — а их случалось по нескольку на день,— Маркс не стал бы задерживаться в Берлине. Общение с нужными людьми, беседы с ними, которые часто перерастали в споры, настойчивые поиски средств для поддержания газеты — все это заставляло его забывать о том, что он в Берлине, в цитадели назревающей контрреволюции. К тому же многие встречи были не только полезными, но и приятными. Например, встреча с Карлом Д'Эстером, депутатом Национального собрания, членом ЦК демократов, которого все, кто знал его, называли «маленьким доктором» за его маленький рост. В этом «маленьком докторе» был заложен огромный заряд энергии и доброты. Он был прекрасным и совершенно бескорыстным врачом, спасал от болезней многих рабочих, оказывал им денежную помощь, брал под свою защиту. Д'Эстер был к тому же членом Союза коммунистов, принадлежал к левому крылу Национального собрания, трезво оценивал возможности Национального собрания и королевского заговора против завоеваний мартовской революции.

— Я совершенно убежден,— сказал он Марксу,— что король, наводнив Берлин своими войсками, свернет голову Национальному собранию.

Сделать это тем более легко, что Национальное собрание является трусливым и соглашательским.

Таково было мнение и Маркса.

Встреча с русским революционером Михаилом Бакуниным могла быть также приятной, если бы не одно досадное обстоятельство: «Новая Рейнская газета», поверив своему парижскому корреспонденту Эвербеку, напечатала сообщение о том, что Бакунин — тайный агент царского правительства и что это якобы подтверждается документами, которыми располагает Жорж Санд. Правда, вскоре Жорж Санд прислала в газету письмо, в котором опровергла это страшное обвинение против Михаила Бакунина. Письмо Жорж Санд было напечатано. Но Бакунин обиделся на газету, на Маркса, с которым был прежде в дружеских отношениях.

— Ты ведь знаешь меня давно, Карл,— говорил Бакунин, набычившись.— Наши жаркие споры в редакции парижской «Форвертс», в задымленной комнатенке, в которой я тогда жил... Ты помнишь ведь это?

— Разумеется, помню,— ответил Маркс.

— А цыганские романсы Толстого? Ты еще говорил мне тогда, что они рисуют в твоем воображении огни костров на степных просторах России, вольные кочевья цыган... Помнишь?

— Помню и это.

— И наши прогулки по набережной Сены, по Большим Бульварам, сидение за книгами в библиотеке, споры-разговоры тоже помнишь? Разве я тогда тебе не открылся до конца, разве ты тогда не убедился в том, что всем нутром своим я ненавижу царское самодержавие?

— Ладно, Бакунин,— сказал Маркс.— Я ошибся, газета ошиблась. А ты прости. Теперь всем ясно, что тут постаралось царское правительство, хорошо постаралось, сумело оклеветать тебя в глазах твоих друзей. А друзей ты прости. Борьба идет жестокая. Всякое предательство грозит гибелью десяткам прекрасных и преданных нашему делу людей. Вспомни преступную затею Гервега и Борнштедта... Скажи мне лучше, что нового в России, какие у тебя оттуда вести?

— А! — махнул досадливо рукой Бакунин.— Россия окружена такой стеной, что оттуда не доносится ни звука. Но я знаю, Карл, что славяне в конце концов объединятся и восстанут против царя. Славяне — единый народ. И каждый славянин — цареборец по природе своей.

— Славяне, как и все нации, разделены на классы, Бакунин,—

осторожно заметил Маркс, не желая возбуждать спор.— Это так, так. Ты только посмотри повнимательней. Пожалуйста, посмотри вокруг себя повнимательней.

— Ладно,— улыбнулся Бакунин.— Посмотрю. Но я верю в славян, как ты в своих немцев.

— Я верю в немецкий рабочий класс. Как, впрочем, и в рабочий класс России, Англии, Франции... Когда-нибудь мы еще поговорим об этом.

— Хорошо, поговорим,— согласился Бакунин.

Они расстались друзьями.

Вена была прямой противоположностью Берлину: шумная, пестрая, многолюдная. Город художников, музыкантов, артистов. После недавних уличных боев она было приуныла — подобно парижанам восстали и потерпели поражение венские рабочие, но вскоре вновь стала жизнерадостной, потому что верила в наступление новых славных событий

В Вене было легко, в Вене было радостно. И мысль о том, что контрреволюция набирает силу, здесь не так беспокоила.

Маркс трижды выступал в Вене с речами — один раз в Демократическом союзе и дважды в Венском рабочем союзе.

Он говорил о целях и задачах пролетариата в революционной борьбе, о непреложности законов, по которым пролетариат в этой борьбе победит.

Обратный путь Маркса лежал через Дрезден и Берлин. В Берлине польские демократы, в поддержку которых часто выступала «Новая Рейнская газета», согласились дать Марксу для нужд газеты две тысячи талеров.

В середине сентября Маркс был в Кёльне.

— Что нового, Фред? — спросил Энгельса Маркс, когда они встретились в редакции. Впрочем, о главных новостях Маркс знал и сам.

— Мы пришли к решению, что пора поднимать народ,— слегка заикаясь от волнения, сказал Энгельс.— События, как нам кажется, принимают все более опасный для революции характер. Прусский король открыто повернул против нее армейские штыки. Медлить нам больше ни-



как нельзя. Надо, не мешкая, созвать широкое народное собрание. Эта работа уже идет.

Энгельс рассказал Марксу, что в прошлую среду на Франкенплаце собралось около шести тысяч человек: рабочие, ремесленники, студенты, крестьяне из окрестных сел, грузчики, рыбаки. Они избрали Комитет безопасности.

— В Комитет избраны ты, я, Вольф, Дронке, Молль, Шаппер, Бюргерс и еще двадцать три человека. Отныне, Карл, ни один шаг властей против народа не будет оставлен без ответного шага с нашей стороны, со стороны Комитета безопасности, призванного защищать завоевания мартовской революции. Состоялось еще несколько собраний в различных частях города,— с воодушевлением рассказывал Энгельс,— и все они приветствовали создание Комитета безопасности. В воскресенье, Карл, на лугу Фюлингер Хейде, что возле пригородной деревни Ворринген, намечено новое собрание, еще более многолюдное. Пойдешь ли ты, Карл, на это собрание?

— Разумеется! — ответил Маркс, улыбаясь.— Вместе с тобой, Фред!

Ранним воскресным утром в сторону Воррингена потянулись тысячи людей. Шли как на праздник — нарядные, с детьми. Некоторые скакали на лошадях, другие тряслись на повозках. По Рейну плыли разукрашенные барки. Над некоторыми из них развевались красные знамена. К полудню Фюлингер Хейде стал таким многолюдным, каким он никогда не был. Там собралось более шести тысяч человек. Предприимчивые торговцы, узнав о собрании, успели развернуть на лугу свои палатки. Бойко шла торговля сладкой водой, пивом, колбасками. У палаток торчали полицейские. Народ над ними посмеивался. Полицейские угрюмо отмалчивались.

Прибыли рабочие делегации из Дюссельдорфа, Крефельда и делегации крестьян из близлежащих прирейнских деревень.

Собрание избрало своим председателем Карла Шаппера, секретарем — Фридриха Энгельса.

Шаппер взобрался на повозку, которая была превращена в трибуну, и, напрягая голос до предела, объявил:

— Предлагаю для обсуждения следующие вопросы! Вопрос о том, какой мы хотим видеть Германию: белой или красной республикой!

Белая республика — это государство, где правят денежные тузы, сидя на шее у народа. В красной республике народу принадлежат его законные права. И еще надо обсудить вопрос о том, какими полномочиями мы наделяем Комитет безопасности!

— Пусть народ объявит нас своим единственным правительством,— ни к кому не обращаясь, произнес стоявший рядом с Марксом Бюргерс.

— Опасная фантазия,— ответил ему Маркс.— Фантазия в духе Вейтлинга. Мы можем своими страстными речами добиться, чтобы народ объявил нас своим правительством. Но у нас не будет реальной власти. Немецкий народ еще не созрел для того, чтобы подняться всей массой на борьбу за свои права, и нет хорошо организованной партии, способной поднять его на борьбу. Нет, наконец, события, которое могло бы всколыхнуть весь народ. Страстные речи — это далеко не то, что нужно для революции, Бюргерс. Преждевременные шаги опасны и вредны. И потому выбросьте вашу вздорную идею из головы.

Собрание высказалось за единую красную республику. По предложению Энгельса был принят адрес франкфуртскому собранию.

— По призыву франкфуртского собрания мы готовы оказать Германии нашу поддержку словом и делом! — выкрикнул Энгельс.

— Да! — ответил ему многотысячный голос.

— На нас можно во всем положиться!

— Да!

— Если понадобится, мы будем биться за дело революции до последней капли крови!

— Да! Да! Да! — разнеслось над Фюлингер Хейде.

— А это что? — спросил у Маркса Бюргерс.— Разве не то же самое, что предлагал я?

— Не то же самое,— ответил Маркс.— Франкфуртское собрание избрано народом и может действовать от имени народа, всего народа, Бюргерс, а не только от имени людей, собравшихся на Фюлингер Хейде.

Увы, франкфуртское Национальное собрание не прислушалось к требованиям трудового народа. Оно ратифицировало договор о перемирии между Пруссией и Данией и таким образом предало революционный Шлезвиг-Гольштейн. Оно проголосовало так, как хотела королевская Пруссия, хотя располагало полномочиями действовать от имени всего немецкого народа.

— Болтуны и предатели! — сказал о депутатах франкфуртского собрания Маркс.— Рабы иллюзий и просто рабы! Не воспользоваться властью, данной народом!.. Бедный народ, доверивший им свою судьбу! На такое предательство народ обязан ответить восстанием.

И народ восстал. Восстали не только рабочие Франкфурта, но и Оффенбаха, Ханау. Они вооружились, разгромив цейхгаузы. На помощь им пришли крестьяне из соседних деревень.

— Что скажешь? — спросил у Энгельса Маркс, прочитав сообщение корреспондента из Франкфурта.

— Надежды на победу нет, — ответил Энгельс.— У повстанцев нет артиллерии, отряд их малочислен, франкфуртские мещане их не поддержали, зато радушно открыли свои дома перед солдатами, наводнившими город. Артиллерия разрушит баррикады повстанцев, солдаты легко проникнут в их тылы. Думаю, что это произойдет в ближайшие часы.

— Жаль, Фред, — вздохнул Маркс.— Значит, восстание будет подавлено прежде, чем мы сумеем его поддержать.

— Пожалуй, Карл.

— Значит, Франкфурт сегодня повторяет июньские дни в Париже.

— Да.

— Но нам надо оставаться оптимистами, Фред. Мне хочется, чтобы эта мысль прозвучала в твоей статье о восстании во Франкфурте, о героических рабочих Франкфурта. Они первые, они гибнут, но за ними поднимутся другие...

События во Франкфурте подтвердили опасения Энгельса: регулярные войска разгромили силы повстанцев. Революционные организации Кёльна снова созвали народное собрание рабочих и левых демократов, чтобы обсудить случившееся. Решено было обратиться к немецкому народу с прокламацией.

Уже на следующий день была напечатана листовка с прокламацией кёльнского народного собрания, а еще через два дня она была опубликована в «Новой Рейнской газете». Кёльнцы объявили решение франкфуртского Национального собрания, проголосовавшего за перемирие Пруссии с Данией, изменой немецкому революционному народу, а его депутатов — предателями народа. Героями были названы франкфуртские баррикадные бойцы, рабочие и крестьяне, выступившие на защиту революции с оружием в руках.

«Новая Рейнская газета» начала собирать средства для помощи франкфуртским повстанцам и их семьям.

— Взгляни, что пишет о нас «Эльберфельдская газета»,— сказал Энгельсу Маркс, когда тот зашел к нему в кабинет.

— Какую-нибудь гадость,— предположил Энгельс, садясь на диван.— Устал чертовски. В глазах уже рябит от букв. Прочти, что там написала о нас эта грязная газета.

— Ладно, слушай: «Эти редакторы теперь везде верховодят. Они являются членами Комитета безопасности, созывают народные собрания и ведут себя всюду как орган кёльнских граждан...»

— Терпимо. В других газетах о нас пишут хуже. Враг с каждым днем наглеет. И готовит против нас удар. Откуда его ждать?

Утром 25 сентября были арестованы Шаппер и Беккер — руководители Рабочего союза. Стало известно также, что прокурор выдал ордер на арест Иосифа Молля, председателя Рабочего союза. Весть об этом разнеслась по городу мгновенно. И когда жандармы подошли к дому Иосифа Молля, там их уже ждала толпа рабочих. Жандармы попытались пробиться в дом, угрожали оружием, но рабочие их не пропустили. А вскоре жандармы позорно бежали, сопровождаемые смехом и улюлюканьем рабочих. Вслед им летели камни.

Маркс, узнав об арестах, поспешил на Старый рынок, где находился руководящий центр Рабочего союза.

Там уже было многолюдно. Молля он увидел стоящим у плаката, который призывал рабочих Кёльна собраться в два часа на площади у Старого рынка.

— Мы потребуем, чтобы власти освободили арестованных,— сказал Марксу Молль.— Иначе... За нами сила! Мы не дадим контрреволюции обезглавить наше движение, мы сумеем постоять за себя!

— Об одном хочу тебя попросить,— отведя Молля в сторону, сказал Маркс.— Не разжигай страсти. Будь сдержан. Сегодня наше оружие — сдержанность. Повторяю, Молль: сдержанность. Потому что аресты — это хорошо обдуманная провокация. Смысл ее я вижу в том, чтобы вызвать нас на преждевременное и, значит, плохо подготовленное выступление и нанести нам сокрушительный удар. Это очевидно, Иосиф. Ты ведь знаешь, что к городу уже давно стянуты войска, что приведены в боевую готовность форты, солдатам розданы боеприпасы. Они ждут первого выстрела с нашей стороны, чтобы затем одним махом разделаться с

нами, как это уже произошло во Франкфурте. Будем сдержанны, Иосиф. Я не прошу тебя об этом, я настаиваю!

— А зачем ты прихватил с собой пистолет? — усмехнулся Молль, косясь на оттопыренный карман плаща Маркса.

— На тот случай, если нам не удастся удержать народ,— спокойно ответил Маркс.— Но тогда нам грош цена, Иосиф. Ты понял меня?

— Да, понял,— ответил Молль.

О том, что Рабочий союз созывает народ на митинг, городским властям стало известно раньше чем были расклеены плакаты Рабочего союза. Когда рабочие вышли на улицы с плакатами, на стенах домов уже был расклеен приказ полиции о запрещении митинга. Рабочие срывали полицейский приказ и наклеивали на стены свой плакат.

Митинг состоялся. Он потребовал, чтобы власти немедленно освободили из-под ареста Шаппера, Беккера и других демократов и отменили приказ об аресте Вольфа, Дронке и Бюргерса. Молль и Маркс предупредили рабочих о готовящейся провокации. Рабочие спокойно разошлись. Но вечером собрались снова: по городу распространился слух, что к штабу Рабочего союза на Старом рынке направляются войска. Вокруг Старого рынка поднялись баррикады. Но все обошлось: слух не подтвердился, войска не появились. Все разошлись по домам.

Маркс остался на ночь в редакции.

Вместе с ним в ту ночь бодрствовали Энгельс, Вольф и Дронке.

— Ночи стали прохладными,— заметил Вольф, сидевший у окна.— Осень, друзья, осень. Вы, конечно, не успели заметить, что липы уже пожелтели, что по утрам над рейнскими лугами носятся птичьи стаи, готовясь к дальним перелетам, что травы клонятся к земле под обильной росой...

— В самом деле? — улыбнулся Маркс.

— А! — махнул рукой Вольф.— Нет, вы послушайте Гесиода, суетный вы народ! Вы послушайте его стихи об осени! Хотите?

— Хотим, хотим,— ответил Маркс, устроившись в кресле поудобнее и закуривая.— Целую вечность не слышал, как ты читаешь эллинских поэтов, Лупус. Ну же, читай!

— Хорошо. Итак, Гесиод. «Труды и дни»:

В позднюю осень, когда ослабляет палящее солнце
Жгучий свой зной потогонный, и льется на землю дождями
Зевс многомощный, и снова становится тело людское

Быстрым и легким,— не долго тогда при сиянии солнца
Над головами рожденных для смерти людей совершает
Сириус путь свой, но больше является на небе ночью.
Ле́са, который теперь ты подрубишь, червяк не источит.
Сыплются листья с деревьев, побеги свой рост прекращают.
Самое время готовить из дерева нужные вещи...

— Какие вещи? — перебил Вольфа Энгельс, хитро посмеиваясь.— Уж не гробы ли?

— Боже мой! — всплеснул совсем по-женски руками Вольф.— Гробы!.. Какое кощунство!

Маркс и Дронке засмеялись.

— Пусть он помолчит! — указывая пальцем на Энгельса, потребовал Вольф.— Дальше — самые любимые мои стихи... Читать?

— Читай, Лупус. А ты, Фред, молчи,— распорядился Карл, подстроившись под шутливый тон Вольфа.— Но о каких деревянных вещах, тобою любимых, Лупус, говорит Гесиод? Неужели же о гробах для врагов?!

Вольф затряс над головою кулаками. Энгельс и Дронке покатились от смеха.

— А в самом деле,— сказал Маркс, когда все успокоились,— давайте послушаем, о каких вещах говорит далее Гесиод.

Вольфа уговаривать не пришлось.

— Начну с последней строки,— сказал он,— с той, на которой меня перебил Фред: «Самое время готовить из дерева нужные вещи...»

Теперь он хохотал вместе со всеми.

— Нет! — хлопнул по столу ладонью Энгельс, требуя тишины.— Так мы никогда не узнаем, о каких вещах говорил Гесиод. Лупус, читай со следующей строки!

— Хорошо,— согласился Вольф.— Речь идет о вещах, которые окружали меня с детства. Ведь я вырос в деревне, в крестьянской семье. И хотя жизнь была тяжела, теперь я вспоминаю о ней почти с нежностью. Должно быть, осень тому причиной. Это она настроила меня на лирический лад. А точнее, пахнет землей, опавшими листьями, увядшими травами, ночной росой. Тянет на пахоту, друзья... Но слушайте Гесиода:

Самое время готовить из дерева нужные вещи.
Ступку срезай длиной в три стопы, а пестик — в три локтя;
Ось — длиною в семь стоп,— всегда это будет удобней;

Если ж и восемь, то выйдет еще из куска колотушка.
Режь косяки по три пяди к колесам в десять ладоней.
Режь и побольше кусков искривленных из падуба; всюду
В поле ищи и в горах и, нашедши, домой отнеси их:
Нет превосходнее скрепы для плуга, чем скрепа такая,
Если рабочий Афин, к рассохе кривую ту скрепу
Прочно приладив, гвоздями прибьет ее к плужному дышлу...

Дальше были стихи о волах, о севе, о колосьях на ниве, о сосудах с зерном, о достатке в доме. Вольф читал долго. Его слушали, не прерывая. А когда он умолк, Маркс сказал:

— Жизнь, проведенная в спокойных трудах, длинна и приятна. Но жизнь, проведенная в борьбе, прекрасна!

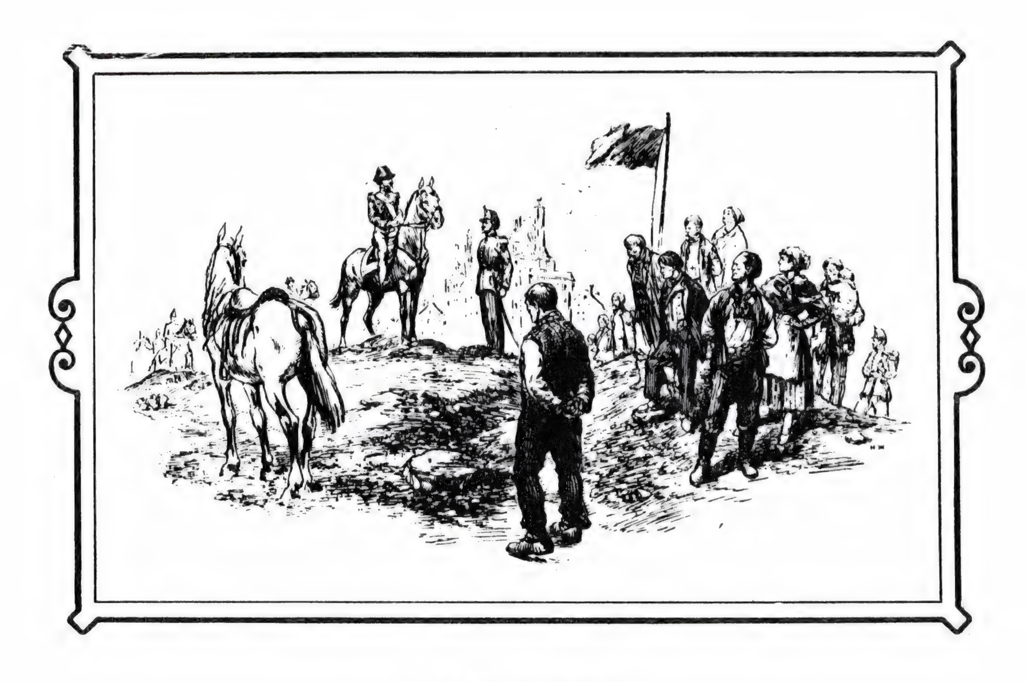
Прибежал посыльный из Рабочего союза, принес известие, что военный комендант Кёльна собирается утром объявить в городе осадное положение.

— Говорят, что на Фризенштрассе ограблен суконный магазин,— сообщил он.— Комендант опасается, что будет разграблен весь город. По этой причине будет распущено и разоружено гражданское ополчение, прекращен выпуск всех демократических газет.

— Вот! — сказал Маркс.— Они все-таки нашли повод: разграбленный суконный магазин... А мы гадали, откуда они ударят. Получилось — из магазина. Один магазин разграблен, значит, будет разграблен весь город. Вот вам полицейская логика, логика провокаторов. Я уверен, что сама же полиция подготовила грабителей. Но осадное положение — это не шутка, друзья. Нужно успеть выпустить очередной номер газеты до объявления приказа коменданта. И всем, кому угрожает арест, покинуть Кёльн. Немедленно, сегодня же! Именно потому, что осадное положение — не шутка.

— А ты? — спросил Маркса Энгельс.

— Я останусь. Приказа о моем аресте пока не было. Газета не должна погибнуть. Но если арест будет угрожать и мне, я обещаю, Фред, что покину Кёльн.



Глава десятая

Осадное положение было введено в Кёльне через несколько часов после выхода газеты. И сразу же появился приказ прокурора о розыске Иосифа Молля, Фридриха Энгельса, Эрнста Дронке и Вильгельма Вольфа.

Приказ о розыске Энгельса был напечатан в «Кёльнской газете», которая не была запрещена. Карл вырезал этот приказ из газеты и попросил Женни сохранить его до возвращения Энгельса.

«Имя и фамилия,— говорилось в приказе, подписанном государственным прокурором Геккером,— Фридрих Энгельс; сословие — купец; место рождения и жительства — Бармен...; возраст — 27 лет; рост — 5 футов 8 дюймов; волосы и брови — темно-русые; нос и рот — пропорциональные; зубы — хорошие; борода — каштановая; подбородок и лицо — овальное; цвет лица — здоровый; фигура — стройная».

— Ты думаешь, Карл, что Энгельс вернется? — спросила Женни, пряча в шкатулку газетную вырезку с приметами Энгельса.— Разве это не конец? Ваша газета запрещена, твои друзья прячутся от полиции... Что же тебе остается делать? Не пора ли собираться и нам в дорогу?

— Еще не пора,— ответил Карл.— Любое, даже незначительное революционное дело надо доводить до конца, чтобы идущим за тобой не приходилось делать твою работу, чтобы они могли начать с того места, где ты остановился, сделав все, что было в твоих силах. Я еще не все сделал, Женни, и у меня еще есть силы.

Пришел Веерт, принес листок, на котором было напечатано извещение издателей «Новой Рейнской газеты» о том, что выпуск газеты приостановлен в связи с объявлением в Кёльне осадного положения. В нем также сообщалось, что «чрезвычайное положение продлится всего лишь несколько дней», после чего «газета, усиленная притоком новых значительных средств (последние три слова были выделены шрифтом), начнет выходить в октябре месяце в увеличенном формате» и будет рассылаться подписчикам аккуратнее, так как печатание ее будет осуществляться на новой скоропечатной машине.

— Вот тебе ответ на твой вопрос,— сказал Карл, протянув Женни принесенный Веертом листок.

Женни внимательно прочла извещение, вернула Карлу листок.

Спросила, когда ушел Веерт:

— Откуда же ты ожидаешь усиленный приток новых значительных средств? Впрочем, можешь не отвечать,— сказала она, видя, что Карл опустил глаза.— Конечно, нам будет трудно без денег. Но будет еще труднее, если ты не доведешь свое дело до конца. Я поддерживаю твое решение, Карл.

Иосиф Молль, скрываясь от преследований прусской полиции, уехал в Англию. Вольф — в Пфальц. Энгельс направился на родину, в Бармен. Несколько дней он укрывался в пустующем доме покойного деда, но, увидев, что родители не одобряют его революционной деятельности, уехал в Брюссель. В Брюсселе он тоже пробыл недолго: бельгийская полиция выслала его из страны. 5 октября он был уже в Париже.

Увы, это был уже не тот Париж, каким его знал Энгельс в марте 1848 года, в первые дни революции. И не потому, что тогда была весна, а теперь осень, октябрь. Между прежним и нынешним Парижем было море крови, пятнадцать тысяч трупов, изуродованных штыками и гранатами генерала Кавеньяка, жестоко подавившего июньское восстание рабочих. Улицы Парижа поразили Энгельса своим небывалым безлюдьем и

тишиной. Народ больше не распевал «Марсельезу». В рабочих кварталах царил голод, свирепствовали болезни. «Париж мертв,— не раз слышал в эти дни Энгельс.— Это уже не Париж».

Вскоре он почувствовал, что не может больше оставаться в мертвом Париже, что пора ему уйти — все равно куда. Именно уйти, потому что уехать в поезде или в дилижансе не позволяли средства. Денег у него было совсем мало. Он покинул Париж пешком. Путь его лежал теперь через Южную Францию в Швейцарию. Две недели он добирался до Женевы. Из Женевы направился в Лозанну. Из Лозанны сообщил Марксу о своем местопребывании. Маркс тотчас прислал ему денег.

— Слава богу, Энгельс нашелся,— радовался Маркс, получив от него письмо.— Найдутся и другие. И как только обстановка изменится к лучшему, вернутся в Кёльн. Если бы ты знала, Женни, как мне трудно без Энгельса, без Вольфа... С ужасом думаю, что было бы со мной, если бы не было рядом тебя, Женни. Мысль о том, что ты рядом, удесятеряет мои силы.

Маркс взял на себя руководство Рабочим союзом. Почти один подготовил к выпуску сто четырнадцатый номер «Новой Рейнской газеты» — первый номер, который подписчики получили после отмены в Кёльне осадного положения, 12 октября.

Осадное положение в Кёльне было отменено десятью днями раньше. Большую роль в этом сыграл «маленький доктор» — Карл Д'Эстер, депутат Национального собрания в Берлине. Именно он обратился к правительству с запросом, в котором потребовал немедленной отмены осадного положения в Кёльне. После его запроса министр-президент Пфуль послал телеграмму коменданту Кёльна о снятии осадного положения.

В сто четырнадцатом номере «Новой Рейнской газеты» подписчики прочли стихи Веерта о недавних событиях в Кёльне и статью Маркса о восстании в Вене, начавшемся неделю назад, шестого октября.

Вена продержалась лишь три недели.

— Париж, Франкфурт, Вена,— с грустью проговорил Маркс, узнав о поражении венского восстания.— Повстанцы гибнут, едва взойдя на баррикады. Нет единого движения, всеобщего подъема, рабочий класс малочислен и разобщен, а враги объединились... За поражение венцев мы можем теперь отомстить только одним — победой над контрреволюцией в собственном доме.

— Я хочу написать на эту тему стихи,— сказал Марксу Фердинанд

Фрейлиграт, который приехал в Кёльн в начале октября и сразу же стал активным сотрудником «Новой Рейнской газеты».

— Буду только рад,— ответил ему Маркс.

Через час Фрейлиграт снова был в кабинете Маркса и читал ему свои новые стихи:

В смиренье кротком руки
Сложить мы не должны.
За рукоятку — правой,
А левой — за ножны!
Хватай за горло левой
Раба и подлеца,
А правой меч — и бейся,
Сражайся до конца!
Мы отстоим здесь Вену
Восстаньем и борьбой,
К истории всемирной
Не обратясь с мольбой...

— Для меня большое счастье, что ты появился здесь,— сказал Фрейлиграту Маркс.

По рекомендации Маркса Фрейлиграт не только был введен в состав редакции, но и принят в Союз коммунистов.

В конце октября появились корреспонденции Эрнста Дронке из Парижа. Регулярно стали приходить вести от Энгельса из Швейцарии. Нелегально возвратился из Дюркгейма и поселился на конспиративной квартире Вильгельм Вольф. А 15 ноября вышел из тюрьмы Шаппер: все попытки полиции сфабриковать против него обвинение провалились.

— Мы снова сильны! — сказал друзьям Маркс.— А пока мы сильны, контрреволюция не скроет от народа ни одно свое черное дело.

Список же черных дел контрреволюции возрастал. К Берлину, где заседало Национальное собрание, изрядно надоевшее королю, стягивались надежные войска. Король поставил во главе правительства графа Бранденбурга, который поклялся разогнать Национальное собрание. Став во главе правительства, граф Бранденбург сразу же принялся за дело: он потребовал, чтобы Национальное собрание покинуло Берлин, перебравшись в провинциальный городок. Собрание не выполнило приказ правительства. Но и не обратилось за помощью к народу. Король ввел в Берлин войска.

Одиннадцатого ноября Маркс выступил в газете с передовой статьей, в которой призвал Национальное собрание к решительным действиям.

— Черт бы побрал их буржуазную трусость! — говорил он в тот день друзьям.— Уж если Национальное собрание не может арестовать правительство, то нужно взять правительство измором: не давать ему денег и призвать народ к отказу от уплаты налогов правительству.

С этого дня газета начала выходить с аншлагом: «Долой налоги!!!» Этот призыв был поддержан народом. Под его давлением и Национальное собрание через несколько дней приняло постановление о том, что правительство не имеет права собирать налоги до тех пор, пока Национальное собрание не получит возможность свободно продолжать свои заседания в Берлине.

Это постановление было принято 15 ноября, а накануне Маркс был вызван к судебному следователю.

— Что это? — всполошилась Женни.— Из-за призыва к неуплате долгов?

— Не знаю,— ответил Карл.— Все может быть.

На следующий день после вызова Маркса к судебному следователю «Новая Рейнская газета» сообщила своим читателям: «Когда стало известно, что главный редактор «Новой Рейнской газеты» Карл Маркс получил предписание явиться к судебному следователю, во дворе апелляционного суда собралась внушительная масса народа, чтобы выразить свое участие и дождаться результатов. При выходе от следователя Карла Маркса приветствовали громкими возгласами одобрения и проводили до зала Эйзера, где Маркс выразил в нескольких словах благодарность народу за сочувствие...»

Призыв газеты к неуплате налогов не остался без ответа. Появился приказ правительства о насильственном взимании налогов.

— Ответим и мы,— сказал Маркс.— Мы посоветуем народу оказывать сборщикам налогов сопротивление всеми средствами.

Обер-прокурор расценил этот призыв газеты как подстрекательство к мятежу и снова вызвал Маркса в суд.

Не дремала контрреволюция и в Берлине: король разогнал Национальное собрание.

Маркс собрал всех сотрудников редакции, сказал:

— Случилось то, что не могло не случиться: Национальное собрание пожинает теперь плоды своей трусости. Оно дало возможность загово-

ру против народа в течение ряда месяцев спокойно готовиться, усиливаться и окрепнуть. И теперь Национальное собрание пало первой жертвой этого заговора. А народ, наш великодушный народ, получил наконец урок, который, надеюсь, послужит ему на пользу. Немецкая буржуазия окончательно предала революцию. Она всегда была склонна к измене народу и к сговору с короной. У нас возможен либо король, либо такая революция, когда полетят ко всем чертям короли, буржуазия и все их союзники. Но время для такой революции еще не пришло. Стало быть, не унывая, будем работать дальше, друзья!



Глава одиннадцатая

Маркс ждал возвращения Энгельса в Кёльн, и Энгельс приехал в середине января.

— Ты похудел, Фред,— сказал ему Маркс.— Но это тебе к лицу: ты еще больше стал похож на боевого офицера.

— Я надеюсь,— ответил Энгельс, улыбаясь,— что это результат не внешних обстоятельств, а следствие моего внутреннего состояния: я тоскую по баррикадам, Карл.

— Я тоже,— сказал Маркс.

— И если судить по ситуации, которая теперь складывается, пришла пора возводить баррикады и браться за оружие.

— Пожалуй. Теперь только и говорят о том, что пора спасать Германию, германскую революцию. Зашевелилась даже «франкфуртская говорильня» — франкфуртский парламент. Правда, вместо того, чтобы возглавить подготовку к революционной борьбе, парламент обсуждает проект имперской конституции, которая объявляет Германию единым монархическим государством во главе с Фридрихом-Вильгельмом IV,

нашим прусским королем. Но нашему королю и это не нравится, для него любая конституция — посягательство на королевскую власть. Поэтому он объявил франкфуртский парламент мятежным и послал туда свои верные войска. Вот уж чего, кажется, не ожидали депутаты франкфуртского парламента — того, что король на них осерчает. А он осерчал, да еще как! А тут еще народ восстал, призывает депутатов к революционному мужеству. Только где им это мужество взять? Вот и плюхнулись меж двух стульев.

Маркс и Энгельс не раз детально обсуждали сложившуюся революционную ситуацию. И пришли к единодушному выводу: имперская конституция, предложенная франкфуртским парламентом, не может стать программой борьбы революционных демократов.

Но жажда восставшего народа к объединению, к уничтожению мелких феодальных государств, к освобождению от феодального рабства может послужить основой для широкого развертывания революционного движения.

Энгельс разработал план восстания.

— Прежде всего,— говорил он, волнуясь, Марксу,— нужно сосредоточить главное внимание на восстании в Бадене. В Бадене создано временное революционное правительство, на его стороне большинство населения и вся армия, которая хорошо вооружена. Теперь надо немедленно, не теряя ни минуты, распространить баденское восстание на соседние районы — Пфальц, Рейнскую провинцию, Гессен, Франконию, Вюртемберг. Создать армию в восемь — десять тысяч человек, захватить Франкфурт и придать восстанию с помощью франкфуртского парламента общегерманский характер. Но все это надо сделать как можно быстрей, чтобы не дать опомниться пруссакам. Успех зависит только от этого, от быстроты действий.

Маркс одобрил этот план.

Грохотали прусские гаубицы, лилась кровь. Сопротивление народа прусским войскам ширилось. 9 мая 1849 года началось восстание в Рейнской провинции, в рабочем Эльберфельде, на родине Энгельса. Энгельс не мог больше оставаться в Кёльне.

— Теперь мое место в Эльберфельде,— сказал он Марксу.— Ты крепче держи перо, а я возьму в руки ружье. Теперь необходимо и то и другое!

10 мая Энгельс был уже в Золингене, а 11-го вместе с колонной

золингенских рабочих прибыл в Эльберфельд и предложил свои услуги эльберфельдскому Комитету безопасности.

— Считаю делом своей чести,— заявил он,— быть на посту при первом вооруженном восстании в этом округе!

К Эльберфельду подходили прусские войска. А между тем в городе царила сумятица и растерянность. Комитет безопасности, который возглавили мелкобуржуазные деятели, не предпринимал никаких решительных мер для подготовки города к обороне. Энгельс немедленно взялся за укрепление города. Он быстро организовал саперную роту, которая принялась за строительство баррикад. А несколькими днями раньше отряд золингенских рабочих отправился в Грефрат на штурм цейхгауза. Отряд окружил цейхгауз и, угрожая применить оружие, заставил вахмистра, командовавшего охраной цейхгауза, открыть ворота здания. Бойцы направились в цейхгауз и взяли там все необходимое: оружие, боеприпасы, обмундирование. Отряд вернулся в Эльберфельд хорошо вооруженным и в новом обмундировании.

— Черт возьми! — возмущался Энгельс на заседании эльберфельдского Комитета безопасности.— Пора же наконец предпринять решительные действия! Продолжается восстание в Дрездене, в Бадене, венгерская революционная армия подходит к границам Австрии... После марта прошлого года — сегодня самая благоприятная возможность для радикального революционного выступления!

Он предложил Комитету безопасности разоружить эльберфельдское ополчение — организацию крупной буржуазии — и раздать оружие рабочим. Для усиления революционной армии Энгельс требовал призвать рабочих из соседних промышленных районов. Он предлагал также ввести принудительный налог на крупных собственников.

— Пусть они раскошелятся,— говорил Энгельс.— Пусть крупная буржуазия оплачивает расходы на содержание наших революционных отрядов.

Эти и другие предложения Энгельса не понравились руководителям эльберфельдского восстания. Они напугали их. Напугали больше, чем приближение к городу прусских войск. Комитет безопасности высказал опасение, что Энгельс, опираясь на поддержку повстанцев, в ближайшие дни возьмет в свои руки руководство восстанием, и тогда восстание приобретет иной, чем того хотели эльберфельдские буржуа, характер. Поэтому Энгельсу было предложено покинуть город. Это решение

Комитета безопасности вызвало такое негодование среди повстанцев, что Комитет безопасности не решился выслать Энгельса. 15 мая Энгельс покинул Эльберфельд сам и возвратился в Кёльн: он не хотел вносить раскол в лагерь восставших эльберфельдцев.

— Если бы не золингенцы,— негодуя, рассказывал Энгельс Марксу,— если бы не золингенские рабочие, которые встали на мою защиту, эльберфельдские буржуа обязательно засадили бы меня в тюрьму. А потом выдали бы пруссакам. В качестве искупительной жертвы, разумеется.

16 мая Марксу был сообщен приказ королевского окружного управления о том, что он лишается «права гостеприимства» и должен покинуть территорию Пруссии в течение двадцати четырех часов. Объяснялись и причины высылки. «В своих последних номерах,— говорилось в приказе,— «Новая Рейнская газета» выступает все более решительно, возбуждая презрение к существующему правительству, призывая к насильственному перевороту и установлению социальной республики».

— Что ты теперь намерен делать? — спросила Карла Женни. Она была спокойна, так как Карл уже давно сказал ей, что его высылка из Пруссии — дело давно решенное и что правительство выжидает лишь подходящего момента.

— Я хочу, чтобы ты с детьми уехала снова в Трир,— ответил жене Карл.— А я выпущу последний номер газеты, расплачусь с наборщиками и сотрудниками газеты, продам типографское оборудование и тоже покину Кёльн. Больше здесь делать нечего.

— Ты тоже приедешь в Трир? — с надеждой спросила Женни.

— Нет, Женни. Я поеду с Энгельсом во Франкфурт. Мы попытаемся убедить депутатов франкфуртского парламента призвать во Франкфурт революционную армию Бадена и Пфальца и стать во главе этой армии.

С конца мая революционные бои развернулись во многих германских государствах. Вспыхнуло восстание в Дрездене, Бадене, Пфальце, в городах Рейнской провинции, в Эльберфельде и Дюссельдорфе.

— Вы надеетесь на успех, Карл?

— Надежды мало, Женни. Но мы не можем упустить эту возможность, хотя она и мала. Если же не удастся уговорить депутатов, попробуем убедить руководителей пфальцского и баденского восстаний двинуть свои отряды на Франкфурт. Тогда, глядя из окон на революционную армию, станут смелее и депутаты парламента... Впрочем, поговорим о тебе, Женни. Если я полностью расплачусь с наборщиками, печатни-

ками, бумагопродавцами, конторщиками, корреспондентами, с персоналом редакции...

— У тебя не останется ни одного талера. Верно?

— Ты угадала, Женни.

— Значит, придется продать фамильное серебро Вестфаленов?

— Да,— вздохнул Карл.— Тебе понадобятся деньги на дорогу.

— Хорошо, Карл,— сказала Женни.— Но что будет с нами потом?

— Не знаю,— ответил Карл.— Думаю, что друзья и родственники не дадут нам умереть с голоду. Но не это главное. Главное — то, что мы в конце концов победим! Да, победим, Женни!

— Карл,— тихо сказала Женни,— я тебе верю.

Триста первый номер «Новой Рейнской газеты» стал последним номером. Весь тираж был напечатан красной краской.

Газета открывалась стихами Фрейлиграта. Они назывались «Прощальное слово «Новой Рейнской газеты». В них были такие слова:

Так прощай же, прощай, грохочущий бой!
Так прощайте, ряды боевые,
И поле в копоти пороховой,
И мечи и копья стальные!
Так прощайте! Но только не навсегда!
Не убьют они дух наш, о братья!
И час пробьет, и, воскреснув, тогда
Вернусь к вам живая опять я!

Под стихами Фрейлиграта было помещено обращение редакторов к кёльнским рабочим. «Редакторы «Новой Рейнской газеты»,— говорилось в нем,— прощаясь с вами, благодарят вас за выраженное вами участие. Их последним словом всегда и повсюду будет: освобождение рабочего класса!»

Через три дня, 19 мая 1849 года, Маркс и Энгельс покинули Кёльн. На другой день после их отъезда «Дюссельдорфская газета» сообщила: «Судьба редакторов «Новой Рейнской газеты» такова: Фридрих Энгельс преследуется в уголовном порядке за свое выступление в Эльберфельде. Маркс, Дронке и Веерт, как лица, не являющиеся прусскими подданными, должны покинуть Пруссию. Вильгельму Вольфу угрожает судебное преследование из-за политических преступлений, которые он якобы совершил в свое время в старых провинциях».

Маркс прочел это сообщение уже во Франкфурте.

— Все мы в глазах прусского правительства преступники,— сказал он Энгельсу.— Хотя пока и в разной мере. Тебя за участие в восстании в Эльберфельде уже можно расстрелять, а меня еще нельзя, но правительству тоже очень хочется.

Их разговор был прерван приходом депутата. Долгая беседа с ним, как и все предыдущие беседы Маркса и Энгельса с депутатами Национального собрания, была безрезультатной. Депутаты боялись сделать решительный шаг и призвать во Франкфурт революционные войска Пфальца и Бадена.

— Все, довольно,— сказал Маркс, когда депутат ушел.— Мы теряем время. Нужно немедленно ехать в Мангейм, чтобы убедить вождей баденских повстанцев двинуть свои отряды на Франкфурт.

— Да,— согласился Энгельс.— Едем.

Они оба надеялись, что ход германской революции еще можно изменить. Но поездка в Баден и Пфальц тоже оказалась безрезультатной. Вожди повстанцев не хотели понять, почему им необходимо объединиться и направить свои армии во Франкфурт. Каждый из них мнил себя едва ли не Наполеоном и не мог представить себя под командованием другого. А между тем их армии бездействовали. Во всех городах, где побывали в эти дни Маркс и Энгельс, солдаты либо бесцельно шатались по улицам, либо веселились в трактирах. Народные ополченцы были плохо вооружены, никто не старался обучить их военному делу. В ратушах без конца заседали многочисленные комитеты, которые не могли прийти ни к каким важным решениям. Шла драка из-за постов в правительствах.

— Положение безнадежно, Карл,— наконец сказал Энгельс то, что уже собирался сказать ему Маркс.— Всюду трусость и предательство буржуазии, нерешительность мелкобуржуазных вожаков, большинство рабочих не понимает своих целей, крестьяне несамостоятельны. Все это кончится большой кровью, когда сюда нагрянут пруссаки. Что же делать, Карл?

— Определенно я могу сказать только одно, Фред: мы не можем принять официальное участие в движении, которое чуждо нам, которое противоречит истинным целям пролетариата. Ты прав: здесь все безнадежно, все обречено. Значит, не здесь и не сегодня произойдут главные события. И кажется, даже не в Германии.

— Где же?

— Решающие события, как мне думается, произойдут в Париже.

Там пролетариат прошел свой путь с буржуазией до конца. Дальше он пойдет один и победит. Уверен, Фред, что галльский петух прокричит о начале новой революции. Стало быть, надо ехать в Париж. Только в Париж! Оттуда все начнется! — горячо произнес Маркс.

— Да,— задумался Энгельс.— Ты, конечно, прав. Надо ехать в Париж. Но что ты скажешь, Карл, если я все-таки останусь здесь? — спросил он.

— Здесь? — удивился Маркс.— Но в каком качестве? Неужели ты хочешь принять участие в драках за министерские портфели?

— Нет, Карл. Я хочу остаться в качестве солдата. Пусть борьба обречена на поражение, пусть я погибну, но зато потом никто, Карл, не сможет сказать, что редакторы «Новой Рейнской газеты» лишь призывали к борьбе, а сами боялись подняться на баррикады.

— Ты так решил, Фред? — не сразу спросил Маркс и посмотрел Энгельсу в глаза.

— Да, я так решил. А ты поедешь в Париж,— заикаясь от волнения, заговорил Энгельс: он боялся, что не сумеет убедить Маркса.— Ты поедешь в Париж, тебе нет нужды оставаться здесь, у тебя плохое зрение, ты не военный, Карл... У тебя на руках мандат ЦК Демократической партии Германии, выданный Д'Эстером. Ты прав: именно там, во Франции, развернутся революционные бои. И ты просто обязан быть в Париже. Только ты сможешь решительно содействовать тому, чтобы Франция, как только там начнется новая революция, сразу же протянула братскую руку немецкому народу...

— Остановись,— сказал Маркс.— Я, разумеется, поеду в Париж.

— Спасибо! — Энгельс пожал Марксу руку.— А я человек военный, я не пропаду. Когда здесь все кончится, я примчусь в Париж. Но до этого я успею показать всем, как умеют сражаться с оружием в руках редакторы «Новой Рейнской газеты». Мне не удалось сделать этого в Эльберфельде, удастся здесь. К тому же я в Эльберфельде призывал всех немедленно и решительно браться за оружие...

— И все же не увлекайся,— попросил Энгельса Маркс,— не лезь под пули. И сразу же приезжай в Париж, как только тебе надоест стрельба по пруссакам.

Энгельс ответил улыбкой.

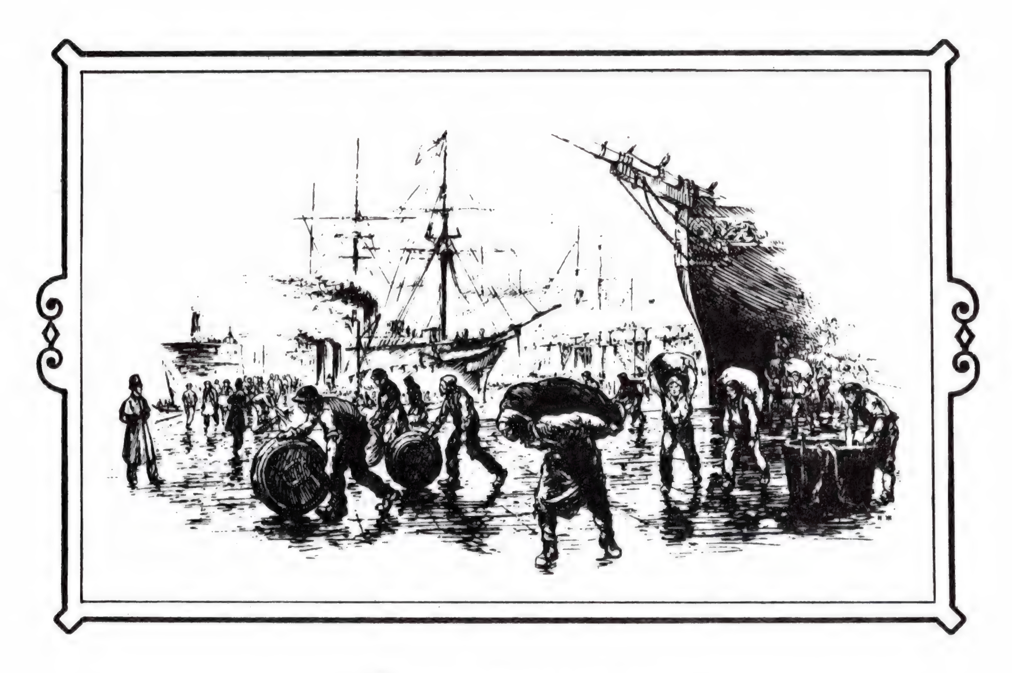
Этот разговор произошел в Кайзерслаутерне, откуда Маркс и Энгельс в тот же день отправились в Бинген. Маркс мог уехать в Бинген и



один — из Бингена он намеревался выехать в Париж, но Энгельс решил проводить его. По пути в Бинген они оба были арестованы гессенскими солдатами и отправлены в Дармштадт, а из Дармштадта — во Франкфурт. Их обвинили в том, что они участники восстания. Но во Франкфурте их освободили.

— Нас спасла всеобщая неразбериха,— сказал Энгельсу Маркс.— Мы счастливо отделались. Но во второй раз нам попадаться нельзя.

Из Франкфурта они вернулись в Бинген. И там расстались.



Глава двенадцатая

Август Виллих, в отряд которого записался Энгельс, был не только боевым офицером, но и членом Союза коммунистов. Его добровольческий отряд состоял в основном из рабочих. Они были хорошо обучены и дисциплинированы. В те дни отряд Виллиха осаждал баварскую крепость Ландау. Осаждал умело и готовился взять крепость штурмом. Но для этого Виллиху нужны были пушки. Энгельс решил добыть для него эти пушки. С этой целью он отправился в Кайзерслаутерн, в генеральный штаб повстанческой армии. Генеральный штаб пушек для Виллиха не дал. В это время Энгельса арестовали и посадили в тюрьму. Но в тюрьме он пробыл недолго, всего сутки: его освободили по требованию волонтеров рейнско-гессенского отряда. Этот отряд пригрозил правительству Пфальца, что покинет боевые позиции, если Энгельс не будет немедленно освобожден.

Явившись к Виллиху, Энгельс сказал, что решил отныне служить в его отряде рядовым бойцом. Виллих подумал и назначил его своим адъютантом. И не пожалел об этом: Энгельс оказался прекрасным орга-

низатором и бойцом. Он добывал для отряда («Из-под земли, что ли?!» — радостно удивлялся Виллих) порох, свинец, патроны, оружие, одежду, продовольствие, обучал новобранцев военному делу, участвовал в сражениях, покоряя всех своей храбростью.

— Хваленое мужество в атаке — самое заурядное качество,— не раз говорил повстанцам Энгельс, ободряя их.— Свист пуль — сущие пустяки.

Два сражения — на Мурге и при Раштате — были особенно тяжелыми. В бою на Мурге был ранен рядовой боец отряда Виллиха коммунист Иосиф Молль. Рана Молля оказалась смертельной.

Пруссаки наседали. Их было значительно больше, чем повстанцев, они были лучше вооружены, лучше обучены. Бои с каждым днем становились все кровопролитнее. В конце концов командование баденской армии приняло решение оставить позиции и отступить к швейцарской границе. Прикрывать отступление армии было приказано отряду Виллиха.

— Ну что, Фридрих, ты останешься со мной? — спросил Энгельса Виллих, сообщив ему о приказе командования.— Теперь никто из нас не застрахован от смерти, мы будем сдерживать натиск шестидесяти тысяч пруссаков своими слабыми силами.

— Да, я остаюсь,— ответил Виллиху Энгельс.— И буду с тобой до конца.

Маркс приехал в Париж в начале июня. Как представитель ЦК Демократической партии Германии он сразу же установил контакты со всеми видными представителями революционных партий Франции. Все его мысли в эти дни занимал лишь один вопрос: скоро ли во Франции вспыхнет новая революция? Вожди революционных партий убеждали его, что скоро. Всем казалось, что острый конфликт, возникший между большинством Национального собрания Франции и монтаньярами, левым крылом Национального собрания, вот-вот выльется в широкое вооруженное восстание народа. 11 июня Национальное собрание проголосовало против предложения монтаньяров предать суду президента Бонапарта, который приказал французским войскам подвергнуть осаде Рим и тем самым нарушил конституционный закон. Все ждали, что монтаньяры призовут народ к вооруженному восстанию. Но они отважились лишь на мирную

демонстрацию, которая была тут же разогнана правительственными войсками.

Контрреволюция бросилась в атаку: началась расправа над монтаньярами, над демократами и социалистами.

Восстание в Париже, которого так ждала вся революционная Европа, не состоялось.

Правительству Франции хорошо были известны связи Маркса с парижскими демократами и социалистами. Поэтому оно не могло оставить Маркса в покое и решило поскорее избавиться от него. Был издан приказ о высылке Маркса в департамент Морбиан — болотистую местность Франции.

Ожидая приезда Женни с детьми из Трира, Маркс поселился в маленькой квартире на Рю де Лилль. Друзья помогли ему деньгами.

Женни приехала совсем измученная жарой и недомоганием: она ждала четвертого ребенка.

— Боже мой,— сказала она Карлу,— когда же кончатся наши переезды? У меня уже нет сил, совсем нет сил, Карл.

— Больше никуда не поедем,— ответил Карл, чтобы успокоить Женни.— Останемся жить во Франции.

— Мы скитаемся уже пять лет,— напомнила Женни.

— Да, пять лет.

— И наше положение теперь хуже, чем пять лет назад, Карл. У нас ничего не осталось ни от моего, ни от твоего наследства. У нас трое детей и будет четвертый...

— Когда, Женни?

— Через четыре месяца.

— Это достаточный срок, чтобы устроить все наши дела.

— Карл,— попросила Женни,— сядь рядом со мной.

— Ты хочешь мне еще что-то сказать? — спросил он.

— Нет,— ответила Женни.— Я хочу, чтобы ты обнял меня, Карл. Давай обнимемся и посидим молча. И забудем обо всех наших делах.

Маркс обнял жену, и они сидели молча. С печалью он думал о том, что испытания, выпавшие на ее долю, непомерно тяжелы. Потом Женни спросила:

— А где же Энгельс? Нет ли каких-либо вестей о нем?

— Об Энгельсе нет. Известно только, что отряд, в котором он



сражался, ушел в Швейцарию. Многие из его отряда погибли в боях. Например, Иосиф Молль...

В дверь постучали. Маркс пошел открывать. Вернулся тотчас же, держа в руке листок бумаги. Рука его дрожала. Женни видела такое впервые. Губы его были сжаты и побелели.

— Что, Карл? — испугалась Женни.— Плохие вести об Энгельсе?

— Нет, нет,— ответил Карл.— Почему ты решила, что об Энгельсе?

— Мы только что говорили о нем...

— Весть плохая, но не об Энгельсе. Это полицейское уведомление. Мне вновь напоминают о приказе покинуть Париж и поселиться в провинции Морбиан.

— Где это?

— Это в Бретани, среди гнилых болот... Но мы туда не поедем! — решительно сказал Карл.— Я буду протестовать. Ссылка в Морбиан — это замаскированное убийство...

— Успокойся, Карл.— Женни подошла к нему и положила руки на плечи.— Успокойся. Нас гонят из Парижа? Пустяк. Для нас это обыкновенное дело. У меня еще остались кое-какие фамильные драгоценности. Отнесем их в ломбард, и у нас будут деньги для нового путешествия. Ломбарды, надеюсь, в Париже действуют?

— Разумеется.

— Вот и хорошо. Подумай только, куда нам поехать. Хорошо бы в город, где не так жарко, как в Париже.

— Я подумаю,— пообещал Карл.

Письмо от Энгельса пришло на имя Женни из Швейцарии.

Энгельс писал, что находится сейчас в Веве. Очень беспокоился о судьбе Маркса, так как до него дошел слух, будто Маркс арестован в Париже. «Я очень прошу Вас как можно скорее успокоить меня, сообщив о судьбе Маркса,— написал он.— Я не слышал, чтобы слух об аресте Маркса подтвердился, а потому все еще надеюсь, что это неправда».

Письмо заканчивалось такими словами:

«Если бы только у меня была уверенность, что Маркс на свободе! Я часто думал о том, что под прусскими пулями я подвергался гораздо меньшей опасности, чем наши в Германии, и в особенности Маркс в Париже. Избавьте же меня скорее от этой неизвестности. Ваш Энгельс».

Письмо было написано 25 июля.

В конце письма был обратный адрес: «Ф. Энгельсу, немецкому эмигранту, Веве, Швейцария».

Прочитав письмо Энгельса, Маркс сразу же принялся писать ответ.

Не дождавшись ответа от Энгельса, Маркс послал ему второе письмо.

Энгельс вскоре сообщил, что переехал в Лозанну. Письмо от Энгельса пришло в тот же день, когда Маркс получил приказ покинуть Париж немедленно.

«Меня высылают в департамент Морбиан,— написал он Энгельсу,— в Понтийские болота Бретани. Ты понимаешь, что я не соглашусь на эту замаскированную попытку убийства. Поэтому я покидаю Францию.

В Швейцарию мне не дают паспорта. Я должен, таким образом, ехать в Лондон, и не позже, чем завтра. Швейцария и без того вскоре будет герметически закупорена, и мыши будут пойманы одним ударом.

Кроме того, в Лондоне у меня имеются положительные виды на создание немецкого журнала. Часть денег мне обеспечена.

Ты должен поэтому немедленно отправиться в Лондон. К тому же этого требует твоя безопасность. Пруссаки тебя дважды расстреляли бы: 1) за Баден; 2) за Эльберфельд. И зачем тебе эта Швейцария, где ты ничего не можешь делать?

Тебе ничего не мешает приехать в Лондон, под именем ли Энгельса или под именем Мейера. Как только ты заявишь, что хочешь поехать в Англию, ты получишь во французском посольстве пропуск для проезда в Лондон.

Я положительно рассчитываю на это. Ты не можешь оставаться в Швейцарии. В Лондоне нам предстоят дела.

Моя жена остается пока здесь. Можешь ей писать все по тому же адресу: 45, Рю де Лилль, г-ну Рембо.

Еще раз повторяю: я твердо рассчитываю на то, что ты меня не подведешь. Твой К. М.».

За квартиру на Рю де Лилль было уплачено до пятнадцатого сентября. Владелец квартиры не мог вернуть Марксу деньги, так как успел их растратить.

— Живите до пятнадцатого сентября,— сказал он, разводя руками.— Я вас не гоню.

— Но гонит полиция,— ответил Маркс.

— Сожалею.

Марксу удалось добиться разрешения для Женни задержаться в Париже до пятнадцатого сентября. Он с радостью взял бы ее и детей с собой, но для этого не было денег.

— Раздобуду денег в Лондоне и пришлю тебе,— сказал он Женни.— Другого выхода нет.

Женни молча плакала.

Три недели прожил Маркс в Лондоне без Женни. Послал ей деньги. С помощью Веерта снял квартиру у знакомого портного на Лейстерсквер.

Женни приехала с детьми и Еленой Демут. Квартира на Лейстерсквер оказалась тесной. Маркс снова обратился за помощью к Веерту, и тот помог подыскать другую квартиру, более просторную, в Челси.

В начале ноября Женни родила второго сына. Ему дали имя Генрих-Гвидо и в тот же день придумали для него прозвище — Фоксик. Через пять дней после рождения Фоксика Маркс обнял Энгельса.

— Наконец-то! — сказал он.— Долго же ты добирался до Лондона.

— Пять недель, Карл. Пять недель шхуна «Корниш Даймонд», которую вел капитан Стивенс, бороздила моря от Генуи до Лондона. Туманы, дожди, штормы — это не игрушки. Я весь просолился. Теперь я настоящий морской волк. Сам смогу вести любое судно, любой корабль.

— Не сомневаюсь, Фред.

— А ты? Чем занимался все это время ты, Карл?

— Я попытался осмыслить, насколько минувшая революция подтвердила наши взгляды. И теперь могу сказать с уверенностью: мы ни в чем не ошиблись. Новая революция неизбежна. Но на ее большом корабле очень не хватает опытного капитана,— улыбнулся Маркс.

— И ты берешь меня, Карл?

— Разумеется!

— Прекрасно! Когда корабль отправится в путь?

— Скоро отправится, Фред, скоро. Нужно лишь подобрать хорошую команду.

— Из коммунистов?

— Несомненно!

— И теперь мы этим займемся?

— Да. И немедленно.

Они снова обнялись.

Они верили, что пожар европейской революции разгорится с новой силой в ближайшее время. И принялись за дело — за воссоздание и реорганизацию пролетарской партии и за издание журнала. Предстояло обобщить опыт революции и вооружить рабочий класс революционной наукой и тактикой для будущих битв.

КНИГА ТРЕТЬЯ



Во имя всех



Глава первая

Маркс впервые за свою жизнь нуждался в утешении. Хотя бы в утешении, потому что о большем, о счастье, и думать не приходилось: где нищета, болезни и смерть, там счастью места нет. Нищета, болезни и смерть... Они начали преследовать Карла и его семью с первых же месяцев жизни в Лондоне. Ведь они всегда следуют друг за другом: впереди бежит нищета, за нею — болезни, за болезнями — смерть...

В «Новую Рейнскую газету» он вложил все, что имел,— около семи тысяч талеров. А потом Париж, переезд в Лондон, первые дни жизни в Лондоне поглотили и те небольшие деньги, которые Женни раздобыла, заложив в ломбарде часть фамильного серебра, с трудом выкупленного ранее.

Отчаянная нужда пришла в дом Маркса с наступлением зимы. А ведь в доме было четверо детей. Старшей дочери Женнихен в ту зиму шел шестой годик, а возраст младшего сына Фоксика исчислялся тогда лишь неделями. Фоксику нужна была кормилица, потому что Женни болела. Но кормилицы в Лондоне были слишком дороги. Женни поэтому при-

шлось кормить Фоксика самой. Это причиняло и ей, и Фоксику невыносимые страдания.

Фоксик плохо спал по ночам, не более двух-трех часов. Кричал, не давал спать другим. Его то и дело мучили судороги. Карл и Женни постоянно жили в тревоге, опасались за жизнь Фоксика. На Женни было больно смотреть — так изматывали ее невзгоды и заботы, изнурительные житейские тяготы, которые она самоотверженно взваливала на себя, чтобы дать возможность Карлу работать в библиотеке Британского музея.

С тяжелым сердцем Маркс принимал эту жертву. Когда же она становилась для Женни совсем непосильной, он бросался ей на помощь, готовый навсегда оставить свои научные занятия, которые, к несчастью, не приносили ему ни гроша. Но Женни всякий раз решительно останавливала его и с удвоенным рвением принималась оберегать его от «пакостей жизни», как она не раз говорила.

— Ты не тревожься, дорогой,— уговаривала она Карла.— Страдания меня только закаляют. А твоя любовь поддерживает. И вера в то, что мы никогда не расстанемся. Пакости жизни, я убеждена, никогда нас не сломят. И мы не одиноки в нашей борьбе, Карл. Ведь не одиноки, правда?

Квартира была сырой, плохо прогревалась. К тому же не хватало угля и дров. Когда печь топилась, комнаты наполнялись дымом. Но стоило при этом открыть окно, как вместе с дымом улетучивалось и тепло: зима была холодной, дождливой и ветреной. А тут вдруг в один разнесчастный день явилась домохозяйка, владелица квартиры, и потребовала немедленно уплатить долг — пять фунтов стерлингов.

— Иначе я расторгну с вами контракт,— пригрозила она,— и потребую вашего выселения из квартиры.

Денег не было. Никакие уговоры и обещания на хозяйку не подействовали. Она ушла, хлопнув дверью, и через час возвратилась с двумя судебными приставами.

— Вы подтверждаете ваш отказ от уплаты долга? — спросил один из них у Маркса.

— Да, подтверждаю — раздраженно ответил Маркс.— Но может быть, мне удастся к завтрашнему дню раздобыть необходимые средства, необходимую сумму. Вот и господин Шрамм готов удостоверить мое обещание.— Маркс указал на сидящего у печи Конрада Шрамма, члена

ЦК Союза коммунистов, который зашел за Марксом, чтобы вместе с ним отправиться в библиотеку.

— Да, я удостоверяю, что господин Маркс сдержит свое обещание,— с готовностью подтвердил Шрамм.— К тому же я в свою очередь также готов буду присоединиться и внести некоторую сумму... недостающую словом...

— Это нас не интересует,— прервал его пристав.— Ваши обещания не имеют юридической силы. Срок платежа давно истек, и владелица дома действует в соответствии с законом. Мы вынуждены описать имущество господина Маркса, а затем вывезти и продать в счет погашения долга.

Судебные приставы приступили к делу — к описи имущества.

— Кровати деревянные — две, стол обеденный, круглый — один, пальто мужское, поношенное, серое — одно, одеяла стеганые, на вате — два, колыбель детская, деревянная — одна...

Когда дошла очередь до игрушек, Женнихен и Лаура дружно заревели. Глядя на них, заревел и трехлетний Эдгар, которого с некоторых пор прозвали Полковником Мушем.

— Немедленно прекратите! — закричал на приставов возмущенный Шрамм.— Это бесчеловечно! Я сейчас же отправлюсь в город и привезу деньги! Прекратите!

Он выбежал на улицу, остановил кабриолет. Но едва он сел в него, лошади вдруг испугались чего-то, шарахнулись и понесли. Шрамм выскочил из экипажа на ходу, ударился о мостовую, расшиб себе голову и потерял сознание. Все это произошло в считанные секунды. Маркс бросился ему на помощь. И прежде чем успели сбежаться уличные зеваки, внес его, грязного и окровавленного, в дом. Пока обмывали Шрамма и перевязывали ему раны, судебные приставы удалились, заявив, однако, что все описанное имущество будет вывезено через два часа.

— Надо найти деньги,— сказал Шрамм, который быстро пришел в себя.— Имущество они продадут за бесценок, а между тем оно стоит более пяти фунтов. Потом, если не будет другого выхода, вы продадите его сами. А сейчас надо раздобыть эти проклятые пять фунтов.

Маркс отправился на поиски денег сам. Он торопился, помня, что в его распоряжении только два часа, что через два часа все имущество его семьи будет вывезено из дома. За эти два часа он испытал столько унижений, что внезапная смерть от несчастного случая представлялась ему уже желанным избавлением. Он вернулся вовремя, уплатил деньги

домовладелице, но тут нагрянула новая беда: сначала прибежал аптекарь, а за ним булочник, мясник и молочник и предъявили неоплаченные счета. Напуганные тем, что судебные приставы описали имущество Марксов, они торопились получить свои деньги. А денег не было, потому что Маркс раздобыл только пять фунтов и все они перекочевали в карман домовладелицы.

— Продадим мебель,— сказала Женни.— Потом купим другую. А эта мне уже надоела. К тому же надо искать новую квартиру. Перевозка мебели на новую квартиру обойдется нам дорого. А так продадим — и избавимся сразу же от двух бед: от кредиторов и от перевозки.

Покупатель на мебель быстро нашелся: у дома уже толклись дельцы, промышлявшие скупкой мебели. Срочная продажа — всегда в убыток, а срочная скупка приносит доход. Скупщик погрузил мебель на телегу, когда снова появилась домовладелица, на этот раз с мужем.

— Разгружай телегу и вноси мебель обратно! — приказал домовладелец скупщику.— Разве ты не видишь, что солнце уже зашло? И разве ты не знаешь, что по нашим законам вывозить мебель из дома после захода солнца запрещено?

Скупщик стал возражать, упирая на то, что он уплатил за мебель, но тут появились полицейские, вызванные домовладельцем.

— Среди этой мебели есть и моя,— заявил он полицейским при огромной толпе сбежавшихся зевак.— Квартиранты продали и мою мебель, собираясь удрать за границу.

Это была бессовестная ложь. Но Марксу и скупщику пришлось внести мебель в дом.

Женни не плакала. Ее лихорадило. С мрачной исступленностью она хваталась за мебель и расставляла ее на прежние места. Карл попытался остановить ее, взял за руку, но Женни вдруг вырвала руку и закричала:

— Я сама! Я сама!

Тогда Карл обнял ее и крепко прижал к груди.

— Во всей этой кутерьме есть одна хорошая сторона,— сказал он ей.

— Какая? — спросила Женни, успокаиваясь.

— Нам не придется эту ночь спать на полу.

— Правда,— засмеялась Женни.— Выходит, что мы всех перехитрили.

— Всех! — засмеялся Карл и, оторвав Женни от пола, закружился с нею по комнате, опрокидывая стулья.

Женнихен, которую недавно стали на английский манер называть Дженни, и Лаура запрыгали от радости и захлопали в ладоши. А Полковник Муш сказал:

— Когда я женюсь, я тоже буду танцевать.

Ленхен подхватила Муша на руки и тоже закружилась по комнате.

Утром скупщик увез мебель, а семья Маркса перебралась в немецкую гостиницу на Лестер-стрит. Но ненадолго: двухкомнатный номер, который они сняли, стоил довольно дорого — пять с половиной фунтов стерлингов в неделю. Поэтому, едва поселившись в гостинице, Маркс начал поиски новой квартиры. Тот, кто когда-нибудь занимался такими поисками, имея жалкие гроши в кармане, знает, что это такое. В ломбард было унесено все, за что можно было получить деньги: посуда, одежда, белье. Но и эти деньги таяли, как весенний снег, хотя пищу покупали самую дешевую — хлеб и картофель. Но нужно было платить врачу, которого то и дело приходилось вызывать для Фоксика, нужны были лекарства. Маркс износил башмаки, проделывая по несколько десятков километров в день в поисках квартиры,— и вот понадобились новые ботинки, а ведь намеревался сэкономить на извозчиках... Квартиру он в конце концов нашел в самом нищенском квартале Лондона, в Сохо. Там были две комнаты и кухня. Разумеется, маленькие комнаты и совсем тесная кухня. Но только на это он и мог рассчитывать со своим тощим кошельком. В этом убогом жилище, прожив чуть больше года, 19 ноября 1850 года умер сын Генрих-Гвидо, которого сразу же после рождения прозвали Фоксиком в честь английского заговорщика Гая Фокса. Фоксик родился 5 ноября, в годовщину заговора Гая Фокса, который в 1605 году намеревался взорвать здание парламента вместе с членами обеих палат и королем Яковом I. Заговор Гая Фокса не удался, а «маленький заговорщик» Фоксик взорвал сердце своей матери. Женни перестала убиваться по Фоксику лишь после того, как родилась Франциска — это произошло через четыре месяца после смерти Фоксика, 28 марта 1851 года. Но и Франциска прожила недолго, менее года. Она заболела на пасху, когда весь город веселился. Врач, которого удалось разыскать с трудом, сказал, что у малютки тяжелая форма бронхита. На вызов врача ушли все деньги, какие были в доме. И поэтому, когда через три дня Франциска умерла, оказалось, что не на что купить для нее гробик.

— Мы не успели купить для нее колыбель,— плакала Женни,— а уже надо покупать гроб...

Франциску на ночь перенесли в спальню, а сами с детьми легли в передней комнате на полу. Дети уснули, но Карл и Женни не спали всю ночь. У Карла не было слов, чтобы утешить жену. Она плакала, а он обнимал ее. У него же глаза были сухие, хотя и он нуждался в утешении, потому что был на грани отчаяния: он не знал, где и как он раздобудет завтра деньги на похороны Франциски. Ведь если не раздобудет, то кто же он тогда? Имеет ли он право называться мужем, отцом, мужчиной, наконец? Кто избирает путь революционера, тот не должен жениться...

— Ты не отчаивайся,— сказала вдруг Женни, перестав плакать, и погладила его по лицу.— Мы переживем и это. Я нашла выход.

Когда рассвело, она отправилась к соседу-французу и взяла у него взаймы два фунта стерлингов. Из этих денег уплатили за гроб и за похороны Франциски. Ее похоронили на кладбище за молитвенным домом квакера Уайтфилда. Там же, где был похоронен Фоксик. На оставшиеся деньги Женни выкупила из ломбарда пальто Карла, чтобы он мог ходить в библиотеку. И в доме снова не осталось ни фартинга. А между тем заболела Женни, и нужен был врач. Потом заболела Ленхен. На исходе был картофель. Мясник потребовал срочно оплатить его счета. А в довершение ко всему явился булочник и сказал, что с будущей недели перестанет отпускать хлеб...

Выручил Энгельс, хотя и ему в ту пору жилось несладко: став служащим в отцовской фирме в Манчестере, он получал за свой труд очень скромные деньги, которыми по-братски делился с Марксом. Присланные Энгельсом деньги ушли на уплату долгов мяснику и булочнику.

Но остались неоплаченными векселя, выданные хозяйке дома. Хозяйка эти векселя опротестовала, так как сама была бедна и существовала лишь за счет платы, взимаемой с жильцов. Для Маркса и его семьи появилась угроза снова быть выброшенными из квартиры. Пришлось делать новые долги, бегать по кредиторам, умолять их о новых займах, об отсрочке выплаты прежних.

Маркс почти никогда не жаловался, переносил все житейские невзгоды стоически, но в те дни, в те черные дни, убитый горем, измотанный нуждой и кредиторами, он сказал, что нет ничего хуже, когда ре-

волюционеры должны заботиться о куске хлеба. Потому что нищета убивает в человеке не только физические, но и духовные силы, способность мыслить и действовать.

Работать дома он почти не мог, разве что только по ночам на кухне, когда все спали. Но ведь и сон в доме давно стал роскошью, потому что и Женни, и детей постоянно донимали болезни. И бессонница, если говорить о Женни, мучительная бессонница со слезами и жалобами на судьбу. Не мог регулярно заниматься и в библиотеке Британского музея: выбивали из колеи всякого рода дела, а главным образом, необходимость бегать по Лондону в поисках денег. Проклятая необходимость. Но даже и тогда, когда не было такой необходимости, он испытывал муки совести, если просиживал в библиотеке с утра до вечера, потому что работать в библиотеке — это счастье, а у Женни его нет. Она сидит целыми днями дома, погруженная в бесконечные заботы о беспомощных детях, о пище, об одежде. И о нем. Она взваливает на себя все, что только в силах сделать. И даже то, на что у нее не хватает сил. Ради него, разумеется. Он хорошо помнит, как три или четыре года назад, будучи беременной, она одна отправилась в Голландию к его дяде в надежде выпросить у него немного денег. К своим богатым и высокочиновным родственникам в Германии она не могла отправиться с такой просьбой, потому что те просто жаждали увидеть ее раскаивающейся в «предосудительной связи с бунтовщиком Марксом», униженной, на коленях. Она высоко ставила его и свою любовь к нему. И свою честь быть женой революционера. Бесконечно милая, такая слабая и такая сильная... Дядя денег не дал, потому что тоже осуждал «связь с революцией» и никак не мог понять, почему его племянник потратил на революцию все свое состояние...

Отрываясь от книг, Маркс часто думал о том, что его Женни погибнет, если так будет долго продолжаться, что мелочная житейская борьба день за днем подтачивает ее силы. И тогда он бросал книги и отправлялся домой, к жене и детям, играл с детьми, развлекал разговорами жену. Женни радовалась его приходу, но всегда напоминала ему о том, что ему надо в библиотеку, что он мог бы работать, раз представилась такая возможность, но вот он такую возможность упускает, а будущее чревато новыми заботами...

Он мучился от мысли, что плохо выполняет свой долг перед семьей. Она же страдала оттого, что недостаточно хорошо оберегает его от «па-

костей жизни». Однажды он услышал, как она сказала Вильгельму Либкнехту, немецкому эмигранту, тоже обитавшему в Лондоне:

— Женщины при мужчинах всегда играют менее значительную роль. Вы сражаетесь с врагами революции, а мы сидим дома и штопаем вам чулки.

В сущности, она была права. Но то, что делал он, не могла делать она. Они оба это понимали. Это был его долг. Если не перед всем человечеством, как писал Кант, то перед всем рабочим классом: создание самостоятельной пролетарской партии и вооружение ее таким знанием, которое обеспечило бы ей научную и практическую победу,— знанием закономерностей возникновения, развития и гибели капитализма. Добыть эти знания Маркс мог, лишь проштудировав до самых глубин все, что было написано в мире о капиталистическом способе производства. И такую возможность предоставлял ему только Британский музей, его библиотека. Только там он мог докопаться до тайн капитализма. А это требовало времени, времени и еще раз времени. Но именно его-то и отнимала у Маркса проклятая нужда. И еще она отнимала у него душевное равновесие, которое было так необходимо для напряженной работы. Перерывы и препятствия были слишком велики.

Через три года после Франциски умер восьмилетний сын Эдгар, прозванный Мушем. «Муш» на рейнском диалекте — воробей. Он и был таким, как воробышек,— непоседливым, юрким, шумным. Он умер в апреле, а тремя месяцами раньше, в январе, родилась Тусси. Тусси была такая хилая, что Маркс и Женни каждый день ждали ее смерти. Но вдруг умер Муш. Впрочем, не совсем вдруг — несколько недель он болел. Врач предположил, что у Муша туберкулез. Женни почти целиком была поглощена заботами о крошке Тусси, и поэтому Маркс сам целыми днями и ночами просиживал у постели больного Муша.

Муш был его любимцем. Маркс находил, что он весь в него. Что он чрезвычайно одарен, что у него оригинальный, приветливый и независимый характер.

У Муша была крупная голова, высокий лоб, чудесные глаза. Он был постоянно полон юмора и самых забавных затей. Он любил громко петь. Маркс очень любил участвовать в его забавах и шутя пророчил ему судьбу великого мыслителя...

И вот он умер, хотя мог бы, наверное, жить, если бы его своевременно удалось отправить в деревню, где свежий воздух и здоровая пища. Или

на берег теплого моря. Его убили лондонский сырой климат, скитальческая и нищенская жизнь его родителей.

После нескольких недель болезни Муш тихо умер у Маркса на руках. Через два дня его похоронили рядом с Фоксиком и Франциской на кладбище у Тоттенхем-Корт-род.

Когда гроб с телом Муша опускали в могилу, Марксу захотелось самому броситься в нее, но кто-то помешал ему это сделать. Кажется, Вильгельм Либкнехт. Это Либкнехт сказал ему в экипаже, когда они направлялись на кладбище:

— Мавр, у тебя есть жена, девочки и мы, и все мы тебя так любим!

— Но вы не можете вернуть мне мальчика,— ответил ему Маркс.

Никто не может вернуть ему мальчика. Ему показалось, что со смертью Муша дом совершенно опустел и осиротел. Потому что Муш был душой этого дома. Маркс не раз ловил себя на том, что ищет Муша, ждет его, прислушивается к голосам, пытаясь среди них услышать его голос. Теперь он узнал, что такое горе. Казалось, что ему не будет конца. В эти дни ему пришла в голову мысль круто изменить свою жизнь: отдать девочек на воспитание своим друзьям, объявить себя банкротом и переселиться в бараки для безработных...

Энгельс звал его к себе погостить, но Маркс не сразу воспользовался его приглашением, потому что был болен. Еще хуже чувствовала себя Женни. Но в конце концов они все же осилили отчаяние и отправились вдвоем в Манчестер. От Лондона до Манчестера триста километров. Поезд, в котором они ехали, одолел это расстояние за восемь часов. Все восемь часов они просидели молча, не зная, что еще могут сказать друг другу в утешение. И лишь когда выходили из поезда, Женни сказала:

— Мы не станем задерживаться здесь слишком долго, ведь наши девочки будут скучать без нас.

— Да, Женни,— ответил Карл.— Разумеется.

Едва расставшись с детьми, они уже беспокоились о них, скучали по ним, готовы были мчаться к ним обратно. И если бы Энгельс не встретил их, наверное, так бы и поступили: отправились бы ближайшим поездом в Лондон. Маркс, во всяком случае, готов был к этому, а ведь еще недавно он думал о том, не отдать ли девочек на воспитание своим состоятельным друзьям.

— Здравствуй, Фред, здравствуй,— говорил Маркс, пожимая Энгельсу

руки.— Все ужасно, ужасно. И если бы не ты, если бы не друзья... Если бы не надежда, что мы еще сделаем на свете что-нибудь разумное, все было бы еще ужаснее, Фред.

Кэб отвез их на окраину города, где была семейная квартира Энгельса, в которой он жил вместе с женой Мэри Бернс и принимал друзей. В другой квартире, находившейся в центре города, он принимал деловых людей в качестве сотрудника фирмы «Эрмен и Энгельс», торговцев и промышленников.

Рабочий день Энгельса в фирме еще не кончился, и поэтому он поспешил в свою контору, оставив Маркса и Женни на попечение Мэри и ее младшей сестры Лиззи. Возвратился он только к шести часам вечера и привез с собой Вильгельма Вольфа — Лупуса.

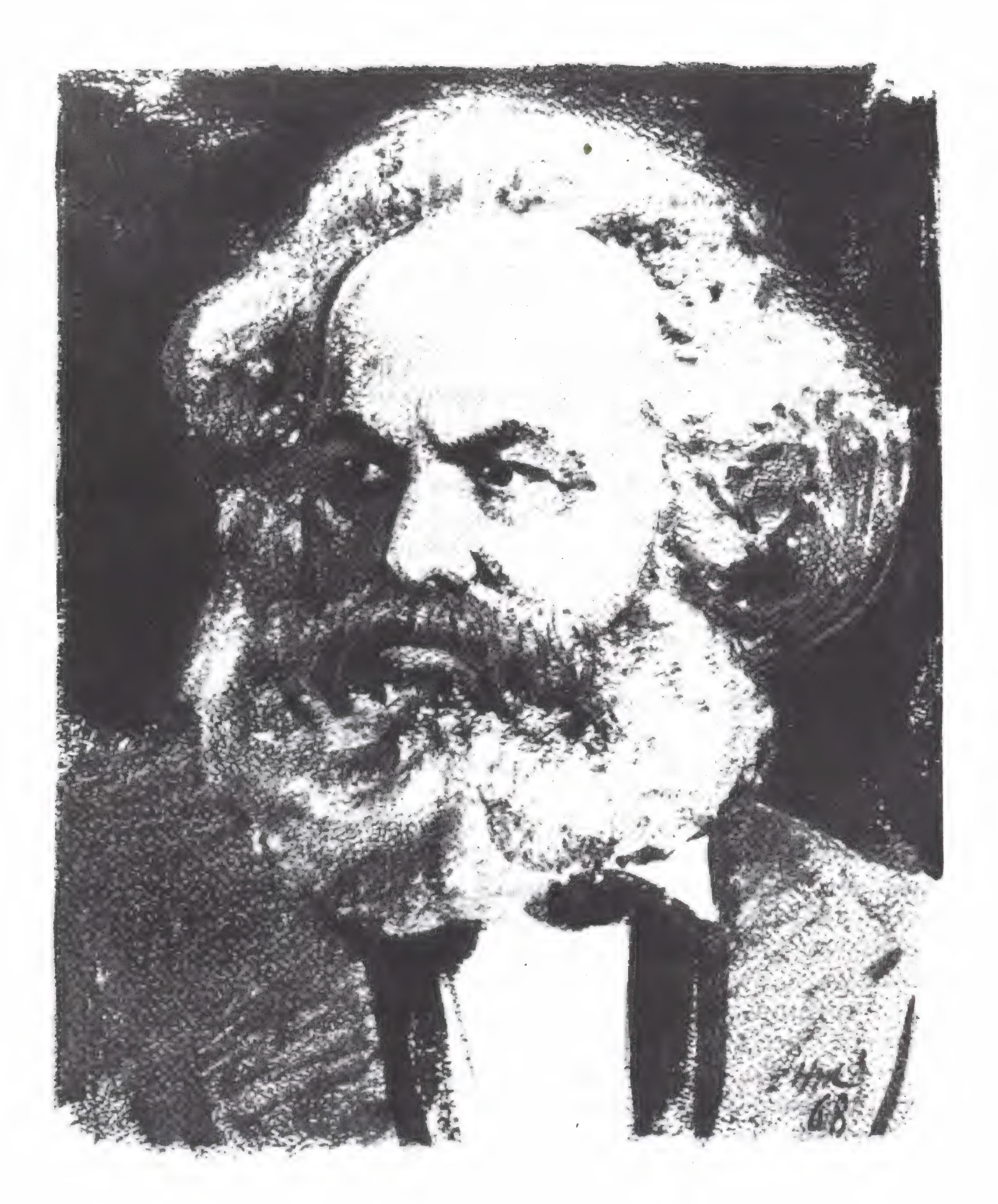
— Здравствуй, дорогой Лупус! — обрадовался появлению старого товарища Маркс.— Как ты поживаешь, наш славный друг?

— Ты-то как? — спросил Вольф, обнимая Маркса.— Прими соболезнования старого холостяка... Я потому, может быть, и не женился, что боялся семейных трагедий. Смертельно боялся... А ты поседел,— заметил он, выпуская Маркса из объятий.— Понимаю, дружище, что ничем не могу тебе помочь. Как тут поможешь? И все же один совет ты должен принять: постарайся справиться со своей бедой поскорей, потому что ты нужен столь многим... Когда умер Муш? — спросил он, помолчав.

— В страстную пятницу,— ответил Маркс.— Между пятью и шестью часами. Он уснул у меня на руках. А я его до сих пор чувствую, будто он у меня вот здесь, у груди.— Маркс тяжело вздохнул и отвернулся к окну. Он был бледен и заметно сутулился: его все эти дни донимала обострившаяся болезнь печени.— Все прежние мои несчастья были только несчастьями,— сказал он, глядя в окно.— А это — горе. Мне кажется, что я его не перенесу. Нет никаких сил.

— Ты нужен столь многим, Карл,— вернулся к недосказанной мысли Вольф.— Это должно удерживать тебя от отчаяния.

— Ах, Лупус, Лупус... Что я могу сделать для многих, если не смог спасти одного, моего мальчика. А он верил в мое могущество.— Маркс подавил вздох и повернулся к Вольфу: — Ты говоришь пустое, Лупус. Либкнехт недавно говорил мне о том же, приводил слова великого Бэкона. Бэкон, видите ли, утверждал, что выдающиеся люди должны легко переносить всякие потери, потому что они тысячами уз связаны с миром, что у них огромен интерес к этому многообразному миру.



Возможно, что это и так, Лупус. Не стану спорить с Бэконом. Ему виднее, потому что он был выдающимся человеком. Я же к числу выдающихся не принадлежу. Я простой смертный, и я потерял сына... А бедная моя Женни совершенно убита.

Застолье было грустным. Да и не могло быть иным. Никто даже и не пытался развеселить другого. Говорили о Муше и о других детях: о Женнихен, Лауре и маленькой Тусси. Добрые слова друзей о девочках согревали Маркса и Женни. Но едва разговор возвращался к Мушу, Женни начинала плакать. А однажды сказала, что лучше было бы и ей умереть. После этих ее слов Маркс встал из-за стола, отошел к открытому окну и долго стоял там, дымя сигарой.

— Черт знает какую сигару ты куришь,— сказал ему Энгельс,— забивает дух жаркого и даже аромат моего табака!

Маркс усмехнулся, погасил окурок.

— Так как же ты поживаешь, дорогой Лупус? — спросил он Вольфа, прервав разговор женщин.— Что говорят о твоих уроках?

— Уроки мои хвалят,— ответил Вольф.— И платят сносно. Признаюсь, что я научился жить экономно. Я даже откладываю деньги на черный день.

— На черный день? — переспросил Маркс.— Это что такое — черный день?

— Это тот самый мировой экономический кризис, скорое наступление которого ты предсказываешь, но который почему-то не наступает. Ведь по твоим предсказаниям, Карл, кризис должен был разразиться уже вчера,— заметил Вольф, улыбаясь.

— Сбыться моим предсказаниям мешают некоторые случайности,— ответил Маркс.— Но кризис будет. Так что совершенствуй свою науку экономить, дорогой Лупус. А главное — изобретай новые средства экономить. Я, например, изобрел одно совершенно оригинальное средство,— впервые за весь вечер улыбнулся Маркс.— Если хочешь, поделюсь с тобой.

— И нам будет интересно,— обрадовался такому повороту разговора Энгельс.— Поделись и с нами.

— Я готов,— охотно согласился Маркс, хитро подмигнув Энгельсу.— Итак, слушайте. До недавнего времени я курил сигары, за которые платил по три шиллинга. Не за штуку, а за ящичек,— уточнил он.— Те, что по три шиллинга за штуку, курят только короли. Объяснение для

женщин, а то они могут подумать, что мужчины — страшные моты. На мой взгляд, у сигары две существенные задачи: первая — она должна дымить, вторая — запах ее дыма не должен походить ни на какой другой запах. Скажем, на запах дамских духов: иначе можно будет спутать мужчину с дамой.

— Или с обгоревшим башмаком кочегара,— добавил Энгельс.

— Или с обгоревшей кошкой,— включился в соревнование Вольф.

— Или с паровозом, что уже совсем опасно,— поддержала игру Женни.

— Или с обувью, сохнущей у огня,— сказала Мэри, жена Энгельса.

Не высказалась только Лиззи, сестра Мэри.

— Говори и ты,— потребовала Мэри.

— Я не знаю, что сказать,— смутилась Лиззи.— Я не могу так быстро придумать. Хотя вот: однажды я уронила в огонь свой роговой гребень,— нашлась она,— так дым от него был просто ужасный, он держался в доме несколько дней.

— Прекрасно! — похвалил ее Энгельс.— Если бы сигары пахли горелым рогом, то Лиззи могла бы подумать, что в доме прячется курящий мужчина.

Все засмеялись.

— А в чем же все-таки суть открытого тобой оригинального метода экономить деньги? — напомнил Марксу Вольф, когда веселая минутка миновала.

— Вот в чем: прежде я курил сигары по три шиллинга за ящичек, теперь — по полтора шиллинга. Дальше простая арифметика: если я выкуриваю теперь в день один ящичек, я экономлю полтора шиллинга, если два ящичка — три шиллинга. Словом, чем больше я теперь курю, тем больше экономлю. И значит, скоро стану совсем богатым человеком, если буду курить беспрестанно, сбережения мои растут. На эти сбережения я и буду отныне жить и курить. Курить и жить! Короче: следует лишь курить побольше дешевых сигар, чтобы стать миллионером.

— Или пить побольше чая без сахара, верно? — спросил Вольф.

— Верно.

— Или есть гнилую картошку вместо хорошей, как поступают тысячи рабочих-ирландцев, моих соотечественников,— сказала Мэри.

— Или вообще ничего не есть и не пить, так как это дает огром-

ную экономию,— завершил разговор Энгельс.— Нищие — вот в перспективе самые богатые люди.

Когда проводили Вольфа, Женни сказала Карлу, что хочет теперь побыть с женщинами и отпускает его на всю ночь к Энгельсу.

— Да, да,— настояла она на своем решении.— У меня есть о чем поговорить с Мэри и Лиззи. И не тревожься за меня,— добавила она, погладив его по плечу.— Пожалуйста.

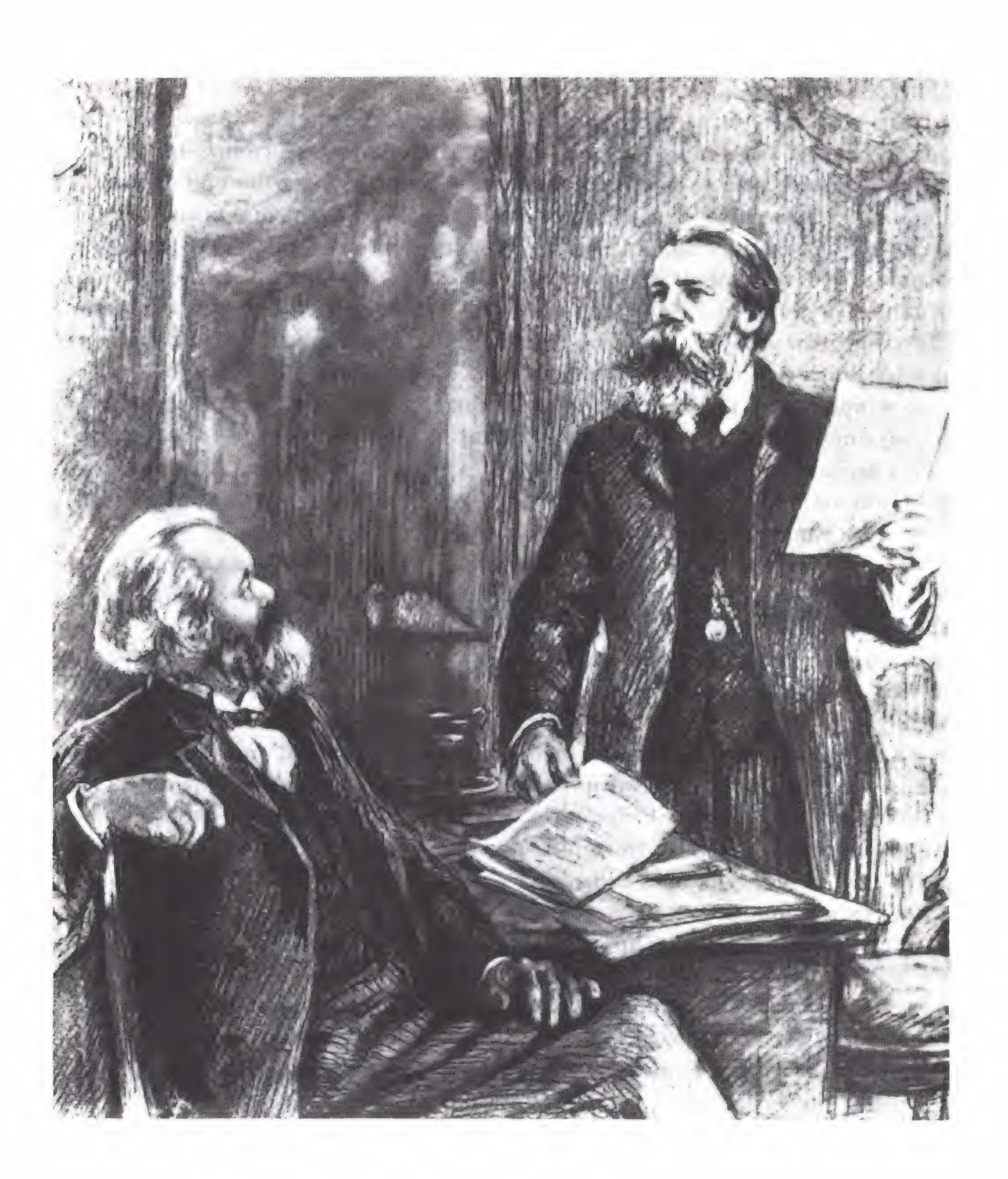
Маркс понимал, что она приняла это решение ради него, чтобы дать ему возможность побыть наедине с Фредом, с которым он виделся теперь так редко: проклятая коммерция крепко приковала Энгельса к Манчестеру, а его приковали к Лондону нужда и заботы. А между тем встречи с Энгельсом нужны были ему, как воздух: они возвращали ему бодрость и веру в необходимость и значительность той работы, которую он делал. Вернее, которую они делали...

— Спасибо,— сказал он жене, сжав ее слабую руку в своих ладонях.— Я успею еще наговориться с Фредом: ведь мы еще погостим.

— Нет,— возразила Женни.— Я так хочу. Пожалуйста,— попросила она.— Я так давно не общалась с женщинами. Ведь в нашем доме толкутся только мужчины, твои друзья.

— Хорошо,— согласился Карл.— Я буду наведываться к тебе, если мы засидимся.

В рабочей комнате Энгельса было много книг, но еще больше папок с бумагами, большую часть которых составляли документы Союза коммунистов, за которыми так долго и безуспешно охотились агенты прусской полиции, когда готовился процесс над кёльнскими коммунистами. Теперь эти документы хоть и бесценный архив, но архив, потому что Союза коммунистов нет! Два года назад, в 1852 году, после кёльнского процесса, по предложению Маркса Союз коммунистов был распущен, хотя на его создание было потрачено так много сил и времени. В 1849 году, оказавшись в Лондоне, Маркс и Энгельс искренне верили, что новая революция не за горами и что необходимо немедленно начать подготовку к ней. Начать с воссоздания ЦК Союза коммунистов. Сделать это было тем более легко, что в Лондоне оказались почти все прежние члены ЦК. Не было только Иосифа Молля, который погиб в битве при Мурге. В состав ЦК были избраны также новые члены: портной Иоганн Эккариус, журналист Конрад Шрамм, художник Карл Пфендер. Виллих,



командир добровольческого отряда, в котором сражались Энгельс и Молль, также стал членом ЦК.

Создание ЦК было лишь небольшой частью большой задачи: возрождения всего Союза коммунистов. Маркс и Энгельс энергично принялись за ее решение: были подготовлены необходимые воззвания, посланы в Германию эмиссары для установления связей с сохранившимися после разгрома революции общинами Союза коммунистов. Связи были найдены, общины восстановлены в Берлине, Билефельде, Бреслау, Франкфурте-на-Майне, Геттингене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Лигнице, Майнце, Мюнхене, Нюрнберге, Шверине, Висбадене. Перед ними была поставлена конкретная цель: распространение идей Союза коммунистов среди рабочих и крестьян. Главная же идея заключалась в том, что предстоящая буржуазно-демократическая революция должна перерасти в пролетарскую революцию, стать непрерывной и длиться до тех пор, пока не будут отстранены от господства все имущие классы, пока пролетариат не завоюет государственную власть.

Тогда же был создан новый печатный орган — журнал, который назывался «Новая Рейнская газета. Политико-экономическое обозрение». В нем впервые рядом были напечатаны два слова: диктатура и пролетариат, образовавшие новое понятие, ставшее краеугольным камнем науки о пролетарской революции, о переходе от капитализма к коммунизму.

Удалось выпустить только шесть номеров журнала, так как полиция стала преследовать книготорговцев, пытавшихся распространять его в Германии. Средства, собранные для издания журнала, были быстро израсходованы, а новые, которые предполагалось получить от продажи журнала, не поступали. Таким образом, погибло очень важное и с большим трудом организованное дело.

Выпуск журнала прекратился в ноябре 1850 года. А несколькими месяцами раньше Маркс и Энгельс пришли к выводу, что новая революция начнется не так скоро, как они думали раньше. Это было грустное открытие. Оно потребовало от них известного мужества: надо было расстаться с мечтой о близкой победе пролетариата и с мыслью о скором возвращении на родину, о конце тяжелой эмигрантской жизни.

«Новая революция возможна только вслед за новым кризисом» — таков был этот вывод. Экономический кризис 1847 года полностью исчерпал себя в революции 1848 года. Начался мирный и, видимо, длитель-

ный период в развитии капитализма, период экономического процветания, политической реакции и пассивности рабочего класса. Франция уничтожила всеобщее избирательное право, а рабочий класс не восстал. Мелкая буржуазия в Германии добровольно сдала свои позиции, а либеральная буржуазия пустилась во все тяжкие, поставив погоню за наживой во главу своих устремлений. Богатая Англия подкупами и демагогией развращала свой рабочий класс. Россия онемела в руках деспотизма.

Если невозможны победы на баррикадах, необходимы интеллектуальные победы — так сформулировали тогда свою задачу и задачу рабочего класса Маркс и Энгельс. Необходимо развивать и совершенствовать одно из самых мощных оружий пролетариата — революционную теорию.

Вывод, к которому пришли Маркс и Энгельс, сразу же внес раскол в среду немецкой эмиграции в Англии. 15 сентября 1850 года состоялось бурное заседание ЦК Союза коммунистов, на котором Август Виллих, Карл Шаппер и еще двое членов ЦК выступили против Маркса, Энгельса и их четырех сторонников — Шрамма, Пфендера, Бауэра и Эккариуса. Вопреки Марксу и Энгельсу, Виллих утверждал, что революция возможна в любой момент, что ее надо начать немедленно, что она вспыхнет после первых же выстрелов, которые произведут в Германии вооруженные отряды революционеров.

— Значит, снова заговор? — спросил тогда Виллиха Маркс.— Значит, снова с одной стороны — кучка отчаянных храбрецов, с другой — серая толпа? Значит, снова улицы, усеянные трупами рабочих? И жесточайшее преследование всех, кто прольет над погибшими слезу даже из чувства простого сострадания? Но ведь это же авантюризм и преступление! Опомнитесь, Виллих! Я могу понять, что вы страстно желаете немедленной революции. Кто из нас этого не желает?! Но руководствоваться желаниями мы не можем! Надо учитывать реальные условия борьбы! А они сейчас таковы, что о революции, о немедленной революции, помышлять не приходится! Она может наступить только вслед за новым экономическим кризисом!

Виллих не унимался.

— Кризисы, условия борьбы, экономические кризисы — все это выдумка, чепуха! Все это из области теории! — выкрикнул он в ответ.— Воля революционера — вот что решает успех дела. Воля! И только воля!

В защиту Виллиха выступил Карл Шаппер. И это было особенно горько: ведь Карл Шаппер принадлежал к старой гвардии, прошел рядом с Марксом и Энгельсом суровую школу революционной борьбы.

Ответная речь Маркса, к сожалению, не убедила ни Шаппера, ни Виллиха, ни их сторонников.

Начался горячий спор, во время которого вспыльчивый Конрад Шрамм вызвал Августа Виллиха на дуэль. Виллих принял вызов Шрамма и покинул заседание.

Через месяц Виллих, Шаппер и их сторонники были исключены за их раскольническую деятельность из Союза коммунистов. Виллих на дуэли ранил Шрамма. К счастью, легко.

Тогда же, в ноябре 1850 года, Энгельс принял решение о переезде в Манчестер, чтобы стать там приказчиком в фирме «Эрмен и Энгельс». Маркс понял, вернее, догадался, что Энгельс принял это решение главным образом ради него. Без материальной помощи, какую постоянно оказывал ему Энгельс, он давно уже был бы раздавлен обстоятельствами. Правда, предполагалось, что Энгельс пробудет в Манчестере недолго, что со временем им удастся начать в Лондоне новое предприятие, например открыть корреспондентское бюро, которое станет приносить хоть какой-нибудь доход.

Увы, этой надежде не суждено было сбыться: литературное дело для революционера и коммуниста в буржуазном обществе вообще не может стать прибыльным. В большей степени, чем кто-либо другой, Маркс в эти годы испытал это на себе. Его имя давно стало пугать издателей. К тому же добровольные и подкупленные полицией клеветники и интриганы хорошо делали свое черное дело. В конце концов им удалось оклеветать не только Маркса, но и весь Союз коммунистов.

В мае и июне 1851 года по приказу прусского короля был арестован кёльнский Центральный комитет и многие ведущие члены Союза. Приказано было также схватить Маркса и Энгельса, если они окажутся на немецкой земле. Арестованные были обвинены в государственной измене.

Процесс над кёльнскими коммунистами длился полтора года. И все это время Маркс и Энгельс предпринимали самые решительные шаги, чтобы помочь своим товарищам. Помощь эта оказалась решающей: были разоблачены полицейские подделки, фальшивки, подтасовки, на которые прусское правительство не жалело денег и которые должны были очернить деятельность коммунистов, представить их перед судом присяж-

ных коварными и жестокими заговорщиками. Впрочем, присяжные все же признали подсудимых — семерых из одиннадцати — виновными. И это не удивительно: шестеро присяжных были из дворян, четверо представляли финансовую аристократию, двое — высших государственных чиновников. А все вместе они были верноподданными его королевского величества.

После суда над кёльнскими коммунистами связь Маркса и Энгельса с Германией практически прервалась, немецкие общины Союза коммунистов распались. Лондонская община была распущена по предложению Маркса.

Маркс знал, что в рабочей комнате Энгельса хранятся и черновики тех статей, которые Энгельс написал для американской газеты «Нью-Йорк дейли трибюн» («Нью-йоркская ежедневная трибуна») вместо него. Когда редактор газеты Чарлз Дана предложил Марксу сотрудничать в его газете, Маркс еще плохо писал по-английски. Энгельс сразу же пришел ему на выручку. Да и теперь он делает это довольно часто, потому что нехватка времени, болезни и прочие напасти выбивают Маркса из колеи. Следовало бы, наверное, отказаться от газетной работы, освободить от нее и себя, и Энгельса. Особенно Энгельса, который и без того вынужден проводить все дни за конторкой приказчика.

Маркс и Энгельс проговорили всю ночь. Дважды за это время Маркс наведывался к жене и, убедившись в том, что она спит, возвращался к Энгельсу. Расстался с ним только на рассвете, когда Мэри и Лиззи уже начали готовить завтрак.

Войдя в комнату, где спала жена, Маркс тихо спросил:

— Ты спишь, Женни?

Женни не ответила. Притворилась спящей. Она не спала и тогда, когда Карл наведывался к ней среди ночи. Думала о детях и о нем. О нем так же, как о детях: что он пропадет без ее забот и любви. И о том, стало быть, что ей надо держаться, жить. Ради них. Ради Карла и детей.



Глава вторая

То, что в начале лондонской жизни предполагалось сделать за несколько месяцев, растянулось на годы и годы. Там, за стенами Британского музея, эти годы пронеслись с ветрами, дождями и туманами, с морозами и снегами, без устали рядясь то в дневные, то в ночные одежды. Здесь же, в библиотеке музея, они промчались под шелест страниц и скрип перьев. Сколько сотен тысяч страниц Маркс уже перелистал и сколько перьев уже сломалось!..

Для него эти годы были чередой бесконечных терзаний. Да, да, теперь об этом можно сказать именно так: чередой бесконечных терзаний. Были, конечно, и радости, и счастливые мгновения, но лишь как случайные паузы между ударами, которые судьба с жестокой методичностью наносила ему один за другим. И вот еще один удар, очередной,— тяжело заболела Женни. Сейчас он скажет библиотекарю, чтобы тот вернул в хранилище выписанные им книги, так как не сможет воспользоваться ими в течение нескольких недель, и отправится домой, к Женни.

Врач сказал совершенно определенно: у нее, у его прекрасной Женни, черная оспа.

Большую часть обратного пути он проделал пешком, хотя погода была скверная, моросил холодный дождь. Правда, англичане говорят, что плохой погоды не бывает — бывает плохая одежда. Стало быть, у него плохая одежда, коль скоро ноябрьская сырость пронимает его до костей. Его старые башмаки сразу промокли, хотя он и старался обходить лужи. Когда же каменную брусчатку сменила раскисшая глина, он перестал выбирать дорогу — ноги тонули в глинистой жиже едва ли не по щиколотку.

Маркс торопился. Первую и единственную остановку он сделал у дома, в котором жили Либкнехты. Доктор Аллен, установив, что у Женни оспа, велел немедленно увести детей из дома. Ленхен тогда же сбегала к Либкнехтам и попросила их приютить на время девочек у себя. Маркс остановился против окна комнаты, в которой Либкнехты поселили его девочек. Не было никакой надежды на то, что дочери увидят его: дождь заливал стекла окон мансарды, к тому же вокруг клубилась густая, как туман, морось. Навестить же девочек он не мог: Аллен строго-настрого запретил ему и Ленхен встречаться с детьми. Запрет был столь же разумным, сколь и огорчительным для Маркса: он с трудом представлял себе, как проживет эти несколько недель в разлуке со своими баловницами. А Женни? Как будет страдать без них бедная Женни!..

Он предчувствовал, что беда неминуема. И Аллен предупреждал его об этом. Весь нынешний год она сильно нервничала, принимая близко к сердцу кампанию наглой клеветы, которую с легкой руки мерзавца Фогта развернули против него, против Маркса, и против коммунистов буржуазные газеты. Живущий в Швейцарии немецкий эмигрант Карл Фогт, бывший лидер левых демократов во франкфуртском парламенте, пресловутой «франкфуртской говорильне», а ныне отщепенец, клеветник и агент французского короля Наполеона III, выпустил в начале года книгу. В этой книге он изобразил Маркса в качестве главы шайки вымогателей и фальшивомонетчиков. Фогт утверждал, что Маркс и коммунисты занимаются тем, что направляют в Германию сотни писем бывшим участникам революции и, угрожая этим людям выдать их властям, требуют денег, которые затем прикарманивают. Кроме того, утверждал Фогт, они сами изготовляют фальшивые деньги, чтобы с их помощью подготавливать революции в различных странах. Клевета Фогта была злоб-

ной и нелепой. И тем не менее ее подхватили многие газеты в Европе. Особенно постаралась немецкая «Национал-Цайтунг», которая появилась в Лондоне раньше, чем книга Фогта. Женни, прочитав в ней посвященную книге Фогта передовую статью, пришла в такое отчаяние, что Марксу долго не удавалось успокоить ее. Она потеряла сон, у нее начались нервные припадки.

— Женни, милая,— убеждал он ее,— ведь это в обычае европейских газет — оскорблять на потеху публике писателей, ученых, политиков. Отвечать на такие оскорбления — только подливать масло в огонь. Ведь случалось и раньше, что меня пытались оклеветать. И тут дело не во мне, а в партии, к которой я принадлежу: коммунисты постоянно находятся под огнем своих врагов.

— Нет, Карл,— возражала Женни,— ты должен защитить достоинство нашей семьи. Я настаиваю, я требую!..

— Но как, Женни? Ведь на континенте нет ни одной газеты, которая согласилась бы напечатать мои опровержения. Напротив: вся буржуазная пресса ополчилась против меня. Единственное, что я могу сделать,— это возбудить судебное преследование против одной из этих газет, скажем против «Национал-Цайтунг».

— Сделай хотя бы это,— плакала Женни.— Ведь нужно что-то делать, Карл! Вся Европа льет на нас помои... Вспомни, как мы отбивались от клеветников во время кёльнского процесса над коммунистами.

— Тогда речь шла о чести всей партии, Женни.

— А теперь? Разве теперь не так?

Женни была, конечно, права. Маркс понимал, что и теперь речь идет о чести всей партии. И если он все еще ничего не предпринимал, то лишь потому, что очень опасался за здоровье Женни. Он надеялся, что Женни скоро успокоится и перестанет столь болезненно воспринимать клеветнические нападки прессы, которые, несомненно, усилятся, как только он объявит войну Фогту. Но Женни не только не успокаивалась, но еще больше нервничала и требовала открытой войны с Фогтом и его подпевалами.

Маркс начал войну. И не столько ради себя, сколько ради исторического оправдания партии и ее будущего положения в Германии. Но, как он и предполагал, его обращение в газеты не увенчалось успехом: буржуазная пресса оказалась закрытой для него. Попытка возбудить судебное преследование против «Национал-Цайтунг» также провалилась:

прусский суд отказался рассмотреть его жалобу на газету. Оставалось одно: написать против Фогта книгу.

Эта книга, хоть и стала его лучшим полемическим произведением, как сказал о ней Энгельс, отняла у него почти год. И столько же времени у Женни, которая не раз переписывала ее после бесконечных поправок и уточнений, вносимых Марксом. Женни казалось, что он работает слишком медленно, слишком старательно, много внимания уделяет мелочам, разоблачению ничтожных сплетен, которые не могли запятнать даже края его подошв. Она сгорала от нетерпения увидеть Фогта и его грязную компанию повергнутыми в прах. Она так извела себя, так изнервничалась и ослабела, что где-то в омнибусе или овощной лавке к ней прицепилась ужасная болезнь и быстро одолела ее. Черная оспа, черная полоса жизни, 1860 год...

А была ли предшествующая полоса светлой? В известной мере — была. Особенно радостными были те дни, когда им удалось покинуть сырую и тесную квартиру на Дин-стрит и переселиться сюда, на Графтон-террес. Переезд этот состоялся благодаря тому, что мать Женни оставила ей небольшое наследство, несколько сот фунтов стерлингов. Коттедж на Графтон-террес стоил тридцать шесть фунтов в год — весьма и весьма недорого. Объяснялось это тем, что он стоял среди огромного пустыря — начинавшейся стройки, заваленной кучами мусора и строительных материалов. Немногим изменился этот пустырь и теперь, спустя пять лет,— всюду кучи мусора и строительных материалов, все то же отсутствие дорог, заплывающие в дождь лужами и вязкой желтой глиной тропинки.

Но сам дом хорош, в нем светло, тепло, много комнат. А в хорошую погоду он просто великолепен, так как от него рукой подать до зеленых живописных холмов, где Маркс и Женни так любят гулять со своими детьми.

Они быстро обставили его мебелью, купленной «по случаю», в общем-то, старой рухлядью, но еще вполне пригодной. Женни даже писала тогда некоторым своим знакомым, что они обставили «свой волшебный замок» в стиле рококо. Во всяком случае, теперь у каждого члена их семьи была своя кровать, свой уголок для работы.

Женни была счастлива, а еще более счастливыми почувствовали себя дети.

К тому же в тот год им удалось расплатиться со своими долгами,

и к ним вернулось из ломбарда фамильное серебро Вестфаленов, белье, одежда. Женни, как ребенок, радовалась своим платьям, в которых она наконец без стеснения могла появиться на улице. А еще больше тому, что хорошая одежда круто изменила к ней отношение «вражеских сил» — так она называла булочников, мясников, молочников, торговцев чаем и зеленщиков. Видя ее хорошо одетой, «вражеские силы» охотно открывали ей свои кредиты. Благодаря этому они стали хорошо и сытно есть впервые за много лет. Ленхен тайком молилась, чтобы это счастье никогда не кончилось...

Увы, оно скоро кончилось: деньги, доставшиеся им по наследству, были израсходованы, а гонорары Маркса, получаемые им из «Нью-Йорк дейли трибюн» за статьи, сократились вдвое: начался экономический кризис 1857 года, и владелец газеты отказался оплачивать по две статьи в неделю.

Расходы же между тем увеличивались: подрастали девочки, и воспитание их становилось дороже, больших расходов требовал дом. Пришлось Марксу унести обратно в ломбард серебро и одежду, влезать в долги, ссориться с кредиторами и таким образом поддерживать видимость респектабельности, чтобы избежать полного краха. Все дни уходили на то, чтобы добывать хлеб насущный, а на главное дело, на политическую экономию, оставались только ночи. Следствием постоянной ночной работы стали приступы болезни печени, во время которых он не мог писать. Эти приступы приковывали его к постели, приносили бесконечные мучения и ему, и Женни. Они превращали его жизнь в прозябание и заметно ухудшали материальное положение семьи. Хотелось умереть и лежать на сто саженей под землей, чтобы не быть в тягость себе и другим...

Радость была лишь одна — дети, их милые, шаловливые, веселые и добрые дети, их прелестные девочки: Дженни, Лаура и Тусси. Тусси, их светлый лучик, которая родилась в год смерти Муша и на которую они перенесли всю свою любовь и нежность.

Женни лишь чуть-чуть преувеличивает, когда расхваливает своих девочек перед знакомыми. Они действительно очень милы и привлекательны. Очень-очень милы и очень-очень привлекательны.

Дженнихен смугла, как креолка. У нее густые темные волосы. И темные глаза, которые всегда смотрят ласково. У нее маленькие ручки и миниатюрные ножки. Иногда она этим хвастается перед Лаурой,

которая, несомненно, затмевает ее своей красотой. Если Дженнихен — его копия, то Лаура похожа на мать. У Лауры правильные черты лица, белокурые волосы, у нее плутовские зеленоватые глаза с длинными ресницами, в которых постоянно светится радостный огонек.

Про маленькую Тусси Либкнехт говорит, что она круглая, как шар, кровь с молоком. К тому же она щебетунья, постоянно выдумывает истории в стиле братьев Гримм, сказки которых обожает.

С детьми он отдыхает, забывает о тяготах жизни. А теперь он не только не видит их, но и не слышит. Когда Ленхен увела детей к Либкнехтам, он ощутил вдруг в доме тягостную, удручающую тишину. Люди склонны не замечать то, что всегда рядом, а когда лишаются этого, обнаруживают вокруг себя невосполнимую пустоту. Именно это произошло с ним вчера, когда в доме не стало детей.

На лугах между Хэмпстедом и Хайгетом во время летних воскресных прогулок он, случалось, уходил за дальние холмы один. Исследовал места для будущих прогулок. Но всякий раз останавливался и торопливо возвращался, когда переставал слышать голоса своих милых хохотушек. Голоса детей были для него как бы веревочкой, на длину которой он мог уходить один.

Впрочем, не только хохотушки, не только болтушки и щебетуньи: старшие девочки хорошо учатся и многим интересуются всерьез — историей, литературой, языками.

Дженнихен свободно говорит на трех языках: английском, немецком и французском. Кроме того, читает на итальянском и испанском. Она хорошо рисует. Любит поэтов, особенно Шекспира, знает наизусть отрывки из многих его трагедий. Гёте, Шиллер, Гейне, Гервег и Фрейлиграт — ее немецкие любимцы. Вольтер, Ламартин, Беранже, Расин, Корнель, Лафонтен — французские. В ее итальянских тетрадках записаны отрывки из Данте, Петрарки, Торкватто Тассо, Ариосто, Боярдо, Гаспаро Гоцци, Манцони. В испанской тетрадке — Кальдерон. Дженнихен мечтает стать актрисой, она хорошо поет, у нее прекрасная дикция.

Лаура — поэтесса, она сочиняет стихи на английском языке. За это ей дали прозвище — Поэтесса. Это не первое и не единственное ее прозвище. Еще раньше ее прозвали Мастером Какаду. Так звали одного портного из одного старинного романа, который прочли девочки. Это прозвище Лаура получила не только за то, что проявляла страсть к нарядам, но и потому, что сама выдумывала и шила себе наряды. Лаура также

Стряпуха: когда нет Ленхен, она заменяет ее на кухне, сама печет превосходные пироги и торты. К тому же она еще Наездница, так как увлекается верховой ездой. И еще Птичьи Глазки, потому что под длинными ресницами у нее прячутся лучистые зеленоватые глаза.

А Тусси — вышивальщица, филателистка и просто сорванец. Она любит играть с мальчиками, всегда требует себе роль командира и мечтает стать капитаном корабля.

И вот если кто-либо из девочек появится сейчас в эту дождливую погоду на балконе дома Либкнехтов, то это будет непременно Тусси: она не боится ни дождя, ни ветра, ни холода. Женни ошиблась, родив Тусси девочкой, потому что Тусси по своим замашкам совсем как мальчишка.

Маркс оказался прав. Стукнула балконная дверь, и появилась Тусси.

— Здравствуй, старина! — закричала она радостно, подпрыгивая и размахивая руками.— Как идут дела? Как здоровье нашей дорогой мамочки? Кви-Кви, Стряпуха! — позвала она старших сестер.— Внизу стоит наш Мавр! Скорее сюда!

На балкон выбежали Дженни и Лаура.

— Я тебе написала письмо,— сказала отцу Дженни.— Лови! — И она бросила письмо, завернутое в газету.

Маркс поймал письмо, прижал к груди.

— Мы без тебя и без мамочки очень скучаем,— сказала Лаура.— Скажи мамочке, что мы ни на минутку не забываем о ней. А иногда садимся все вместе и мысленно сильно-сильно желаем ей скорей поправиться. Скажи ей об этом!

— И по тебе сильно скучаем,— сказала Дженни.— Мамочку больше жалеем, потому что она больна, а скучаем и по тебе, и по мамочке.

— А Тусси нам совсем надоела,— пожаловалась Лаура.— Она все время пристает к нам и требует, чтобы мы ей рассказывали про Ганса Рёкле.

Ганс Рёкле был героем сказок, которые придумывал для Тусси Маркс. Он был волшебником, у которого была лавка чудесных игрушек. Эти игрушки он вынужден был продавать дьяволу, чтобы уплатить долги мяснику, булочнику, зеленщику, сапожнику. Но так как Ганс Рёкле был волшебником, то и игрушки у него были волшебными. Они не хотели оставаться у дьявола и после целого ряда самых удивительных приключений всегда возвращались к Гансу Рёкле.

Тусси так любила эти сказки отца, что готова была слушать их и днем

и ночью. Теперь она без них скучала и поэтому приставала к сестрам.

— Про Ганса Рёкле могу рассказывать только я,— сказал младшей дочери Маркс.— Когда мамочка поправится и ты вернешься домой, я расскажу тебе еще сто миль про него.

Поскольку Маркс рассказывал Тусси сказку про Рёкле чаще всего во время прогулок, то она и измерялась не главами, а милями.

— Тысячу миль! — потребовала Тусси.

— Хорошо, тысячу миль,— пообещал Маркс.

Он возвратился домой и рассказал о девочках Женни.

— Боюсь, что ты разговаривал с ними слишком долго и они могли простыть,— высказала опасение Женни.— Обещай, что больше не будешь подолгу стоять под балконом у Либкнехтов.

— Да, не буду,— сказал Карл. Про письмо Дженни он умолчал: Дженни спрашивала, как идут дела с печатанием книги против Фогта, а Карл не хотел, чтобы Фогт снова занимал мысли Женни.

Женни чувствовала себя с каждым днем все хуже, хотя доктор Аллен сделал ей две прививки против оспы. Лицо ее покрылось зудящими язвами, она потеряла слух, а вскоре лишилась и зрения. Ее постель поставили у раскрытого окна, чтобы холодный ноябрьский ветер обвевал ее лицо. К ее пылающим губам Аллен велел прикладывать лед. Она не могла есть. И лишь с большим трудом проглатываемые ею время от времени несколько капель густого сладкого вина поддерживали в ней слабеющие силы.

— Как вы находите ее? — то и дело спрашивал у Аллена Карл, хотя и сам видел, что Женни очень плохо.

— Пока ничего утешительного,— отвечал Аллен.— Но будем все же надеяться.

Кризис наступил через неделю. Аллен похлопал Карла по руке и сказал:

— Теперь есть надежда.

Карл вышел в другую комнату, запер за собою дверь, сел к столу и заплакал. Ведь мысленно он уже несколько раз за эти дни хоронил Женни. И себя.

Женни! Женни любимая! Без тебя — одиночество, пустота, безлюден весь земной шар. Все, что найдено, обдумано, создано,— без тебя не имеет смысла. Мир живет и играет красками только под солнцем, только

в его лучах. Тьма и холод — это мир без солнца. Это я без тебя. Смерть. И все труды бессмысленны, и все страдания напрасны...

Помнишь ли, я написал тебе однажды письмо. Тогда еще жива была твоя мать и ты ездила к ней в Трир с детьми, чтобы показать ей наших девочек. Это было четыре года назад, в пятьдесят шестом. В один из тех дней мне вдруг пришла в голову бредовая мысль: я подумал, что больше никогда не увижу тебя. Она пришла сама собой, без всякой причины. Так мне тогда казалось. Хотя теперь я знаю, что причина была: ты уехала к матери, в теплый и обеспеченный дом, на родину, где жили твои богатые родственники, к берегам прекрасного Мозеля... А я остался в Лондоне, в чужом и мрачном городе, в сырой и прокопченной квартире на Дин-стрит. Без гроша в кармане. И без всякой надежды хотя бы мало-мальски обеспечить тебе и детям сносное существование. И вот: будь ты немного более матерью, заботящейся о будущем детей, чем моей женой, более баронессой фон Вестфален, чем фрау Маркс, более немкой, чем преданным мне другом, ты должна была бы тогда остаться в Трире. Я даже желал этого. Более того, проклятый здравый смысл нашептывал мне: исчезни с лица земли — и твоя жена будет спасена от нужды и страданий. И вот тогда-то мне пришла в голову мысль, что я, возможно, никогда тебя больше не увижу. Все мое существо тогда вдруг возмутилось. Я чуть не задохнулся от негодования. И от любви к тебе, Женни.

Я бросился к столу и стал писать тебе письмо. То самое, которое тогда так удивило тебя. Еще не написанные слова я произносил вслух. Да что там произносил — я выкрикивал их, потому что весь клокотал от страсти. И от мучения, что ты не слышишь меня, не можешь мне ответить.

Женни! Женни! Любимая! Тогда нас разделяло только пространство. А теперь нас едва не разлучила смерть. Чего бы стоила тогда моя жизнь? Ничего. Я не верю в то, что мыслью, словом или жестом один человек может передать другому человеку, находящемуся на краю могилы, приказ жить и силы для жизни. И все же я, как и наши милые девочки, посылал тебе такие мысленные приказы, вкладывая в них всю свою жизненную энергию.

Твоя жизнь и моя жизнь — это одна и та же жизнь, одна. И едина. А то, что едино, не имеет частей. Для единого всякое расчленение — смерть. Ведь половина бабочки — это уже не бабочка, и половина цвет-

ка — это уже не цветок. Так и моя жизнь без твоей жизни — не жизнь. И значит, они должны соприкасаться в мыслях, в словах, в жестах, в чувствах — переливаться друг в друга. И умереть друг в друге, как умирает одна половина цветка в другой...

Теперь мы будем жить, Женни. Доктор Аллен сказал, что теперь мы будем жить. Я должен уведомить об этом Фреда.

Маркс придвинул к себе лист бумаги, чернильницу, взял ручку и написал: «Состояние моей жены, насколько это возможно при данных обстоятельствах, улучшилось. Это будет длинная история. Но то, что можно назвать сильным приступом болезни, прошло».

Через две недели Женни могла уже разговаривать и открывать глаза.

— Это было ужасно,— призналась она Карлу, когда он задержался у ее постели за полночь, отправив Ленхен спать.— Я ничего не слышала и не видела, но сознание не покидало меня. Я была как бы заживо похороненной. Только то, что происходило во мне, было жизнью. А была лишь боль и мысль. И еще страх. Страх от мысли, что я больше никогда не увижу и не услышу тебя. Это мучило меня несравненно больше, чем боль.

— Я был рядом с тобой, Женни,— сказал Карл.

— Теперь я это знаю. Но тогда я этого не знала. Иногда же мне казалось, что я давно умерла. А потом вдруг вспомнила декартовский постулат: я мыслю — следовательно, существую. И успокоилась. Я мыслю — следовательно, существую. Но что будет с моим лицом, Карл? Шрамы сотрут с него все, что ты любил. А ничего нового жизнь на нем запечатлеть не успеет: жизни осталось мало — ведь мне уже сорок шесть.

— Юноши любят глазами, а зрелые мужи — сердцем. Ты сама где-то вычитала про это,— сказал Маркс.

— Да,— вспомнила Женни.— Юноши любят глазами, зрелые мужи — сердцем, а старики — ушами.— Она засмеялась, хотя смеяться ей было больно.— Все же ты подальше спрячь зеркала,— попросила она.— Моим зеркалом будешь ты. Что ты скажешь обо мне, тому я и буду верить. Скажешь — красивая, буду считать себя красивой, скажешь — уродливая, ну что ж...

— Женни,— сказал Маркс,— старость все равно отнимет красоту. Ту, что мы видим в зеркале. Старым людям надо смотреть не в зеркало, а на своих детей.

— Боже, как я хочу увидеть наших девочек,— вздохнула Женни.

— Я уже придумал, как это устроить. Как только Аллен разрешит тебе встать, ты выйдешь на балкон, а я позову девочек.

— Да. Прочти еще раз их письмо,— попросила Женни.

— Какое? Писем уже много.

— Любое. Самое длинное.

Самое длинное письмо было написано рукой Дженни. На шести страницах. Сначала Дженни описывала во всех подробностях проказы Тусси, затем новый наряд Лауры, который она успела сшить себе из двух старых платьев, потом Дженни написала несколько слов о себе — о том, как она рисует новый пейзаж, открывающийся из окон квартиры Либкнехтов: мокрые деревья в тумане.

— Мокрые деревья в тумане — это печаль,— сказала Женни.— Видно, наш Кви-Кви очень тоскует. Она уже почти взрослая девушка и все понимает. Да и Лаура уже не маленькая. Что будет дальше, Карл? Ведь у них ни одежды, ни обуви приличной. Все перешито из старого. Обо мне речь не идет — я на себя почти ничего не трачу, ни фартинга. Все идет девочкам. И все же они одеты очень плохо.

— Не знаю, Женни, что тебе и сказать. Я и сам вижу, что одежда у детей изрядно поизносилась. Но впереди никакого проблеска, потому что мои книги, как ты знаешь, не приносят дохода. И все же хорошо, что девочки подрастают.

Потом, когда Женни совсем поправится, он скажет ей:

— Давай найдем для Дженни и Лауры места гувернанток, Ленхен устроим в другой дом, всю мебель оставим домовладельцу в уплату долгов, объявим себя несостоятельными должниками по отношению ко всем другим кредиторам, к «враждебным силам», как ты говоришь, и поселимся вместе с Тусси в казарменном доме для бедных. Что же еще, Женни? Я понимаю, что не должен был тебе говорить это. Прости, родная. Но и сам я измучен такой жизнью до предела.

— Бедный мой,— пожалела его Женни, а ведь это он должен был ее пожалеть.— Я и сама уже тысячу раз думала обо всем этом. Проклятое общество хочет нас убить. Оно купило Фогта, грязного доносчика и клеветника, и с его помощью обрушилось на нас сотнями газет и журналов. Оно купит еще сто доносчиков и клеветников. Купит и натравит на нас провокаторов, кредиторов, судебных исполнителей, полицейских чиновников. Так было. И так будет, если ты, Карл, не замолчишь, не выпустишь

из рук оружие, не сдашься. Сдаться и замолчать — вот было бы несчастье, равное смерти. А тот путь, тот выход, который предлагаешь ты, меня не пугает. Сообщи о нашем решении Энгельсу: возможно, он поможет пристроить девочек и Ленхен. А что с книгой о Фогте?

Карл ждал этого вопроса и боялся его: доктор Аллен уверял его, что, ни случись с Женни одной беды — не заболей она оспой, с ней приключилась бы другая беда, еще более страшная — нервная горячка или что-либо подобное, и что причиной этого стала бы история, связанная с Фогтом. И вот — вопрос о Фогте, будь он проклят!

— Ведь твоя книга «Господин Фогт» напечатана, правда, Карл?

— Напечатана, Женни.

— Когда же ты покажешь мне ее?

— Сейчас и покажу.— Карл вышел в другую комнату и возвратился с книгой.

— Я рада,— сказала Женни.— Мы отомщены, Карл. Верно?

— Возможно,— уклончиво ответил Карл.

— Как оценили ее наши друзья?

— Они-то ее главным образом и оценили, Женни.

— А враги?

— Боюсь, что враги ее еще не прочли.— Он хотел добавить: и не прочтут, но сдержался, промолчал, потому что такое утверждение могло бы только огорчить Женни. Правда, однако, была в словах, которые он не решился произнести.

Книга «Господин Фогт», напечатанная в Лондоне, не попала в Германию, так как издательская фирма, напечатавшая книгу и обязавшаяся доставить ее в Германию, прекратила свое существование, едва книга о Фогте увидела свет. К тому же Карл понес на издании этой книги заметные убытки, хотя предполагалось, что она принесет и ему, и фирме доход.

— А как отозвался о книге Энгельс? — спросила Женни.

— Он написал, что это лучшее полемическое произведение, какое я когда-либо написал.

— Правильно,— обрадовалась Женни.— Это твое лучшее полемическое произведение. Словам Энгельса следует верить: они искренни.

Следовало бы поверить и другим словам Энгельса, который, зная о непрактичности Маркса, предупреждал его, что издание книги в Лондоне — зряшная затея: у издателя не было опыта и надежных средств,

Маркс не оформил с ним свои финансовые отношения документально, и потому, когда издательская фирма лопнула, Марксу был предъявлен солидный денежный иск одним из компаньонов издателя. Книга же, изданная на немецком языке, осталась в Лондоне, что уже не раз случалось с немецкой эмигрантской литературой. Деньги и труд, как и предупреждал Энгельс, оказались выброшенными на ветер.

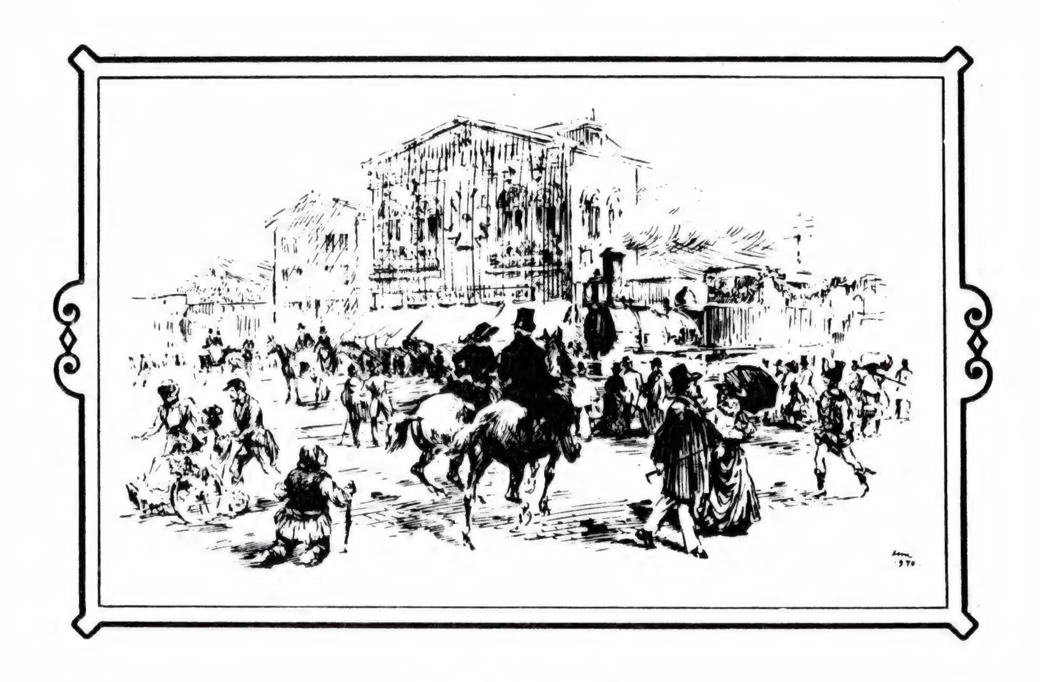
Так устроен этот проклятый мир: бедные становятся беднее, а богатые богатеют.

Когда Женни почувствовала себя настолько хорошо, что смогла вставать и выходить на балкон, Либкнехт привел к дому детей. Карл был рядом с Женни: ведь и ему, как и Ленхен, Аллен запретил близкое общение с детьми. Девочки радовались, увидев мать, смеялись и, перебивая друг друга, торопились сказать ей все, что могло развеселить ее. Бедняжки, они не видели лица матери, которое до самых глаз было прикрыто платком. Спустя несколько недель, увидев ее вблизи, они разрыдались, потому что лицо ее было обезображено темно-красными шрамами. Девочки гордились красотой своей матери и еще недавно спорили о том, кто из них больше похож на нее. Теперь же красоте их любимой Мэмэ пришел конец.

— Пустое,— сказала девочкам Женни, утирая слезы Тусси.— У моих шрамов очень модный цвет. Тона, конечно, слишком яркие, но зато это модно, очень модно.

Женни поправилась, но заболел Карл: приняла острый характер его хроническая болезнь печени. Кроме лекарств, доктор Аллен прописал ему постельный режим и запретил чем-либо заниматься. Да он и не мог ничем заниматься — так сильны были боли. Но больше, чем боли, его угнетало то, что он бессилен, что впустую проходит время, которое он мог бы отдать работе. Только в работе он находил смысл жизни, в работе для класса обездоленных. И в заботе о ближних своих. Теперь же он был беспомощен и нуждался сам в заботе других. И это было невыносимо.

К весне здоровье Маркса улучшилось. Из нужды его снова выручил Энгельс, получивший отцовское наследство.



Глава третья

Все, что было написано им ранее, он считал теперь мелочью. Потому что перед ним лежала рукопись его главного труда — его «Капитал». Пусть еще не весь, а лишь первый том. Но и он выглядел уже так солидно, что ни одна из его прежних рукописей не выдержала бы сравнения с ним. Но дело, конечно, не в объеме. Дело в сути. Эта его работа — наиважнейшая. Лишь теперь он может сказать, что сделал для пролетариата нечто значительное.

Женни и дети приходили смотреть на его рукопись, которая большой белой скалой возвышалась на столе. Энгельс прислал в письме свое «Ура!».

Итак, «Капитал. Критика политической экономии. I том». Он посвятил его дорогому Лупусу — Вильгельму Вольфу. Об этом на первой странице: «Посвящается моему незабвенному другу, смелому, верному, благородному, передовому борцу пролетариата Вильгельму Вольфу. Родился в Тарнау 21 июня 1809 года. Умер в изгнании в Манчестере 9 мая 1864 года».

Маркс был на похоронах Лупуса и произнес у его могилы речь. Слезы душили его. Несколько раз срывался голос. «От нас ушел один из немногих наших друзей и соратников. Он был человеком в лучшем смысле этого слова» — так он, кажется, сказал тогда о Лупусе, чувствуя, что слова не могут вместить в себя все его горе. И потому срывался голос — хотелось просто зарыдать.

Похороны состоялись 13 мая, а десятью днями раньше он еще смотрел в живые глаза Лупуса. Он пришел к нему вместе с Энгельсом. Лупус уже несколько дней был без сознания, но тут вдруг открыл глаза, узнал их и поприветствовал слабой улыбкой...

Он оставил Марксу некоторую сумму денег, которую ему удалось скопить, давая частные уроки. Бедный Лупус копил эти деньги на старость, надеясь дожить до нее, но прожил только пятьдесят пять лет в постоянных трудах.

Деньги, оставленные Лупусом, на целый год избавили Маркса от нужды.

Смерть широко косит, собирает скорбную жатву среди его друзей. Умер от чахотки благородный Роланд Даниельс — два года его продержали в тюрьме, в сырой камере, пока шел кёльнский процесс над коммунистами. В год смерти ему исполнилось только тридцать шесть.

Молодым умер Георг Веерт, славный пролетарский поэт,— ему было только тридцать четыре. Веерт скончался на чужбине, в Гаити. И пока никто не собрал и не издал его стихи, разбросанные по различным газетам и журналам. Стихи о пробудившемся к борьбе пролетариате.

В тридцать шесть умер храбрый Конрад Шрамм. И тоже на чужбине, на острове Джерси...

Сейчас март. Март 1867 года. Маркс родился в мае 1818-го. Стало быть, менее чем через два месяца ему будет сорок девять. Сорок девять — это почти пятьдесят. Земная жизнь пройдена до половины. До половины ли? А может быть, до двух третей или трех четвертей? Или до конца? Ведь столько пережито невзгод и нажито болезней.

Лет пятнадцать назад ему казалось, что он сможет закончить свой главный труд в пять недель. А когда после этих пяти недель прошло еще десять лет, он дал себе слово, что закончит книгу в шесть недель. Только и эти шесть недель растянулись на шесть лет.

Фред, горячо любя и жалея его, почти ненавидел его книгу. Порою он называл ее проклятой книгой и считал, что она — главная причина

всех его несчастий, несчастий Маркса и его семьи. Иногда ему начинало казаться, что Маркс никогда не закончит ее, и он давал ему советы, как поскорее отделаться от нее. Маркс этими советами воспользоваться не мог, потому что они, хотя и высказывались из желания помочь ему поскорее выкарабкаться из омута нужды и несчастий, могли повредить самой книге. Торопливость ведет к небрежности, а небрежность — к научной уязвимости. Последнего Маркс допустить не мог: он создавал абсолютное и безотказное оружие против старого мира, оружие для пролетариата.

Впрочем, Фред и сам все прекрасно понимал. Просто ему очень хотелось, чтобы Маркс поскорее сбросил с плеч тяжелейшую ношу, которая пригибала его к земле физически и духовно, поскорее стряхнул с себя кошмар чрезмерных тягот и почувствовал себя другим человеком. Марксу и самому этого хотелось. Но это была его ноша, его главный труд. Он хотел видеть его совершенным. И трудился, не жалея себя, используя для этого каждый момент, когда был работоспособным.

От людей практичных, постоянно пекущихся о своем здоровье, долголетии и благополучии, приходилось ему слышать и советы другого рода: дескать, человечество не стоит наших мук ради него, а уж тем более не все человечество, а какой-то там класс. Только он, Маркс, смеется над столь практичными людьми и их грошовой премудростью.

Но он считал бы себя крайне непрактичным человеком, если бы умер, не закончив своей книги. Закончить же и умереть — почти удача. Хотя, разумеется, бо́льшая удача в том, чтобы закончить главный труд жизни, остаться живым, завоевать себе положение, в том числе и экономическое, и стать наконец на собственные ноги... Удастся ли?

Болезни просто преследовали его. Даже тогда, когда пошла приятная работа, когда он принялся переписывать свою книгу набело, или, как он говорил друзьям, вылизывать ее, подобно тому, как собака вылизывает своих щенят после родовых мук. Он начал переписывать ее под новый год. Работа пошла споро. Сам радовался этому. А еще больше радовалась Женни: она уже почти не надеялась, что он когда-нибудь начнет превращать непомерную гору своих записей в цельное произведение. И приходила смотреть, так ли это, правда ли, что он переписывает, а не пишет новое. Он всячески старался убедить ее, что только переписывает, соединяет разрозненные куски и мысли в одно целое, хотя, разумеется, делал и то и другое. Так прошел почти месяц. Рукопись

стремительно росла: теперь он работал над ней не только по ночам, но и днем, потому что не ходил в библиотеку. И уже Женни начала переписывать рукопись после него, для издателя, так как вряд ли нашелся бы в мире издатель, который смог бы разобрать почерк Маркса. И вдруг он опасно заболел. Это приключилось в конце января. И тогда же обнаружилось, что скопилась значительная сумма долгов. И стало ясно, что он не успеет вовремя подготовить документы для Женевского конгресса Международного Товарищества Рабочих.

У него опять обострилась болезнь печени и появились карбункулы, которые причиняли ему постоянно мучительную боль. Энгельс, узнав об этом, забросал его письмами. Он просил, требовал, грозился. Он просил Маркса быть благоразумным и предпринять необходимые меры для лечения. Он требовал, чтобы Маркс хотя бы на время бросил работать по ночам. Он грозился приехать и лично заняться его лечением.

Маркс и теперь еще слышит голос Фреда:

— Сделай мне и твоей семье единственное одолжение — позволь себя лечить! Что будет со всем рабочим движением, если с тобой что-нибудь случится? А если ты так будешь вести себя, то дело неизбежно дойдет до этого. В самом деле, у меня нет и не будет покоя ни днем ни ночью, пока я не вытащу тебя из этой истории. Каждый день, когда я от тебя ничего не получаю, я беспокоюсь и думаю, что тебе опять хуже.

Были дни и ночи, когда Маркс не мог отвечать ему, потому что боль не только не давала сосредоточиться, но просто лишала его всяких физических сил, и он не мог держать в руке перо. Когда же боль отпускала его ненадолго, он первым делом писал Фреду. О чем? Да все о том же. О том, что по-прежнему лежит в постели, но что не умрет. И не потому не умрет, что крепок физически, а потому, что не имеет права на смерть.

Разумеется, он, как говорится, храбрился. Или, как выразилась Ленхен, пел петушком, когда надо было волком выть. Потому что еще через одну неделю стало ясно, что шутки с болезнью плохи.

Врач сказал, что на этот раз дело шло о жизни. Что если его болезнь повторится в такой же форме еще три-четыре раза, придется заказывать гроб.

— Бакунин мне рассказывал, что у них, в России, старики сами часто делают себе гроб, чтоб потом никого не утруждать этим делом. И одежду готовят заранее. Так надо вообще относиться к смерти — спокойно,— сказал Маркс.— А вы толкуете об опасных рецидивах.



Врач не придал его словам никакого значения.

— А знаете ли вы, в чем причина опасного рецидива? — спросил он и сам же ответил: — В чрезмерной ночной работе. Вообще в чрезмерной работе. Обещайте,— потребовал он,— что впредь будете вести разумный образ жизни.

Маркс и сам понял тогда, что дело его плохо: он заметно похудел и очень ослабел. Голова работала по-прежнему ясно, а руки и ноги не слушались его.

— Не говорите ничего моей жене,— попросил Маркс врача.— Все-таки, как вы сказали, опасность миновала.

— Пока миновала,— ответил врач.— Пока. Но обещаю не волновать вашу жену. Так уж и быть. В ответ на ваше обещание, конечно, что вы будете отныне щадить себя.

Врачи — наивные люди: они полагают, что здоровье и физическое существование — важнее и выше долга и цели, которые определил для себя мыслящий человек. Они забывают о том, что есть долг и есть цель, которые можно выполнить и достичь только ценою жизни...

Энгельс настоял на том, чтобы Маркс поехал к морю, в Маргет. Фред убедил его в том, что несколько недель, проведенных у моря, обеспечат ему несколько лет плодотворной работы. Нельзя сказать, что Маркс ему поверил. Но он разрешил себе этот отдых, надеясь потом наверстать время в работе.

В Маргете он поселился в частном доме. Хозяева его оказались очень славными людьми, внимательными и неназойливыми. Большую часть дня он проводил у моря, дышал свежим воздухом.

Весеннее море пахнет так дивно, словно примятая мурава на зеленых берегах родного Мозеля. Только у моря в отличие от реки нет другого берега. И поэтому все время кажется, что ты на краю мира, на краю земли, что дальше — бездна, ничто.

Он полюбил прогулки у моря. Он превратился в бродячую трость — так он написал Лауре. И еще написал о том, что ничего не читает и не пишет. Кроме писем, конечно. Не забыл при этом написать ей несколько слов о Поле Лафарге, чтобы немного подразнить «прекрасную и гордую наездницу», как любит говорить о ней Поль Лафарг, этот молодой француз из Бордо, который родился в Сантьяго-де-Куба и у которого дед был женат на мулатке, а бабка по матери была индианкой из племени карибов.

Поль Лафарг появился в их доме на Майтленд-парк-род два года тому назад с рекомендательным письмом от одного из руководителей парижской секции Интернационала. Красивый молодой человек представился студентом-медиком, хотя к тому времени еще не был медиком и уже не был студентом, так как был исключен из университета за участие в молодежном политическом движении. Исключен на два года, что и привело его из Франции в Лондон, где он намеревался продолжить образование, хотя ни слова не знал по-английски. К Марксу он пришел, как он сам выразился, чтобы познакомиться с вождем Интернационала. А познакомившись, стал бывать в его доме едва ли не каждый день.

Сначала Марксу казалось, что этот веселый и восторженный юноша привязался к нему. Но вскоре выяснилось, что в дом на Майтленд-парк-род Поля влечет не столько дружеская привязанность к его хозяину, сколько любовь к дочери хозяина, к белокурой красавице Лауре. Тогда же выяснилось и другое: что Лаура не безразлична к чарам пылкого креола.

«Согласись, Мавр, что Поль очень красив».

«Конечно, Какаду».

«А еще он интеллигентный и энергичный парень».

«Разумеется, мой Птичий Глаз».

«И отличный гимнаст, Мавр!»

«Да, да, моя Наездница».

«Если я не дам ему никакой надежды, он наложит на себя руки, Мавр!»

«Неужели?»

«Он грозился».

Пришлось Марксу ломать голову над тем, в какой форме может быть дано Полю обещание на его возможный брак с Лаурой. В результате ему было дано туманное обещание, которое Поль, однако, принял — по причине его пылкой натуры — как окончательное согласие на брак.

Впрочем, Поль нравился Марксу. Нравилась его бьющая через край жизнерадостность, его восторженный и бурный характер. Маркс прощал ему некоторую самоуверенность и тщеславие, его любовь к блеску, к внешним сторонам жизни, его разговорчивость, относя это за счет того, что Поль еще очень молод, к тому же южанин, уроженец Сантьяго-де-Куба и житель Бордо.

— А в Бордо все такие,— говорила о нем Лаура.

Маркс тем более прощал Полю, что тот со свойственной его натуре страстью поглощал и те знания, которыми щедро делился с ним Маркс, едва выдавалась свободная минутка.

Правда, у Маркса это были минуты, свободные от работы, а у Поля — от ухаживаний за Лаурой.

Поль и Лаура гуляли в парке. Маркс увидел их из окна своего кабинета и велел Ленхен позвать Поля. Поль примчался через несколько минут, разгоряченный, веселый, с цветком в волосах, подаренным ему, вероятно, Лаурой.

— Отличная погода,— сказал он Марксу.— Все же грешно в такую погоду сидеть в кабинете. Хотя, признаюсь, мне чертовски нравится ваш кабинет. Широкое окно — и поэтому здесь много света. Масса света! К тому же из окна виден прекрасный парк.

— И идущая по аллее Лаура,— добавил Маркс, надеясь таким образом перейти к разговору об отношениях Поля и Лауры.

— Да? — обрадовался Поль и подбежал к окну.— Лаура! — крикнул он.— Ты не уходи далеко! Я скоро приду!

Лаура помахала в ответ рукой.

— Боюсь, что не так скоро, как вам хотелось бы, Поль,— сказал Маркс.— Я вас задержу по меньшей мере на полчаса.

— Я всегда рад разговору с вами,— не отрывая взгляда от Лауры, ответил Поль.— Даже не знаю, что мне нравится больше: разговаривать с вами или с Лаурой... Как прекрасно мелькает ее белое платье среди зелени!

— Поль, отойдите от окна,— попросил Маркс.— И давайте присядем на диван, если хотите. Но может быть, вам больше нравится мое кресло? Тогда садитесь в кресло.

— А можно? Мне очень нравится ваше кресло. Особенно его блестящие подлокотники. Когда у меня будет свой кабинет, я обязательно куплю точно такое же кресло.

Маркс устроился на своем кожаном диване, раскурил трубку.

— И велю сложить точно такой же камин,— продолжал Поль, усевшись в деревянное кресло.— Его также будут украшать фотографии: ваша фотография, фотография Энгельса и фотография моей жены — Лауры. И так же, как в вашем кабинете, будет много книг. А еще лучше иметь несколько кабинетов, как было у великого Кювье в Парижском музее. В каждом кабинете он занимался одной какой-нибудь работой.

Для этого там были необходимые книги, инструменты, анатомические препараты, кости ископаемых животных. Устав от одних занятий, Кювье переходил в другой кабинет и принимался за другое дело. Эта смена умственной деятельности была для него, как известно, отдыхом. А ваш отдых — ходьба взад и вперед по комнате, о чем говорит вытоптанная на ковре дорожка...

— Поль,— прервал его Маркс,— помолчите немного и дайте мне сосредоточиться. Мне не легко начать с вами разговор, которого могло бы и не быть, если бы вы с должным вниманием отнеслись к письму, которое я написал вам некоторое время назад. Я очень рассчитывал на то, что ваши отношения с Лаурой после моего письма к вам приобретут умеренный характер, будут сведены, так сказать, до уровня английских нравов. Увы, это не так. Вы прочли мое письмо, Поль?

— Да,— вздохнул Поль.— Прочел.

— И что же?

Поль пожал плечами.

— В таком случае я вынужден повторить вам устно то, что было написано в письме. Таков мой отцовский долг, Поль. Постарайтесь выслушать меня спокойно и с вниманием. Итак, первое: если вы хотите продолжать ваши отношения с Лаурой, то вам, Поль, следует изменить метод ухаживания. Ведь вы прекрасно знаете, что твердого обещания нет, что все еще неопределенно.

— Нет обещания?

— Нет твердого обещания, Поль. Впрочем, и твердое обещание не изменило бы сути дела. Даже помолвка по всем правилам не давала бы вам права проявлять свою страсть так открыто, как вы это делаете. Да, да! — повысил голос Маркс, видя, что Поль хочет ему возразить.

Поль встал и отошел к окну.

— Не хотите ли вы позвать на помощь Лауру? — спросил Маркс.— Это было бы не по-мужски.

— Нет,— ответил Поль.

— В таком случае вернитесь и выслушайте меня внимательно до конца.

— Хорошо.— Поль вернулся и снова сел в кресло.

— Если вы не умерите ваш пыл,— продолжал Маркс,— то Лаура без всяких церемоний выставит вас за дверь. Вы отличный парень, Поль, но вы слишком избалованы. На мой взгляд, истинная любовь

выражается в сдержанности, скромности и даже в робости влюбленного в отношении к своему кумиру, а не в открытом проявлении страсти. Я вам писал об этом, но вы, кажется, не усвоили написанное мною. Возможно, конечно, что вам мешает тут ваш темперамент креола, ваша южная кровь. Допускаю, что это так.

— И все же требуете, чтобы мое поведение соответствовало здравому смыслу?

— Да, Поль. Иначе я с моим здравым смыслом стану между вашим южным темпераментом и моей дочерью. Если вы не в силах проявлять любовь в форме, соответствующей лондонскому меридиану, вам придется любить Лауру на расстоянии. Вы поняли меня, Поль?

— Да, понял,— опустил голову Поль.— Но я так люблю Лауру...

— Я все сказал. Требование мое не так сурово, как вам, наверное, кажется. Или вы считаете его непомерным испытанием для вашей любви? В таком случае любовь ваша не так велика.

— Революция разобьет оковы так называемого здравого смысла и сделает любовь свободной.

— Может быть,— усмехнулся Маркс.— Но это решать самой революции, а не нам. Тем более не вам, Поль, потому что вы для революции еще ничего не сделали. Вообще ничего еще не сделали. И для того, чтобы создать семью,— тоже ничего. Вы еще студент, ваша карьера во Франции наполовину разбита, в Англии вы не прижились, так как не удосужились даже изучить английский язык. К тому же, Поль, я не имею полного представления о вашем материальном положении.

— Разве это так важно — материальное положение?

— Разумеется, важно. Вы, насколько мне известно, убежденный реалист и, стало быть, не можете ожидать, чтобы я отнесся к будущему моей дочери как идеалист.— Трубка у Маркса погасла, и пришлось раскурить ее снова.— Вы знаете, Поль, что я принес все свое состояние в жертву революционной борьбе,— продолжил Маркс, разгоняя рукой табачный дым.— Я не жалею об этом. Наоборот, если бы мне нужно было снова начать свой жизненный путь, я сделал бы то же самое. Только я не женился бы. Да, я не женился бы, пожалев любимую женщину, избавив ее таким образом от неминуемых страданий... И вот, Поль, насколько это теперь в моих силах, я хочу уберечь мою дочь от рифов, о которые разбилась жизнь ее матери... Словом, так, Поль,— закончил разговор Маркс,— надо быть сложившимся человеком, прежде чем помышлять

о браке. К тому же необходим долгий срок проверки чувств для вас и для Лауры. Это все.

Разговор был не очень приятный, но нужный. И Поль, судя по всему, не обиделся. А главное — прислушался к его словам, с удвоенной энергией взялся за учебу, его ухаживания за Лаурой стали вполне умеренными.

Беседуя с Полем Лафаргом, Маркс едва не поставил ему в пример другого молодого француза, Шарля Лонге, который почти одновременно с Полем стал завсегдатаем его дома. Шарль немного старше Поля: Полю сейчас двадцать пять, а Шарлю — двадцать восемь. Соответственно и внимание Шарля обращено на старшую дочь Маркса, на Дженнихен. Оба, таким образом, французы и оба влюблены в его дочерей. Но этим, пожалуй, и исчерпывается все сходство между ними. Дальше идут только различия: Шарль высок, длинноног, худ, немного неуклюж в движениях, что свойственно почти всем высоким и худым молодым людям, не столь красив, как Поль, но в лице его много благородства, а главное — это чрезвычайно бескорыстная и скромная натура. Он хорошо образован, его речь сдержанна и убедительна. В его биографии есть нечто такое, что сразу же нашло отклик в душе Маркса: Шарль, как и Маркс, изучал в свое время греческих философов и стал в результате атеистом, материалистом и республиканцем, а чуть позже тоже, как и Маркс в молодости, увлекся социальными идеями. Будучи еще студентом — и тут тоже много сходства,— объединил вокруг себя группу революционно настроенной интеллигенции, которая собиралась в парижском кафе Глазера. Когда Шарль рассказывал Марксу о собраниях молодежи у Глазера, Маркс вспоминал другое кафе — кафе Штехели и Докторский Клуб в Берлине, где он и его друзья в студенческие годы вели бурные споры о философии, политике и литературе.

А вот еще одно поразительное сходство: подобно тому как Маркс возглавил в свое время «Рейнскую газету» и навлек на себя гнев властей, Шарль возглавил другую газету, «Рив гош», и тоже не угодил властям, был приговорен к тюремному заключению за памфлет, направленный против императора. Из Парижа Шарль бежит в Бельгию — очень знакомый Марксу путь. Но бельгийский король Леопольд — тот самый Леопольд, что изгнал в сорок восьмом году Маркса из Брюсселя,— издает специальный указ о высылке Шарля из своей страны «за оскорбление царской особы иностранной державы». Шарль попытался возобновить

выпуск своей газеты во Франкфурте-на-Майне. Из Франкфурта-на-Майне он был изгнан по приказу Бисмарка уже после второго номера газеты и отправился в Лондон.

Дженни — это все видят — обворожила Шарля. Она тоже питает к нему нежные чувства, хотя не признается в этом. Шарль с нею сдержан до застенчивости и смелеет лишь тогда, когда затеваются политические споры. Тут он страстен и оживлен. И даже отважен, как Дон Кихот. Маркс называл его Дон Кихотом в разговорах с Дженни.

А Тусси? С Тусси пока мало забот, потому что ей только двенадцать лет. С Тусси он играет в шахматы, и она частенько побеждает его. С Тусси он ходит на прогулки. И уже поручает ей делать выписки из газет и журналов, чем Тусси бывает очень довольна. Она не станет красавицей, но ее сверкающие глазки, выразительное лицо и темные вьющиеся волосы смутят, пожалуй, не одного молодого человека, когда ей исполнится, скажем, восемнадцать...

Малые дети — малые заботы, большие дети — большие заботы. Это так. И среди этих забот одна совершенно неистребимая, пожирающая время и силы, постоянно давящая на волю,— забота о деньгах. Он думает о них, даже глядя на свою рукопись, так как надеется, что она принесет ему хороший гонорар. Зря, пожалуй, надеется: ведь прежние книги не избавляли его от нужды. Только ведь надеяться больше не на что.

Коварство судьбы неизмеримо: в тот самый момент, когда он подготовил к изданию огромный труд, исследующий пути возникновения богатства, сам он оказался без гроша в кармане. Надо везти рукопись к издателю в Гамбург, но одежда и часы находятся в ломбарде. А ведь надо не только выкупить одежду, но и приобрести билет до Гамбурга. Нужны деньги на путевые расходы — а они будут немалыми — и на содержание семьи... Можно заболеть от одних только этих мыслей, а болеть сейчас никак нельзя — издатель Отто Мейснер уже давно ждет рукопись. Значит, надо снова обращаться за помощью к Фреду. В какой раз? Возможно, в тысячный. В тысячный и последний? Если бы в последний, если бы только в последний!..

Совесть, точно кошмар, постоянно мучила Маркса. Фред тратит свои исключительные способности на торговлю, на проклятую коммерцию, ничем не может заниматься, пока сидит в своей конторе, а сидит он там ради него, ради Маркса. Разумеется, Маркс бесконечно благодарен ему, но что это меняет, если уходят годы, которые Энгельс мог бы отдать

науке и достичь в ней значительных вершин. К тому же Энгельс, эта чуткая и благородная душа, постоянно переживает с ним все его большие и мелкие неприятности, которых у него всегда с избытком.

Прибежала Тусси, чтобы показать свое новое платье, которое мать сшила ей из старого платья Лауры. Тусси радовалась обновке, прыгала и вертелась на одной ноге. Маркс поймал ее, крепко обнял и сказал:

— Ага, вот ты и попалась! Сейчас я прочту тебе эту гору бумаг, которую я исписал.

— Всю? — весело засмеялась Тусси.

— Всю! — стараясь казаться серьезным, подтвердил Маркс.

— Хорошо,— перестав смеяться, согласилась Тусси.— Тогда я должна сходить к маме и предупредить ее, что на очередную примерку платья я приду только через месяц. Ведь на чтение твоей рукописи уйдет не меньше месяца, правда? — И Тусси снова звонко засмеялась.

— Правда,— засмеялся и Маркс.

— Значит, не будешь читать? — спросила Тусси.

— Не буду.

— Тогда расскажи мне, о чем ты пишешь. О чем вот та твоя большая книга. Только так, чтоб я поняла,— попросила Тусси, придвинула стул к отцу и села.

— Это трудная задача, Тусси, но я постараюсь,— согласился Маркс.— Только вспомни для начала, что было в лавке Ганса Рёкле.

— Волшебные игрушки и всякие другие волшебные вещи,— с веселым блеском в глазах заговорила Тусси.— Я так люблю твои сказки про Рёкле, что и теперь готова их слушать, хотя я уже совсем большая, правда?

— Правда,— ответил Маркс, погладив Тусси по голове.— Но именно поэтому я не стану тебе рассказывать про нашего бедного Ганса Рёкле. Я вспомнил о нем лишь потому, что у него была лавка, полная волшебных вещей. Подчеркиваю, Тусси: волшебных вещей. Волшебными же они были потому, что обладали невероятными свойствами: они, как ты помнишь, двигались, разговаривали, становились невидимыми, большими, маленькими... Помнишь?

— Я все помню!

— Прекрасно, Тусси. А теперь я должен тебе открыть совершенно невероятную тайну: не только вещи Ганса Рёкле являются волшебными, но и все другие вещи, создаваемые людьми. Все вещи!

— Как? — очень удивилась Тусси.— Все? И даже этот стол? И стул, на котором я сижу? И твой кожаный диван?

— Да, Тусси,— серьезно ответил Маркс.— Все вещи. Потому что люди, создавая их, вложили в них самих себя: свои мысли, чувства, желания, свое время, труд. В том, кто и каким способом создает вещи, спрятана разгадка многих тайн. Кто разгадает эти тайны, тот поймет, почему одни люди богаты, а другие бедны, почему одни утопают в роскоши, а другие прозябают в нищете, почему к одним всякие вещи сами бегут в дом, а у других в доме ничего нет, хоть шаром покати. Тот поймет и то, как добиться справедливости, чтобы вещи вернулись к тем, кто их делает.

— Ты это понял, Мавр? — серьезно спросила Тусси.

— Да. Я это понял. Об этом моя книга.

— А самое-самое главное в ней — что?

— Самое-самое?

— Да.

— То, как капиталисты обманывают рабочих и почему этот обман не может продолжаться вечно.

— И как же капиталисты обманывают рабочих, Мавр? Ведь от богатых только и слышишь, что все они добрые, всем помогают, а бедные этого не ценят, все время недовольны. Врут ведь, верно?

— Бессовестно врут.

— Я так и знала. А как же их уличить в этом вранье? Расскажи мне, Мавр. И в следующий раз, когда я услышу вранье богатых, я им скажу, какие они добрые и как они всем помогают! — Глазки Тусси засверкали гневом.

— Хорошо, я тебе расскажу. Когда-нибудь ты, конечно, сама прочтешь мою книгу и сама разберешься в доказательствах. А теперь просто знай: капиталисты бессовестно надувают рабочих, когда говорят, что они платят им столько, сколько те заработали. Деньги, которые рабочие получают, они зарабатывают, скажем, за шесть часов труда. Трудятся же они на заводе или фабрике не шесть часов, а десять, двенадцать, четырнадцать. Все, что они зарабатывают после шести часов работы, присваивает капиталист. Кроме того, капиталист всякими хитроумными способами заставляет рабочих трудиться все с большим напряжением, изо всех сил. И то, что рабочий создает, трудясь изо всех сил, тоже присваивает.

— А зачем же рабочие стараются? — спросила Тусси.— Зачем они трудятся больше чем надо?

— А затем, что иначе они умрут от голода. Рабовладелец, Тусси, постоянно угрожал рабу кнутом, а капиталист угрожает рабочему голодом. И когда все рабочие это поймут, они постараются отнять у капиталистов то, что капиталист сейчас так бессовестно отнимает у них. Это и будет конец капитализма. Экспроприаторов экспроприируют! — так я написал про это, Тусси.

— Замечательно, Мавр! Мне очень нравятся эти слова: экспроприаторов экспроприируют! Да здравствуют экспроприаторы экспроприаторов! Верно?

— Верно, Тусси,— сказал Маркс.— Очень верно.

Деньги на поездку в Гамбург к издателю Мейснеру прислал Энгельс. Когда Женни сообщила об этом Карлу, он молча покивал головой, затем, почему-то разглядывая свои руки, сказал:

— Все правильно. Но скоро мы сами будем делать подарки друзьям. По крайней мере, рассчитаемся с долгами.

Из присланной Энгельсом суммы Маркс взял только часть. Остальные деньги оставил Женни. Уезжал в хорошем настроении, хотя погода портилась на глазах.

— Ничего,— успокаивал он Женни.— В моем пальто мне никакая погода не страшна. Это большая удача, что нам удалось выкупить его из ломбарда.

И, как мальчишка, радовался своим часам, которые Ленхен принесла из ломбарда вместе с пальто, то и дело вынимал их из кармана, сверял их с комнатными часами, с нескрываемым удовольствием щелкал крышкой циферблата.

— Присматривай, пожалуйста, за чемоданом,— несколько раз напоминала ему Женни.— Не забывай, что в нем весь мой «Капитал».

— Да, да,— обещал ей Карл, а потом спросил: — Ты очень боишься, что я его потеряю?

— Очень,— призналась Женни.

— Я тоже,— сказал Карл.— Но этого не случится.

— Почему?

— Потому, что я постоянно буду присматривать за чемоданом,— смеясь, ответил Карл.

Над Северным морем бушевали апрельские штормовые ветры. Пароход, на котором плыл Маркс, сильно качало. Морская болезнь изнуряла большую часть пассажиров. Но Маркс стойко переносил качку, говоря, что ему в жизни довелось пережить и не такие штормы.

Ганноверский врач, участник революции 1848 года Людвиг Кугельман, с которым Маркс давно состоял в переписке, не раз настойчиво приглашал его погостить у него в доме. Поэтому, уладив свои дела с издателем Мейснером, Маркс отправился в Ганновер, решив там дождаться первых листов верстки «Капитала».

Людвиг Кугельман и его жена Гертруда оказались на редкость гостеприимными и милыми людьми. Они отвели Марксу в доме отдельную спальню и кабинет для работы, окружили его таким вниманием, о каком Маркс и не помышлял. Вынужденная жизнь стоика, жизнь ломовой лошади, которая так долго тащила свой воз в гору, что забыла об отдыхе, о самой возможности отдыха, отучила его от того, что получают от жизни люди более обеспеченные и более благополучные, чем он. Размеренное и не лишенное удовольствия времяпрепровождение, вкусная и здоровая пища, всеобщая доброжелательность, приятные беседы с очень симпатичными людьми и бесконечно искренняя предупредительность хозяев во всем, что касалось быта, их вера в то, что они имеют дело если не с гениальным ученым, то по меньшей мере выдающимся,— все это вернуло Марксу ощущение молодости, юношеской влюбленности в жизнь. К нему возвратилась былая веселость, даже беспечность. Его перестали донимать болезни и гнетущие мысли о куске хлеба. Легкой и стремительной стала его походка. Улыбка не сходила с лица. Он почувствовал себя счастливым. И поверил в то, что впереди его ждут только удачи.

Он дал прозвища своим новым друзьям. Кугельмана прозвал Венцелем, Гертруду — Графиней, а их восьмилетнюю дочь Франциску — Совушкой. Кугельмана он прозвал Венцелем после того, как тот рассказал ему историю о двух Венцелях, один из которых был злой, а другой — добрый. Эту историю Кугельману некогда поведал его гид в Праге. Смешное заключалось в том, что, рассказывая Кугельману о Венцелях, гид едва не довел его до бешенства, так как морочил его этими Венцелями больше часа, заставляя Кугельмана то и дело спрашивать, о каком из двух Венцелях, о добром или злом, тот ведет сейчас речь.

Гертруду он прозвал Графиней за ее изящные манеры. А привязавшуюся к нему Франциску Совушкой Минервы, богини мудрости, чья

статуэтка стояла у Маркса в кабинете. Франциска заслужила это прозвище тем, что была любознательной и наблюдательной девочкой.

Какое-то время Гертруда чувствовала себя в присутствии Маркса скованно, так как, по ее признанию, боялась показаться невежественной. Но Маркс так расположил ее к себе, что все ее страхи развеялись.

— Графиня,— сказал он ей шутя,— пусть вас не смущает моя ученость: в присутствии красивых женщин глупеют даже гении.

— Но Гегеля вы все-таки знаете?

— Гегеля? А для вас Гегель — это нечто непостижимое, да?

— Да.

— И это приводит вас в отчаяние?

— Да,— призналась Гертруда.

— И напрасно, Графиня. Сам Гегель мог бы сказать вам, что ваше отчаяние напрасно, так как считал, что никто не понимает суть его философии, кроме Розенкранца, а Розенкранц понимает ее неправильно.

Все долго смеялись, а потом Гертруда сказала:

— Жаль, что вы не поедете в Польшу. Поляки пошли бы за вами. Полякам вы обязательно понравились бы, доктор Маркс. И вы подняли бы там революцию. Я убеждена.

Это был всего лишь комплимент, так как ехать в Польшу, а тем более поднимать там революцию, Маркс никогда не собирался. Хотя об этом много болтали немецкие газеты перед приездом Маркса в Гамбург. Газетная утка звучала примерно так: вождь Интернационала Маркс покидает Лондон, чтобы отправиться в Польшу и поднять революцию.

— А почему бы вам в самом деле не поднять где-нибудь революцию? — с обезоруживающей наивностью спросила Гертруда.— Разве революция — не цель Интернационала, доктор Маркс? Признайтесь, что вы устроите все-таки где-нибудь революцию, что у вас есть такой тайный план. Я никому не выдам.

— Да,— засмеялся Маркс,— у нас есть такой тайный план: мы начнем революцию в Ганновере. Цель революции же такова: лишить вашего мужа врачебной практики. Мы очень надеемся, что все его пациенты разбегутся из Ганновера при первом же выстреле.

— А если серьезно, доктор Маркс?

— А если серьезно,— ответил Гертруде Маркс,— то вам, Графиня, следует лишь купить наш устав, который стоит пенни, и вы из него все узнаете. И первое, что вы узнаете и что вас, наверное, разочарует,—

это то, что Интернационал не является организацией заговорщиков, что революции не устраиваются кем-либо, а происходят из столкновения классов. Эти столкновения начинаются помимо чьей-либо воли в экономической сфере и завершаются в политической. Так вот, политической борьбой классов руководят партии. Интернационал объединяет политические партии рабочего класса. И это все. Дальше я не могу углубляться, потому что все, что дальше,— не для молодых дам, которым без революции скучно. И в то же время мне хочется утешить вас, Графиня: революция непременно будет!

— Спасибо, доктор Маркс. Большое спасибо!

— Надо ли благодарить петуха за то, что после его «ку-ка-ре-ку» по утрам всходит солнце, милая Графиня?

— Но революция так нужна!

— Почему, позвольте узнать?

— Уже хотя бы потому,— ответил за жену Кугельман,— что почти все выдающиеся открытия и изобретения последнего времени используются не столько на пользу человечеству, сколько во вред ему: разрушается природа, опошляется культура, физически и нравственно вырождается человек.

— Увы, злой Венцель, кажется, прав,— сказал Маркс.— Налицо неоспоримый факт: все в наше время чревато своей противоположностью. Мы действительно видим, что машины, обладающие чудесной силой, способные сделать человеческий труд легким и плодотворным, приносят людям голод и изнурение.

— Боже, как страшно и как интересно! — воскликнула Гертруда.— Простите, что я перебила вас, господин Маркс, но то, что вы говорите, так интересно и так страшно, что я не могла сдержаться. А теперь вопрос: что же нам делать? Куда мы идем?

— Если вы спрашиваете о нас,— ответил Маркс, улыбаясь,— то мы никуда не идем, потому что сидим за столом, который так прекрасно сервирован вашими очаровательными руками, милая Графиня.

— А человечество? Что делать человечеству?

— Вероятно, то, что оно делает: одни ворчат или негодуют; другие призывают нас избавиться от современной науки и техники, чтобы таким образом избавиться от современных конфликтов; третьи верят, что прогресс в науке и технике в ближайшее время будет дополнен столь же значительным прогрессом в политике.

— А вы? Вы негодуете, призываете или верите?

— У вас цепкий ум, Графиня,— ответил Маркс.— Вы, конечно, уже догадались, что я не принадлежу ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим. Я и мои единомышленники знаем, что только рабочий класс исполнит приговор над всем, что сегодня загоняет человечество в тупик. А теперь — все! — поднял руки Маркс.— Я и без того нарушил мой принцип, который гласит, что о политике надо говорить только с политиками. С прекрасными же дамами нужно говорить только о прекрасном, потому что от этого прекрасные дамы становятся еще прекраснее.

— Тогда расскажите нам о Гейне,— попросила Гертруда.— Ведь вы хорошо знали Гейне. А Гейне хорошо знал, что такое прекрасное. Что такое, например, любовь.

— Знал? Неужели? — подзадорил Гертруду Маркс.

— Разве вы думаете иначе? — удивилась Гертруда.

— Разумеется. Только женщины хорошо знают, что такое любовь. А мужчины, даже если они поэты, только воображают, будто они хоть что-то знают о ней. Все прекрасные песни Гейне о любви, таким образом, лишь плод его воображения. Он не знал счастливой, прекрасной любви. Он мечтал о такой любви, сам же в любви был несчастен.

За столом воцарилось молчание. Но вскоре его нарушила Гертруда:

— А вы? Вы счастливы в любви?

— Да,— ответил Маркс.— Я счастлив.

С этой минуты он стал тосковать по Женни. И думать о ней. И ждать с нетерпением того дня, когда он снова сможет обнять ее.

Он возвратился в Лондон 19 мая 1867 года, пробыв в Германии чуть больше месяца. Хотя мог бы пробыть и дольше: Венцель и Графиня просили его погостить у них еще. А главное — верстка «Капитала» не была еще закончена. Корректуру последнего, сорок девятого листа книги он завершил в Лондоне через три месяца после возвращения из Германии. Это произошло в ночь с 15 на 16 августа. Тогда же он написал письмо Энгельсу: «Итак, этот том готов. Только тебе обязан я тем, что это стало возможным! Без твоего самопожертвования для меня я ни за что не смог бы проделать всю огромную работу по трем томам. Обнимаю тебя, полный благодарности!»

Закончив писать, Маркс взглянул на часы. Они показывали два часа ночи.



Глава четвертая

Письмо от членов Русской секции Интернационала пришло из Женевы. Оно было датировано: 12 марта 1870 года. Под письмом подписались трое: Николай Утин, Виктор Нетов (Бартенев) и Антон Трусов. Они просили «дорогого и достопочтенного гражданина» Маркса быть представителем Русской секции Интернационала в Генеральном Совете.

«Наше настойчивое желание иметь Вас нашим представителем объясняется тем,— писали они,— что Ваше имя вполне заслуженно почитается русской студенческой молодежью, вышедшей в значительной своей части из рядов трудового народа. Эта молодежь ни идейно, ни по своему социальному положению не имеет и не желает иметь ничего общего с паразитами привилегированных классов, и она протестует против их гнета, борясь в рядах народа за его политическое и социальное освобождение.— Воспитанные в духе идей нашего учителя Чернышевского, осужденного за свои сочинения на каторгу в Сибирь в 1864 г.,— мы с радостью приветствовали Ваше изложение социалистических принципов и Вашу критику системы промышленного феодализма.— Эти принципы и

эта критика, как только люди поймут их, сокрушат иго капитала, поддерживаемого государством, которое само является наймитом капитала.— Вам принадлежит также решающая роль в создании Интернационала, а в том, что касается специально нас, то опять-таки именно Вы неустанно разоблачаете ложный русский патриотизм, лживые ухищрения наших демосфенов, пророчествующих о славной судьбе, предначертанной славянским народам, когда на деле доныне этим народам была уготована лишь одна судьба: быть раздавленными варварским царизмом и служить орудием подавления соседних народов. Русская демократическая молодежь получила сегодня возможность устами своих изгнанных братьев выказать Вам свою глубокую признательность за ту помощь, которую Вы оказали нашему делу Вашей теоретической и практической пропагандой, и эта молодежь просит Вас оказать ей новую услугу: быть ее представителем в Генеральном Совете в Лондоне».

Вместе с письмом Маркс получил также программу и устав Русской секции Интернационала.

Ознакомившись с ними, Маркс представил их Генеральному Совету. И уже 24 марта ответил членам комитета Русской секции Интернационала в Женеве:

«Граждане!

В своем заседании 22 марта Главный Совет объявил, единодушным вотумом, что ваша программа и статут согласны с общими статутами Международного Товарищества Рабочих. Он поспешил принять вашу ветвь в состав Интернационала. Я с удовольствием принимаю почетную обязанность, которую вы мне предлагаете, быть вашим представителем при Главном Совете».

Это письмо он закончил словами: «Привет и братство».

Братство, союз, солидарность, товарищество. Стремление к братству, союзу, товариществу давно пробудилось в сердцах рабочих, потому что в братском союзе, в единстве, в интернациональной солидарности — их сила, путь к освобождению и первейшее условие грядущей победы. Еще живы в памяти дела и лозунги «Союза отверженных», «Союза справедливых», Союза коммунистов, «Братских демократов», хотя годы реакции, наступившие после поражения революции 1848 года, сделали свое дело: погасили революционный дух рабочих. Буржуазия радовалась: рабочий класс успокоился, образумился, наступила эпоха классового примирения, классовой гармонии. Но пролетариат лишь накапливал новые



силы, собирал в отряды разрозненных бойцов. И учился солидарности в революционной борьбе.

«Долой рабство в США!», «Свободу черным невольникам Юга!» — эти и другие требования не раз звучали на митингах и массовых демонстрациях рабочих Англии и Франции. В войне северных штатов Америки против рабовладельческого Юга, в победе Севера над Югом значительная роль принадлежала пролетариям Англии и Франции: они не позволили своим правительствам выступить на стороне рабовладельцев Юга. Их симпатии были полностью на стороне Гарибальди, возглавившего революционную войну против Австрии за объединение Италии. А когда в 1863 году в Польше, в Кракове, вспыхнуло восстание против русского царизма, французские рабочие, прибывшие в Лондон на Международную выставку, вместе с английскими рабочими потребовали на митинге от своих правительств выступить в поддержку Польши. И хотя ни Наполеон III, ни Пальмерстон не выполнили это требование рабочих, а краковское восстание было утоплено в крови, митинг солидарности в Лондоне не прошел даром: он утвердил решимость рабочих разных стран действовать отныне вместе.

Митинг состоялся в июле 1863 года. А уже в начале ноября вернувшиеся на родину французские участники митинга получили послание от Джорджа Оджера, английского сапожника, секретаря лондонского Совета тред-юнионов. «Пусть состоится встреча представителей Франции, Италии, Германии, Польши, Англии и всех стран, где есть желание сотрудничать на благо человечества,— писал французам Джордж Оджер.— Давайте созывать конгрессы; давайте обсудим коренные вопросы, от которых зависит мир между народами...»

Свой ответ в Лондон французские рабочие привезли в сентябре 1864 года. По случаю приезда французских рабочих лондонский Совет тред-юнионов решил устроить собрание в Сент-Мартинс-холле, в концертном зале, расположенном в центре Лондона.

Маркс узнал об этом сначала из рабочей газеты «Би-Хайв», а затем от самого Джорджа Оджера, навестившего его за несколько дней до собрания.

— Да! — сказал Маркс, выслушав Оджера.— Это важно! Убеждение в необходимости братского союза рабочих всех стран должно стать всеобщим. Все разрозненные усилия обречены на провал и караются поражением. Пора объединяться!

— Значит ли это, что вы, доктор Маркс, выступите на собрании с речью? — спросил Оджер.

— Нет,— ответил Маркс.

Сапожник Оджер поджал губы, опустил крупную лысую голову, взглянул на Маркса из-под бровей, шевеля желваками. Признанный вожак лондонских рабочих, он привык к прямым и крутым разговорам. Ответ Маркса его явно раздосадовал. Толком еще не понимая, что кроется за коротким словом «нет», он приготовился к словесной баталии. И был обескуражен улыбкой Маркса, улыбкой открытой и дружеской.

— Считаю,— сказал Маркс,— что на собрании от имени немецких рабочих должен выступить р а б о ч и й, а не доктор Маркс. Так будет обеспечена подлинность идеи международного братства рабочих — рабочего товарищества. От немцев мог бы выступить, как мне думается, Эккариус, портной, человек глубокий и самобытный. Если вы согласны, я поговорю с Эккариусом.

— Хорошо,— согласился Оджер, облегченно вздохнув.— Пусть выступит с речью Эккариус. Обязательно поговорите с ним, доктор Маркс. И помогите ему сформулировать основные мысли.

Маркс нахмурился.

— Эккариуса я знаю давно,— сказал он.— Ему у других мыслей не занимать.

— Верю,— поторопился согласиться Оджер, поняв свою оплошность.— Просто очень хочется, чтобы мы, рабочие, были единодушны теперь, когда начинаем великое дело.

— Да,— простил его Маркс.— Очень хочется.

— Вы придете на собрание? — спросил, прощаясь, Оджер.

— Непременно,— ответил Маркс.— Я тоже думаю, что вы начинаете в е л и к о е д е л о.

— Ты пойдешь на собрание в Сент-Мартинс-холл? — удивленно спросила Женни, когда Оджер ушел.— Но разве это не противоречит твоим принципам? Ты, кажется, поклялся не участвовать ни в каких сборищах.

— В сборищах — да, в бесплодных затеях — да. Я поклялся не участвовать в утопической болтовне и утопических заговорах. Но здесь, как мне думается, Женни, действительно начало великого дела. Рабочее движение в Европе оживилось. Ему нужна политическая орга-

низация, в основу которой должны быть положены научные принципы. А это мое прямое дело — участие в создании такой организации.

— Прекрасно,— ответила Женни.— Но что будет с «Капиталом»? — вздохнула она.

Маркс пожал плечами. Потом сказал:

— Просто я стану работать вдвое быстрей.

Женни печально улыбнулась: она знала, что «вдвое быстрей» на самом деле будет означать вдвое больше. Так это потом и было: делам Интернационала Маркс посвящал дни, а работе над «Капиталом» — ночи. Бессонными стали ночи и для Женни, переписывавшей набело рукопись «Капитала». Она могла бы заниматься этим и днем, если бы не необходимость постоянно советоваться с Марксом и если бы Маркс не вносил в уже переписанный набело текст бесконечные поправки. Первый том «Капитала» состоял из нескольких тысяч страниц... Кроме того, Женни переписывала его статьи для газет — не меньше двух статей в неделю, отправляла их в Америку, Германию и Австрию, в газеты, с которыми Маркс сотрудничал. И еще она писала за него письма Вейдемейеру, Либкнехту, Кугельману и, конечно же, Энгельсу. Словом, Женни была у Маркса на секретарской службе, как она в шутку говорила об этом сама. Эта служба не была ей в тягость, потому что Женни относилась к ней как к *своей* работе.

Вслед за Оджером Маркса навестил молодой французский учитель Ле Любе, который родился и жил в Лондоне. Ле Любе, как и Оджер, просил Маркса принять участие в собрании в Сент-Мартинс-холле. А утром 28 сентября пришло письмо от Уильяма Рандала Кримера — английского плотника и руководителя Объединенного общества плотников и столяров.

«Сэр! — обращался к Марксу Кример.— Комитет, который, как это указано в прилагаемом приглашении, организует собрание, почтительно просит Вас оказать ему честь своим присутствием. Предъявление этого приглашения послужит Вам пропуском в то помещение, в котором комитет собирается в $7^1/_2$ часа. Преданный Вам У. Р. Кример».

— Удивительно! — покачал головой Маркс, показывая письмо Кримера Женни.— Удивительно то, как можно иметь такой почерк. Прекрасный почерк, черт возьми!

— Вот бы тебе такой,— сказала Женни.— Твой почерк в сравнении с этим — не просто каракули, а ужасные каракули.

— Прости, родная,— сокрушенно произнес Маркс.

— Прощаю,— махнула рукой Женни.— А с другой стороны, будь у тебя такой почерк, как у Кримера, тебе бы на написание «Капитала» понадобилась, думаю, сотня лет. Ведь у Кримера каждая буква — произведение.

В тот же день, 28 сентября, Учредительное собрание Интернационала открылось в малом зале Сент-Мартинс-холла, расположенного близ Трафальгарской площади.

Маркс отправился на собрание вместе с Иоганном Георгом Эккариусом, который зашел за Марксом, чтобы по пути в Сент-Мартинс-холл еще раз обсудить свою предстоящую речь.

Зал с трудом вместил всех приглашенных.

— Настоящий интернационал,— сказал Эккариусу Маркс: отовсюду была слышна английская, немецкая, французская, итальянская, польская, ирландская речь.

На сцену поднялись участники хора Просветительного общества немецких рабочих, живущих в Лондоне. Все они были изгнанниками, вынужденно покинувшими родину после поражения революции 48-го года. Как Маркс. И как Эккариус.

Первая песня, исполненная хором, была грустной — о тяжкой доле рабочего человека, который за гроши гнет спину на капиталиста. Вторая песня — о грядущей свободе, которую надо завоевать.

Песни исполнялись на немецком языке, но понимали их, кажется, все: и англичане, и итальянцы, и французы, и поляки. Это было видно по их лицам, в мгновение посуровевшим, едва в песне прозвучало слово «арбайтер» — рабочий, а оно прозвучало первым. Это было видно по их глазам, когда вслед за словами «цукунф» и «фрайхайт» — будущее и свобода — в них засветились надежда и решимость. А сутуловатый, всегда болезненный Эккариус, то и дело теребивший свою бороду — его смущало многолюдье зала,— выпрямился и расправил плечи, когда его соотечественники запели о свободе и борьбе, прижал к груди сжатые в кулаки руки и смотрел поверх голов широко раскрытыми глазами, словно там, вдали, ему виделась родина...

Маркс и Эккариус были избраны в президиум собрания от немецкой делегации.

Украшенный флагами различных стран зал вместил около двух тысяч человек. В зале не было свободного места, люди стояли плотными рядами в проходах, у стен, запрудили место между сценой и первым

рядом стульев. Объединенные одной целью, одной надеждой, они, казалось, излучали силу, которая передавалась всем, кто видел их, кто был в зале. Глядя в зал, Маркс впервые за многие годы ощутил в себе разгорающийся азарт предстоящей борьбы. В сердцах этих людей можно было сеять великие идеалы.

Собрание открыл Эдуард Спенсер Бизли — профессор истории, радикальный демократ, с которым Маркс был хорошо знаком вот уже несколько лет. Он напомнил собравшимся о том, как возникла и как была осуществлена идея Учредительного собрания — идея английских и французских рабочих.

После профессора Бизли на трибуну поднялся сапожник Оджер, который огласил текст обращения английских рабочих к французским рабочим, написанный Оджером по поручению Подготовительного комитета около года назад. Чтение то и дело прерывалось бурными аплодисментами.

Ответное письмо французских рабочих прочел их представитель Толен.

— «Мы должны объединиться,— читал он, прерываемый рукоплесканиями и возгласами одобрения,— чтобы поставить непреодолимые преграды роковой системе, которая угрожает разделить человечество на два класса — невежественную чернь и полнокровную, разжиревшую знать. Наше спасение в солидарности!»

Оба письма Маркс выслушал с вниманием, какое только было можно сохранить среди праздничного шума. И не без огорчения мысленно отмечал, что и английские, и французские рабочие свои классовые задачи, как это было выражено в письмах, понимают расплывчато, не ставят перед собой целей завоевания политической власти и уничтожения частной собственности. В обращении Оджера говорилось о власти «честных и разумных людей», прудонист Толен мечтал о социальной гармонии. Словом, ни тот, ни другой не посягал на основы капитализма. Это огорчало Маркса. Но вдохновляло то, что английские и французские рабочие стремятся к международному объединению, к интернациональному сплочению сил.

— Перед лицом обнаглевшего капитала,— сказал с трибуны Эккариус,— у нас может быть только один лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Вместе со всем залом Маркс горячо аплодировал Эккариусу: из

уст Эккариуса вновь прозвучал призыв, сформулированный в «Манифесте Коммунистической партии» шестнадцать лет назад.

Учредительное собрание английских, французских, немецких, польских, итальянских и ирландских рабочих приняло резолюцию, которую предложил английский рабочий Уилер. В ней говорилось: «Заслушав ответ наших французских братьев на наше воззвание, мы еще раз горячо приветствуем их, и так как их план составлен в интересах всех трудящихся, то собрание принимает его как основу Международного Товарищества, избирает комитет, предоставив ему право доизбрания новых членов, и поручает выработать устав и регламент для этого Товарищества».

В этот комитет, который позднее стал называться Центральным Советом, а потом Генеральным Советом, от немецкой делегации были избраны Эккариус и Маркс. Через месяц с небольшим Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих утвердил Учредительный манифест и Временный устав — два важнейших документа, написанных Марксом.

4 ноября, через три дня после заседания Генерального Совета, Маркс написал только что возвратившемуся из зарубежной поездки Энгельсу: «На заседании Центрального Совета мой «Манифест» и т. д. был принят с большим энтузиазмом (единогласно)...

Было очень трудно сделать так, чтобы наши взгляды были выражены в форме, которая делала бы их приемлемыми для современного уровня рабочего движения. ...Требуется время, пока вновь пробудившееся движение сделает возможной прежнюю смелость речи».

С той поры минуло уже почти шесть лет. Что же сделано? Как решена главная задача Интернационала — задача замены всякого рода сект и течений действительной организацией рабочего класса?

Интернационал объединил в своих рядах профсоюзы, тайные политические организации рабочих, общества взаимопомощи, просветительские группы, потребительские кооперативы, революционно настроенных журналистов, юристов, врачей, армейских офицеров. Многие из них притащили с собой в Интернационал целые ворохи старого доктринерского вздора, фантазий и предрассудков. Тред-юнионизм, бланкизм, прудонизм, бакунизм, лассальянство, казалось, вот-вот захлестнут своим потоком небольшую группу зрелых коммунистов, вошедших в Интернационал и сплотившихся вокруг Маркса. Но они выстояли. И ряды их не

только не поредели, но с годами выросли — ряды единомышленников и отважных борцов за дело пролетариата.

Выросли и ряды самого Интернационала. Накануне Базельского конгресса Интернационала, который состоялся в сентябре 1869 года, газеты называли фантастическую цифру — 7 миллионов человек, хотя на самом деле их было немногим более миллиона. Но и эта цифра внушала правительствам европейских государств страх. У страха же, как известно, глаза велики.

Солидарность и организованность в борьбе приносили свои зримые плоды: добились избирательных прав рабочие Северной Германии, Франции и Англии. Восьмичасовой рабочий день вынуждено было ввести на государственных предприятиях правительство Соединенных Штатов Америки. Первую на европейском континенте по-настоящему социалистическую партию создали в Германии Вильгельм Либкнехт и Август Бебель.

Руководимый Интернационалом рабочий класс успешно постигал науку политической борьбы. К нему присоединяются все новые и новые национальные секции: Голландии, Швейцарии, Бельгии, Австро-Венгрии, Испании, Северной Чехии и Моравии. Теперь вот — Россия. Русскую секцию в Генеральном Совете Интернационала отныне представляет Маркс.

Россия давно была предметом пристального внимания Маркса. Борьба за отмену варварского крепостного права, действия революционного общества «Земля и воля», процесс и расправа, учиненные царским правительством против Николая Чернышевского, который является одним из лучших умов России, преследование и изгнание из России учеников и последователей Чернышевского — все это привлекало внимание Маркса. Да и судьба Михаила Бакунина постоянно волновала его. За участие в дрезденском народном восстании в мае 1849 года — тогда ему удалось вывести из осажденного Дрездена около двух тысяч революционных бойцов — он был арестован и приговорен прусским правительством сначала к смертной казни, а затем к пожизненному заключению. Вскоре после этого приговора Пруссия передала Бакунина австрийским властям, у которых к Бакунину были свои счеты. В Австрии его тоже приговорили к смертной казни через повешение и тоже заменили смертную казнь пожизненным заключением. Впрочем, австрийцы тоже недолго продержали его в тюрьме — в мае 1851 года они передали Бакунина

царской полиции. Там, в России, Бакунин сначала был заключен в Петропавловскую крепость, затем в Шлиссельбургскую, откуда в 1857 году его выслали в Сибирь. Из Сибири Бакунину удалось бежать в Японию. Из Японии он отправился в Америку и в конце декабря 1861 года прибыл в Лондон, к Александру Герцену. Одно недоразумение воспрепятствовало тогда встрече Маркса и Бакунина: в английских газетах была опубликована за подписью «Ф. М.» статья, в которой Бакунин был назван русским шпионом. Бакунин поверил тогда Герцену, что статья принадлежит Карлу Марксу. На самом же деле автором этой статьи был некто Френсис Маркс, с которым Карл Маркс не имел ничего общего.

Они встретились только спустя три года. Встретились как старые друзья, как соратники по революции 48-го года. Из разговоров во время этой встречи Маркс вынес убеждение, что Бакунин если и не совсем его единомышленник, то близок к тому, чтобы стать им, что смертные приговоры, тюрьмы и ссылка в Сибирь закалили его характер и привели к пониманию истинных путей революционной борьбы. Да и сам Бакунин старался заверить его в этом. Но время показало другое: проповедуя анархистские идеи, Бакунин стал раскольником в международном рабочем движении.

К счастью, раскольническую деятельность Бакунина осудили сами русские, оказавшиеся в эмиграции из-за преследований царской полиции. Одним из первых разоблачил Бакунина Александр Серно-Соловьевич, соратник Чернышевского, член Центрального комитета «Земля и воля».

Русский император Александр II внес Александра Серно-Соловьевича и его брата Николая в список революционеров, подлежащих аресту вместе с Чернышевским. Александра спасло то, что он выехал из России до ареста. Брат же его погиб в сибирской ссылке, где до сих пор томится Чернышевский... Впрочем, не намного больше пережил брата Александр — в прошлом году он покончил с собой из-за интриг бакунистов и неизлечимой болезни. Александр Серно-Соловьевич был первым русским, которому Маркс подарил I том «Капитала», вышедшего в Гамбурге.

Вторым русским, кому Маркс подарил свой «Капитал», был Герман Лопатин — молодой человек с красивым лицом, могучего телосложения, ученик Чернышевского, гарибальдиец, недавний узник Петропавловской крепости. Он вырвался из России, находясь в ссылке, отправился в Женеву, а из Женевы прибыл сюда, в Лондон, чтобы встретиться с Марк-

сом. Герман Лопатин и два его друга — Николай Даниельсон и Николай Любавин — решили перевести на русский язык и издать в России «Капитал» Маркса.

Деятельный и трудолюбивый Лопатин сразу же принялся за дело. Работая над переводом «Капитала», он не упускал ни одной возможности встретиться с Марксом, обсуждал с ним качество и точность перевода, а заодно давал Марксу уроки русского языка, который Маркс начал изучать еще за год до приезда Лопатина. Когда Лопатин впервые появился в доме Маркса, тот заговорил с ним на русском языке.

— Зачем вам русский язык? — спросил Маркса изумленный Лопатин.— Какие книги вы собираетесь читать на русском языке?

— Прежде всего — Чернышевского,— ответил Маркс.— И Добролюбова, и Герцена, и Гоголя, и Пушкина, и Салтыкова-Щедрина... Но прежде всего — Чернышевского. Это по-настоящему глубокий и оригинальный мыслитель. Русским должно быть стыдно, что ни один из них не познакомил Европу с сочинениями Чернышевского. Политическая смерть Чернышевского, находящегося в каторжной тюрьме,— потеря не только для России. И позор России.

Лопатин, соглашаясь с Марксом, тяжело вздыхал.

Работа двигалась споро: к середине декабря Лопатин перевел уже треть «Капитала». Но тут вдруг исчез, ни с кем не простившись. Вскоре от него пришло письмо из России.

«Милостивый государь! — написал Марксу Лопатин.— По почтовому штемпелю на этом письме Вы увидите, что, несмотря на ваши дружеские предупреждения, я нахожусь в России. Но если бы Вы знали, что побудило меня к этой поездке, Вы, я уверен, нашли бы мои доводы достаточно основательными... Стоящая передо мной задача вынуждает меня покинуть в ближайшие дни Петербург и отправиться в глубь страны, где я задержусь, по всей вероятности, три-четыре месяца, так что я не могу воспользоваться любезным приглашением г-жи Маркс на ваш рождественский обед».

Позже Маркс узнал, что побудило Лопатина внезапно уехать в Россию: он решил освободить Чернышевского. Но плану Лопатина не суждено было осуществиться: в Иркутске он был арестован царской полицией и брошен на долгое время в острог.

Едва исчез Герман Лопатин, в доме на Мэйтленд-парк-род появилась очаровательная Элиза Томановская, русская девушка, привезшая

Марксу из Женевы письма от руководителей Русской секции Интернационала. Первое письмо, которое прочел Маркс, было рекомендательным.

«Дорогой гражданин! — писали ему из Женевы Бартенев, Утин и Трусов.— Разрешите в этом письме горячо рекомендовать Вам нашего лучшего друга, г-жу Элизу Томановскую, искренне и серьезно преданную революционному делу в России. Мы будем счастливы, если, при ее посредничестве, нам удастся ближе познакомиться с Вами и в то же время более подробно осведомить Вас о положении нашей секции, о которой она может Вам обстоятельно рассказать.

Положение это, несомненно, является печальным...— стал читать, пропуская строки, Маркс: ему показалось, что сидящая против него в кресле девушка беспокоится из-за того, что он так долго читает.— От нас потребуется еще много усилий, чтобы водрузить и укрепить наше общее знамя в России... Г-жа Элиза напишет нам обо всем, что Вы найдете нужным нам сообщить... Мы уверены, что Вы своими советами и своими ценными указаниями поможете ей... Помогая ей в ее занятиях, Вы тем самым поможете всем нам».

— Сколько же вам лет? — спросил по-французски Маркс — Элиза, представляясь ему, заговорила по-французски.— И откуда вы такая... такая красивая, такая юная и уже *серьезно преданная революционному делу*, как пишут ваши друзья?

— Мне девятнадцать лет,— ответила Элиза.— Я русская и, стало быть, из России. Мой отец — помещик Кушелев, мать — бывшая крепостная. Я получила дворянское воспитание, знаю европейские языки. Из России убежала, вступив в фиктивный брак. Так поступают многие наши девушки, чтобы вырваться из России, чтобы приобщиться к европейской культуре и общественной деятельности. Для примера могу назвать сестру нашего знаменитого математика Софьи Ковалевской — Анну. Она вышла замуж за бланкиста Виктора Жаклара. Я встречалась с ней в Женеве.

— Прекрасно, прекрасно,— сказал Маркс: Элиза ему понравилась, она походила на его дочь Женнихен — такая же смуглая, черноволосая, с прекрасными темными глазами.— Ваши друзья также пишут, что вы поможете мне лучше познакомиться с ними. Вот тут, в конце письма, стоят подписи,— Маркс заглянул в письмо,— подписи Виктора Бартенева, Николая Утина и Антона Трусова. Что вы о них скажете? В одном из предыдущих писем ко мне они назвали меня достопочтенным, словно мне уже сто или, по меньшей мере, восемьдесят лет...

Элиза весело и звонко засмеялась.

— Их надо простить,— сказала она,— потому что все они еще молодые люди, хотя и вы, конечно же, не старец.

— Спасибо за неожиданный комплимент,— улыбнулся Маркс.— Я действительно еще не старец, хотя и не молод уже: мне пятьдесят два... Но расскажите же мне о ваших друзьях,— попросил он.— И говорите, пожалуйста, по-русски,— добавил он, перейдя на русский язык.— Мне кажется, что я уже достаточно хорошо понимаю разговорный русский.

— Да, да! — обрадовалась Элиза.— Пожалуйста! Итак, о моих друзьях. Прежде всего о Николае Утине. Он начал свою революционную деятельность еще студентом, в Петербурге. Его учитель — Чернышевский. Утин был членом Центрального комитета «Земли и воли». Он создал подпольную типографию и печатал прокламации к восставшим полякам, подвергаясь постоянной опасности быть арестованным. Когда полиция напала на его след, он уехал из России. Царь заочно приговорил его к смертной казни. В Женеве Утин сначала примкнул к Бакунину. Даже жил с ним в одном доме. Но потом отошел от анархиста Бакунина, захватил его журнал «Народное дело» и создал свою типографию, так как Элпидин, печатавший ранее этот журнал, отказался его печатать.

— Элпидин? — переспросил Маркс.

— Да, тот самый Элпидин, у которого агент царской охранки выведал план Лопатина вызволить из каторги нашего Чернышевского. Элпидин просто проболтался, доверившись хорошо замаскировавшемуся агенту.

— Мы все очень тревожимся о Германе Лопатине,— сказал Маркс.— И не знаем, как ему помочь.

— Отсюда помочь Лопатину невозможно,— вздохнула Элиза.— Вся надежда на то, что его прошлый опыт поможет ему убежать из тюрьмы и на этот раз. А он мог бы освободить из каторги Чернышевского. И тогда Россия имела бы своего революционного вождя.

— Да,— кивнул головой Маркс.— России нужен вождь.

Они помолчали.

— Я привезла вам несколько экземпляров «Народного дела»,— первой заговорила Элиза.— Журнал Утина. Секретарем редакционного совета в этом журнале работает Антон Трусов. Он, как и Утин, тоже был членом «Земли и воли». Во время польского восстания шестьдесят треть-

его года Антон Трусов командовал повстанческим отрядом в Белоруссии. Ясно, что после подавления восстания он должен был покинуть Россию.

— Бедная Россия,— сказал Маркс.— Царизм в ней все подавляет. Но когда-нибудь этому придет конец. Тем скорее, чем больше мы будем работать. Я верю.

— Я тоже верю,— горячо заговорила Элиза.— Мы все верим, что Россия проснется, а молодежь перестанет играть в заговоры и революционные игры и займется настоящей революционной работой.

— Еще о Бартеневе,— попросил Маркс.— Что вы скажете о нем?

— Это просто замечательный человек,— всплеснула руками Элиза.— И жена его, Екатерина Григорьевна,— тоже замечательный человек. Мы очень близко сошлись в Женеве. Виктор Иванович Бартенев, как и Трусов, тоже принимал участие в польском восстании.

— Да, революционность русских проверяется на польском вопросе,— сказал Маркс.— Русские революционеры не могут не выступать за свободу Польши.

Элиза Томановская, как говорят в России, очень пришлась к дому Марксов. Все ее полюбили. Особенно Женнихен и Тусси. У нее оказалось много талантов: она замечательно пела, играла на рояле, знала много стихов и любила их декламировать. И еще она так интересно рассказывала о России. Высокая, тонкая, она ловко затевала всякого рода игры. Ее громкий и чистый смех то и дело звучал в Модена-Вилла. Маркс, заслышав голос Элизы, часто отрывался от работы и присоединялся к играм и разговорам молодежи.

Но Элиза могла быть и другой: молчаливой, сосредоточенной, строгой. Беседы, которые не раз вел с нею Маркс, обнаруживали в ней недюжинный ум, глубокие научные знания и революционную страстность. Порою Маркс с восхищением думал о ней как о человеке, способном совершить революционный подвиг.

Однажды, подумав, что серьезный разговор уже утомил Элизу, Маркс спросил ее:

— Есть ли у вас жених, Элиза? Мне все время думается, что многие молодые люди, плененные вашей красотой, то и дело предлагают вам руку и сердце.

Элиза улыбнулась, но не ответила.

— Я сказал что-нибудь не так? — забеспокоился Маркс.

— Нет, нет. Просто вы не угадали. У меня нет жениха. Хотя неко-

торые пытались сделать мне предложение. Но я всегда останавливаю попытки такого рода, так как считаю, что я сама найду себе жениха. Мой жених должен быть прежде всего моим единомышленником, разделять мои взгляды на жизнь, на общество, на семью. Ведь это очень важно, не правда ли?

— Пожалуй,— согласился Маркс, поняв, что увести разговор от серьезной темы ему не удалось.— И каковы же ваши взгляды на семью? — спросил он.— Какое место должны занимать в ней дети, их воспитание?

— Одно из самых главных, если не самое главное,— ответила Элиза.— Семья создается ради детей. А без правильного воспитания детей немыслимо общество, о котором мы мечтаем. Стало быть, воспитание детей не только главная забота семьи, но и общества. Разве не так?

— Элиза, вы получили дворянское воспитание,— напомнил ей Маркс.— А какое воспитание вы изберете для ваших детей?

— Мои убеждения — не следствие дворянского воспитания, а следствие самовоспитания,— сказала Элиза твердо.— Я хочу, чтобы мои дети были по убеждениям и по участи сродни классу, которому мы служим и который победит,— рабочему классу. Они должны любить труд. Каждый ребенок с девятилетнего возраста должен стать производительным работником. Чтобы есть, он должен работать, и работать не только умом, но и руками. Это ваши слова, доктор Маркс,— улыбнулась Элиза.

— Да, это мои слова,— согласился Маркс.— Они записаны в резолюции Женевского конгресса Интернационала.

— А не жаль вам девятилетних малышей? — неожиданно спросила Элиза.

— Ах, вот вы как! — рассмеялся Маркс.— Вот как вы коварны!..— Он вытер платком глаза, успокоился.— Итак, не жаль ли мне девятилетних малышей? Жаль, конечно. Родительское сердце жалеет, но долг велит: каждый трудоспособный человек должен трудиться — это общий и непреложный закон, Элиза. Участие детей и подростков в великом деле общественного производства — прогрессивное, здоровое и законное требование. Правда, труд не должен быть разрушительным для детского организма. Здесь нужны разумные нормы. А они возможны только в разумном государстве.

— Я помню ваши предложения на этот счет,— сказала Элиза.—

Для детей девяти — двенадцати лет труд должен быть ограничен двумя часами, для детей тринадцати — пятнадцати лет — четырьмя часами, для шестнадцати- и семнадцатилетних подростков — шестью часами с перерывом на один час.

— Да. Впрочем, ученые тут еще разберутся. Важно, Элиза, чтобы труд детей, обязательно оплачиваемый, сочетался с умственным, физическим и политехническим обучением. В этом — будущее рабочего класса. Да и всего человечества.

Восхищался Элизой и Энгельс, навещавший Модена-Виллу. Энгельс, знакомясь с Элизой, представился ей как Федор Федорович, чем так рассмешил ее, что она долго не могла остановиться. Когда же Элиза наконец успокоилась, Энгельс объяснил ей, что назвал себя Федором Федоровичем не ради шутки, не для того, чтобы развеселить Элизу, а потому, что так подписывался иногда в письмах к русским друзьям.

Элиза Томановская уехала из Лондона в марте. Уехала в Париж по требованию Совета Интернационала для поддержания связи с Коммуной, осажденной версальцами и пруссаками.

Целый месяц от Элизы не было писем. Маркс очень волновался за ее судьбу: ведь это по его рекомендации Элиза была послана в Париж. Волновались и ее женевские друзья из Русской секции Интернационала, которых она успела навестить по пути в Париж.

«Дорогой гражданин Маркс! — писал из Женевы Николай Утин.— Я позволю себе обратиться непосредственно к Вам, чтобы узнать, нет ли у Вас сведений о нашем молодом и драгоценном друге, г-же Элизе Томановской. С тех пор, как три недели назад она написала мне несколько строк о своем намерении поехать с Юнгом на д в е н е д е л и в Париж, я не имел от нее никаких известий; между тем я знаю, что письма из Парижа доходят по назначению, хотя и очень неаккуратно. Я был бы Вам безгранично благодарен, если бы Вы могли сообщить мне какие-либо сведения о судьбе нашего друга. Вы были так добры и так тепло относились к ней, поэтому я не имею надобности скрывать от Вас, что мы очень боимся, как бы отвага и энтузиазм Томановской не привели ее к гибели, а эта утрата была бы исключительно тяжелой».

Письмо от Элизы пришло только в конце апреля 1871 года.

«Милостивый государь! — писала из осажденного Парижа Элиза Томановская.— По почте писать невозможно, всякая связь прервана, все попадает в руки версальцев. Серрайе, только что избранный в Коммуну

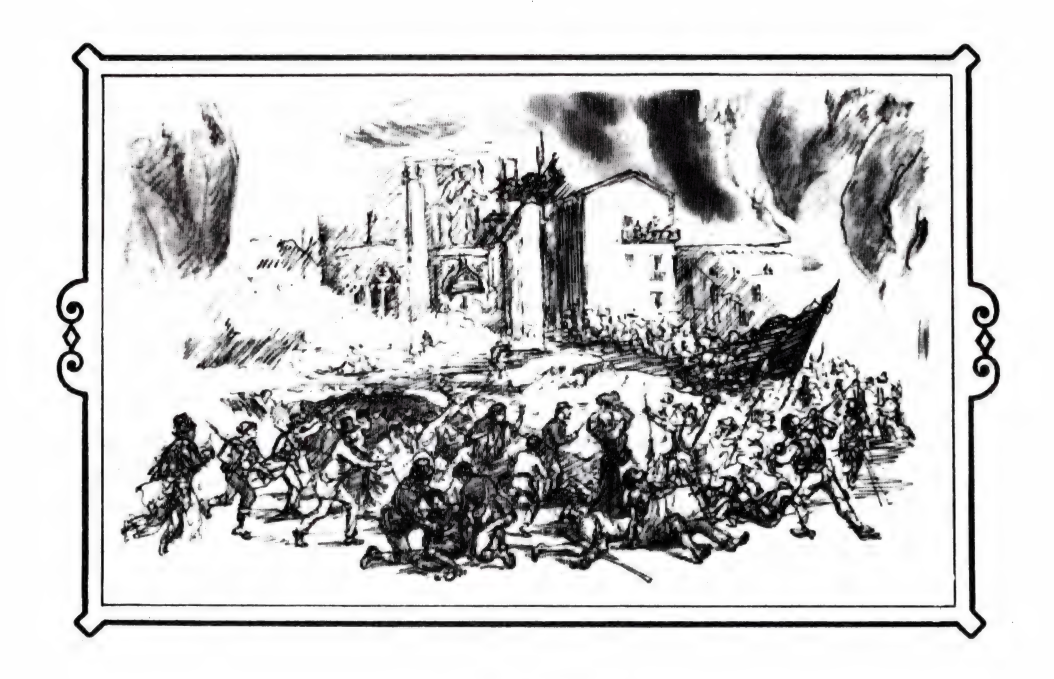
и чувствующий себя хорошо, переправил в Сен-Дени семь писем, но в Лондоне они, по-видимому, не получены. Я послала Вам телеграмму из Кале и письмо из Парижа, но с тех пор, несмотря на все мои поиски и расспросы, я не могла найти никого, кто бы ехал в Лондон. ...Парижское население (известная часть его) героически сражается, но мы никогда не думали, что окажемся настолько изолированными, тем не менее мы до сих пор сохранили все наши позиции. Домбровский сражается хорошо и Париж действительно революционно настроен. В продовольствии нет недостатка. Вы ведь знаете, что я пессимистка и вижу все в мрачном свете,— поэтому я приготовилась к тому, чтобы умереть в один из ближайших дней на баррикадах...

Я очень больна, у меня бронхит и лихорадка. Я много работаю, мы поднимаем всех женщин Парижа. Я созываю публичные собрания. Мы учредили во всех районах, в самих помещениях мэрий, женские комитеты и, кроме того, Центральный комитет. Все это для того, чтобы основать Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым. Мы устанавливаем связь с правительством, и я надеюсь, что дело наладится. Но сколько потеряно времени, и сколько труда мне это стоило! Приходится выступать каждый вечер, много писать, и моя болезнь все усиливается. Если Коммуна победит, то наша организация из политической превратится в социальную, и мы образуем секции Интернационала. Эта идея имеет большой успех... Несчастье в том, что я больна и меня некому заменить...

К крестьянам не обратились вовремя с манифестом; мне кажется, что он вообще не был составлен, несмотря на мои и Жаклара настояния. Центральный комитет не сразу сдал свои полномочия, были всякие истории, которые ослабили партию. Но с тех пор организация окрепла. На мой взгляд, делается все, что только возможно».

Швейцарец, привезший письмо Элизы, рассказывал, что Элизу, одетую в длинное суконное платье, на широком кожаном поясе которого всегда висит револьвер, можно видеть в самых горячих точках Парижа.

Элиза не погибла на баррикадах. Ей удалось уйти из Парижа после того, как версальцы потопили Коммуну в крови. Но об этом Маркс узнал не скоро.



Глава пятая

— Не кажется ли тебе, Фред, что наши друзья-коммунары приукрашивают положение дел в Париже? — спросил Маркс, раскуривая сигару.— И засевший в Версале Тьер не так опасен, как мы думаем. И с провинцией со дня на день будет установлена надежная связь. И пруссаки не пойдут на тайный сговор с Тьером. И французский банк добровольно согласится финансировать Коммуну. Это крайне опасный оптимизм, Фред.

— Ты прав, Карл. Надо было сразу захватить Версаль и этого коварного карлика Тьера. Это правильно понял польский генерал Домбровский. Но Коммуна не дала ему возможности действовать.

— И потом этот форт Мон-Валерьен, запирающий дорогу в Версаль! Они оставили его в руках версальцев! — Маркс ткнул сигарой в пепельницу, сигара сломалась.— Это верх беспечности,— разозлился Маркс,— это почти провал!

— Не волнуйся, Карл,— попросил Энгельс.— Тебе опасно так волноваться — это обостряет твою болезнь. Побереги себя, Карл.

— Но я прав? — продолжал горячиться Маркс. — Я прав или нет?

— Разумеется, прав. Коммуна уже допустила много роковых ошибок. Но главное ее несчастье — это отсутствие партии пролетариата. Прудонисты, бланкисты, фурьеристы — все это там есть, но нет единой пролетарской партии. Революция должна наступать! А коммунары медлят, потому что не могут добиться единства. Они избрали своей тактикой оборону. Но оборона — это смерть революции.

— Ах, если бы коммунары прислушались к моим советам! — вздохнул Маркс.

— Да, Карл. Тогда многое еще удалось бы наверстать. Еще есть время, еще не все потеряно. Надеюсь, что Коммуна уже получила твои советы, которые повез ей этот славный, но слишком восторженный малый Серрайе.

Маркс промолчал. Парижская Коммуна была и его детищем. Не в том смысле, как это преподносят ежедневно буржуазные и монархистские газеты своим читателям, ошарашивая их лживыми сведениями, будто Маркс и его Интернационал — главные подстрекатели парижского бунта черни. Парижская Коммуна — первая вспышка подлинно пролетарской революции, которая неизбежна в силу открытых им законов развития капитализма. Кстати, один из этих законов, о котором умалчивают газетные писаки в своих клеветнических статьях, гласит, что невозможно осуществить революцию, не опираясь на революционный энтузиазм масс. Революция неизбежна только там, где она происходит в силу внутренних причин. Внешние случайности могут лишь ускорить или замедлить ее ход. В том числе и заговоры. Последнее прекрасно доказал Огюст Бланки, когда 14 августа прошлого года вывел на улицу вооруженный отряд революционеров-заговорщиков, надеясь, что за ним поднимется народ. Но народ не поднялся. Бланки постоянно ошибался в настроениях и готовности рабочих к революционным выступлениям. Эти ошибки стоили ему тридцати семи лет тюрьмы. И недавнего смертного приговора, который, к счастью, не был приведен в исполнение, потому что народ Франции восстал.

Парижская Коммуна — детище Маркса еще и в том смысле, что она, как и предсказывал Маркс, с неизбежностью установила новую форму власти, разбив буржуазную государственную машину. Отныне в Париже власть принадлежит самому народу. Пролетариату.

Но Версаль, Версаль! Это роковая ошибка Коммуны. Энгельс убеж-



ден, что многое еще удастся наверстать, если Коммуна прислушается к их советам. Но прислушается ли? И хватит ли у нее сил, чтобы справиться с Адольфом Тьером, который тоже не терял время даром.

Тьер — мерзкий старик, чудовище, абсолютное выражение классовой испорченности буржуазии, жадная тварь, преданная деньгам и люто ненавидящая рабочих. Он был беден, когда начал свою политическую карьеру при Луи-Филиппе, но уже через несколько лет стал миллионером. И теперь, являясь главой правительства, потребовал три миллиона ежегодного жалованья. Ему дали эти три миллиона. Чтобы отработать это жалованье, он задушит всю Францию, а не только рабочий Париж.

Как жаль, что батальоны национальных гвардейцев 18 марта прошли мимо здания министерства иностранных дел на Кэ д'Орсэ, где в это время заседал со своими министрами толстопузый Тьер. Восставшие гвардейцы не знали, что Тьер на Кэ д'Орсэ, да и не имели приказа арестовать его. А Тьер был перепуган. Его военный министр Лефло, увидев из окна идущих с песнями гвардейцев, в панике воскликнул: «Мы прогорели!» Во всяком случае, так утверждают некоторые газеты. Тьер бросился наутек первым. В закрытой карете в окружении конных жандармов он беспрепятственно покинул Париж, потому что ворота города не охранялись. Вечером следом за Тьером убежали в Версаль все его министры.

Когда 24 марта Центральный комитет национальной гвардии снял с должности главнокомандующего национальной гвардии Люлье, в вину ему было поставлено прежде всего то, что он дал возможность Тьеру убежать из Парижа и увести в Версаль преданные ему войска.

Как жаль... А ведь Тьера стоило расстрелять лишь за одно воззвание, которое было расклеено на стенах парижских домов в ночь на 18 марта. В этом воззвании каждое слово — ложь. И под этим воззванием Тьер подписался вместе со своими министрами. Несколько экземпляров этого воззвания потом были доставлены в Лондон, и Генеральный Совет Интернационала с ним ознакомился. Тьер обращался в нем к национальным гвардейцам, которых боялся как огня. Он призывал национальных гвардейцев не верить слухам о том, будто правительство готовит государственный переворот, хотя это были далеко не слухи. Национальное собрание, избранное с помощью штыков прусских солдат, состояло в основном из монархистов и намеревалось реставрировать во Франции монархию. Тьер утверждал в воззвании, что у него нет и не может быть

иной цели, кроме блага республики, а между тем лихорадочно готовил войска к походу на Париж, чтобы разоружить восставший народ и арестовать всех членов Центрального комитета национальной гвардии.

Парижане прочли лживое воззвание Тьера утром 18 марта. А еще раньше, в три часа ночи, войска Тьера, которые были тайно введены в Париж накануне, двинулись на высоты Монмартра и Бельвиля. Им было приказано быстро и без шума захватить пушки национальных гвардейцев. Эти пушки были отлиты для борьбы с пруссаками на народные деньги.

Войска направились в предместье Тампль, к Бастилии и Люксембургскому саду.

В авангарде шагала полиция и скакали жандармы, получившие приказ расстреливать на месте всех национальных гвардейцев, которые окажут им сопротивление. Приказано было также арестовать всех членов Федерального Совета французских секций Интернационала и Центрального комитета национальной гвардии.

Париж спал, а Тьер, как ночной разбойник, бесчинствовал. Солдаты захватили народные пушки на Монмартре и Бельвиле, разоружали народ, который хотел только одного: сохранить республику и не допустить в Париж пруссаков, стоявших у его стен. Буржуазия сама позволила народу вооружиться, а теперь боялась его больше, чем пруссаков. И бесчинствовала.

Париж, еще вчера не помышлявший ни о какой революции, был неожиданно поставлен перед выбором: либо сдаться без боя Тьеру, либо принять вызов к борьбе.

Выстрелы солдат Тьера разбудили парижан. Проснулся грозный Монмартр — мужчины, женщины, дети. Они высыпали на улицы, смешались с солдатами, только что стрелявшими по национальным гвардейцам, охранявшим пушки. Женщины, бесстрашные женщины Монмартра, хватали под уздцы лошадей, дети цеплялись за колеса орудий, которые пытались увезти солдаты Тьера. Стрельба прекратилась, остановились конники и пушки. «Как? — кричали солдатам женщины.— Вы служите врагам народа, вы — его дети? Неужели вам не надоело быть слепым оружием в руках ваших угнетателей? Неужели вам не стыдно служить предателям?»

Приказы генерала Леконта стрелять по безоружным парижанам тонут в гуле возмущения. Генерал разражается площадной бранью.

Солдаты возмущены, окружают генерала и объявляют его арестованным. Арестован и другой генерал — Тома, палач июньского восстания 1848 года. Солдаты уводят генералов и выносят им смертный приговор, который сами же приводят в исполнение.

К Монмартру подошли отряды национальных гвардейцев. Началось братание солдат и гвардейцев. То же — на высотах Бельвиля. Проходит еще немного времени, и вооруженный народ устремляется к центру Парижа. Рабочий-литейщик Дюваль со своим отрядом выбивает солдат Тьера из Орлеанского вокзала, Ботанического сада и таможни. Рабочие Сент-Антуанского предместья захватывают правительственные учреждения. Национальные гвардейцы поднимают над парижской ратушей красный флаг. В три часа дня Тьер бежит из Парижа.

Вечером в ратуше собирается Центральный комитет национальной гвардии и объявляет себя временным правительством. Впрочем, не сразу: начались продолжительные дебаты о том, имеет ли право Центральный комитет объявить себя правительством, и если имеет, то правительством всей Франции или только Парижа. Мнения бланкистов и прудонистов разделились.

Члены ЦК были слишком совестливыми: они опасались, как бы их приход к власти не был воспринят как узурпация власти. Поэтому окончательное решение вопроса о власти решено было отложить до выборов в Коммунальный совет Парижа, которые были назначены на 26 марта.

И хотя Центральный комитет предпринял в эти дни ряд правильных и решительных мер — уволил из министерств и административных органов всех буржуазных чиновников, объявил амнистию всем политическим заключенным, издал ряд указов, облегчающих материальное положение народа,— было упущено время, столь необходимое для подготовки военных действий против Версаля.

Беспрепятственно с оружием в руках ушли в Версаль парижские полицейские, разбегались, увозя богатства, банкиры и промышленники. Продолжали выходить буржуазные газеты, распространяя панические слухи и клевету на восставший народ.

А надо было немедленно наступать на Версаль: у Тьера тогда еще не было средств к обороне.

Выборы состоялись в назначенное время — 26 марта. 28 марта на площади Ратуши была торжественно провозглашена Коммуна. Парижская Коммуна — Республика Труда. Сотни тысяч национальных гвар-

дейцев с алыми ленточками на штыках своих ружей запрудили в тот великий день площадь Ратуши, улицу Риволи и прилегающие к площади набережные. Они обнимались и целовались, подхватывая лозунги Коммуны: «Да здравствует Республика! Да здравствует Коммуна! Да здравствует социальная революция!»

Трудовой народ Парижа избрал в Коммуну 84 представителя. Среди них тридцатидвухлетний Луи Эжен Варлен, которого Маркс знает лично. Сын бедного крестьянина, Варлен тринадцатилетним мальчиком пришел в Париж и поступил работать в переплетную мастерскую. Он вырос среди рабочих, проникся их бедами и чаяниями. В 1864 году он возглавил стачку переплетчиков Парижа и добился для них десятичасового рабочего дня.

Маркс познакомился с Варленом девять лет назад, когда тот приезжал в Лондон на Международную выставку. Тогда Варлену было двадцать три года. Воспитанный на идеях Прудона, он быстро понял ошибки своего учителя и усвоил многое из того, что говорил ему Маркс.

В Коммуну избран Шарль Делеклюз, участник революционных боев 1830 и 1848 годов. Отважный Делеклюз. Ему 62 года.

Бланки нет в Париже: 17 марта ищейки Тьера выследили и арестовали его где-то на юге Франции и теперь держат его в своих руках.

Но партия Бланки представлена в Коммуне его боевыми соратниками Гюставом Флурансом, Раулем Риго, Теофилем Ферре и еще десятью человеками.

Гюстафу Флурансу тридцать два года. В двадцать пять лет он стал преподавателем в «Коллеж де Франс», участник освободительных боев на Крите и в Греции. О нем говорят как о смелом и непреклонном бойце. Это он, Гюстав Флуранс, еще в ноябре прошлого года, проник в ратушу, где заседало правительство генерала Трошю, объявил это правительство низложенным и провозгласил создание нового правительства — Комитета общественного спасения. Трошю и его министры были взяты под стражу.

Комитет общественного спасения уже решал вопрос о выборах в Муниципальный совет, о Коммуне, когда в ратушу ворвались гвардейцы, верные Трошю. Флуранс, Бланки, Делеклюз и Дориан — члены Комитета общественного спасения — ушли из ратуши с обещанием Трошю, что выборы в Коммуну состоятся. Но Трошю их подло обманул: выборы были

отменены. «Мы не будем менять рулевого в бурю»,— заявил Трошю. И парижане его поддержали.

Раулю Риго — двадцать четыре года. Коммуна назначила его министром общественной безопасности. И вот небывалое для Парижа явление: в моргах нет ни одного трупа, нет больше ночных грабежей, никто ни на кого не нападает. Улицы Парижа безопасны, хотя на них не видно ни одного полицейского.

Тридцать лет Эмилю Дювалю, рабочему-литейщику. Он возглавляет профсоюз литейщиков и является членом Исполнительной и Военной комиссий Коммуны.

Членом Коммуны, министром труда избран двадцатисемилетний венгр Лео Франкель, участник гарибальдийского движения, член Интернационала.

Во главе защитников Парижа поставлены польские революционные генералы Ярослав Домбровский и Валерий Врублевский.

Коммуна определила для своих служащих максимальную зарплату — 6 тысяч франков в год. Это средняя зарплата рабочего. Несравнимая сумма с тремя миллионами Тьера. И это при том, что в Париже бешеные цены, что Париж голодает, потому что версальцы и пруссаки, окружив его плотным кольцом, отрезали его от провинции, от хлеба и мяса. Пять франков стоит на рынке кошка, два с половиной франка — ворона, тридцать франков — пирожок. Газеты пишут, что парижане поедают холмы Монмартра, потому что хлеб выпекается из сена, высевок овса и глины.

Нужен был немедленный штурм Версаля, но Коммуна боялась развязать гражданскую войну, хотя Тьер развязал ее уже 18 марта.

— Я читал, что Тьер работает по двадцать часов в сутки,— сказал Энгельсу Маркс, оторвавшись от газет, которыми был завален его стол.— Якобы он сам так говорит. Врет ведь мерзавец, потому что и обжора, и староват для столь продолжительных бдений. Но то, что его голова постоянно занята тем, как задушить Париж, конечно, правда. Что он может?

— Он быстро создаст сильную армию за счет провинции. Это первое, Карл. Во-вторых, он перекроет все дороги, ведущие в Париж. И в-третьих, это уже очевидно, пруссаки вернут ему пленных французских солдат. Думаю, тысяч сто. Все это Тьер может осуществить в ближайшее время.

— А что Париж? — устало спросил Маркс.— Как выглядят его укрепления?

— Париж обнесен высоким валом, толщина которого около одиннадцати метров. Снарядом этот вал не прошибешь. Но можно, конечно, взорвать, если подложить под него достаточно взрывчатки. Кроме того, перед валом сухой ров, шириной около двенадцати и глубиной около девяти метров. Препятствие тоже серьезное. Вдоль вала — девяносто четыре бастиона. Перед валом, на возвышениях и холмах, шестнадцать фортов и тринадцать редутов. Коммунары, если верить тем сведениям, которые у нас есть, владеют южными фортами. Это Шарантон, Иври, Бисстр, Монруж, Ванв, Исси. И несколькими редутами. Но путь на Версаль закрывает форт Мон-Валерьен. Это очень серьезная преграда.

— А прусские войска?

— Прусские войска у Парижа стоят полукольцом. Вряд ли они пойдут на Париж: Коммуна обязалась соблюдать условия перемирия и выплачивать контрибуцию. Но они могут пропустить через свои боевые порядки версальцев. И ты был прав, когда советовал коммунарам укрепить северные склоны Монмартра... Но Версаль еще можно взять, черт возьми! — горячо проговорил Энгельс.— Неужели же они не решатся?

— У нас плохая связь с Парижем,— вздохнул Маркс.— Письма идут долго, окольными путями. А мы уже и немолоды, и больны для того, чтобы самим отправиться в Париж... А! — махнул он рукой и заходил по кабинету, дымя сигарой.— Неужели Серрайе не убедит их, что надо наступать и наступать немедленно? Ведь там такие боевые парни — Флуранс, Дюваль, Эд! Ты помнишь Флуранса, Фред?

— Разумеется, помню. В прошлом году он часто навещал меня.

— Кстати, Дженни недавно показала мне страничку из своей книги-исповеди, которую заполнил Гюстав Флуранс. На вопрос: «Ваше любимое занятие?» — он ответил: «Вести войну против буржуа, против их богов, их королей и их героев». А на вопрос: «Ваше любимое изречение?» — ответил: «Уметь достойно умереть!» А наш храбрый друг генерал Дюваль? А Эд? Нет, они бросятся в бой, они дойдут до Версаля!

— Нет ли вестей от Лауры и Поля? — спросил Энгельс.

— Нет. Но я думаю, что наш горячий Поль уже наверняка в Париже. Но для Женни — он в Бордо. Оба в Бордо, Фред. Я поддерживаю в ней это убеждение, хотя она и без того не спит по ночам и воображает, что с ними приключилось уже что-нибудь страшное.

Дверь кабинета приоткрылась, и в ней показалась Женни.

— Можно вас на минутку,— попросила она Энгельса.— Всего на одну минутку. Есть необходимость посоветоваться.

Энгельс вышел. Женни прикрыла за собой дверь кабинета и тихо сказала:

— Мавр так волнуется из-за всего, что происходит в Париже. А вы, конечно же, сейчас толкуете о парижских делах... Так вот, я вас очень прошу: не надо печальных предположений. Иначе он снова сляжет. И еще: о Лауре и Поле. Мавр предполагает, что Поль оставил Лауру в Бордо, а сам помчался в Париж. Я тоже так думаю, потому что хорошо изучила характер Поля. Но Мавр не должен так думать, потому что... Словом, не поддерживайте в нем эту мысль: она его ранит.

— Хорошо,— пообещал Женни Энгельс.— Я и вообще-то намеревался уже уходить.

— Ах, Энгельс,— тихо засмеялась Женни.— С той поры как вы покончили со своей коммерцией и переехали жить в Лондон, всякая ваша разлука с Карлом — событие только кажущееся, потому что если вы не у Карла, то Карл у вас. А если ж вас нет ни здесь ни там, то вы вместе на заседании Генерального Совета Интернационала. Стоит вам уйти, как Карл тотчас же начинает собираться к вам. Благо до вашего дома — всего пятнадцать минут ходьбы.

Так и произошло: едва Энгельс ушел, Маркс принялся одеваться.

— Ты уходишь? — спросила Женни.

— Да,— отозвался Карл.— У меня возникла одна идея, я должен ее проверить на Энгельсе.

— Конечно,— сказала Женни, пряча улыбку.— Привет Лиззи.

Лиззи — сестра Мэри Бернс. Энгельс женился на ней после смерти Мэри.

Через несколько дней газеты принесли весть о попытке коммунаров штурмом взять Версаль.

Наступление на Версаль было предпринято 3 апреля. Коммунары выступили тремя колоннами. Правую колонну численностью в шесть тысяч человек, которая должна была выйти к Версалю через Курбевуа, Нантер, Рюэй, Буживаль и оттянуть на себя все главные силы версальцев, возглавили Флуранс и Бержере. Левую колонну в семь тысяч человек возглавил Эмиль Дюваль. Предполагалось, что она выйдет к Версалю

с юго-востока. Центральная колонна — десять тысяч человек — должна была атаковать Версаль с востока. Ее возглавил Эд.

Флуранс и Бержере почти до Рюэя дошли без боя. И уже поверили в то, что форт Мон-Валерьен не откроет по ним огонь, вспомнили, что командующий фортом когда-то дал слово сохранять нейтралитет в гражданской войне, если она начнется. Коммунары радовались удаче, но радость оказалась преждевременной: Мон-Валерьен вдруг заговорил всей своей артиллерией.

Флуранс с частью батальонов проскочил сквозь огонь и достиг Рюэя. Остальные батальоны отступили. Флуранс, не теряя времени, занял Рюэй и вышел к Буживалю. До Версаля оставалось около девяти километров — была пройдена половина пути. Флуранс намеревался идти дальше, но авангард наскочил на сильный заслон версальцев. А вскоре разведка донесла, что несколько батальонов версальцев пошли в обход, чтобы отрезать Флуранса от Парижа.

Тем временем конная жандармерия разбила отряд Бержере.

Флуранс начал отступать. В Париж ему пробиться не удалось. Большая часть его отряда была рассеяна и уничтожена. Флуранс вместе со своим боевым другом итальянцем Чиприани, адъютантом и остатками отряда свернул на северо-запад от Рюэя и остановился там в одном из сельских домов, чтобы отдохнуть. Но был выдан кем-то из шпионов. Жандармы Тьера окружили дом и схватили Флуранса. Жандармский офицер Демаре тут же, как мясник, изрубил Флуранса на куски. За это Тьер наградил Демаре орденом.

Левая колонна, возглавляемая Эмилем Дювалем, также не смогла пробиться к Версалю. Весь день она вела упорные бои, которые стихли лишь к ночи. Дюваль дал коммунарам короткий отдых и приказал отходить к Парижу. Но на рассвете был окружен версальцами.

Отчаянные попытки вырваться из вражеского кольца не принесли успеха. Версальцы предложили Дювалю сдаться, заверив его, что сохранят жизнь оставшимся коммунарам. Дюваль поверил им. Коммунары сложили оружие.

Пленных под усиленным конвоем повели в Версаль. Дюваль до Версаля не дошел: генерал Винуа приказал расстрелять всех командиров. Дюваль и его верные сподвижники — начальник штаба и командир добровольцев Монружа — вышли из колонны и стали к стене. «Да здравствует Коммуна!» — успели они выкрикнуть перед тем, как раздался

залп. Генерал Винуа получил из рук Тьера орден Почетного легиона.

Поход центральной колонны Эда тоже не увенчался успехом. Наткнувшись на сильное сопротивление версальцев, она отступила под прикрытие южных фортов и вернулась в Париж.

Коммуна перешла к обороне.

— Теперь — все,— резюмировал эти события Энгельс.— Теперь время будет работать против Коммуны.

Она продержалась 72 дня. 72 дня, полные тревог, борьбы, поисков и размышлений. Она открыла эпоху социалистических революций и дала образец борьбы рабочего класса со своим заклятым врагом — буржуазией.

Роковым для нее стал день 21 мая. Он был солнечным и жарким. Но именно с него началась «кровавая неделя»: в этот день версальцы ворвались в Париж, проникнув с помощью предателя через ворота в западной части крепостного вала. Просочившись в город, они с тыла захватили еще несколько ворот. Генерал Домбровский поднял своих гвардейцев и бросился в бой, не имея сведений об истинном положении дел и о численности версальцев. Ночью солдаты Тьера прорвались в Париж и через южные ворота.

Ярослав Домбровский слал гонцов в ратушу, но помощи все не было. Силы коммунаров с каждым часом слабели: редели ряды защитников, кончались боеприпасы. Когда наступила кромешная тьма и бой затих, Домбровский сам отправился в ратушу, чтобы сообщить о смертельной опасности, нависшей над Парижем. Было два часа ночи, когда он вошел в комнату, в которой заседал Комитет общественного спасения. Члены Комитета удивились его столь позднему и внезапному появлению. Но еще более удивились сообщению о том, что крупные силы версальцев уже в Париже. И не поверили ему. Некоторые же члены Комитета заподозрили генерала в том, что он сам пропустил версальцев в Париж. Это подозрение потрясло Домбровского. Он заговорил возмущенно и дерзко, но это лишь усугубило положение: Комитет освободил его от командования. Это оказалось равносильным смертельному приговору: Домбровский сам пошел на пули врага и был убит на баррикаде улицы Мирра.

Тьер объявил своим солдатам, что правительство позволяет мстить Парижу сколько им угодно.

Утром 22 мая в Париже объявлена всеобщая тревога, но версальцы

уже повсюду. Ими захвачены почти без боя Монмартр и Трокадеро. В отместку за убитых 18 марта генералов Леконта и Тома жандармы Тьера расстреляли пятьдесят парижан, среди которых оказались четверо детей и три женщины. Перед расстрелом они поставили их на колени. Но одна из женщин, у которой на руках был ребенок, осталась стоять и за мгновение до залпа крикнула: «Покажите этим негодяям, что вы умеете умирать стоя!»

Ожесточенные бои на улицах Парижа продолжались целую неделю.

24 мая был схвачен и убит прокурор Коммуны двадцатичетырехлетний Рауль Риго. Бросился в атаку против версальцев с баррикады на бульваре Вольтер и погиб Делеклюз. 27 мая два полка версальцев окружили на кладбище Пер-Лашез около двухсот коммунаров. Два часа шла рукопашная схватка среди могил. Погибли все коммунары.

Последний бой затих 28 мая, когда пала последняя баррикада на улице Рампонно.

В этот же день был убит Варлен. Его узнал на улице и выдал версальцам священник. Варлена схватили, связали ему руки и стали водить по улицам. Озверевшие буржуа и всякого рода подонки, узнав, что перед ними один из вождей Коммуны, избивали его камнями и палками. Вскоре они выбили ему глаз, а его голова превратилась в сплошное кровавое месиво. Когда Варлен упал и не смог подняться, его расстреляли. Это произошло на улице Розье. Лейтенант Сикр, расстрелявший Варлена, вынул из кармана убитого часы, на которых была надпись: «Эжену Варлену от благодарных рабочих-переплетчиков».

В Париже начались массовые расстрелы. Солдаты Тьера убивали всех, у кого были руки в порохе, так как это было доказательством того, что перед ними защитники Парижа. Они убивали также каждого, кто, по их мнению, был похож на рабочего. Казнили всех седых мужчин, так как они могли быть участниками революции 48-го года. В дни «кровавой недели» было умерщвлено более тридцати тысяч коммунаров.

Среди палачей Коммуны особой кровожадностью отличился генерал маркиз де Галиффе. Он сам отбирал пленных коммунаров для расстрела, говоря: «У этого слишком умный вид — расстреляйте его!»

Английская газета «Ежедневные новости» напечатала сообщение своего парижского корреспондента, которое Маркс выписал, готовясь написать статью о Парижской Коммуне.

«Колонна арестованных остановилась на авеню Урик,— рассказывал

корреспондент,— и выстроилась в четыре или пять рядов на тротуаре лицом к улице. Генерал маркиз де Галиффе и его штаб спешились и начали осмотр с левого фланга. Медленно двигаясь и осматривая ряды, генерал останавливался то тут, то там, хлопая какого-нибудь человека по плечу или вызывая кивком головы кого-либо из задних рядов. В большинстве случаев, без дальнейших разговоров, человека, выбранного таким образом, заставляли выйти на середину улицы, где вскоре образовалась отдельная колонна меньшего размера... Ясно, что тут был значительный простор для ошибок. Офицер верхом на лошади указал генералу Галиффе на мужчину и женщину, будто бы виновных в особом преступлении. Женщина, выбежав из рядов, бросилась на колени с вытянутыми вперед руками и в страстных выражениях уверяла в своей невиновности. Генерал выждал некоторое время и с самым бесстрастным лицом и безучастным видом сказал: «Мадам, я бывал во всех театрах Парижа,— не утруждайте себя и не играйте комедии».

Опасно было в этот день оказаться заметно выше, грязнее, чище, старше или некрасивее своих соседей. Один человек особенно поразил меня. Очевидно, он быстро избавился от бремени жизни благодаря сломанному носу.

Когда таким образом было отобрано больше сотни человек и был назначен отряд расстреливающих, колонна двинулась вперед, оставив их позади. Несколько минут спустя позади нас раздался залп, и огонь продолжался свыше четверти часа. Это была казнь тех наспех осужденных бедняг».

Вечерний выпуск лондонской газеты «Знамя» также напечатал заметку своего корреспондента из Парижа, которую Маркс вырезал для себя. В ней говорилось: «Время» — газета осторожная и не падкая на сенсации (так корреспондент охарактеризовал орган крупной буржуазии) — рассказывает ужасную историю о людях, не умерших сразу после расстрела и погребенных прежде, чем их жизнь угасла. Большое количество из них было зарыто на сквере вокруг Сен-Жак-ла-Бушри, многие из них очень неглубоко. Днем уличный шум мешал это слышать, но в тишине ночи обитатели домов, находящихся по соседству, просыпались от отдаленных стонов, а утром они видели, как сжатая в кулак рука высовывается из-под земли. Вследствие этого было предписано откопать зарытых... У меня нет ни малейшего сомнения в том, что многие раненые были заживо погребены. Один факт я могу засвидетельствовать.

Когда Брюнель был застрелен вместе со своей возлюбленной 24-го во дворе одного дома на Вандомской площади, тела лежали там до вечера 27-го. Когда погребальный отряд явился, чтобы убрать тела, он увидел, что женщина еще жива, и отвез ее в больницу. Хотя в нее попали четыре пули, она теперь вне опасности».

«Порядок, справедливость и цивилизация наконец одержали победу!» — заявил, выступая перед Национальным собранием, Тьер.

— Да, он победил! — Маркс ходил по кабинету, не находя себе места от охватившего его гнева.— Цивилизация и справедливость буржуазного строя выступили в своем истинном, зловещем свете. Эта цивилизация и эта справедливость — неприкрытое варварство и беззаконная месть! Перед нынешними гнусностями бледнеют даже зверства июня сорок восьмого года. Поистине великолепна цивилизация, которая очутилась перед горами трупов людей, убитых после боя! История пригвоздила буржуазную цивилизацию к позорному столбу. Отныне народы будут с омерзением плевать на нее! И чествовать Коммуну — предвестницу нового общества!

В первых числах июня в Лондоне появились первые эмигранты Коммуны. Несчастные, измученные, лишенные всяких средств к существованию, многие с женами и детьми, они искали приюта у Маркса и Энгельса. Вскоре дом Маркса на Мэйтленд-парк-род превратился, по выражению Женни, в жужжащий улей. То же было и в доме Энгельса на Риджентс-парк-род. Здесь они нашли первую помощь, услышали первые слова участия.

Рассказы коммунаров о пережитом вызывали в Марксе и Женни самое искреннее сочувствие. И с каждым днем усиливали их тревогу за дочерей, оставшихся во Франции.

— Карл, не следовало их отпускать,— говорила Женни о Дженни и Тусси, которых Маркс и Энгельс проводили до Ливерпуля и посадили там на пароход, следовавший в Бордо, еще в конце апреля.

— Но разве можно было удержать Дженни? Ты же знаешь ее характер,— ответил жене Карл.— А о характере Тусси и говорить не приходится. Мне кажется, что они и без нашего разрешения отправились бы к Лауре в Бордо. Это определенно так. А потом — что может угрожать там нашим девочкам? Они подданные Великобритании.

— Но они дочери вождя Интернационала. Госпожа Серрайе говорила мне, будто видела газету, в которой напечатано, что во Франции аресто-

ваны три сына Карла Маркса. А вдруг это опечатка и речь идет не о сыновьях, а о дочерях?

— Они непременно дали бы нам знать,— успокаивал, как мог, жену Маркс, хотя его самого тревога не отпускала ни на час.— Ведь у нас смелые девочки, они сумеют постоять за себя. Да и Поль не оставит их в беде.

Дженни и Тусси вернулись в Лондон только в конце августа. И то, что они рассказали, подтвердило, что опасения Маркса за их судьбу были не напрасны.

Едва Париж пал, ищейки Тьера начали преследовать сторонников Коммуны и в провинции. Поль Лафарг и Лаура вынуждены были покинуть Бордо. Они отправились в небольшой курортный городок в Пиринеях Баньер-де-Люшон, где их никто не знал. За ними последовали Дженни и Тусси. Но в Люшоне Поля и Лауру ждала другая беда: здесь в конце июня у них умер младший сын. Это была уже вторая потеря, так как в феврале минувшего года у них умерла дочь, не прожив и двух месяцев.

Не успели Поль и Лаура осушить слезы после смерти сына, как начались новые тревоги. Полицейский чиновник, постучавшийся в дверь их дома на рассвете, сообщил Полю, что он получил приказ арестовать его, но не сделает этого потому, что он республиканец.

— Причина ареста? — спросил Поль.

— Причин целых три,— ответил чиновник.— Вы были представителем Парижской Коммуны в Бордо, вы эмиссар Интернационала и, наконец, зять Маркса. Советую вам перебраться через границу, на испанскую сторону.

Лафарг не замедлил воспользоваться советом чиновника. Он перешел границу и остановился в испанском городе Бососте. Через несколько дней в Босост отправились Лаура с больным сыном Шарлем-Этьеном, у которого было забавное прозвище Шнапсик, с Дженни и Тусси. Убедившись в том, что Лаура и Поль теперь в полной безопасности, Дженни и Тусси вернулись в Люшон. Увы, вернулись не одни, а в сопровождении двух полицейских чиновников, которые заменили кучера их коляски в пограничном местечке Фо, где девушки были тщательно обысканы по приказу прокурора барона Дезагарра. К счастью, у них ничего не нашли, что могло бы послужить причиной для их немедленного ареста. Поводом для немедленного ареста могло стать, конечно, письмо Гюстава Флуранса,

которое было у Дженни. Но она успела сунуть это письмо в регистрационную книгу, лежавшую на столе в таможне прежде, чем до него успела добраться обыскивавшая их «весьма невежественная женщина».

— Мне кажется, что я до сих пор чувствую, как ее паучьи пальцы перебирают мои волосы,— с содроганием сказала Дженни, вспоминая об обыске в таможне Фо.

— Ваше счастье, что эти паучьи пальцы не обнаружили письмо Флуранса,— заметил, слушая ее рассказ, Энгельс.— Иначе вместо Англии вам пришлось бы отправиться куда-нибудь вроде Новой Каледонии.

— Что было дальше? — торопила рассказ дочери Женни.— В Люшоне полицейские, надеюсь, оставили вас в покое?

— Как бы не так,— ответила Дженни.— Там-то и начались наши главные страдания. Возвратившись в Люшон, мы увидели, что дом, в котором мы жили, наводнен шпионами.

— Как — шпионами?! — удивилась и возмутилась Женни.— Как же вы догадались, что они шпионы?

— Очень просто,— ответила за старшую сестру Тусси.— Они были все очень вежливыми, вертелись вокруг нас и старались втянуть нас в опасный разговор.

— Но может быть, это были всего лишь местные ловеласы? — смеясь, предположил Энгельс.

— К сожалению, нет,— сказала Дженни.— Поняв, что от нас ничего не добиться, шпионы удалились, а им на смену пожаловал префект полиции господин де Кератри в сопровождении целой банды чиновников.

— Меня тут же вывели в другую комнату,— вставила слово Тусси.

— Да, ее вывели в другую комнату,— подтвердила Дженни,— а мне учинили допрос. Спрашивали о Лафарге, о его друзьях, о его отношениях с Коммуной и Интернационалом. Я заявила, что ничего не скажу.

— Молодец, Дженни! — похвалил ее отец.

— Де Кератри тогда стал мне угрожать,— продолжала Дженни.— Он сказал, что если я не дам никаких показаний против Лафарга, то он будет считать меня его сообщником. К тому же он бессовестно врал, что Поль и Лаура уже арестованы. Потом подсунул мне лист бумаги и велел написать про Лафарга всю правду. Я, конечно, написала ему такую правду, от которой он весь позеленел. И тут он пошел на новую подлость: велел привести Тусси и прочел ей из моих показаний совсем не то, что там было написано. Бедная Туссенька, боясь мне повредить,

сказала, что я написала правду, хотя де Кератри говорил ей заведомую ложь. Тогда я сказала ему, что́ я обо всем этом думаю. Он совсем взбеленился, наговорил мне грубостей и ушел. На следующий день нас уже допрашивали генеральный прокурор и прокурор республики.

— Вот,— заметил Энгельс.— Дочери Маркса удостоились такой высокой чести, а у вас на глазах слезы.— Эти его слова были обращены к Женни.— К тому же все страхи уже миновали.

— Но все могло кончиться гораздо хуже. Гораздо...

— Кстати, Кератри, уходя, заметил, что энергию, свойственную женщинам нашей семьи, не сломить никакими силами,— продолжала весело Дженни.— А ты, мамочка, так волнуешься. Ведь мы дома, правда?

— Правда,— вздохнув, ответила мать.— Это такое счастье.

— Прокуроры от нас тоже ничего не добились. Верно, Тусси?

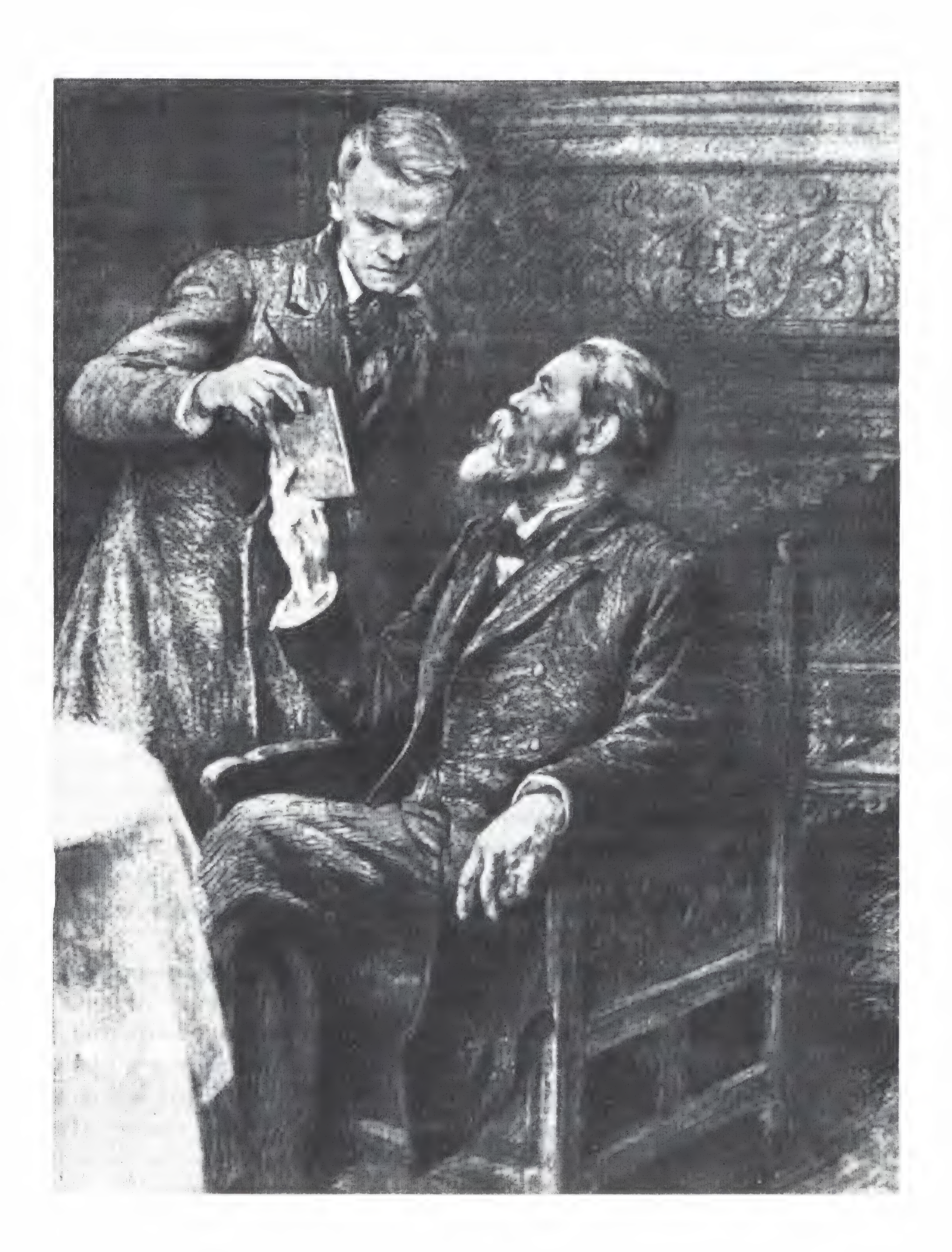
— Да, ничего!

— Потом нас отправили в жандармский участок, где мы провели целые сутки. И отняли английские паспорта, которые вернули только через десять дней. Не случись этого, мы вернулись бы домой на десять дней раньше.

Выслушав рассказ Дженни, Энгельс посоветовал ей подробно написать обо всем, происшедшем с нею и Тусси в Фо и Люшоне, для газеты. Дженни так и сделала.

Вместе с эмигрантами из Парижа приехал Шарль Лонге, с которым Дженни познакомилась и подружилась шесть лет назад. Коммунар Шарль Лонге был командиром 248-го полка Национальной гвардии, участвовал в восстании 18 марта, редактировал правительственную газету Коммуны «Журналь офисьель де ля Коммюн». В дни «кровавой недели» он был рядом с генералом Валерием Врублевским, участвовал в похоронах Ярослава Домбровского. Только счастливый случай спас его от гибели.

— Этот счастливый случай — Гюстав Дурлен, прекрасный врач и мой верный друг,— рассказывал он Дженни.— Дурлен очень рисковал жизнью, пряча меня у себя в доме. К тому же, понимаешь, у меня совершенно дурная привычка кричать «Кто там?» на каждый звонок в дверь. Звонки раздавались по несколько раз в день, но я всякий раз забывал, что в моем положении надо сидеть тихо, и кричал во весь голос: «Кто там?» Это пугало и изводило Дурлена. «Умоляю тебя,— говорил он мне после каждого звонка.— Молчи! Иначе нас расстреляют обоих!»



— Я, кажется, чувствовала, что ты в опасности,— сказала тихо Дженни.— У меня болело сердце.

— Да?!

— Да.

Они взяли друг друга за руки. Они любили друг друга.

— А потом? — спросила Дженни.

— Потом...— Счастье мешало Шарлю спокойно продолжать рассказ.— Потом... Да,— заговорил он, словно очнувшись от сладкого сна,— потом Дурлен провел меня ночью в монастырь Сен-Жан де Дье, это на улице Удино. А уже оттуда я перебрался в Бельгию, в Брюссель, откуда меня сразу же выпроводили. И вот я пересек Ла-Манш, и вот я здесь...

Через несколько месяцев состоялась их помолвка.

Энгельс сказал Марксу после помолвки Дженни и Шарля:

— Мне кажется, Карл, что больше всех счастлива Тусси и что она не прочь последовать примеру Дженни. Ей уже семнадцать.

— Да,— задумчиво произнес Маркс,— семнадцать... А мне пятьдесят четыре, и у меня совсем белая голова. Но я не о том, не о старости и не о смерти. Я подумал: доживем ли мы с тобой, Фред, до новой революции. До революции, которая победит... Между сорок восьмым и семьдесят первым годом уместилось двадцать три года. Сколько же лет отделяет семьдесят первый год от будущей революции? Если даже двадцать три, то я не доживу. А хотелось бы дожить, черт возьми! — сказал он, хлопнув друга по плечу.— Верно, Фред?

— Да, конечно,— озабоченно ответил Энгельс: Маркс сильно кашлял, у него участились рецидивы болезни печени — он нуждался в основательном лечении.— Но для того чтобы дожить, надо всерьез позаботиться о здоровье...

— И ты туда же, дорогой Фред,— засмеялся Маркс.— Доктор Гумперт уже совсем замучил меня своими советами, жена, дочери...

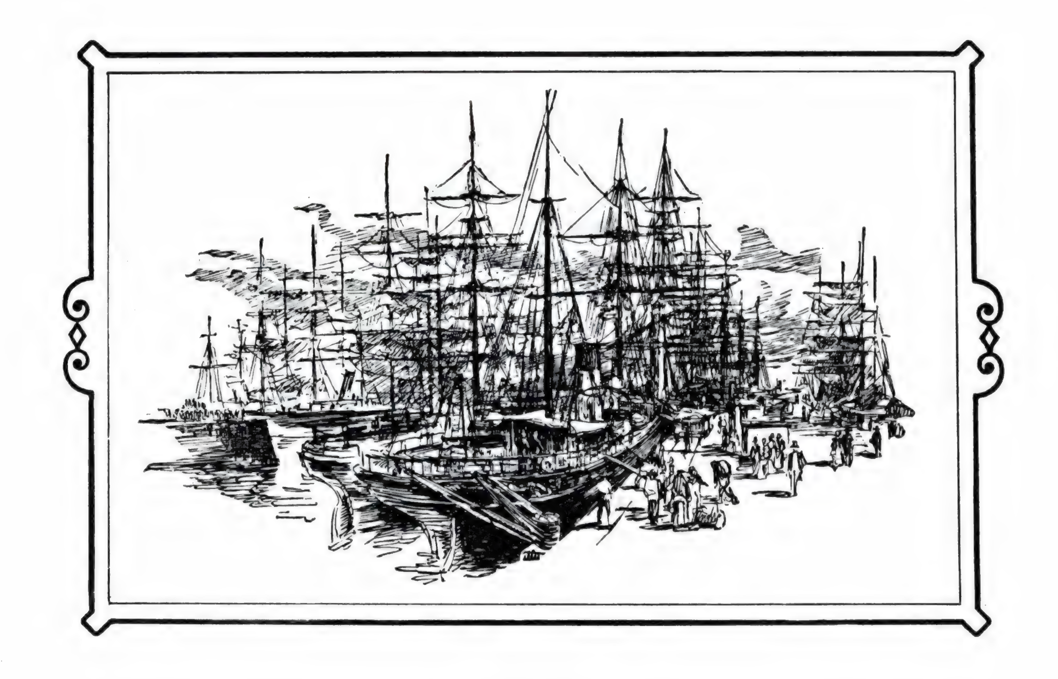
— Но ведь надо, Карл.

— Конечно, надо,— согласился Маркс.— Вот немного освобожусь от дел и поеду куда-нибудь лечиться.

— Я слышу от тебя это уже несколько лет. Но где решение?

— Будет,— успокоил друга Маркс.— Решение будет. А не пойти ли нам прогуляться,— предложил он.— Что-то я устал от шума и суеты.

— Пойдем,— с готовностью ответил Энгельс.— И поговорим о чем-нибудь веселом.



Эпилог

Осень 1881 года выдалась дождливой и холодной.

Они оба знали, что прощаются друг с другом. Прощаются навеки. Не говорили об этом — это было не в их правилах, но знали.

— Как хорошо, что ты пришел, Карл, что тебе уже лучше,— сказала Женни, когда он сел рядом, у ее постели, и взял ее руки в свои, нежно лаская их пальцами.— Ты очень похудел, ты измучился, мой бедный, от этой проклятой простуды. И стал совсем белый, мой бывший черный лохматик. Наклони голову, я потрогаю твои волосы.

Маркс склонился над Женни, отпустил ее руки. Она прикоснулась к его волосам, тихо засмеялась.

— Что, Женни? — спросил он.

— Они стали еще жестче,— сказала она о волосах.

Маркс выпрямился, посмотрел Женни в глаза.

— А ты, Женни? — спросил он.— Как ты себя чувствуешь? — И заговорил, не дав ей ответить:— В последние дни я почему-то все время

вспоминал о Париже. Это было в сорок третьем году. Тридцать восемь лет назад. Был октябрь. Помнишь?

— Конечно, Карл.

— И мы гуляли с тобой по осенним улицам. Осыпались желтые листья. Пахло лавандой. Мы целовались в безлюдных уголках, часами просиживали в каком-нибудь тихом кафе... Мы были очень-очень молоды, Женни. Я верил тогда, что переверну мир.

— А я была на втором месяце беременности,— снова засмеялась Женни.— И думала, что рожу тебе сына.— Тут Женни неожиданно умолкла, словно испугалась чего-то. Отвела глаза и стала смотреть в окно, за которым тихо шуршал мелкий дождь, не прекращавшийся уже целую неделю.

Маркс не стал спрашивать ее о том, почему она замолчала и что испугало ее: он все понял. Она произнесла слово «сын», забыв о том, что это слово давно не произносилось в их доме — с той поры, как умер их Муш... И хотя у них теперь четыре внука — все дети Дженни,— а дочери умны и прекрасны, у них все же нет сына... Внуки у них славные. Особенно проказник Жан, которому уже пять лет. Они оба в нем души не чают. У него три имени: Жан — это имя ему дали в честь деда по отцу; Лораном его назвали потому, что Лоран — это прозвище его тети Лауры; имя Фридрих подарил ему Энгельс. Но все его теперь зовут Джонни, Джонни-наездник. Эту приставку к имени — наездник ему дали за то, что он любит играть «в лошадей», то есть попросту взбираться на плечи деду Карлу или его знакомым и воображать себя лихим наездником. Внуку Гарри — три года, Эдгару — два. А самый маленький, Марсель, родился минувшим летом. Ради того чтобы повидать его, Маркс и Женни предприняли недавнюю поездку во Францию, в Аржентейе, где живут теперь Дженни и Шарль Лонге, ее муж. Из Аржентейе они ездили в Париж, побывали на улице Ванно у дома № 38. Там Маркс велел остановить экипаж, помог Женни сойти. Держа ее под руку, он довел ее до подъезда. Женни подняла голову и посмотрела вверх, на окно, сидя у которого она не раз дожидалась возвращения Карла из редакции газеты «Форвертс». Из этого окна впервые увидела мир их Женнихен, которая родилась 1 мая 44-го года. Теперь ей уже 37 лет и у нее четверо детей. А у Лауры детей нет: были мальчик и девочка, но умерли...

— Но ты все-таки перевернул мир,— вернулась к прерванному разговору Женни.— Разве не так, Карл? Мир наполнен твоими идеями, он

немыслим без них, они в конце концов взорвут его, перевернут, как плуг переворачивает почву перед посевом...

— Спасибо,— сказал Маркс, снова взяв Женни за руки.— Тебе не холодно? Такая отвратительная погода, сырость и холод вползают через каждую щель...

— А мне нравится. Дождик шумит, капли постукивают по подоконнику. Природа неторопливо делает важное дело: размокают и преют опавшие листья, чтобы снова стать почвой, уходят в размякшую от влаги землю семена, чтобы потом прорасти, запасаются питательными соками корни, клубни. И все это под убаюкивающий шорох дождика. Я все еще слаба, а то встала бы и пошла под дождь...

Говоря это, Женни поглядывала в окно, а Маркс смотрел на Женни и думал, что она еще привлекательная и симпатичная женщина. И хотя болезнь и годы, полные страданий и тревог, сделали свое дело, иссушили ее лицо и легли сединой на ее волосы, они пощадили ее глаза, в которых светится мудрость и любовь. Это делает их прекрасными. И так трудно, невозможно представить, что они погаснут... От одной этой мысли все цепенеет внутри и меркнет белый свет.

У нее неизлечимая болезнь — рак. Она тоже об этом знает или догадывается, что одно и то же. Знает, что дни ее сочтены, что она медленно умирает. К счастью, ее не беспокоят боли, но силы уходят. И когда она собиралась в Париж, всем стало ясно, что она едет проститься с Дженни и внуками. Простилась и теперь ждет конца. Но с каким мужеством — без слез, без жалоб, даже без намеков. Уходит из жизни так, словно за ее гранью — вечность. Только она в эти сказки о вечной жизни не верит и никогда, кажется, не верила. Одно лишь ее тайно беспокоит и ранит: то, что он останется без нее.

Он болел и думал, что умрет раньше нее. Но выздоровел. Еще трудно дышать, слабость сковывает все его мышцы, но он уже сам поднялся и без посторонней помощи проделал эти несколько шагов, отделяющих его комнату от комнаты Женни.

— Теперь, когда ты поправился, мы снова будем ходить в театр,— сказала Женни.— Мне очень нравится, когда ты сидишь в театре рядом со мной и смеешься всяким глупостям, которые говорят на сцене.

— Все смеются — и я смеюсь. Невозможно не смеяться. Заражаешься всеобщим весельем.

Как же он будет жить без нее? И возможна ли для него жизнь без нее?

Эпикур говорил, что смерть не имеет к нам никакого отношения, потому что когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых. Но смерть любимого человека существует для того, кто его пережил...

— А когда выдастся солнечный сухой денечек, мы обязательно поднимемся с тобой на Хемстед в харчевню Джека Строу, и ты угостишь меня пивом. И вообще хочется есть. Давай-ка попросим Ленхен приготовить нам что-нибудь вкусного, Карл. И пусть нам дадут пива...

Женни старалась ради него. Ей хотелось, чтобы он поел. Сама же она, как говорила Ленхен, ела не больше птички.

— Да, я попрошу Ленхен принести нам пива и ветчины.— Он поднес ее руку к губам и поцеловал.

— У тебя горячие губы,— сказала Женни.— Нет ли у тебя температуры?

— Просто у тебя холодная рука,— ответил он и тут же обругал себя за то, что сказал это, про холодную руку. Пусть бы у него горели от жара губы, пусть бы они совсем сгорели, но рука у нее не может быть холодной, не должна. Рука, дороже и роднее которой нет во всем свете.

— Мне недавно снилось, что я снова переписываю твои рукописи, Карл.

— И ты страдала?

— Страдала?! — удивилась Женни.— Для меня всегда было счастьем помогать тебе. Я втайне гордилась тем, что была твоим секретарем, Карл. А когда меня заменили наши девочки, я даже ревновала.

— Ты была самым лучшим секретарем. Теперь я могу тебе признаться в этом. Потому что всегда очень высоко ценил твой стиль. Я помню, как ты меня однажды пожурила за мой дурной стиль, за то, что я пишу сложно, неуклюже. Это было очень давно, в одном из писем, которые ты писала мне из Трира в Париж... И я никогда потом этого не забывал.

— Карл, а помнишь ли ты стихи, которые ты присылал своей чу́дной Женни из Берлина?

— Они так несовершенны, родная. Я очень жалею, что был плохим

поэтом, что моя любовь к тебе не увековечена в стихах совершенных и потому бессмертных. Но все, что я сделал значительного, я сделал в ожидании твоей похвалы, Женни. Высшей награды я не ждал.

— А стихи, Карл? Ты помнишь что-нибудь из тех стихов?

— Мало, Женни. Несколько строчек, пожалуй. Ты хочешь, чтобы я их прочел?

— Конечно, Карл! — оживилась Женни.— Я очень хочу. Я прошу тебя.

— Да, да. Сейчас я вспомню. Вот. Это как раз про любовь:

Связала нас незримо
Навеки нить одна.
Душа, судьбой гонима,
Тобой окрылена.
И что искал напрасно
Души своей порыв,—
Дает мне взор твой ясный,
Улыбкой озарив[1].

— Да,— сказала она, погладив его руку.— Я тоже помню эти стихи: «Связала нас незримо навеки нить одна». Навеки, Карл... Но ведь тогда ты еще не мог знать, навеки ли.

— Я знал,— ответил он.— Любящему сердцу истины любви открываются внезапно и до конца.

— Ох, ох! — засмеялась Женни.— Так сказал кто-нибудь из великих?

— Разумеется.

— Кто же?

— Я,— засмеялся Маркс.

Они опять слушали шорох дождя за окном и молчали. Сквозь дождевую пелену были видны черные ветви деревьев. Маркс и Женни прожили здесь долго и видели ветви не только черными, но и цветущими, и зелеными, и золотыми, и в серебряном сверкании инея. Но теперь они — черные...

— Я должен перед тобой извиниться, Женни,— нарушил молчание Маркс.— Следовало бы это сделать давным-давно, но мешали всякие дела и заботы.

---

[1] Перевод Е. Ильиной.

— Ты о чем, Карл?

— Как-то я беседовал с Полем Лафаргом. Это было лет пятнадцать назад, когда Поль и Лаура были еще только помолвлены. Я тогда учил Поля жить и сказал ему буквально следующее: если бы мне нужно было снова начать свой жизненный путь, то я сделал бы то же самое, только, пожалуй, не женился бы.

— Я помню, Карл,— сказала Женни.— Ты хочешь извиниться передо мной за эти слова?

— Да. Потому что на самом деле, как я теперь думаю, я избрал именно этот жизненный путь потому, что полюбил тебя, потому что ты полюбила меня, потому что я хотел быть достойным твоей любви, хотел принести тебе в подарок новый и прекрасный мир...

— Милый, милый,— вздохнула Женни.— Я всегда это знала. Но знай и ты, что я была счастлива с тобой даже в дни несчастий, потому что это были *наши* несчастья.

Должно быть, какая-то птица колыхнула ветку дерева за окном, и та тихонько постучала в окно. Или это был порыв ветра. Они прислушались к этому неожиданному стуку и замолчали.

Пришла Ленхен и сообщила, что приехал врач. Это означало, что пришло время расставаться. Маркс поцеловал руки Женни и встал.

— Вам помочь дойти до вашей комнаты? — спросила его Ленхен.

— Я сам,— ответил он.

Дойдя до двери, он оглянулся.

— Ты уже крепко стоишь на ногах,— похвалила его Женни, улыбнувшись.— Скоро мы сможем ездить в театр.

— Непременно,— ответил Маркс. Выйдя за дверь, он оперся рукой о стену: идти дальше не было сил.

Женни умерла через несколько дней. Было 2 декабря 1881 года, пятница. Умирая, она говорила по-английски, заботясь о том, чтобы все ее поняли. Последние ее слова были обращены к мужу.

— Мои силы сломлены, Карл,— произнесла она уже слабеющим голосом. И еще одно слово, которое можно было разобрать: — Хорошо... Это *хорошо* уже относилось к чему-то такому, о чем никто не знал.

Маркс был так плох, что не мог встать с постели, когда гроб с Женни выносили из дома.



Женни похоронили на Хайгетском кладбище. Речь над ее могилой произнес Энгельс. Он закончил ее такими словами:

— То, что эта жизнь, свидетельствующая о столь ясном и критическом уме, о столь верном политическом такте, о такой страстной энергии, о такой великой самоотверженности, сделала для революционного движения, не выставлялось напоказ перед публикой, не оглашалось на столбцах печати. То, что она сделала, известно только тем, кто жил вместе с ней. Но одно я знаю: мы не раз еще будем сожалеть об отсутствии ее смелых и благородных советов, смелых без бахвальства, благородных без ущерба для чести.

Мне незачем говорить о ее личных качествах. Ее друзья знают их и никогда не забудут. Если существовала когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том, чтобы сделать счастливыми других,— то это была она!

В день, когда умерла Женни, Энгельс сказал о Марксе:

— Мавр тоже умер.

Тусси обиделась на Энгельса за эти слова, но вскоре поняла, что Энгельс был прав: смерть Женни сломила Маркса. Маркс пережил Женни всего на пятнадцать месяцев. Незадолго до кончины судьба нанесла ему еще один страшный удар: 11 января 1883 года внезапно умерла Дженни, его старшая дочь. Весть о смерти Дженни привезла ему в Вентнор, где он жил по совету врачей, Тусси. Едва взглянув на ее лицо, он понял, что произошло нечто ужасное. И догадался, что именно.

— Наша Женнихен умерла! — простонал он, закрыв лицо руками.

— Да,— тихо подтвердила Тусси.

Он молчал минуту или две. Потом подозвал к себе Тусси, обнял ее и сказал:

— Ты поедешь в Париж, чтобы быть рядом с детьми Дженни. А я не могу...

Тусси в тот же день уплыла во Францию. А Маркс, дождавшись следующего утра, возвратился из Вентнора в Лондон. Возвратился очень больным и через два месяца умер. Это произошло 14 марта 1883 года.

В 2 часа 30 минут пополудни Энгельс зашел проведать своего больного друга. Прежде чем войти в дом, с опаской посмотрел на окна, не опущены ли на них шторы, что означало бы только одно — то, что

Маркс уже умер. Шторы на окнах не были опущены. Энгельс постучал в дверь. Дверь ему открыла Ленхен. Она была в слезах.

— Что случилось? — с тревогой спросил Энгельс.

— У него шла горлом кровь,— ответила Ленхен.— Теперь же ему лучше, он дремлет. Но вы обязательно поднимитесь к нему, он спрашивал о вас.

Энгельс и Ленхен поднялись в комнату Маркса. Следом за ними пришла Тусси.

— Что? — спросила она, видя, что Энгельс и Ленхен молча и неподвижно стоят перед креслом Маркса.

— Он уснул,— шепотом ответила Ленхен.

— Он умер,— сказал Энгельс.— И не надо убиваться, Тусси. Смерть — несчастье не для умершего. В тысячу раз лучше то, что случилось, чем прозябание на грани смерти и жизни. Тем более для гениального человека, который с болезнью потерял возможность трудиться. Мы похороним его рядом с Женни.— Энгельс обнял Тусси и заплакал.

Похороны Маркса состоялись в субботу 17 марта на Хайгетском кладбище, расположенном на холме, откуда виден весь Лондон. Похороны были скромными — такова была воля покойного. У могилы стояли его дочери, Тусси и Лаура, и преданные друзья. Надгробную речь произнес Энгельс:

— Четырнадцатого марта, без четверти три пополудни,— сказал он,— перестал мыслить величайший из современных мыслителей. Его оставили одного лишь на две минуты; войдя в комнату, мы нашли его в кресле спокойно уснувшим — но уже навеки.

Для борющегося пролетариата Европы и Америки, для исторической науки смерть этого человека — неизмеримая потеря. Уже в ближайшее время станет ощутительной та пустота, которая образовалась после смерти этого гиганта.

Речь Энгельса была краткой, но главное о Марксе он сказал: о Марксе-ученом, открывшем законы человеческой истории, законы развития и гибели капиталистического общества, законы пролетарской революции; о Марксе-революционере, для которого борьба была стихией; о Марксе — вожде всемирного пролетариата; о Марксе — друге...

Он закончил свою речь словами:

— Вот почему Маркс был человеком, которого больше всего ненавидели и на которого больше всего клеветали. Правительства — и самодер-

жавные, и республиканские — высылали его, буржуа — и консервативные, и ультрадемократические — наперебой осыпали его клеветой и проклятиями. Он отметал все это, как паутину, не уделял этому внимания, отвечая лишь при крайней необходимости. И он умер почитаемый, любимый, оплакиваемый миллионами революционных соратников во всей Европе и Америке, от сибирских рудников до Калифорнии, и я смело могу сказать: у него могло быть много противников, но вряд ли был хоть один личный враг.

И имя его и дело переживут века!

К ЧИТАТЕЛЮ

Вот и перевернута последняя страница книги, которая замечательна прежде всего своими героями. Она написана о людях, чьи идеи, овладев умами миллионов пролетариев во всем мире, превратили их в могучую преобразующую силу, целью которой стало построение бесклассового, коммунистического общества, осуществление вековой мечты человечества о свободе и братстве народов.

Наше общество — лишь первая ступень к задуманному Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Предстоит много труда, но многое сделано. Эта работа завещана вам, дорогие юные друзья. Вы справитесь с ней. И тем успешнее, чем глубже вникнете в суть учения Маркса и Энгельса, в то, как жили и о чем думали они, гениально предвидя наш век.

В 1835 году, когда Марксу было только 17 лет, он написал в своем сочинении на выпускном экзамене в Трирской гимназии: «Человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования, только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага.

Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком.

История признает тех людей великими, которые, трудясь для общей цели, сами становились благороднее; опыт превозносит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей».

В этих словах юного Маркса заключена мудрость, которая не устарела, которую стоит прочно усвоить, чтобы прожить жизнь, достойную человека: хочешь быть счастливым, работай для счастья других — бескорыстно, самоотверженно, до конца.

Человеческая безупречность всю жизнь была основной чертой личности Маркса. Бескорыстие, умение отказываться от жизненных благ во имя утверждения высоких жизненных принципов, во имя борьбы за счастье пролетариата, самого обездоленного класса современного ему общества,— основное содержание этой безупречности Маркса. «Я должен любой ценой идти к своей цели и не позволю буржуазному обществу превратить меня в машину, делающую деньги»,— писал Маркс в 1859 году одному из соратников по борьбе в далекую Америку. В этом заключалось для него счастье революционера.

Человеком высочайшей принципиальности и безупречности был также Энгельс, друг и соратник Маркса. Маркс и Энгельс явили миру непревзойденный пример личных, истинно коммунистических отношений. Владимир Ильич Ленин написал о них так: «Старинные предания рассказывают о разных трогательных примерах дружбы. Европейский пролетариат может сказать, что его наука создана двумя учеными и борцами, отношения которых превосходят все самые трогательные сказания древних о человеческой дружбе». Маркс и Энгельс были людьми своей эпохи, но людьми, обладавшими исключительностью характеров и дарований, позволившей им не только полностью выразить время, в которое они жили, но и предвосхитить новую эпоху. Они были одними из образованнейших людей XIX века прежде всего потому, что обладали неоценимым качеством учиться всю жизнь.

Они были разные и внешне, и по своим привычкам и склонностям.

Смуглый, черноволосый, коренастый Маркс, «мавр», большой любитель прогулок в Хэмпстед-Хис; и стройный, голубоглазый, белокурый Энгельс, «генерал», отлично ездивший на лошади и любящий охоту на лис. После встречи в Париже в 1844 году жизнь этих двух людей как бы

сливается в одну. Недаром современники и идейные противники Маркса и Энгельса часто воспринимали их точку зрения как позицию одного лица. Хорошо зная друг друга, каждый стремился к тому, чтобы лучшие качества друга раскрылись как можно полнее и служили их общему делу, делу освобождения пролетариата.

Первую половину жизни Марксу и Энгельсу не довелось жить в одном городе. Двадцать лет Энгельс был прикован к «проклятой коммерции» в фирме своего отца. Эмигрантская жизнь, жизнь борца и революционера заставляла Маркса менять города и страны своего местопребывания, пока наконец в августе 1849 года он не поселился в Лондоне. Уже навсегда. Энгельс смог переехать в Лондон лишь в 1870 году, после окончания службы в Манчестере. Однако общались они почти ежедневно. Письма из Манчестера в Лондон и обратно приходили регулярно. В своих воспоминаниях младшая дочь Маркса Тусси (Элеонора) описывает, с каким нетерпением ждал Мавр письма от своего друга, а получая их, «разговаривал с автором писем, как будто он присутствовал тут же».

«Он — настоящая энциклопедия...— сказал однажды Маркс об Энгельсе.— Способен работать во всякий час дня и ночи, после еды или натощак, быстро пишет и сообразителен как черт».

Уже после смерти Маркса, в октябре 1884 года, в письме другу и соратнику по I Интернационалу Иоганну Филиппу Беккеру Энгельс написал так: «Я играл вторую скрипку,— и думаю, что делал свое дело довольно сносно. Я рад был, что у меня такая великолепная первая скрипка, как Маркс». Сколько абсолютной самоотверженности, преданности другу и достоинства в этом признании!

Воссоздать в художественном произведении жизнь людей, события, передать «аромат времени», которое отделено от читателей столетием,— весьма сложная задача. Облечь в плоть и кровь жизнь таких гениев, как Маркс и Энгельс,— сложно вдвойне.

Для осуществления замысла надо быть образованным человеком в области истории, философии и политэкономии, детально изучить биографии Маркса и Энгельса, их творческое наследие, мемуарную литературу о них. К этому следует добавить наличие писательского дара, позволяющего воплотить в литературные образы такие фигуры, как Маркс и Энгельс. Именно художественное проникновение в суть характеров героев позволит юному читателю узнать этих людей и приблизиться к постижению их научной и революционной деятельности.

Творческий и жизненный путь, пройденный Анатолием Ивановичем Домбровским, дал ему известное право взяться за решение этой задачи. Выпускник философского факультета Ленинградского государственного университета, комсомольский работник, журналист, преподаватель марксистско-ленинской философии в институте, А. И. Домбровский, став писателем, написал ряд книг о философах для юношества.

Широкую популярность приобрели его «Рассказы о философах», в которых молодые читатели познакомились со Спинозой, Локком, Дидро, Джордано Бруно, Кампанеллой, Кантом, Гегелем, Фейербахом, Чернышевским и многими другими выдающимися философами. Книга открывалась рассказом о Марксе и Энгельсе, их встрече и начале дружбы на всю жизнь.

Перу А. И. Домбровского принадлежат книги о древнегреческих философах Демокрите, Аристотеле, Эпикуре, основателях материалистической философии, блестяще развитой Марксом и Энгельсом и превращенной ими в науку. Писательский интерес А. И. Домбровского достаточно широк: он автор книг о гражданской и Великой Отечественной войнах, о наших современниках. Это рассказы, повести, романы. Часть их адресована детям среднего и старшего школьного возраста.

Автор не ставил своей задачей хронологически, год за годом отобразить жизнь Маркса и Энгельса. Название первой книги — «Неистовый сын Трира» — стало названием всей трилогии, но книга о Марксе неизбежно переросла в трилогию о Марксе и Энгельсе.

Первая книга рассказывает о сравнительно коротком, менее двух лет, периоде жизни Маркса в Париже с октября 1843 года по февраль 1845 года. Именно в этот период произошло становление Маркса как революционера и философа-материалиста. В Париж он приезжает не один, а с женой Женни, урожденной фон Вестфален, свадьба с которой состоялась всего несколько месяцев назад, в июне 1843 года. Пожалуй, это самый счастливый период жизни семьи Марксов, несмотря на неудачу издания совместного с Руге журнала. Автор очень хорошо передает ту атмосферу молодости, надежд, любви и добра, в которой жили тогда Карл и Женни. Завязывались первые дружеские знакомства среди демократически настроенных эмигрантов. Одни стали друзьями на всю жизнь, как поэт Гейне, с другими пути разошлись, как было с Гервегами. И наконец, семейная радость — рождение 1 мая 1844 года старшей дочери, названной в честь матери Женни.

В Париже Маркс впервые посещает собрания рабочих организаций, как французов, так и немецких эмигрантов. И здесь, в Париже в августе 1844 года произошла историческая встреча Маркса с Энгельсом, возвращавшимся из Англии в Германию. Как вспоминал потом Энгельс, именно за эти десять дней «выяснилось наше полное согласие во всех теоретических областях, и с того времени началась наша совместная работа».

Во второй книге — «Соратники» — мы застаем Маркса в холодные февральские дни 1845 года в Брюсселе. Брюссельский период его жизни длился более трех лет. Эти годы были наполнены огромным трудом. Маркс не только продолжал разрабатывать основы нового мировоззрения, но занялся практической работой: созданием пролетарской партии.

На страницах повести живут и действуют ближайшие соратники Маркса и Энгельса — Вильгельм Вольф, Георг Веерт, Фердинанд Фрейлиграт, Генрих Бюргерс и другие. Ведется борьба против широко распространенных в то время утопических социалистических учений, которые неверно определяли цели и способы борьбы пролетариата, отрицали необходимость пролетарской партии, профессиональных союзов, политической борьбы. Именно учения подобного рода служили препятствием для распространения научного революционного мировоззрения.

Маркс непримиримо относился к своим идейным противникам. В теоретических спорах он связывал с безнравственностью всякое искажение теории, порожденное невежеством. Читатели познакомились с историей разногласий Маркса с Вейтлингом, одним из представителей утопического коммунизма, и помнят сцену их разрыва на заседании Брюссельского корреспондентского комитета 30 марта 1846 года, живо описанную в воспоминаниях П. В. Анненкова. Маркс считал, что невежество не только безнравственно, но и социально опасно. Безнравственность же делает сомнительными политические убеждения.

Живо и увлекательно написаны страницы повести, посвященные истории создания «Манифеста Коммунистической партии» и Союза коммунистов, практическому участию Маркса и Энгельса в революции 1848—1849 гг. в Европе. В этот период они редактировали «Новую Рейнскую газету» в Кёльне, которая была, по отзыву В. И. Ленина, «лучшим, непревзойденным органом революционного пролетариата».

Революция потерпела поражение. Маркс снова оказался на чужбине,

но это ни в коей мере не сломило его и не поколебало уверенности в наступлении и победе коммунизма.

Последняя книга трилогии — «Во имя всех» — посвящена, как мы помним, жизни Маркса в Лондоне. Послереволюционное затишье для Маркса было периодом осмысления основных итогов прошедшей революционной бури и серьезных научных обобщений. На все это потребовались годы и годы. Мешали нищета, болезни, потери родных и друзей, наветы врагов. Но Маркс упорно шел к своей цели и работал «как бешеный», по его собственным словам. Рядом был Энгельс, верный друг, всегда готовый подставить плечо.

Здесь мы встречаемся с Марксом в последние годы его жизни. Сам Маркс, уже на склоне лет, как бы вспоминает печальные и радостные события всего периода жизни семьи в Англии.

Вот он перед горой бумаги в своем кабинете, рукописью своего главного жизненного труда — «Капитала». Маркс рассказывает Тусси суть своего произведения. В этой маленькой сценке — весь Маркс с его талантом доходить до сердца каждого, будь то ребенок или взрослый. Его «Капитал» выдержал испытание временем, как показала история. По выражению В. И. Ленина, Маркс «революционизировал» политэкономию, вложив тем самым мощное идейное оружие в руки класса, за освобождение которого боролся всю жизнь. Первый том «Капитала» был полностью напечатан в августе 1867 года.

Еще раньше, в сентябре 1864 года, была создана первая массовая международная организация пролетариата — Международное Товарищество Рабочих. Маркс — автор основных программных документов — играл руководящую роль в Генеральном Совете Интернационала, где он официально выполнял функции секретаря-корреспондента для Германии.

Итак, основные жизненные вехи пройдены. Имя Маркса хорошо известно в Европе и в Америке. Маркс и Энгельс — признанные вожди мирового пролетариата.

Глубокое волнение вызывает последняя глава книги, посвященная смерти жены Маркса, Женни, и самого Маркса. Жизнь его жены была тоже подвигом, совершенным во имя любви к своему великому мужу. Любящая жена и мать, Женни была секретарем Маркса, советчиком и ценителем его трудов, поддержкой в трудные минуты. Глубокая привязанность и любовь Маркса к Женни общеизвестна. Об этом

немало страниц и в этой трилогии. Когда Женни умерла, Энгельс произнес пророческую фразу: «Мавр умер тоже». Он оказался прав.

Герои этой книги действительно переживают века. О людях подобного склада писал в одном из своих сонетов любимый поэт семьи Марксов Шекспир, что им «дано величьем обладать, а чтить величье призваны другие». Научный и революционный подвиг Маркса и Энгельса не был напрасен. Сегодня их идеями живут, борются и побеждают миллионы и миллионы людей во всем мире. Будем же и мы верны знамени этих двух величайших мыслителей и борцов за счастье человечества!

Старший научный сотрудник
Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС
Т. АНДРУЩЕНКО

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Для старшего школьного возраста

Домбровский Анатолий Иванович

НЕИСТОВЫЙ СЫН ТРИРА

Роман

Ответственный редактор *С. М. Пономарёва.* Художественный редактор *Г. Ф. Ордынский.* Технический редактор *Н. Ю. Крапоткина.* Корректоры *Г. Ю. Жильцова, И. Н. Мокина.*

ИБ № 10240

Сдано в набор 05.11.87. Подписано к печати 06.06.88. А01562. Формат $70\times90^1/_{16}$. Бум. офсетная № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,1. Усл. кр.-отт. 35,69. Уч.-изд. л. 28,16. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1915. Цена 1 р. 80 к.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге издательство просит присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

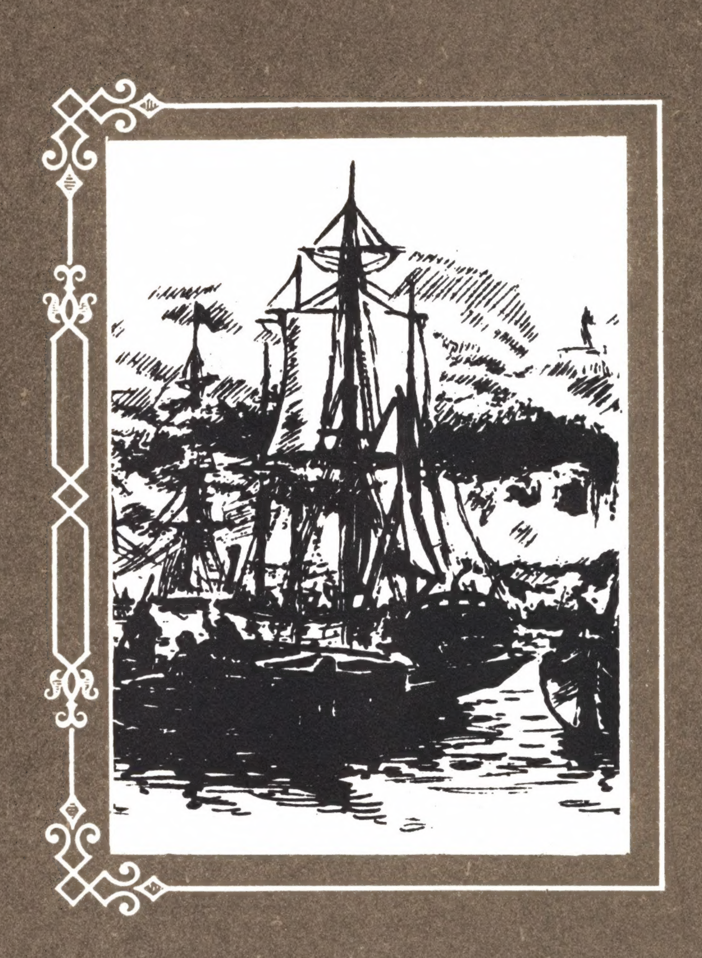
Домбровский А. И.

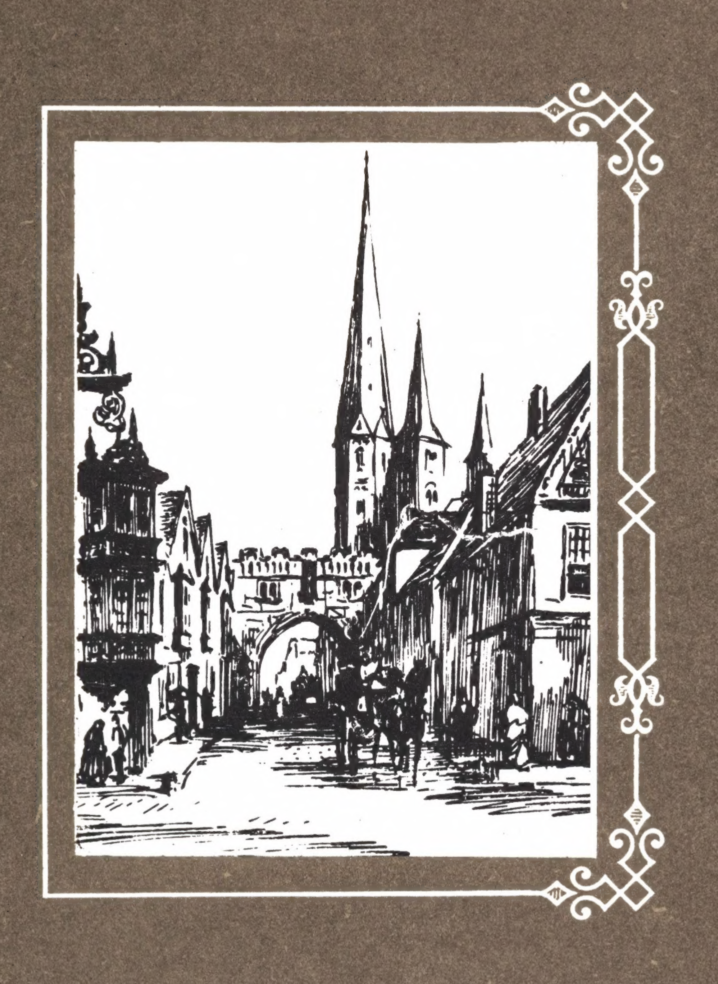
Д66 Неистовый сын Трира: Роман/ Рис. Н. Жукова.— М.: Дет. лит., 1988.—479 с.: ил.

ISBN 5—08—000737—0

«Неистовым сыном Трира» назвал Карла Маркса Фридрих Энгельс. К. Марксу и его соратникам по борьбе, становлению марксистской революционной теории и философии посвящен этот роман.

Д $\frac{4803010201-407}{М101(03)-88}$ 201—88





1 р. 80 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»


А. Домбровский
НЕИСТОВЫЙ СЫН ТРИРА